Р. Л. Стивенсон



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Роберт Луис

СТИВЕНСОН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



ТОМ

4

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

1981

Составление
и общая редакция
М. Урнова

Иллюстрации художника
С. Бродского

Похищенный,
или
Приключения
Дэвида Бэлфура,

*в которых рассказывается о том,
как он был похищен и попал
в кораблекрушение, как томился
на необитаемом острове и скитался
в диких горах, как судьба свела
его с Аланом Бреком Стюартом
и другими ярыми шотландскими
якобитами, а также обо всем,
что он претерпел от рук своего дяди
Эбенезера Бэлфура,
именуемого владельцем замка Шос
без всякого на то права,
описанные им самим и предлагаемые
ныне вашему вниманию
Робертом Луисом Стивенсоном.*

ПОСВЯЩЕНИЕ

Милый Чарлз Бакстер!

Если когда-нибудь вам доведется прочесть эту повесть, вы, наверное, зададитесь таким множеством вопросов, что мне не под силу будет ответить. Например, каким образом убийство в Эпине могло произойти в 1751 году или почему Торренские скалы перебрались под самый Иррейд и чем объясняется, что печатные свидетельства безмолвствуют обо всем, что касается Дэвида Бэлфура. Все эти орешки мне не по зубам. Зато если б вы стали допытываться, виновен Алан или нет, я, пожалуй, мог бы отстоять версию, изложенную в книге. Эпинские предания и поныне решительно утверждают правоту Алана. Поспрошайте сами о том «другом», чьей рукой был сделан выстрел, и вы, возможно, услышите, что его потомков по сей день можно сыскать в его родных местах. Правда, никакие расспросы не помогут вам узнать его имя: шотландский горец уважает тайну и умение хранить ее впитывает с молоком матери. Я мог бы продолжать в том же духе, защищая неоспоримость одного положения, соглашаясь с несостоятельностью другого, но не честней ли сразу признать, что мною меньше всего движет желание соблюдать достоверность! Этой повести место не в кабинете ученого, а в комнате школьника, в час, когда с уроками покончено и скоро пора спать, а за окном зимний вечер. Честный же Алан — в жизни довольно мрачная и воинственная фигура — служит в новом своем воплощении далеко не воинственной цели: отвлечь иного юного джентльмена от сочинений Овидия, ненадолго умчать его в минувший век, в горы Шотландии, а когда он отправится в постель, наводнить его сны увлекательными видениями.

Вас, дорогой Чарлз, я и не надеюсь увлечь этой книгой. Зато, быть может, она понравится вашему сыну, когда он подрастет; возможно, ему приятно будет увидеть на форзаце имя своего отца, а пока что мне самому приятно поставить это имя здесь в па-

мять о многих счастливых, а кое-когда и печальных днях, о которых сегодня, пожалуй, вспоминаешь с не меньшим удовольствием.

Мне, сквозь годы и расстояния, странно глядеть сейчас на былые приключения нашей юности, но как же странно должно быть вам! Ведь вы ступаете по тем же улицам, вы можете хоть завтра открыть дверь старого дискуссионного клуба, где нас уже начинают ставить в один ряд со Скоттом, Робертом Эмметом и горячо любимым, хоть и бесславным Макбином,— можете пройти мимо церковного дворика, где собирались члены славного общества L.J.R.[1] и потягивали пиво, сидя на тех же скамьях, где некогда сиживал с приятелями Бернс.

Живо представляю себе, как вы бродите при свете дня, видя собственными глазами те места, которые вашему другу являются ныне лишь в сновидениях. Как громко, должно быть, звучит для вас голос прошлого в те часы, когда вы отрываетесь от привычных занятий!

Пусть же он чаще будит в вас добрую память о вашем друге.

Р.Л.С.

Скерривор,
Борнмут.

[1] Тайное студенческое общество, членом которого был Стивенсон. «L.J.R.» предположительно означает Liberty, Justice, Reverence — Свобода, Справедливость, Благонравие *(англ.)*.

ГЛАВА I
Я ОТПРАВЛЯЮСЬ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ К ЗАМКУ ШОС

Мне хочется начать рассказ о моих приключениях с того памятного утра в июне 1751 года, когда я в последний раз вынул ключ из дверей отчего дома. Я вышел на дорогу, едва первые лучи блеснули на вершинах гор, а к тому времени, как поравнялся с пасторским домом, в сиреневом саду уж пересвистывались дрозды и завеса предрассветного тумана в долине стала подниматься и таять.

Эссендинский священник мистер Кемпбелл, добрая душа, поджидал меня у садовой калитки. Он спросил, позавтракал ли я, и, услыхав, что я не голоден, обеими руками взял мою руку, продел себе под локоть и дружески пришлепнул.

— Так-то, Дэви, милок,— сказал он.— Провожу тебя до реки и отправлю в путь-дорожку.

Мы тронулись в молчании.

— Не жаль тебе расставаться с Эссендином? — спросил он спустя немного.

— Как сказать, сэр,— отозвался я.— Знать бы, куда идешь и что тебя ждет, тогда бы можно ответить прямо. Эссендин — хорошее местечко, и жилось мне здесь славно, только ведь больше-то я нигде не бывал. Отца и матушки нет в живых, и до них мне из Эссендина не ближе, чем из Венгерского королевства. Так что, по правде говоря, будь я уверен, что на чужой стороне смогу добиться чего-то лучшего, мне бы не жаль было уходить.

— Вот как? — сказал мистер Кемпбелл.— Что ж, Дэви, ладно. Тогда мой долг, насколько это в моих силах, сообщить тебе о твоей дальнейшей судьбе. Когда

скончалась твоя матушка, а твой отец — достойный был человек и добрый христианин — стал чахнуть и понял, что конец его близок, он доверил мне на сохранение одно письмо и прибавил, что в нем твое наследство. «Как меня не станет,— сказал он,— и в доме наведут порядок, а вещи продадут,— все это, Дэви, было исполнено,— отдайте моему мальчику вот это письмо в собственные руки и снарядите его в замок Шос, что невдалеке от Кремонда. Я сам оттуда родом, туда и подобает вернуться моему сыну. Малый он,— сказал твой батюшка,— не робкого десятка, отменный ходок, и нет сомнений, что он прибудет в замок цел и невредим и сумеет там понравиться».

— Замок Шос? — вырвалось у меня.— Что общего у моего бедного отца с замком Шос?

— Погоди,— сказал мистер Кемпбелл.— Как знать? Во всяком случае, в замке носят такое же имя, как у тебя, милок,— Бэлфуры из Шоса; род древний, честный, уважаемый, хотя, быть может, и пришел в упадок за последнее время. Да и батюшка твой был человек ученый, как, впрочем, и приличествует наставнику; школу вел образцово, а по разговору и манере держаться вовсе не походил на простого учителя. Ты вспомни, как я был рад видеть его в своем доме, когда принимал именитых гостей, как любили бывать в его обществе мои сородичи: Кемпбелл из Килреннета, Кемпбелл из Дансвира, Кемпбелл из Минча и другие джентльмены хороших фамилий. Ну и, наконец, вот тебе последнее: само письмо, завещанное тебе и собственноручно надписанное нашим усопшим братом.

Он дал мне письмо, на котором значилось: «Замок Шос. Эбенезеру Бэлфуру, эсквайру, в собственные руки. Податель сего — мой сын, Дэвид Бэлфур».

У меня забилось сердце: шутка ли, какое будущее для шестнадцатилетнего юнца, сына бедного учителя сельской школы, затерянной в Этрикском лесу!

— Мистер Кемпбелл,— запинаясь от волнения, проговорил я,— а вы бы на моем месте пошли?

— Определенно,— ответил пастор.— Пошел бы, и не медля. Такой крепыш, как ты, дойдет до Кремонда за два дня, кстати, туда от Эдинбурга рукой подать. На худой конец, если так обернется, что твоя знатная родня — а мне только и остается предположить, что вы с ними не чужие,— даст тебе от ворот поворот, тоже не

страшно: еще два дня ходу, и ты постучишься в мою дверь. Но я хочу надеяться, что ты будешь принят радушно, как предвидел твой бедный батюшка, и со временем, чего доброго, станешь большим человеком. А сейчас, Дэви, милок,— важно закончил он,— совесть велит мне воспользоваться случаем и предостеречь тебя на прощание от мирских опасностей.

Он поискал глазами, куда бы сесть, увидел большой валун под придорожной березкой, устроился на нем поудобней и накрыл свою треуголку носовым платком, защищаясь от солнца: оно теперь показалось меж двух вершин и светило прямо нам в лицо.

И тут, воздев указательный перст, он принялся предостерегать меня от великого множества ересей, нисколько, впрочем, меня не прельщавших, наставляя прилежно молиться и читать Библию. После этого он нарисовал мне картину жизни в богатом доме, куда я направлялся, и научил, как держаться с его обитателями.

— В мелочах, Дэви, будь уступчив,— говорил он.— Не забывай: ты хоть рожден дворянином, но воспитание получил деревенское. Не посрами нас, Дэви, смотри, не посрами! Там, в этом пышном, знатном доме, набитом челядью всех мастей, ни в чем не отставай от других, будь так же учтив и осмотрителен, так же сметлив и немногословен. Ну, а что до главы дома — помни, он господин. Тут говорить нечего: по заслугам и почет. Главе рода подчиняться одно удовольствие, во всяком случае, именно так дóлжно рассуждать в юности.

— Возможно, сэр,— сказал я.— Обещаю вам постараться, чтобы так оно и было.

— Недурно сказано,— просиял мистер Кемпбелл.— Ну, а теперь перейдем к материям вещественным, хотя — да простится нам этот каламбур — быть может, и несущественным. У меня тут с собой сверточек,— не переставая говорить, он с усилием вытащил что-то из внутреннего кармана,— а в нем четыре вещицы. Первая из четырех причитается тебе по закону: небольшая сумма денег за книги и прочее имущество твоего отца, купленные мною, как я объяснил с самого начала, в расчете перепродать по более выгодной цене новому учителю. Другие три — маленькие подарки от меня и миссис Кемпбелл; прими, порадуй нас. Один, круглый по форме, наверное, понравится тебе на первых порах больше всего, но, Дэви, милок ты мой, он что капля в море;

шаг шагнешь — его и след простыл. Другой, плоский, четырехугольный, весь исписанный — твоя поддержка и опора на всю жизнь, как добрый посох в дороге, как мягкая подушка в час недуга. Ну, а последний — он кубической формы — от души верю, поможет тебе найти дорогу в лучший мир.

С этими словами он встал, снял шляпу и любовно произнес коротенькую молитву о юноше, вступающем в жизнь; потом внезапно обнял меня, крепко прижал к себе, отстранил, пристально поглядел на меня с непередаваемо горестным лицом, круто повернулся и с криком «Прощай!» рысцой засеменил обратно той же дорогой, по которой мы пришли. Со стороны, я думаю, это выглядело смешно, но мне было не до смеха. Я провожал его глазами, пока он не скрылся из виду; он не замедлил шаг, ни разу не обернулся. Только тут я сообразил, что все это показывает, как ему тяжело расставаться со мной,— и до чего же мне стало совестно! Ведь сам я был рад-радехонек выбраться из деревенской глуши в большой, многолюдный дом к богатым и важным господам одного со мной имени и одной крови.

«Эх, Дэви, Дэви,— думал я,— это ли не черная неблагодарность! Неужто стоило лишь побряцать у тебя над ухом громким именем, и ты готов забыть старое добро и старых друзей? Фу, стыд какой!»

И, сев на тот же валун, с которого только что поднялся добряк-пастор, я развернул сверток, чтобы посмотреть на подарки. Насчет кубического я с самого начала не сомневался: конечно же, это была маленькая Библия, как раз по размеру кармана в пледе. Круглый оказался монетой в один шиллинг, а третий, которому назначено было столь чудодейственно мне помогать и в добром здравии, и в болезнях, и во всех случаях жизни,— клочком грубой пожелтевшей бумаги, на котором красными чернилами выведено было нижеследующее:

«Способ изготовления ландышевой воды.— Взять ландышевого цвету, настоять на белом вине, процедить и принимать по чайной ложке один раз или два, по мере надобности. Возвращает речь косноязычным, исцеляет подагру, унимает сердечную боль и укрепляет память. А цвет положить в стеклянную посудину, плотно умять, воткнуть в муравейник и оставить так на месяц, после чего вынуть, тогда увидишь, что цветы пустили

сок, а его хранить в пузырьке. Полезен и больным, и здоровым, мужчинам, равно как и женщинам».

А ниже рукою пастора была сделана приписка:

«Помогает также при вывихах (втирать) и коликах (пить по столовой ложке каждый час)».

Не скрою, над этой бумажкой я посмеялся, но то был смех, в котором звенели слезы; я торопливо вскинул свой узелок на конец посоха, перешел речку вброд, поднялся по склону холма и, ступив на широкую, зеленую скотопрогонную дорогу, бегущую среди вереска, обвел прощальным взглядом Эссендинскую церковку, купу деревьев вокруг пасторского дома и высокие рябины на кладбище, где покоились мои отец и мать.

ГЛАВА II

Я ПРИХОЖУ К ЦЕЛИ

К утру второго дня я поднялся на вершину холма и передо мной, сбегая к самому морю, как на ладони открылась вся местность, а посредине склона, на длинном горном хребте, дымил, как калильная печь, город Эдинбург. Над замком реял флаг, по заливу шли корабли или стояли на якоре, то и другое, несмотря на расстояние, я различал очень ясно, и у меня, деревенского жителя, дух занялся от восторга.

Вскоре я вышел к пастушьей хижине и узнал, в каком примерно направлении идти на Кремонд; и так, от одного встречного до другого, я все шел да шел на запад от столицы, мимо Колинтона, пока не выбрался на дорогу, ведущую в Глазго. А на дороге, к великой своей радости и изумлению, увидел я полк солдат, они шагали в ногу под звуки флейт, впереди на сером коне ехал старый генерал с обветренным кирпичным лицом, а замыкала колонну рота гренадеров в высоких шапках наподобие папской тиары. Все жилки во мне заиграли при виде бравых красных мундиров и звуках бодрой музыки.

Еще немного, и мне сказали, что я в Кремондском округе; отныне в моих расспросах появились слова «замок Шос». У каждого, к кому я ни обращался, они, казалось, вызывали удивление. Сперва я решил, что мой

деревенский вид и мешковатое платье, запылившееся к тому же в дороге, слишком не вяжутся с великолепием поместья, куда я направляюсь. Но когда два или три раза кряду мне ответили в одних и тех же словах и с тем же выражением лица, я начал подумывать, не кроется ли что-то неладное в самом замке Шос.

Чтобы унять свое беспокойство, я решил задавать вопросы в иной форме и, завидев на проселке встречную повозку с каким-то честным малым на облучке, осведомился, не слышал ли он чего о господском доме под названием «замок Шос».

Он остановил повозку и взглянул на меня так же, как все другие.

— Слыхал,— сказал он.— А что?

— И богатое там хозяйство? — спросил я.

— А как же,— сказал он.— Домина громадный.

— Понятно,— сказал я.— Ну а люди каковы?

— Люди? — вскричал он.— Ты в уме? Да там людского духу нет.

— То есть как? — сказал я.— А мистер Эбенезер?

— А-а, это конечно,— сказал он.— Если тебе требуется владелец замка, он, точно, имеется. Да тебе какая надобность, милый?

— Думал на работу наняться,— как нельзя более простодушно сказал я.

— Чего?! — гаркнул хозяин повозки так, что лошадь — и та вздрогнула.— Слушай, сынок,— прибавил он.— Не мое это дело, но ты вроде обходительный малый, так вот тебе мой совет: держись-ка ты подальше от замка Шос.

Вторым встречным оказался юркий человечек в роскошном белом парике; я догадался, что это цирюльник, который спешит к своим клиентам, и, зная, что цирюльники большие любители посплетничать, спросил его напрямик, каков человек мистер Бэлфур из Шоса.

— Пф-ф,— фыркнул цирюльник.— Человек, скажешь тоже. Он и вовсе не человек,— и начал очень искусно допытываться, зачем это мне нужно, но я еще искусней уклонился от ответа, и он отправился своей дорогой, не солоно хлебавши.

Трудно передать, какой это был удар. А я-то размечтался!.. Чем туманней были намеки, тем меньше они мне нравились, ибо тем больше простора оставляли воображению. Что это за господский дом, если чуть спросишь, как к нему пройти, и вся округа шарахается и таращит на тебя глаза? И что за джентльмен такой, если дурная слава о нем скачет по большим дорогам? Будь до Эссендина час ходьбы, на том бы и кончились мои приключения, я возвратился бы к мистеру Кемпбеллу. Но раз уж я одолел такой дальний путь, мне просто гордость не позволяла отступиться, не выяснив, что и как; я должен был довести дело до конца, хотя бы уже из самолюбия. Пусть я был сильно обескуражен всем, что услышал, пусть даже замедлил шаг, но я все-таки продолжал спрашивать дорогу и упорно шел вперед.

Когда день уже клонился к закату, мне встретилась женщина; грузная, черноволосая, с брюзгливым лицом, она тяжело брела вниз по склону. Когда я задал ей свой привычный вопрос, она порывисто обернулась, довела меня до вершины холма, с которого только что спустилась, и показала рукой на дно долины, где посреди зеленого луга одиноко возвышалось массивное каменное строение. Места вокруг были чудесные: невысокие лесистые холмы, живописные ручьи, тучные с виду нивы, но сам дом выглядел нежилым; к нему не вела дорога, ни из одной трубы не шел дым, сада и в помине не было. У меня упало сердце.

— Вот это? — вырвалось у меня.

Глаза женщины вспыхнули злобным огнем.

— Это самое. Замок Шос! — И она завела жутким кликушеским речитативом: — На крови заложен, из-за крови не достроен, кровь сровняет его с землей. Гляди: я плюю на него! Чтоб ему сгинуть на веки веков! Увидишь владельца, скажи ему, что́ ты слышал! Скажи, что в тысячу двести девятнадцатый раз Дженнет Клустон призывает проклятие на его голову, на его дом, хлев и конюшню, на чад и домочадцев, на всю его родню, на его слуг и гостей — будь они прокляты до седьмого колена!

И женщина резко повернулась и исчезла. Я остался стоять как вкопанный, только волосы на макушке шевелились от страха. В те дни еще верили в ведьм, проклятие наводило ужас, и такие речи, да еще на самом пороге цели, казались дурной приметой, предвещавшей, что не будет пути. У меня подкосились ноги.

Я сел на землю и начал рассматривать замок Шос. Чем дольше я смотрел, тем больше мне нравился этот край: и густой боярышник в цвету, и луга, где частой россыпью белели овцы, и тучи грачей в небе — все говорило, что земля здесь плодородная, климат благодатный; и только мрачная каменная коробка посредине была мне все меньше по душе.

Мимо прошли крестьяне, возвращаясь с полей, а я сидел на обочине дороги в таком унынии, что даже не сказал им «добрый вечер». Наконец солнце зашло, и тогда я увидел, что на фоне оранжевого неба вьется кверху струйка дыма, жидкая, как дымок от свечи. И все-таки это был дым жилья, он сулил огонь в очаге, и тепло, и миску горячего варева — значит, в доме есть живая душа, которая развела этот огонь, а это уже утешительно.

И я зашагал по узенькой, заросшей травою тропке, которая бежала в ту сторону. Тропинка была едва заметная; странно, чтобы так выглядела единственная дорога к человеческому жилью, но другой не было видно. Вскоре она привела меня к двум каменным столбам с гербами наверху; рядом стояла каменная сторожка без крыши. Ясно, что здесь был задуман, но так и не достроен главный въезд; вместо кованых ворот к столбам была привязана соломенным жгутом двустворчатая плетеная калитка, и моя тропочка, не встретив на своем пути ни парковой ограды, ни подъездной аллеи, обежала столбы с правой стороны и неуверенно запетляла к дому.

Чем ближе я подходил, тем более угрюмым казалось мне здание. По-видимому, оно представляло собою одно крыло неоконченной постройки. Предполагаемая средняя часть не доходила до верхних этажей и обрывалась, зияя в воздухе ступенчатыми контурами незавершенной каменной кладки. Многие окна не были застеклены, и летучие мыши выпархивали из них и залетали обратно, точно голуби на голубятне.

Пока я шел к дому, стало смеркаться, и в трех окнах высокого первого этажа, очень узких и забранных крепкими решетками, замерцал неверный огонек.

Так вот он каков, этот дворец, к которому я так долго шел! Так в этих-то стенах ждут меня новые друзья и блестящие виды на будущее? Да у нас в Эссен-

Уотерсайде так светились окна в родительском доме, такой дым валил из трубы, что за милю увидишь, а дверь даже нищему отворялась по первому стуку!

Я тихо подошел ближе и прислушался: кто-то гремел тарелками, то и дело раздавалось чье-то нудное, сухое покашливание, но хотя бы один звук человеческой речи, хотя бы собака затявкала!

Дверь, насколько я мог рассмотреть при скудном свете, была массивная, из цельного куска древесины, сплошь обитая гвоздями. С замирающим сердцем я поднял руку и стукнул разок. Постоял, подождал. В доме воцарилась мертвая тишина; проползла долгая минута, но ничто не шелохнулось, только летучие мыши сновали над головой. Я постучал еще раз и опять прислушался. Теперь ухо мое так привыкло к безмолвию, что я различал, как тикают часы в доме, медленно отсчитывая секунды; но его безвестные обитатели хранили мертвую тишину, наверно, даже затаили дыхание.

Я уж было заколебался, не убраться ли подобру-поздорову, но злость пересилила, и я начал барабанить в дверь кулаками, стучать ногами и громко звать мистера Бэлфура. Я разошелся вовсю, но вдруг услыхал покашливание как раз над собой и, отскочив, поднял голову: из окна нижнего этажа высунулась мужская голова в высоком ночном колпаке и дульный раструб мушкетона.

— Заряжено,— сказал голос.

— Я пришел сюда с письмом к владельцу замка Шос мистеру Эбенезеру Бэлфуру,— сказал я.— Есть здесь такой?

— От кого письмо? — спросил человек с мушкетом.

— Это к делу не относится,— сказал я, потому что был уже зол, как черт.

— Ладно,— донеслось сверху,— можешь подсунуть письмо под дверь, а сам убирайся отсюда.

— И не подумаю! — закричал я.— Отдам, кому предназначено: мистеру Бэлфуру в собственные руки. Это — рекомендательное письмо.

— Какое? — встревоженно переспросил голос.

Я повторил.

— Ты сам-то кто? — раздалось после довольно долгого молчания.

— Мне своего имени стыдиться нечего,— отвечал я.— Меня зовут Дэвид Бэлфур.

Я мог бы побожиться, что при этих словах мужчина вздрогнул: я услышал, как мушкетон звякнул о подоконник. Следующий вопрос был задан очень нескоро и странно изменившимся голосом:

— Твой отец умер?

Я так остолбенел, что лишился речи и стоял, хлопая глазами.

— Ну да, умер, не иначе,— продолжал мужчина.— То-то ты и пожаловал барабанить ко мне в дверь.— Снова молчание, а потом он закончил с вызовом: — Что же, друг любезный, я тебя впущу.

И скрылся за окном.

ГЛАВА III

Я ЗНАКОМЛЮСЬ СО СВОИМ ДЯДЕЙ

Очень скоро загромыхали многочисленные засовы и дверные цепочки, дверь самую малость приоткрылась и, едва я ступил за порог, тотчас затворилась опять.

— Проходи на кухню, да ничего не трогай,— велел мне уже знакомый голос.

Пока обитатель замка возился, старательно запирая дверь, я наугад двинулся вперед и очутился на кухне.

Огонь в очаге разгорелся довольно ярко, освещая помещение; я никогда не видел, чтобы в кухне было так голо. Полдюжины плошек на полках, на столе ужин: миска с овсянкой, роговая ложка, кружка жидкого пива. И больше во всей этой огромной пустой комнате с каменным сводом — ничегошеньки, только запертые сундуки вдоль стен да угловой шкафчик-поставец с висячим замком.

Наложив последнюю цепочку, мужчина последовал за мной. Я увидел тщедушное существо с землистым лицом, согбенное, узкоплечее, неопределенного возраста,— ему могло быть пятьдесят лет, могло быть и семьдесят. Колпак на нем был фланелевый, поверх дырявой рубахи, взамен сюртука и жилета, наброшен был фланелевый же капот. Он давно не брился. Но самое

удручающее, даже страшноватое были его глаза: не отрываясь от меня ни на секунду, они упорно избегали смотреть мне прямо в лицо. Определить, кто он по званию или ремеслу, я бы не взялся; впрочем, более всего он смахивал на старого слугу, который уже отработал свое и за угол и харчи оставлен присматривать за домом.

— Есть хочешь? — спросил он, остановив свой взгляд где-то на уровне моего колена.— Можешь отведать вот этой кашки.

Я ответил, что он, наверно, собирался поужинать ею сам.

— Ничего,— сказал он.— Я и так обойдусь. А вот эля выпью, от него у меня кашель мягчает.

По-прежнему не сводя с меня глаз, он отпил с полкружки и внезапно протянул руку.

— Поглядим-ка, что за письмо.

Я возразил, что письмо предназначается не ему, а мистеру Бэлфуру.

— А я кто, по-твоему? — сказал он.— Давай же сюда письмо Александра!

— Вы знаете, как звали отца?

— Мне ли не знать,— отозвался он,— если твой отец приходится мне родным братом, а я тебе, любезный друг Дэви, родным дядюшкой, хотя ты, видно, и гнушаешься мною, моим домом и даже моей доброй овсянкой. Ну, а ты, стало быть, доводишься мне родным племянничком. Так что давай-ка сюда письмо, а сам садись, замори червячка.

От стыда, усталости, разочарования мне не сдержать бы слез, будь я на год-другой моложе. Но сейчас, хоть и не в силах выдавить из себя ни слова хулы или привета, я подал ему письмо и стал давиться овсянкой. Куда только девался мой молодой аппетит!

Тем временем дядя, наклонясь к огню, вертел в руках письмо.

— Ты знаешь, что там писано? — вдруг спросил он.

— Печать цела, сэр,— отозвался я.— Вы сами видите.

— Так-то оно так,— сказал он.— Но что-то же привело тебя сюда?

— Пришел отдать письмо.

— Ну да! — с хитрой миной произнес он.— И для себя, надо думать, имел кой-какие виды?

— Не скрою, сэр,— сказал я,— когда мне сообщили, что со мной в родстве состоятельные люди, я и вправду понадеялся, что они мне помогут в жизни. Но я не побирушка, я от вас не жду подаяний, во всяком случае, таких, какие дают скрепя сердце. Не глядите, что я бедно одет,— и у меня есть друзья, которые только рады будут мне помочь.

— Та-та-та, порох! — сказал дядя Эбенезер.— Не кипятись понапрасну. Мы еще поладим как нельзя лучше. И, Дэви, дружок, если ты больше не хочешь каши, я ее, пожалуй, прикончу сам. М-мм, знатная еда овсянка,— продолжал он, согнав меня с табуретки и отобрав у меня ложку,— здоровая еда, вкусная.— Он скороговоркой пробубнил молитву и принялся за кашу.— Отец твой, помнится, любитель был поесть. Не то чтобы обжора, но едок отменный, а я — нет: клюну разок-другой и сыт.— Он отхлебнул пива и, как видно, вспомнив про долг гостеприимства, предложил: — Если хочешь промочить горло, вода за дверью.

Я ничего не ответил на это и продолжал стоять, не двигаясь, пристально глядел на дядю и еле сдерживался от гнева. Дядя же продолжал поспешно набивать себе рот, а сам то и дело косился на мои башмаки, на грубые, деревенской вязки чулки. Один лишь раз он отважился посмотреть выше, наши взгляды встретились, и у дяди смятенно забегали глаза, как у карманного воришки, пойманного с поличным. Это навело меня на размышления: не потому ли он держится так несмело, что отвык бывать на людях, а когда немного освоится, это пройдет и мой дядя обернется совсем другим. Меня вывел из раздумья его скрипучий голос:

— И давно умер твой отец?

— Вот уже три недели, сэр,— ответил я.

— Он был себе на уме, Александр,— потайной человек, молчун,— продолжал дядя.— В молодости, бывало, от него слова не дождешься. Небось, и про меня не много говорил?

— Я и не знал, что у него есть брат, сэр, пока вы сами не сказали.

— Ай-яй-яй! — сказал Эбенезер.— Неужели и про Шос не рассказывал?

— Даже названия не поминал, сэр.

— Подумать! — сказал мой дядя.— Удивительно, что за человек!

При всем том он был, казалось, на редкость доволен, не знаю только, собою ли, мной или таким удивительным поведением моего отца. Одно было очевидно: то неприязненное, даже враждебное чувство, которое на первых порах внушала ему моя особа, по-видимому, начинало проходить; во всяком случае, немного погодя он вскочил на ноги, подошел ко мне сзади и бодро хлопнул по плечу.

— Дай срок, мы еще славно поладим! — вскричал он.— Я, право, рад, что впустил тебя в дом. Ну, а теперь ступай в постель.

Как ни странно, он не стал зажигать лампу или свечу, а, выйдя в темную прихожую, начал ощупью, тяжело дыша, подниматься по лестнице, потом остановился возле какой-то двери и отпер ее. Я кое-как вслепую ковылял сзади и едва не наступил ему на пятки, а он, объявив, что здесь будет моя комната, пригласил меня войти. Я так и сделал, но через несколько шагов остановился и попросил огня, чтобы лечь спать при свете.

— Та-та-та! — сказал дядя Эбенезер.— При эдакой-то луне!

— Ни луны, ни звезд, сэр,— возразил я.— Тьма-тьмущая, кровати не видно.

— Та-та-та, вздор! — сказал он.— Если что не по мне, так это огонь в доме. Смерть боюсь пожаров. Покойной тебе ночи, Дэви, дружок любезный.

И, не дав мне ни секунды для новых возражений, он потянул на себя дверь, и я услышал, как он запирает меня снаружи.

Я не знал, смеяться мне или плакать. В комнате было холодней, чем в колодце, а кровать, когда я нашарил ее в темноте, оказалась сырой, как торфяное болото; хорошо еще, что я захватил с собой плед и узелок; завернувшись в плед, я улегся прямо на полу возле массивной кровати и мгновенно уснул.

Едва забрезжил рассвет, я открыл глаза и увидел, что нахожусь в просторной комнате, оклеенной тисненой кожей; комната была уставлена великолепной, обитой гобеленами мебелью и освещалась тремя большими окнами. Десять, может быть, двадцать лет назад лечь спать или проснуться тут было, наверное, одно удовольствие; но с тех пор сырость, грязь, запустение да еще

мыши и пауки сделали свое дело. К тому же почти все оконные стекла были разбиты, да и вообще весь замок зиял пустыми окнами; невольно приходило на ум, что моему дядюшке довелось в свое время выдержать осаду возмущенных соседей — чего доброго, во главе с Дженнет Клустон.

Меж тем за окном сияло солнце, а я весь продрог в этой злосчастной комнате; я принялся стучать в дверь и призывать своего тюремщика, пока он не явился и не выпустил меня.

Он повел меня за дом к колодцу с бадейкой, сказал: «Вот, хочешь — умывайся»,— и я, совершив омовение, поспешил на кухню, где он уже затопил печь и варил овсянку. На столе красовались две миски и две роговые ложки, но по-прежнему лишь одна кружка жидкого пива. Быть может, на этой подробности сервировки мой взгляд задержался с некоторым удивлением и, быть может, это не укрылось от дяди; во всяком случае, как бы в ответ на мои мысли, он спросил, не выпью ли я эля — так он величал этот напиток.

Я ответил, что обычно пью, но пусть он не беспокоится.

— Нет, отчего же,— сказал он.— Мне для тебя ничего не жаль, в границах разумного.

Он достал с полки вторую кружку и затем, к величайшему моему изумлению, вместо того, чтобы нацедить еще пива, отлил в нее ровно половину из своей собственной. Это был поступок, исполненный своеобразного благородства, поразившего меня до глубины души; да, передо мной был, конечно, скряга, но скряга высшей марки, у такого даже порок обретает некий оттенок приличия.

Когда мы поели, дядя Эбенезер отомкнул ящик посудного шкафа, вынул глиняную трубку, пачку табаку, отрезал щепоть ровно на одну закурку и запер табак обратно. Потом сел на солнце поближе к окну и молча закурил. Время от времени он косился на меня и бросал мне отрывистый вопрос. Один раз это было:

— А матушка твоя как?

И, когда я ответил, что она тоже умерла:

— Да, пригожая была девица!

Потом — долгое молчание и опять:

— Что ж это у тебя за друзья?

Я сказал, что все они джентльмены из рода Кемпбеллов; на самом же деле, если кто из них и обращал на меня хоть какое-то внимание, то лишь один, и этот один был пастор. Но я стал подозревать, что мой дядя слишком низко меня ставит, и, очутившись с ним один на один, хотел дать ему понять, что за меня есть кому вступиться.

Он, казалось, что-то прикидывал в уме; потом заговорил:

— Дэви, друг любезный, ты не ошибся, что пришел к своему дяде Эбенезеру. Для меня честь семьи превыше всего, и свой долг по отношению к тебе я исполню. Но покуда я не придумал, куда тебя лучше определить — то ли по юридической части, то ли по духовной, а может быть, и в армию, ведь молодые люди только о ней и мечтают,— я уж тебя попрошу, держи язык за зубами: негоже Бэлфуру ронять себя перед какими-то захудалыми Кемпбеллами из горного края. Никаких писем, никаких переговоров — короче, никому ни слова, а нет, так вот тебе бог, а вот порог.

— Дядя Эбенезер,— сказал я.— У меня нет причин не верить, что вы мне желаете только добра. При всем том, было бы вам известно, и у меня есть своя гордость. Я пришел сюда не по своей воле, и если вы еще раз вздумаете указать мне на дверь, вам не придется повторять дважды.

Ох, видно, и не понравился ему мой ответ!

— Та-та-та,— сказал он.— И все ты торопишься, друг любезный. Погоди денек-другой. Я ведь не чародей какой-нибудь, чтобы осыпать тебя золотом из котелка с овсянкой. Ты только дай мне день или два, никому ничего не говори, и я о тебе позабочусь, будь покоен.

— Вот и ладно,— сказал я.— Коротко и ясно. Если вы хотите мне помочь, знайте, что я буду и рад и благодарен.

Я начал думать (боюсь, слишком рано), что дядя спасовал передо мной, и вслед за этим заявил ему, что надо вынести и посушить на солнце мой матрас и одеяло, а в такой сырости я спать нипочем не буду.

— Кто хозяин этому дому, ты или я? — проскрипел он своим въедливым голосом, но мгновенно осекся.— Нет, нет, это я так,— сказал он.— Нам ли считаться,

Дэви, дружочек: твое, мое... Родная кровь — не пустяк, а нас, Бэлфуров, только и осталось, что мы с тобой.

И он сбивчиво залопотал о былом величии нашего рода, о том, как отец его затеял перестройку замка, а он положил конец этому греховному расточительству; и при этих словах я решился выполнить поручение Дженнет Клустон.

— Паскуда эдакая! — взвизгнул он в ответ.— В тысячу двести девятнадцатый — стало быть, дня не пропустила с тех пор, как я в уплату долга продал ее добро с торгов! Ничего, Дэвид, она еще у меня пожарится на горячих угольках! Я этого так не оставлю. Ведьма — спроси кого хочешь, ведьма! Сию минуту иду к мировому.

С этими словами он открыл сундук, вынул очень старый, но почти не ношенный синий кафтан с жилетом и вполне приличную касторовую шляпу, то и другое без галуна. Он напялил это все вкривь и вкось, вооружился вынутой из шкафчика палкой, навесил обратно замки и совсем было собрался уходить, как вдруг какая-то мысль остановила его.

— Я не могу бросить дом на тебя одного,— сказал он.— Ты выйди, я запру дверь.

Кровь бросилась мне в лицо.

— Если запрете, только вы меня и видели,— сказал я.— А встретимся, так уж не по-хорошему.

Дядя весь побелел и закусил губу.

— Так не годится, Дэвид,— проскрипел он, злобно уставясь в угол.— Так тебе никогда не добиться моего расположения.

— Сэр,— отозвался я,— при всем почтении к вашему возрасту и к нашему родству я не приму от вас милостей в обмен на унижение. Меня учили уважать себя, и пусть вы мне хоть двадцать раз дядя, пусть у меня, кроме вас, ни единой родной души на белом свете, такой ценой я ваше расположение покупать не собираюсь.

Дядя Эбенезер прошелся по кухне и встал лицом к окну. Я видел, как его трясет и передергивает, словно паралитика. Но когда он обернулся, на лице его была улыбка.

— Ну, ну,— сказал он.— Бог терпел и нам велел. Я остаюсь, и дело с концом.

— Дядя Эбенезер,— вырвалось у меня,— я не понимаю. Вы обращаетесь со мной, как с жуликом, мое присутствие в этом доме вам невыносимо, и вы даете мне это почувствовать каждую минуту и каждым вашим словом. Вы невзлюбили меня и не полюбите никогда, а что до меня, мне и не снилось, что я когда-нибудь буду разговаривать с человеком так, как говорю с вами. Для чего же вы меня удерживаете? Дайте я вернусь обратно к тем, кто мне друзья, кто меня любит!

— Нет-нет,— с большим чувством сказал он.— Нет. Ты мне очень по сердцу. Мы еще поладим, да и честь дома не позволяет, чтобы ты ушел ни с чем. Повремени малость, будь умницей — погости здесь, тихохонько, спокойненько, и ты увидишь, все образуется как нельзя лучше.

— Что ж, сэр,— сказал я после недолгого раздумья,— побуду немного. Все же правильней, чтобы мне помогли не чужие, а родичи. Ну, а если не сойдемся, постараюсь, чтобы не по моей вине.

ГЛАВА IV

МНЕ УГРОЖАЕТ ВЕЛИКАЯ ОПАСНОСТЬ В ЗАМКЕ ШОС

Остаток дня, начавшегося так неладно, прошел вполне сносно. Полдничали мы холодной овсянкой, ужинали — горячей: мой дядя никаких разносолов, кроме овсянки и легкого пива, не признавал. Говорил он мало, и все на прежний манер: помолчит-помолчит, да и стрельнет в меня вопросом; а когда я попробовал завести разговор о моем будущем, он и на этот раз увильнул. В комнате по соседству с кухней, где мне дозволено было уединиться, я обнаружил видимо-невидимо книг, латинских и английских, и не без удовольствия просидел над ними весь день. В этом приятном обществе время летело так незаметно, что я уже готов был примириться со своим пребыванием в замке Шос, и только при виде дядюшки Эбенезера и его глаз, упорно играющих в прятки с моими, недоверие пробуждалось во мне с новой силой.

Вдруг я наткнулся на нечто такое, что заронило мне в душу подозрение. То был тоненький сборник баллад

(из серии Патрика Уокера), на форзаце которого, несомненно рукой моего отца, было выведено: «Брату моему Эбенезеру в день, когда ему исполняется пять лет». Это было поразительно: мой отец, разумеется,— младший из братьев, стало быть, либо он допустил какую-то непонятную ошибку, либо, еще не дожив до пятилетнего возраста, умел писать прекрасным, четким, совсем не детским почерком.

Я гнал от себя эти мысли, но сколько ни попадалось мне потом интересных книжек, старых и новых, книг по истории, стихов и рассказов, тайна отцовского почерка не выходила у меня из головы. И когда наконец я воротился на кухню, чтобы вновь подкрепиться овсянкой и пивом, я первым делом спросил у дяди Эбенезера, легко ли моему отцу давалась грамота.

— Александру? Какое там! — ответил он.— Мне она давалась куда легче, я в детстве был толковый малец. Я даже читать научился в одно время с ним.

Это озадачило меня еще больше и, повинуясь новой догадке, я спросил, не близнецы ли они с отцом.

Дядя вскочил с табуретки как ужаленный, роговая ложка выпала у него из руки и покатилась на пол.

— Ты зачем это спрашиваешь? — проскрипел он, ухватив меня за отвороты куртки и на этот раз впиваясь мне прямо в глаза маленькими выцветшими глазками; блестящие, как у птицы, они как-то странно щурились и помаргивали.

— Это еще что такое? — очень спокойно сказал я; ведь я был намного сильней его, и напугать меня было не так-то просто.— Уберите руку с моей куртки. Как вы себя ведете?

Дядя с видимым усилием овладел собой.

— Боже праведный, Дэвид,— сказал он.— Не надо было заговаривать со мной о твоем отце. Напрасно ты это сделал.— Он посидел, дрожа, мигая себе в тарелку.— Пойми, у меня был один брат, один-единственный,— прибавил он голосом, в котором не было и тени искренности, потом поднял упавшую ложку и вернулся к прерванному ужину, все еще не в силах унять дрожь.

Отчего он поднял на меня руку? Зачем это внезапное признание в любви к моему покойному отцу? Эта последняя выходка настолько не укладывалась у меня в

сознании, что вселила в меня и страх и надежду. Признаюсь, я стал побаиваться, что дядя не совсем в своем уме и оставаться с ним вдвоем небезопасно; однако наряду с этим у меня в голове сама собой (вопреки даже моей воле) складывалась история, похожая на одну из тех баллад, что поются в народе: о бедном юноше, законном наследнике замка, и злом сородиче, который задумал его обездолить. И правда, с чего бы моему дяде носить личину перед бедным, почти нищим родственником, который явился незваным к нему под дверь, не будь у него тайных причин опасаться гостя?

С этой мыслью, непрошеной и все же прочно укоренившейся в моем мозгу, я, переняв дядин обычай, принялся наблюдать за ним краешком глаза. Так и сидели мы с ним за столом, точно кошка с мышью, исподтишка следя друг за другом. Он больше не бранился, не лебезил, вообще не проронил ни слова, только неотступно думал что-то свое; и чем дольше мы сидели, чем больше я к нему приглядывался, тем сильней проникался уверенностью, что он замышляет недоброе.

Очистив миску, он, точь-в-точь как утром, достал щепоть табаку, подвинул табуретку в угол поближе к огню, сел, повернувшись ко мне спиной, и закурил.

— Дэви,— сказал он после долгого молчания.— Я тут надумал кое-что...— Он помедлил и повторил: — Кое-что надумал, да. Когда ты только должен был родиться, я вроде как дал обещание подарить тебе горсть серебра... отцу твоему обещал. Нет, ты меня пойми: не то, чтобы по всей форме, а так, полушутя, за бутылкой вина. Ну, отложил я эти денежки — себе же в ущерб, но слово есть слово,— а они тем временем росли, так что теперь набежало ровным счетом...— он запнулся и промямлил: — ровным счетом... ровнехонько сорок фунтов! — выпалил он наконец, скосившись на меня через плечо, и в ту же секунду, едва не срываясь на вопль, поправился: — Шотландских!

Шотландский фунт — то же, что английский шиллинг, и разница с этой оговоркой выходила немалая; притом видно было, что эта история сплошная ложь, придуманная с какой-то целью, которую я тщетно силился разгадать, поэтому я отозвался, даже не пытаясь скрыть насмешки:

— Полноте, сэр, подумайте хорошенько! Верно, фунтов стерлингов!

— Я и сказал: «фунтов стерлингов»! — подтвердил дядюшка.— Ты бы на минуту вышел за дверь, взглянул, какая погода на дворе, а я б их тебе достал и кликнул тебя обратно.

Я послушался, презрительно усмехаясь про себя: он думает, что меня так легко обвести вокруг пальца. Ночь была темная, низко над краем земли мерцали редкие звезды; я слышал, стоя на пороге, как с заунывным воем носится ветер меж дальних холмов. Помню, я отметил, что погода меняется и будет гроза, но мог ли я знать, как это важно окажется для меня еще до исхода ночи...

Потом дядя позвал меня обратно, отсчитал мне в руку тридцать семь золотых гиней; но когда у него осталась лишь пригоршня золотой и серебряной мелочи, сердце его не выдержало, и он ссыпал ее себе в карман.

— Вот тебе,— произнес он.— Видишь теперь? Я человек странный, тем более с чужими, но слово мое нерушимо, и вот тому доказательство.

Говоря по правде, мой дядя казался таким отъявленным скопидомом, что я онемел от столь внезапной щедрости и даже не сумел толком его поблагодарить.

— Не надо слов! — возгласил он.— Не надо благодарности! Я исполнил свой долг; я не говорю, что всякий поступил бы так же, но мне (хоть я и осмотрительный человек) только приятно сделать доброе дело сыну моего брата и приятно думать, что теперь между нами все пойдет на лад, как и должно у таких близких друзей.

Я ответил ему со всей учтивостью, на какую был способен, а сам тем временем гадал, что будет дальше и чего ради он расстался со своими ненаглядными гинеями: ведь его объяснение не обмануло бы и младенца.

Но вот он кинул на меня косой взгляд.

— Ну и, сам понимаешь,— сказал он,— услуга за услугу.

Я сказал, что готов доказать свою благодарность любым разумным способом, и выжидающе замолчал, предвидя какое-нибудь чудовищное требование. Однако когда он наконец набрался духу открыть рот, то лишь для того, чтобы сообщить мне (вполне уместно, как я подумал), что становится стар и немощен и рассчитывает на мою помощь по дому и в огороде.

Я ответил, что охотно ему послужу.

— Тогда начнем.— Он вытащил из кармана заржавленный ключ.— Вот,— объявил он.— Этот ключ от лестничной башни в том крыле замка. Попасть туда можно только снаружи, потому что та часть дома недостроена. Ступай, поднимись по лестнице и принеси мне сундучок, что стоит наверху. В нем хранятся бумаги,— добавил он.

— Можно взять огня, сэр? — спросил я.

— Ни-ни,— лукаво сказал он.— Никаких огней в моем доме.

— Хорошо, сэр. Лестница крепкая?

— Великолепная лестница,— сказал он и, когда я повернулся к двери, прибавил: — Держись ближе к стене, перил нету. Но сами ступеньки хоть куда.

Я вышел; стояла ночь. Вдали по-прежнему завывал ветер, хотя до самого замка Шос не долетало ни единого дуновения. Кругом стало еще непроглядней; хорошо хоть, что до двери лестничной башни, замыкавшей недостроенное крыло, можно было пробраться ощупью вдоль стены. Я вставил ключ в замочную скважину и не успел его повернуть, как внезапно, в полном безветрии и гробовой тишине, по всему небу ярым светом полыхнула зарница — и снова все почернело. Я должен был закрыть глаза рукой, чтобы привыкнуть к темноте, но все равно вошел в башню наполовину ослепленный.

Внутри стояла такая плотная мгла, что, казалось, нечем дышать; но я переступал с великой осторожностью, вытянув вперед руки, и вскоре пальцы мои уперлись в стену, а нога наткнулась на нижнюю ступеньку. Стена, как я определил на ощупь, была сложена из гладко отесанного камня, лестница, правда, узковатая и крутая, была тоже каменная с гладко отполированными, ровными, прочными ступенями. Памятуя напутствие дяди насчет перил, я держался как можно ближе к стене и в кромешной темноте, с бьющимся сердцем, нащупывал одну ступеньку за другой.

Замок Шос, помимо чердака, насчитывал целых пять этажей. И вот, по мере того как я взбирался все выше, мне казалось, что на лестнице становится все легче дышать, а мрак чуточку редеет, и я только дивился, отчего бы это, как вдруг опять сверкнула зарница и тотчас

погасла. Если я не вскрикнул, то лишь оттого, что страх сдавил мне горло; если не полетел вниз, то скорей по милости провидения, а не из-за собственной ловкости. Свет молнии ворвался в башню со всех сторон сквозь бреши в стене; оказалось, что я карабкаюсь вверх как бы по открытым лесам; мало того: этой мимолетной вспышки было довольно, чтобы я увидел, что ступеньки разной длины и в каких-нибудь двух дюймах от моей правой ноги зияет провал.

Так вот она какова, эта великолепная лестница! С этой мыслью какая-то злобная отвага вселилась мне в душу. Мой дядя заведомо послал меня сюда навстречу грозной опасности, может быть, навстречу смерти. И я поклялся установить «может быть» или «бесспорно», даже если сломаю себе на этом шею. Я опустился на четвереньки и с черепашьей скоростью двинулся дальше вверх по лестнице, нащупывая каждый дюйм, пробуя прочность каждого камня. После вспышки зарницы тьма словно сгустилась вдвое; мало того, наверху, под стропилами башни, подняли страшную возню летучие мыши, шум забивал мне уши, мешал сосредоточиться; вдобавок гнусные твари то и дело слетали вниз, задевая меня по лицу и по плечам.

Башня, надо сказать, была квадратная, и плита каждой угловой ступеньки, на которой сходились два марша, была шире и другой формы, чем остальные. Поднявшись до одного такого поворота, я продолжал нащупывать дорогу, как вдруг моя рука сорвалась в пустоту. Ступеней дальше не было. Заставить чужого человека подняться по такой лестнице в темноте означало послать его на верную смерть; и, хотя вспышка зарницы и собственная осторожность спасли меня, при одной мысли о том, какая меня подстерегала опасность и с какой страшной высоты я мог упасть, меня прошиб холодный пот, и я как-то сразу обессилел.

Зато теперь я знал, что мне было надо; я повернул обратно и стал так же, ползком, спускаться, а сердце мое было переполнено гневом. Когда я был примерно на полпути вниз, на башню налетел мощный порыв ветра, стих на мгновение — и разом хлынул дождь; я не сошел еще с последней ступеньки, а уже лило как из ведра. Я высунулся наружу и поглядел в сторону кухни. Дверь, которую я плотно притворил уходя, была теперь открыта,

изнутри сочился тусклый свет, а под дождем виднелась, кажется, фигура человека, который замер в неподвижности, как бы прислушиваясь. В эту секунду ослепительно блеснула молния — я успел ясно увидеть, что мне не почудилось и на том месте в самом деле стоит мой дядя,— и тотчас грянул гром.

Не знаю, что послышалось дяде Эбенезеру в раскате грома: звук ли моего падения, глас ли господень, обличающий убийцу,— об этом я предоставляю догадываться читателю. Одно было несомненно: его обуял панический страх, и он бросился обратно в дом, оставив дверь за собою открытой. Я как можно тише последовал за ним, неслышно вошел в кухню и остановился, наблюдая.

Он успел уже отпереть поставец с посудой, достал большую оплетенную бутыль виски и сидел у стола спиной ко мне. Его поминутно сотрясал жестокий озноб, и он с громким стоном подносил к губам бутыль и залпом глотал неразбавленное зелье.

Я шагнул вперед, подкрался к нему сзади вплотную и с размаху хлопнул обеими руками по плечам.

— Ага! — вскричал я.

Дядя издал какой-то прерывистый блеющий вопль, вскинул руки и замертво грохнулся наземь. Я немного оторопел; впрочем, прежде всего следовало позаботиться о себе, и, недолго раздумывая, я оставил его лежать на полу. В посудном шкафчике болталась связка ключей, и пока к дядюшке вместе с сознанием не вернулась способность строить козни, я рассчитывал добыть себе оружие. В шкафчике хранились какие-то склянки, иные, вероятно, с лекарствами, а также великое множество счетов и прочих бумаг, в которых я был бы очень не прочь порыться, будь у меня время; здесь же стояли разные хозяйственные мелочи, которые мне были ни к чему. Потом я перешел к сундукам. Первый был до краев полон муки, второй набит мешочками монет и бумагами, связанными в пачки. В третьем среди вороха всякой всячины (по преимуществу одежды) я обнаружил заржавленный, но достаточно грозный на вид шотландский кинжал без ножен. Его-то я и спрятал под жилет и уже потом занялся дядей.

Он лежал, как куль, в том же положении, поджав одно колено и откинув руку; лицо его посинело, дыхания не было слышно. Я испугался, не умер ли он, при-

нес воды и начал брызгать ему в лицо; тогда он мало-помалу стал подавать признаки жизни, пожевал губами, веки его дрогнули. Наконец он открыл глаза, увидел меня, и лицо его исказилось сверхъестественным ужасом.

— Ничего-ничего,— сказал я.— Садитесь-ка потихоньку.

— Ты жив? — всхлипнул он.— Боже мой, неужели ты жив?

— Жив, как видите,— сказал я.— Только вас ли за то благодарить?

Он схватил воздух ртом, глубоко и прерывисто дыша.

— Синий пузырек...— выговорил он.— В поставце... синий.

Он задышал еще реже.

Я кинулся к шкафчику, и точно, там оказался синий лекарственный пузырек с бумажным ярлыком, на котором значилась доза. Я поспешно поднес дяде лекарство.

— Сердце,— сказал он, когда немного ожил.— Сердце у меня больное, Дэви. Я очень больной человек.

Я усадил дядю на стул и поглядел на него. Вид у него был самый несчастный, и меня, признаться, разбирала жалость, но вместе с тем я был полон справедливого негодования. Один за другим, я выложил ему все вопросы, которым требовал дать объяснение. Зачем он лжет мне на каждом слове? Отчего боится меня отпустить? Отчего ему так не понравилось мое предположение, что они с моим отцом близнецы, не оттого ли, что оно верно? Для чего он дал мне деньги, которые, я убежден, никоим образом мне не принадлежат? И отчего, наконец, он пытался меня прикончить?

Он молча выслушал все до конца; потом дрожащим голосом взмолился, чтобы я позволил ему лечь в постель.

— Утром я все расскажу,— говорил он.— Клянусь тебе жизнью...

Он был так слаб, что мне ничего другого не оставалось, как согласиться. На всякий случай я запер его комнату и спрятал ключ в карман; а потом, возвратясь на кухню, развел такой жаркий огонь, какого этот очаг не видывал долгие годы, завернулся в плед, улегся на сундуках и заснул.

ГЛАВА V

Я УХОЖУ НА ПЕРЕПРАВУ «КУИНСФЕРРИ»

Дождь шел всю ночь, а наутро с северо-запада подул ледяной пронизывающий ветер, гоня рваные тучи. И все-таки еще не выглянуло солнце и не погасли последние звезды, как я сбегал к ручью и окунулся в глубоком бурливом бочажке. Все тело у меня горело после такого купания; я вновь сел к пылающему очагу, подбросил в огонь поленьев и принялся основательно обдумывать свое положение.

Теперь уже не было сомнений, что дядя мне враг; не было сомнений, что я ежесекундно рискую жизнью, что он всеми правдами и неправдами будет добиваться моей погибели. Но я был молод, полон задора и, как всякий деревенский юнец, был весьма высокого мнения о собственной смекалке. Я пришел к его порогу почти что нищим, почти ребенком, и чем он встретил меня? Коварством и жестокостью; так поделом же ему будет, если я подчиню его себе и стану помыкать им, как пастух стадом баранов!

Так сидел я, поглаживая колено, и улыбался, щурясь на огонь: я уже видел мысленно, как выведываю один за другим все его секреты и становлюсь его господином и повелителем. Болтают, что эссендинский колдун сделал зеркало, в котором всякий может прочесть свою судьбу; верно, не из раскаленных углей смастерил он свое стекло, потому что сколько ни рисовалось мне видений и картин, не было среди них ни корабля, ни моряка в косматой шапке, ни дубинки, предназначенной для глупой моей головы,— словом, ни малейшего намека на те невзгоды, что готовы были вот-вот обрушиться на меня.

Наконец, положительно лопаясь от самодовольства, я поднялся наверх и выпустил своего узника. Он учтиво пожелал мне доброго утра, и я, посмеиваясь свысока, независимо отвечал ему тем же. Вскоре мы расположились завтракать, словно ровным счетом ничего не переменилось со вчерашнего дня.

— Итак, сэр? — язвительно начал я.— Неужели вам больше нечего мне сказать? — И, не дождавшись внятного ответа, продолжал: — Мне кажется, пора нам понять друг друга. Вы приняли меня за деревенского про-

стачка, несмелого и тупого, как чурбан. Я вас — за доброго человека, по крайней мере человека не хуже других. Видно, мы оба ошиблись. Какие у вас причины меня бояться, обманывать меня, покушаться на мою жизнь?..

Он забормотал было, что он большой забавник и задумал лишь невинную шутку, но при виде моей усмешки переменил тон и обещал, что как только мы позавтракаем, все мне объяснит. По его лицу я видел, что он еще не придумал, как мне солгать, хоть и старается изо всех сил,— и, наверно, сказал бы ему это, но мне помешал стук в дверь.

Велев дяде сидеть на месте, я пошел отворить. На пороге стоял какой-то подросток в моряцкой робе. Завидев меня, он немедленно принялся откалывать коленца матросской пляски — я тогда и не слыхивал о такой, а уж не видывал и подавно,— прищелкивая пальцами и ловко выбивая дробь ногами. При всем том он весь посинел от холода, и было что-то очень жалкое в его лице, какая-то готовность не то рассмеяться, не то заплакать, которая совсем не вязалась с его лихими ухватками.

— Как живем, друг? — осипшим голосом сказал он.

Я с достоинством спросил, что ему угодно.

— А чтоб мне угождали! — ответил он и пропел:

Вот, что мило мне при светлой луне
Весеннею порой.

— Извини мою неучтивость,— сказал я,— но раз не за делом пришел, то и делать тебе здесь нечего.

— Постой, браток! — крикнул он.— Ты что, шуток не понимаешь? Или хочешь, чтобы мне всыпали? Я принес мистеру Бэлфуру письмо от старикана Хози-ози.— Он показал мне письмо и прибавил: — А еще, друг, я помираю с голоду.

— Ладно,— сказал я.— Зайди в дом. Пускай хоть сам попощусь, а для тебя кусок найдется.

Я привел его в кухню, усадил на свое место, и бедняга с жадностью накинулся на остатки завтрака, поминутно подмигивая мне и не переставая гримасничать: видно, в простоте душевной, он воображал, что так и положено держаться настоящему мужчине. Дядя тем временем пробежал глазами письмо и погрузился в задумчивость. Внезапно, с необычайной живостью, он вскочил и потянул меня в дальний конец кухни.

— На-ка, прочти,— и он сунул мне в руки письмо.

Вот оно лежит передо мною и сейчас, когда я пишу эти строки.

«Переправа «Куинсферри».
Трактир «Боярышник».

Сэр!

Я болтаюсь здесь на рейде и посылаю к вам юнгу с донесением. Буде вам явится надобность что-либо добавить к прежним вашим поручениям, то последний случай сегодня, ибо ветер благоприятствует и мы выходим из залива. Не стану отпираться, мы кое в чем не сошлись с вашим доверенным мистером Ранкилером, каковое обстоятельство, не будучи спешно улажено, может привести к некоторому для вас ущербу. Я составил вам счет соответственно вырученной сумме, с чем и остаюсь, сэр,

ваш покорнейший слуга
Элайс Хозисон».

— Понимаешь, Дэви,— продолжал дядя, увидев, что я кончил читать,— этот Хозисон — капитан торгового брига «Завет» из Дайсета, и у меня с ним дела. Нам бы с тобой пойти сейчас с этим мальчонкой: я бы тогда заодно повидался с капитаном, в «Боярышнике» или на борту «Завета», если требуется подписать какие-то бумаги, а оттуда, не теряя даром времени, мы можем прямо пойти к стряпчему, мистеру Ранкилеру. Мое слово, после всего что случилось, для тебя теперь мало значит, но Ранкилеру ты поверишь. Он у доброй половины местного дворянства ведет дела, человек старый, очень уважаемый; да к тому же он знавал твоего отца.

Я постоял в раздумье. Там, куда он меня зовет, много кораблей, а стало быть, много народу; на людях дядя не отважится применить насилие, да и пока с нами юнга, опасаться нечего. А уж на месте я, верно, сумею заставить дядю пойти к стряпчему, даже если сейчас он это предлагает лишь для отвода глаз. И потом, как знать, не хотелось ли мне в глубине души поближе взглянуть на море и суда! Не забудьте, что я всю жизнь прожил в горах, вдали от побережья, и всего два дня назад впервые увидел синюю гладь залива и на ней

крохотные, словно игрушечные, кораблики под парусами. Так или иначе, но я согласился.

— Хорошо,— сказал я.— Давайте сходим к переправе.

Дядя напялил шляпу и кафтан, нацепил старый ржавый кортик, мы загасили очаг, заперли дверь и двинулись в путь.

Дорога проходила по открытому месту, и холодный северо-западный ветер бил нам в лицо. Был июнь месяц, в траве белели маргаритки, деревья стояли в цвету, а глядя на наши синие ногти и онемевшие запястья, можно было подумать, что наступила зима и все вокруг прихвачено декабрьским морозом.

Дядя Эбенезер тащился по обочине, переваливаясь с боку на бок, словно старый пахарь, возвращающийся с работы. За всю дорогу он не проронил ни слова, и я поневоле разговорился с юнгой. Тот сказал, что зовут его Рансомом, что в море он ходит с девяти лет, а сколько ему сейчас, сказать не может, потому что сбился со счета. Открыв грудь прямо на ветру, он, не слушая моих увещаний, что так недолго застудиться насмерть, показал мне свою татуировку; он сыпал отборной бранью кстати и некстати, но получалось это неумело, по-мальчишески; он важно перечислял мне свои геройские подвиги: тайные кражи, поклепы и даже убийства,— но с такими невероятными подробностями, с таким пустым и беспомощным бахвальством, что поверить было никак нельзя, а не пожалеть его невозможно.

Я расспросил его про бриг — он объявил, что это лучшее судно на свете — и про капитана, которого он принялся славословить с не меньшим жаром. По его словам, выходило, что Хози-ози (так он по-прежнему именовал шкипера) — из тех, кому не страшен ни черт, ни дьявол, кто, как говорится, «хоть на страшный суд прилетит на всех парусах», что нрава он крутого: свирепый, отчаянный, беспощадный. И всем этим бедняга приучил себя восхищаться и такого капитана почитал морским волком и настоящим мужчиной! Всего один изъян видел Рансом в своем кумире.

— Только моряк он никудышный,— доверительно сообщил он мне.— Управляет бригом мистер Шу́ан, этот — моряк, каких поискать, верь слову, только выпить любит! Глянь-ка! — Тут он отвернул чулок и показал мне глубокую рану, открытую, воспаленную — у меня при виде нее кровь застыла в жилах,— и гордо прибавил: — Это все он, мистер Шуан!

— Что? — вскричал я.— И ты сносишь от него такие зверства? Да кто ты, раб, чтобы с тобой так обращались?

— Вот именно! — подхватил несчастный дурачок, сразу впадая в другую крайность.— И он еще это узнает! — Он вытащил из чехла большой нож, по его словам, краденый.— Видишь? — продолжал он.— Пускай попробует, пускай только посмеет! Я ему удружу! Небось, не впервой! — и в подтверждение своей угрозы выругался, грязно, беспомощно и не к месту.

Никогда еще никого мне не было так жалко, как этого убогого несмышленыша; и притом я начал понимать, что на бриге «Завет», несмотря на его святое название, как видно, немногим слаще, чем в преисподней.

— А близких у тебя никого нет? — спросил я.

Он сказал, что в одном английском порту, уж не помню в каком, у него был отец.

— Хороший был человек, да только умер.

— Господи, неужели ты не можешь подыскать себе приличное занятие на берегу? — воскликнул я.

— Э, нет,— возразил он, хитро подмигнув.— Не на такого напали! На берегу мигом к ремеслу пристроят.

Тогда я спросил, есть ли ремесло ужасней того, которым он занимается теперь с опасностью для жизни,— и не только из-за бурь и волн, но еще из-за чудовищной жестокости его хозяев. Он согласился, что это правда, но тут же принялся расхваливать эту жизнь, рассказывая, как приятно сойти на берег, когда есть денежки в кармане, промотать их, как подобает мужчине, накупить яблок и вообще покрасоваться на зависть, как он выразился, «сухопутной мелюзге».

— Да и не так все страшно,— храбрился он.— Другим еще солоней. Взять хотя бы «двадцатифунтовок». Ух! Поглядел бы ты, каково им приходится! Я одного видел своими глазами: мужчина уже в твоих годах (я для него был чуть ли не старик), бородища — во, а только мы вышли из залива и у него зелье выветрилось из головы, он — ну реветь! Ну убиваться! Уж я его поднял на смех, будь уверен! Или, опять же, мальки. Ох, и до чего же мелочь! Будь уверен, они у меня

по струнке ходят. На случай, когда на борту мальки, у меня есть особый линек, чтобы их постегивать.

И так далее в том же духе, пока я не уразумел, что «двадцатифунтовки» — это либо несчастные преступники, которых переправляют в Северную Америку в каторжные работы, либо еще более несчастные и ни в чем не повинные жертвы, которых похитили или, по тогдашнему выражению, умыкнули обманом, ради личной выгоды или из мести.

Тут мы взошли на вершину холма, и нам открылась переправа и залив. Фёрт-оф-Форт в этом месте, как известно, сужается: к северу, где он не шире хорошей реки, удобное место для переправы, а в верховьях образуется закрытая гавань, пригодная для любых судов; в самом горле залива стоит островок, на нем какие-то развалины; на южном берегу построен пирс для парома, и в конце этого причала, по ту сторону дороги, виднелось среди цветущего остролиста и боярышника здание трактира.

Городок Куинсферри лежит западнее, и вокруг трактира в это время дня было довольно-таки безлюдно, тем более, что паром с пассажирами только что отошел на северный берег. Впрочем, у пирса был ошвартован ялик, на банках дремали гребцы, и Рансом объяснил, что это шлюпка с «Завета» поджидает капитана; а примерно в полумиле от берега, один-одинешенек на якорной стоянке, маячил и сам «Завет». На палубе царила предрейсовая суета, матросы, ухватясь за брасы, поворачивали реи по ветру, и ветер нес к берегу их дружную песню. После всего, что я наслушался по дороге, я смотрел на бриг с крайним отвращением и от души жалел горемык, обреченных идти на нем в море.

На бровке холма, когда мы все трое остановились, я перешел через дорогу и обратился к дяде:

— Считаю нужным предупредить вас, сэр, что я ни в коем случае не буду подниматься на борт «Завета».

Дядя, казалось, очнулся от забытья.

— А? Что такое? — спросил он.

Я повторил.

— Ну, ну,— сказал он.— Как скажешь, перечить не стану. Но что ж мы стоим? Холод невыносимый, да и «Завет», если не ошибаюсь, уже готовится поднять паруса...

ГЛАВА VI

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ У ПЕРЕПРАВЫ

Едва мы вошли в трактир, Рансом повел нас вверх по лестнице в комнатушку, где стояла кровать, пылали угли в камине и жарко было, как в пекле. За столом возле камина сидел и что-то с деловитым видом писал рослый загорелый мужчина. Несмотря на жару в комнате, он был в плотной, наглухо застегнутой моряцкой куртке и высокой косматой шапке, нахлобученной на самые уши; при всем том я не встречал человека, который держался бы так хладнокровно и невозмутимо, как этот морской капитан, а его ученому виду позавидовал бы даже судья в зале заседаний.

Он тотчас встал и, шагнув нам навстречу, протянул Эбенезеру большую руку.

— Счастлив, что вы оказали мне честь, мистер Бэлфур,— проговорил он глубоким звучным голосом,— и хорошо, что не опоздали. Ветер попутный, вот-вот начнется отлив, и думаю, нам еще засветло подмигнет старушка жаровня на берегу острова Мей.

— Капитан Хозисон,— сказал дядя.— У вас в комнате немыслимая жара.

— Привычка, мистер Бэлфур,— объяснил шкипер.— Я по природе человек зябкий, кровь холодная, сэр. Ничто, так сказать, не поднимает температуры — ни мех, ни шерсть, ни даже горячий ром. Обычная вещь, сэр, у тех, кому, как говорится, довелось прожариться до самых печенок в тропических морях.

— Ну, что поделаешь, капитан,— отозвался дядя.— От своей природы никуда не денешься.

Случилось, однако, что эта капитанская причуда сыграла важную роль в моих злоключениях. Потому что я хоть и дал себе слово не выпускать своего сородича из виду, но меня разбирала такая охота поближе увидеть море и так мутило от духоты, что, когда дядя сказал «сходил бы, размялся внизу», у меня хватило глупости согласиться.

Так и оставил я их вдвоем за бутылкой вина и ворохом каких-то бумаг; вышел из гостиницы, перешел через дорогу и спустился к воде. Несмотря на резкий ветер, лишь мелкая рябь набегала на берег — чуть больше

той, что мне случалось видеть на озерах. Зато травы были мне внове: то зеленые, то бурые, высокие, а на одних росли пузырьки, которые с треском лопались у меня в пальцах. Даже здесь, в глубине залива, ноздри щекотал насыщенный солью волнующий запах моря; а тут еще «Завет» начал расправлять паруса, повисшие на реях,— все пронизано было духом дальних плаваний, будило мечты о чужих краях.

Рассмотрел я и гребцов в шлюпке: смуглые, дюжие молодцы, одни в рубахах, другие в бушлатах, у некоторых шея повязана цветным платком, у одного за поясом пара пистолетов, у двоих или троих — по суковатой дубинке, и у каждого нож в ножнах. С одним из них, не таким отпетым на вид, я поздоровался и спросил, когда отходит бриг. Он ответил, что они уйдут с отливом, и прибавил, что рад убраться из порта, где нет ни кабачка, ни музыкантов; но при этом пересыпал свою речь такой отборной бранью, что я поспешил унести ноги.

Эта встреча вновь навела меня на мысли о Рансоме — он, пожалуй, был самый безобидный из всей этой своры; а вскоре он и сам показался из трактира и подбежал ко мне, клянча, чтобы я угостил его чашей пунша. Я сказал, что и не подумаю, потому что оба мы не доросли еще до подобного баловства.

— Кружку эля, сделай одолжение,— прибавил я.

Он хоть и скорчил на это рожу и, кривляясь, стал бранить меня так и сяк, но от эля не отказался. Вскоре мы уже сидели за столом в передней зале трактира, отдавая должное и элю и еде.

Тут мне пришло в голову, что недурно бы завязать знакомство с хозяином трактира, ведь он из местных. По тогдашнему обычаю я пригласил его к нашему столу; однако он был слишком важная персона, чтобы водить компанию с такими незавидными посетителями, как мы с Рансомом, и пошел было из залы, но я вновь окликнул его и спросил, не знает ли он мистера Ранкилера.

— Еще бы,— ответил хозяин.— Такой достойный человек! Да, кстати, это не ты сюда пришел с Эбенезером?

— Я.

— Вы, случаем, не в дружбе? — В устах шотландца это означает: не в родстве ли.

Я ответил, что нет.

— Так я и думал,— сказал хозяин.— А все же ты сильно смахиваешь на мистера Александра.

Я заметил, что Эбенезер как будто пользуется в округе дурной славой.

— Само собой,— отозвался хозяин.— Пакостный старичок. Многие дорого дали бы, чтобы поглядеть, как он щерит зубы в петле: и Дженнет Клустон, да и другие, у кого по его милости не осталось ни кола, ни двора. А ведь когда-то славный был молодой человек. Но это до того, как пошел слух насчет мистера Александра, а после его как подменили.

— Какой это слух? — спросил я.

— Да что Эбенезер его извел,— сказал хозяин.— Неужто не слыхал?

— Для чего же было его изводить? — допытывался я.

— Чтобы завладеть имением, для чего ж еще.

— Каким имением? Шос?

— А то каким же? — сказал хозяин.

— Точно, почтеннейший? Правда это? Значит, мой... значит, Александр был старший сын?

— Само собой. А то зачем бы Эбенезеру его губить?

И с этими словами хозяин, которому с самого начала не терпелось уйти, вышел из залы.

Конечно, я сам давным-давно обо всем догадывался, но одно дело — догадываться, и совсем другое — знать. Я сидел, оглушенный счастливой вестью, не смея верить, что паренек, который каких-нибудь два дня назад без гроша за душой брел по пыльной дороге из Этрикского леса, теперь заделался богачом, владельцем замка и обширных земель и, возможно, завтра же вступит в свои законные права. Вот какие упоительные мысли теснились у меня в голове, а с ними тысячи других, и я сидел, уставясь в окно гостиницы, и ничего не замечал; помню только, что вдруг увидал капитана Хозисона; он стоял среди своих гребцов на краю пирса и отдавал какие-то распоряжения. Потом он снова зашагал к трактиру, но не вразвалочку, как ходят моряки, а с бравой выправкой, молодцевато неся свою статную, ладную фигуру и сохраняя все то же вдумчивое, строгое

выражение лица. Я готов был усомниться, что Рансом говорил о нем правду: очень уж противоречили эти россказни облику капитана. На самом же деле он не был ни так хорош, как представлялось мне, ни так ужасен, как изобразил Рансом; просто в нем уживались два разных человека, и лучшего из двух капитан, поднимаясь на корабль, оставлял на берегу.

Но вот я услыхал, что меня зовет дядя, и увидел их обоих на дороге. Первым заговорил со мной капитан, причем уважительно, как равный с равным,— ничто так не подкупает юнца моих лет.

— Сэр,— сказал он.— Мистер Бэлфур отзывается о вас весьма похвально, да мне и самому вы с первого взгляда пришлись по душе. Жаль, что мне нельзя побыть здесь подольше и короче сойтись с вами, но постараемся извлечь как можно больше хотя бы из того, что нам осталось. Эти полчаса до начала отлива вы проведете у меня на борту и разопьете со мной чашу вина.

Сказать не могу, до чего мне хотелось взглянуть, как устроен настоящий корабль; но ставить себя в опасное положение я не собирался и ответил, что нам с дядей надо идти к стряпчему.

— Ах да,— сказал капитан.— Он и мне обмолвился об этом. Что ж, высажу вас со шлюпки на городском пирсе, а там до Ранкилера рукой подать.

Тут он внезапно пригнулся к самому моему уху и шепнул:

— Остерегайтесь старого лиса, у него неладное на уме. Поднимитесь ко мне на бриг, там можно будет перекинуться словом.

И, взяв меня под руку и увлекая к шлюпке, вновь возвысил голос:

— Ну, признавайтесь, что вам привезти из Каролины? Всегда к услугам друзей мистера Бэлфура. Пачку табаку? Индейский головной убор из перьев? Шкуру дикого зверя, пенковую трубку? Может быть, птицу пересмешника, что мяучит точь-в-точь как кошка, или птицу кардинала, алую, словно кровь? Выбирайте, что душе угодно!

Мы уже были возле шлюпки, он уже подсаживал меня... А я и не думал упираться, вообразив, как последний дурак, что нашел доброго друга и советчика, и радуясь, что посмотрю на корабль. Как только мы расселись по местам, шлюпку оттолкнули от пирса, и она

понеслась по волнам. Новизна этого движения, странное чувство, что сидишь так низко в воде, непривычный вид берега, постепенно растущие очертания корабля — все это так захватило меня, что я едва улавливал, о чем говорит капитан, и, думаю, отвечал невпопад.

Едва мы подошли вплотную к «Завету» (я только рот разинул, дивясь, какой он огромный, как мощно плещет о борт волна, как весело звучат за работой голоса матросов), Хозисон объявил, что нам с ним подниматься первыми, и велел спустить с грот-рея конец. Меня подтянули в воздух, потом втащили на палубу, где капитан, словно только того и дожидался, тотчас вновь подхватил меня под руку. Какое-то время я стоял, подавляя легкое головокружение, нащупывая равновесие на этих зыбких досках, пожалуй, чуточку оробевший, но безмерно довольный новыми впечатлениями. Капитан между тем показывал мне самое интересное, объясняя, что к чему и что как называется.

— А где же дядя? — вдруг спохватился я.

— Дядя? — повторил Хозисон, внезапно суровея лицом.— То-то и оно.

Я понял, что пропал. Изо всех сил я рванулся у него из рук и кинулся к фальшборту. Так и есть — шлюпка шла к городу, и на корме сидел мой дядя.

— Помогите! — вскрикнул я так пронзительно, что мой вопль разнесся по всей бухте.— На помощь! Убивают!

И дядя оглянулся, обратив ко мне лицо, полное жестокости и страха.

Больше я ничего не видел. Сильные руки уже отрывали меня от поручней, меня словно ударило громом, огненная вспышка мелькнула перед глазами, и я упал без памяти.

ГЛАВА VII

Я ОТПРАВЛЯЮСЬ В МОРЕ НА ДАЙСЕТСКОМ БРИГЕ «ЗАВЕТ»

Очнулся я в темноте от нестерпимой боли, связанный по рукам и ногам и оглушенный множеством непривычных звуков. Ревела вода, словно падая с высоченной мельничной плотины; тяжко бились о борт волны,

яростно хлопали паруса, зычно перекликались матросы. Вселенная то круто взмывала вверх, то проваливалась в головокружительную бездну, а мне было так худо и тошно, так ныло все тело и мутилось в глазах, что не скоро еще, ловя обрывки мыслей и вновь теряя их с каждым новым приступом острой боли, я сообразил, что связан и лежу, должно быть, где-то в чреве этого окаянного судна, а ветер крепчает, и подымается шторм. Стоило мне до конца осознать свою беду, как меня захлестнуло черное отчаяние, горькая досада на собственную глупость, бешеный гнев на дядю, и я снова впал в беспамятство.

Когда я опять пришел в себя, в ушах у меня стоял все тот же оглушительный шум, тело все так же содрогалось от резких и беспорядочных толчков, а вскоре, в довершение всех моих мучений и напастей, меня, сухопутного жителя, непривычного к морю, укачало. Много невзгод я перенес в буйную пору моей юности, но никогда не терзался так душой и телом, как в те мрачные, без единого проблеска надежды, первые часы на борту брига.

Но вот я услышал пушечный выстрел и решил, что судно, не в силах совладать со штормом, подает сигнал бедствия. Любое избавление, будь то хоть гибель в морской бездне, казалось мне желанным. Однако причина была совсем другая: просто (как мне рассказали потом) у нашего капитана был такой обычай — я пишу здесь о нем, чтобы показать, что даже в самом дурном человеке может таиться что-то хорошее. Оказывается, мы как раз проходили мимо Дайсета, где был построен наш бриг и куда несколько лет назад переселилась матушка капитана, старая миссис Хозисон,— и не было случая, чтобы «Завет», уходя ли в плавание, возвращаясь ли домой, прошел мимо в дневное время и не приветствовал ее пушечным салютом при поднятом флаге.

Я потерял счет времени, день походил на ночь в этом зловонном закутке корабельного брюха, где я валялся; к тому же в моем плачевном состоянии каждый час тянулся вдвое дольше обычного. А потому не берусь определить, сколько я пролежал, ожидая, что мы вот-вот разобьемся о какую-нибудь скалу или, зарывшись носом в волны, опрокинемся в пучину моря. Но все же в конце концов сон принес мне забвение всех горестей.

Разбудил меня свет ручного фонаря, поднесенного к моему лицу. Надо мной склонился, разглядывая меня, человечек лет тридцати, зеленоглазый, со светлыми всклокоченными волосами.

— Ну,— сказал он,— как дела?

В ответ у меня вырвалось рыдание; незнакомец пощупал мне пульс и виски и принялся промывать и перевязывать рану у меня на голове.

— М-да, крепко тебя огрели,— сказал он.— Да ты что это, брат? Брось, гляди веселей! Подумаешь, конец света! Неладно получилось на первых порах, так в другой раз начнешь удачнее. Поесть тебе давали что-нибудь?

Я сказал, что мне о еде даже думать противно; тогда он дал мне глотнуть коньяку с водой из жестяной кружки и снова оставил меня в одиночестве.

Когда он зашел в другой раз, я не то спал, не то бодрствовал с широко открытыми в темноте глазами; морская болезнь совсем прошла, зато страшно кружилась голова и все плыло перед глазами, так что страдал я ничуть не меньше. К тому же руки и ноги у меня разламывались от боли, а веревки, которыми я был связан, жгли как огнем. Лежа в этой дыре, я, казалось, насквозь пропитался ее зловонием, и все долгое время, пока был один, изнывал от страха то из-за корабельных крыс, которые так и шныряли вокруг, частенько шмыгая прямо по моему лицу, то из-за бредовых видений.

Люк открылся, райским сиянием солнца блеснул тусклый свет фонарика, и пусть он озарил лишь мощные, почерневшие бимсы корабля, ставшего мне темницей, я готов был кричать от радости. Первым сошел по трапу зеленоглазый, причем заметно было, что ступает он как-то нетвердо. За ним спустился капитан. Ни тот, ни другой не проронили ни слова; зеленоглазый, как и прежде, сразу же начал осматривать меня и наложил новую повязку на рану, а Хозисон стоял, уставясь мне в лицо странным, хмурым взглядом.

— Что ж, сэр, сами видите,— сказал первый.— Жестокая лихорадка, потеря аппетита, ни света, ни еды — сами понимаете, чем это грозит.

— Я не ясновидец, мистер Риак,— отозвался капитан.

— Полноте, сэр,— сказал Риак,— голова у вас на плечах хорошая, язык подвешен не хуже, чем у всякого

другого шотландца; ну, да ладно, пусть не будет недомолвок: я желаю, чтобы мальчугана забрали из этой дыры и поместили в кубрик.

— Желайте себе, сэр, дело ваше,— возразил капитан.— А будет, как я скажу. Лежит здесь, и пусть лежит.

— Предположим, вам заплатили, и немало,— продолжал Риак,— ну, а мне? Позвольте со всем смирением напомнить, что нет. То есть платить-то мне платят и, кстати, не слишком щедро, но лишь за то, что я на этом старом корыте второй помощник, и вам очень хорошо известно, легко ли мне достаются эти денежки. Но больше мне никто ни за что не платил.

— Если бы вы, мистер Риак, поминутно не прикладывались к фляге, на вас и вправду грех бы жаловаться,— отозвался капитан.— И вот что позвольте сказать: чем загадки загадывать, придержите-ка лучше язык. Ну, пора на палубу,— договорил он уже повелительным тоном и поставил ногу на ступеньку трапа.

Мистер Риак удержал его за рукав.

— А теперь предположим, что заплатили-то вам за убийство...— начал он.

Хозисон грозно обернулся.

— Что? — загремел он.— Это еще что за разговоры?

— Вас, видно, только такими разговорами и проймешь,— ответил мистер Риак, твердо глядя ему в глаза.

— Мистер Риак, мы с вами три раза ходили в плавание,— сказал капитан.— Пора бы, кажется, изучить меня: да, я крутой человек, суровый, но такое сказануть!.. И не стыдно вам? Эти слова идут от скверной души и нечистой совести. Раз вы полагаете, что мальчишка умрет...

— Как пить дать, умрет! — подтвердил мистер Риак.

— Ну и все, сэр,— сказал Хозисон.— Убирайте его отсюда, куда хотите.

С этими словами капитан поднялся по трапу, и я, молчаливый свидетель этого удивительного разговора, увидел, как мистер Риак отвесил ему вслед низкий и откровенно глумливый поклон. Как ни плохо мне было, две вещи я понял. Первое: помощник, как и намекал

капитан, правда, навеселе; и второе: пьян он или трезв, с ним определенно стоит подружиться.

Через пять минут мои узы были перерезаны, какой-то матрос взвалил меня к себе на плечи, принес в кубрик, опустил на застланную грубыми одеялами койку, и я сразу же лишился чувств.

Что за блаженство вновь открыть глаза при свете дня, вновь очутиться среди людей! Кубрик оказался довольно просторным помещением, уставленным по стенам койками; на них сидели, покуривая, подвахтенные, кое-кто лежал и спал. Погода стояла тихая, дул попутный ветерок, так что люк был открыт и сквозь него лился не только благословенный дневной свет, но время от времени, когда бриг кренило на борт, заглядывал даже пыльный луч солнца, слепя мне глаза и приводя в восторг. Мало того: стоило мне шелохнуться, как один из матросов тотчас поднес мне какое-то целительное питье, приготовленное мистером Риаком, и велел лежать тихо, чтобы скорей поправиться.

— Кости целы,— сказал он,— а что съездили по голове — невелика беда. И знаешь,— прибавил он,— это ведь я тебя угостил!

Здесь пролежал я долгие дни под строгим надзором, набираясь сил, а заодно приглядываясь к моим спутникам. Матросы в большинстве своем грубый народ, и эти были такие же: оторванные от всего, что делает человека добрей и мягче, обреченные носиться вместе по бурной и жестокой стихии под началом не менее жестоких хозяев. Одни из них в прошлом ходили на пиратских судах и видывали такое, о чем язык не повернется рассказать; другие сбежали из королевского флота и жили с петлей на шее, отнюдь не делая из этого секрета; и все они, даже закадычные друзья, были готовы, как говорится, «чуть что — и в зубы». Но и нескольких дней моего заточения в кубрике оказалось довольно, чтобы мне совестно стало вспоминать, какое суждение я вынес о них вначале, как презрительно смотрел на них на пирсе у переправы, словно это нечистые скоты. Люди все подряд негодяями не бывают, у каждой среды есть свои пороки и свои достоинства, и моряки с «Завета» не являли собой исключения. Да, они были неотесанны, вероятно, они были испорченны, но в них было и много хорошего. Они были добры, когда давали себе труд вспомнить об этом, простодушны до крайно-

сти, даже в глазах неискушенного деревенского паренька вроде меня, и не лишены кое-каких представлений о честности.

Один из них, матрос лет сорока, часами просиживал на краешке моей койки и все рассказывал про жену и сына. Он прежде рыбачил, но лишился своей лодки и вынужден был поступить на океанское судно. Вот уже сколько лет прошло, а мне его никак не забыть. Его жена — «совсем молоденькая, не мне чета», как он любил говорить,— не дождалась мужа домой. Никогда ему больше не затопить для нее очаг поутру, не смотреть за сынишкой, когда она прихворнет. Да и многие из них, горемык, оказалось, шли в свой последний рейс: их приняло море и растерзала хищная рыба, а об усопших негоже говорить дурно.

Среди других добрых дел они отдали назад мои деньги, поделенные на всех, и хотя около третьей части недоставало, я все равно очень обрадовался и возлагал на эти деньги большие надежды, думая о стране, куда мы направлялись. «Завет» шел в Каролину, но не подумайте, что для меня она стала бы только местом изгнания. Правда, работорговля уже и тогда шла на убыль, а после мятежа американских колоний и образования Соединенных Штатов, разумеется, вовсе захирела, однако в дни моей юности белых людей еще продавали в рабство плантаторам, и именно такая судьба была уготована мне злодеем-дядюшкой.

Время от времени из кормовой рубки, где он и ночевал и нес свою службу, забегал юнга Рансом (от него я и услыхал впервые про эти страшные дела), то в немой муке растирая свои синяки и ушибы, то исступленно проклиная мистера Шуана за его зверство. У меня сердце кровью обливалось, но матросы относились к старшему помощнику с большим уважением, говоря, что он «единственный стоящий моряк изо всех этих горлопанов и не так уж плох, когда протрезвится». И точно; вот какую странность подметил я за первым и вторым помощниками: мистер Риак, трезвый, угрюм, резок и раздражителен, а мистер Шуан и мухи не обидит, если не напьется. Я спрашивал про капитана, но мне сказали, что этого железного человека даже хмель не берет.

Я старался использовать хоть эти короткие минуты, чтобы сделать из убогого существа по имени Рансом что-то похожее на человека, верней сказать — на обыкновенного мальчика. Однако по разуму его едва ли можно было назвать вполне человеком. Он совершенно не помнил, что было до того, как он ушел в море; а про отца помнил только, что тот делал часы и держал в комнате скворца, который умел свистать «Край мой северный»; все остальное начисто стерлось за эти годы, полные лишений и жестокости. О суше у него были странные представления, основанные на матросских разговорах: что якобы там мальчишек отдают в особое рабство, именуемое ремеслом, и подмастерьев непрерывно порют и гноят в зловонных тюрьмах. В каждом встречном горожанине он видел тайного вербовщика, в каждом третьем доме — притон, куда заманивают моряков, чтобы опоить их, а потом прирезать. Сколько раз я рассказывал ему, как много видел добра от людей на этой суше, которая его так пугала, как сладко меня кормили, как заботливо обучали родители и друзья! После очередных побоев он в ответ горько плакал и божился, что удерет, а в обычном своем дурашливом настроении, особенно после стаканчика спиртного, выпитого в рубке, только поднимал меня на смех.

Спаивал мальчишку мистер Риак — да простится ему этот грех,— и, несомненно, из самых добрых побуждений; но, не говоря уж о том, как губителен был алкоголь для здоровья Рансома, до чего жалок был этот несчастный, забитый звереныш, когда, лопоча невесть что, он приплясывал на нетвердых ногах! Кое-кто из матросов только скалил на это зубы, но не все: были и такие, что, припомнив, быть может, собственное детство или собственных ребятишек, чернели, словно туча, и одергивали его, чтобы не валял дурака и взялся за ум. Мне же совестно было даже глаза поднять на беднягу. Он снится мне и поныне.

Все эти дни, надо сказать, курс «Завета» лежал против ветра, бриг кидало с одной встречной волны на другую, так что люк был почти все время задраен и кубрик освещался лишь фонарем, качавшимся на бимсе. Работы хватало на всех: что ни час — то либо брать, либо отдавать рифы у парусов. Люди устали и вымотались, весь день то у одной койки, то у другой завязывались перебранки, а мне ведь ногой нельзя было ступить на палубу, так что легко вообразить, как опостылела мне такая жизнь и как я жаждал перемены.

Что ж, перемена, как вы о том узнаете, не заставила себя ждать; но прежде следует рассказать про один мой разговор с мистером Риаком, после которого мне стало немного легче переносить испытания. Улучив минуту, когда хмель привел его в благодушное настроение (трезвый, мистер Риак даже не глядел в мою сторону), я взял с него слово молчать и выложил без утайки свою историю.

Он объявил, что все это похоже на балладу, что он не пожалеет сил и выручит меня, только нужно раздобыть перо, бумаги, чернил и отписать мистеру Кемпбеллу и мистеру Ранкилеру: с их помощью, если я сказал правду, он определенно сможет вызволить меня из беды и отстоять мои права.

— А покуда не падай духом,— сказал он.— Не ты первый, не ты последний, можешь мне поверить. Много их мотыжит табак за океаном, кому жить бы на родине господами в собственном дому — ох, много! Да и что есть жизнь? В лучшем случае, перепев все той же песни? Взгляни на меня: сын дворянина, без малого ученый лекарь, и вот — гну хребет на Хозисона!

Чтобы не показаться неучтивым, я спросил, какова же его история.

Он громко присвистнул.

— Какая там история! Позабавиться любил, и все тут.

И выскочил из кубрика.

ГЛАВА VIII

КОРМОВАЯ РУБКА

Как-то поздним вечером, часов в одиннадцать, с палубы спустился за своим бушлатом вахтенный из смены мистера Риака, и по кубрику мгновенно пошел шепоток: «Доконал его все-таки Шуан». Имени никто не называл, все мы знали, о ком идет речь; мы еще не успели по-настоящему осознать, а тем более обсудить эту новость, как люк снова распахнулся и по трапу сошел капитан Хозисон. В пляшущем свете фонаря он окинул койки цепким взглядом и, шагнув прямо ко мне, проговорил неожиданно добрым голосом:

— Вот что, приятель. Мы хотим дать тебе службу в кормовой рубке. Поменяешься койками с Рансомом. Ну, беги на корму.

Он еще не кончил говорить, как в люке показались два матроса, и у них на руках — Рансом. В этот миг судно сильно накренилось, фонарь качнуло и свет его упал прямо на лицо юнги. Оно было белое, точно восковое, и на нем застыла жуткая усмешка. У меня захолонуло сердце и перехватило дыхание, как будто меня ударили.

— Беги же на корму, живо! — прикрикнул Хозисон.

Я протиснулся мимо матросов и Рансома, который лежал без звука, без движения, и взбежал по трапу на палубу.

Бриг, качаясь точно пьяный, несся наперерез бесконечным гребнистым валам. Его кренило на правый борт, а по левому, под выгнутым основанием фока, пламенел закат. Я страшно удивился: в такую поздноту — и закат. Откуда мне было знать, что мы огибаем северную оконечность Шотландии и проходим сейчас открытым морем между Оркнейскими и Шетландскими островами, минуя коварные течения Пентленд-Фёрта? Я был слишком несведущ, чтобы правильно понять увиденное. Пробыв столько времени взаперти, без дневного света и не зная, что ветер все время дует против курса, я вообразил, что мы уже где-то на полпути через Атлантический океан, а то и дальше. Да, впрочем, несмотря на легкое недоумение, вызванное закатом в столь поздний час, мне и не до того было: палубу поминутно окатывали волны, я продвигался короткими перебежками, хватаясь за леера, и все равно меня смыло бы за борт, не окажись рядом один из матросов, который всегда благоволил ко мне.

Кормовая надстройка, к которой я пробирался и где мне предстояло отныне спать и нести службу, возвышалась над палубой футов на шесть и была для такого судна, как «Завет», достаточно поместительна. Тут стояли привинченные к палубе стол со скамьей и две койки: одна для капитана, на другой поочередно спали помощники. Сверху донизу тянулись стенные шкафы, в них находились личные вещи обитателей рубки и часть корабельных припасов; ниже помещалась еще одна баталерка, куда вел люк, прорезанный в середине рубки; там хранилось все лучшее из провианта: отборная со-

лонина, спиртное и все запасы пороха; на стойке у задней стены было установлено все огнестрельное оружие «Завета», кроме двух медных пушек. Бóльшая часть холодного оружия хранилась в другом месте.

Днем рубка освещалась небольшим оконцем со ставнями снаружи и изнутри, и еще световым люком на крыше; с наступлением темноты постоянно горела лампа. Горела она и сейчас, когда я вошел — хоть и неярко, но все же видно было, что в рубке сидит мистер Шуан, а перед ним на столе стоит бутылка коньяку и жестяная кружка. Высокий, могучего сложения, очень смуглый, черноволосый, он сидел, уставясь на стол совершенно бессмысленным взглядом.

На меня он не обратил никакого внимания; не шелохнулся он и когда вошел капитан, прислонился рядом со мною к койке и угрюмо взглянул на помощника. Я боялся Хозисона как огня, и не без причины; но что-то сказало мне, что сейчас он не страшен, и я шепнул ему на ухо:

— Как он?

Капитан покрутил головой, как бы говоря, что не знает и не хочет задумываться; лицо у него было очень суровое.

Скоро пришел и мистер Риак. Он бросил на капитана взгляд, говоривший яснее всяких слов, что мальчик умер; потом подошел к нам, и теперь мы трое стояли молча, не сводя глаз с мистера Шуана, а мистер Шуан, в свою очередь, также молча, сидел и не поднимал глаз от стола.

Вдруг он потянулся за коньяком, но в тот же миг мистер Риак рванулся вперед, выхватил бутылку — не потому, что был сильней, а скорее потому, что Шуан опешил от неожиданности,— и, выругавшись, крикнул, что здесь наломали довольно дров и судно еще поплатится за это. С этими словами он вышвырнул бутылку в море через открытую с наветренной стороны раздвижную дверь.

В мгновение ока Шуан был на ногах. Вид у него был по-прежнему ошарашенный, но он жаждал крови и, конечно, пролил бы ее второй раз за этот вечер, если бы между ним и его новой жертвой не встал капитан.

— Сесть на место! — загремел Хозисон.— Ты знаешь, пьяная скотина, что ты натворил? Ты убил мальчонку!

Кажется, мистер Шуан понял; во всяком случае, он снова сел и подпер ладонью лоб.

— Ну и что? — проговорил он.— Он мне подал немытую кружку!

При этих словах все мы: я, капитан, мистер Риак — как-то боязливо переглянулись; Хозисон подошел к своему старшему помощнику, взял его за плечо, подвел к койке и велел лечь и заснуть — так унимают нашалившего ребенка. Убийца пустил слезу, но стянул с себя сапоги и покорно лег.

— А! — страшным голосом вскричал мистер Риак.— Давно бы вам вмешаться! Теперь уже поздно.

— Мистер Риак,— сказал капитан.— В Дайсете не должны узнать, чтó стряслось сегодня ночью. Мальчишка свалился за борт, сэр, вот и весь сказ. Я бы пяти фунтов не пожалел из собственного кармана, чтобы так оно и было.— Он обернулся к столу и прибавил: — Что это вам вздумалось швыряться полными бутылками? Неразумно, сэр. А ну, Дэвид, достань мне непочатую. Вон там, в нижнем ящике.— Он бросил мне ключ.— Да и вам, сэр, не помешает пропустить стаканчик,— вновь обратился он к Риаку.— Нагляделись вы, наверно.

Оба сели за стол, чокнулись, и в этот миг убийца, который лежал на койке и что-то хныкал, приподнялся на локте и перевел свой взгляд с собутыльников на меня...

Такова была моя первая ночь на новой службе, а назавтра я уже вполне освоился со своими обязанностями. Мне полагалось прислуживать за столом (капитан ел строго по часам, деля трапезу с помощником, свободным от вахты) и день-деньской подносить выпивку то одному, то другому; спал я на одеяле, брошенном прямо на голые доски в дальнем конце рубки между двумя дверями, на самом сквозняке. Это было жесткое и холодное ложе, да и выспаться мне толком не давали: то и дело кто-нибудь забегал с палубы промочить горло, когда же сменялась вахта, оба помощника, а нередко и капитан подсаживались к столу, чтобы распить чашу пунша. Как они, а вместе с ними и я, ухитрялись оставаться здоровыми, не могу понять.

А между тем во всем прочем служба была нетрудная. Скатертей никаких не постилалось, еда — овсянка да солонина, а два раза в неделю и пудинг; и хотя при качке я еще нетвердо держался на ногах, а бывало, что

и падал с полным подносом, мистер Риак и капитан были со мной на редкость терпеливы. Невольно приходило на ум, что это уступка совести, и со мной едва ли обходились бы сейчас так мягко, если бы прежде не были так круты с Рансомом.

Что же до мистера Шуана, то либо пьянство, либо преступление, а быть может, и то и другое, несомненно, помрачили его рассудок. Не помню, чтобы я хоть раз видел его в здравом уме. Он так и не привык к моему присутствию в рубке, постоянно таращил на меня глаза (порой, как мне чудилось, с ужасом) и нередко отшатывался, когда я протягивал ему что-нибудь за столом. У меня с самого начала было сильное подозрение, что он не отдает себе ясного отчета в содеянном, и на второй день я в этом убедился. Мы остались вдвоем; он долго не сводил с меня глаз, потом внезапно вскочил, бледный, как смерть, и, к великому моему ужасу, подошел ко мне вплотную. Но страх мой оказался напрасным.

— Тебя ведь прежде здесь не было? — спросил он.

— Да, сэр.

— Тут был какой-то другой мальчик?

Я ответил.

— А! Я так и знал,— сказал он, отошел от меня, сел и больше не прибавил ни слова, только велел подать коньяку.

Вам это может показаться странным, но, несмотря на все свое отвращение к этому человеку, я его жалел. Он был женат, жена его жила в Лите; забыл только, были ли у него дети; надеюсь, что не было.

Вообще же говоря, жизнь у меня здесь была не слишком тяжелая, хоть и продолжалась она, как вы скоро узнаете, недолго. Кормили меня с капитанского стола, даже соления и маринады — самый большой деликатес — давали наравне с помощниками, а пьянствовать я мог бы при желании хоть с утра до ночи, не хуже мистера Шуана. Не ощущалось недостатка и в обществе, причем, по-своему, не худшего сорта. Что ни говори, мистер Риак учился в колледже и, когда не хандрил, по-дружески болтал со мной, сообщая много интересного, а зачастую и поучительного; даже сам капитан, хоть и держал меня, как правило, на почтительном расстоянии, изредка позволял себе слегка оттаять и рассказывал про дивные страны, в которых он побывал.

Но, как ни крути, а призрак бедняги Рансома преследовал нас четверых, особенно же меня и мистера Шуана. У меня вдобавок хватало и других горестей. Где я очутился? На черной работе, на побегушках у трех мужчин, которых я презирал, из которых по крайней мере одному место было на виселице. Это сейчас. А в будущем? Трудиться, как раб, на табачных плантациях бок о бок с неграми — больше мне не на что было рассчитывать. Мистер Риак, быть может, из осторожности, не давал мне больше сказать о себе ни слова; капитан, когда я попробовал к нему обратиться, цыкнул на меня, как на собачонку, и не пожелал ничего слушать. Дни сменялись днями, и я все больше падал духом, так что под конец даже с радостью хватался за работу: она по крайней мере не оставляла мне времени для дум.

ГЛАВА IX

ЧЕЛОВЕК С КУШАКОМ, НАБИТЫМ ЗОЛОТОМ

Прошло более недели, и за это время злой рок, преследовавший «Завет» в этом плаванье, дал себя знать еще явственнее. В какие-то дни мы еще чуточку продвигались вперед, в другие нас попросту сносило назад. Наконец нас отнесло так далеко на юг, что все девятые сутки мы болтались туда-сюда в виду мыса Рат и дикого, скалистого побережья по обе его стороны. Капитан созвал совет, и было принято какое-то решение, которое я до конца понять не мог, а видел только его следствие: встречный ветер стал для нас попутным, и, значит, мы повернули на юг.

На десятые сутки к вечеру волнение пошло на убыль, зато пал туман, сырой, белесый и такой густой, что с кормы не разглядишь носа. Весь вечер, выходя на палубу, я видел, как матросы и капитан с помощниками, припав к фальшборту, напряженно вслушивались, «нет ли бурунов». Я понятия не имел, что кроется за этими словами, но чуял в воздухе опасность, и она будоражила меня.

Часов, наверное, в десять, когда я подавал ужинать мистеру Риаку и капитану, бриг с громким треском обо

что-то ударился, и тотчас послышались крики. Оба вскочили.

— Налетели на риф! — воскликнул мистер Риак.

— Нет, сэр,— сказал капитан.— Всего-навсего на какую-то лодку.

И они поспешили на палубу.

Капитан оказался прав. Мы наскочили в тумане на лодку, она раскололась пополам и пошла ко дну, а с ней — вся команда. Спасся лишь один человек; он, как я узнал потом, был пассажиром и сидел на корме; все остальные сидели на банках и гребли. В миг удара корму подбросило на воздух и пассажир, сидевший с пустыми руками, хоть и связанный в движениях ворсистым плащом ниже колен, подпрыгнул и ухватился за бушприт нашего брига. Видно, он был удачлив, ловок и наделен недюжинной силой, если сумел спастись в подобной передряге. А между тем, когда капитан привел его в рубку и я впервые его увидел, лицо у него было невозмутимое, словно ничего не случилось.

Он был невысок ростом, но ладно скроен и проворен, как коза; лицо его с открытым, славным выражением загорело до черноты, было усеяно веснушками и изрыто оспой; глаза, поразительно светлые, были с сумасшедшинкой, в них плясали бесенята, и это одновременно привлекало и настораживало. А скинув плащ, он вытащил и положил на стол пару превосходных, оправленных в серебро пистолетов, и на поясе у него я увидел длинную шпагу. Он обладал к тому же изысканными манерами и очень любезно выпил за здоровье капитана. В общем, судя по первому впечатлению, я предпочел бы назвать такого человека своим другом, а не врагом.

Капитан тоже внимательно изучал незнакомца — впрочем, скорее его платье, чем его особу. И не удивительно: сбросив плащ, гость явился нам в таком великолепии, какое не часто увидишь в рубке торгового брига: шляпа с перьями, пунцовый жилет, черные плисовые панталоны по колено, синий мундир с серебряными пуговицами и нарядным серебряным галуном — дорогое платье, хоть и слегка пострадавшее от тумана и от того, что в нем, как видно, спали.

— Я очень сожалею о вашей лодке, сэр,— сказал капитан.

— Какие чудесные люди пошли ко дну,— сказал незнакомец.— Я отдал бы десять лодок, лишь бы увидеть их снова на земле.

— Ваши друзья? — спросил Хозисон.

— В ваших краях таких друзей не бывает,— был ответ.— Они бы умерли за меня, как верные псы.

— Все же, сэр,— сказал капитан, продолжая зорко следить за гостем,— людей на земле столько, что на всех их лодок не хватит.

— Верно, ничего не скажешь! — вскричал незнакомец.— Как видно, вы, сэр, человек весьма проницательный.

— Я бывал во Франции, сударь,— произнес капитан, явно вкладывая в свои слова какой-то иной, скрытый смысл.

— Как и много других достойных людей, смею заметить,— отвечал гость.

— Без сомнения, сэр,— сказал капитан.— К тому же в красивых мундирах.

— Ого! — сказал незнакомец.— Так вот куда ветер дует! — И он быстро положил руку на пистолеты.

— Не торопитесь,— сказал капитан.— Не затевайте лиха раньше времени. Да, вы носите французский военный мундир, а говорите как шотландец, ну и что ж такого? Много честных людей в наши дни поступает так же и, право, нисколько от того не проигрывает.

— Ах, так? — сказал джентльмен в нарядном мундире.— Значит, и вы в стане честных людей?

Это означало — в стане якобитов. Ведь в междоусобных передрягах подобного рода каждая сторона полагает, что лишь она вправе называться честной.

— Судите сами, сэр,— ответил капитан.— Я истый протестант, за что благодарю господа. (Это было первое слово, сказанное им при мне о религии; а позже я узнал, что на берегу он исправно посещал церковь...) При всем том я способен сочувствовать человеку, который прижат к стене, но не сдается.

— Правда? — спросил якобит.— Что ж, если говорить начистоту, я из числа тех честных джентльменов, которых в сорок пятом и сорок шестом году настигла беда. И уж если быть до конца откровенным, мне не поздоровится, попадись я в лапы господ красных мундиров. Итак, сэр, я направлялся во Францию. В этих местах крейсирует французское судно, оно должно было

меня подобрать, но прошло мимо в тумане — от души жаль, что вы не поступили так же! Мне остается сказать одно: у меня найдется чем вознаградить вас за беспокойство, если вы возьметесь высадить меня там, где мне надобно.

— Во Франции? — сказал капитан.— Нет, сэр, не могу. Если бы там, откуда вы сейчас,— об этом еще стоит поговорить.

Тут он, к несчастью, заметил в углу меня и мигом отослал в камбуз принести джентльмену ужин. Можете мне поверить, я ни минуты не потратил даром, а когда вернулся в рубку, увидел, что гость снял свой туго набитый кушак и вытряхнул из него на стол две или три гинеи. Капитан же переводил взгляд с гиней то на кушак, то на лицо незнакомца; мне показалось, что он заметно возбужден.

— Половину — и я к вашим услугам! — вскричал он.

Незнакомец смахнул гинеи обратно в кушак и снова надел его под жилет.

— Я уж вам говорил, сэр. Моего здесь нет ни гроша. Деньги принадлежат вождю моего клана,— он почтительно коснулся своей шляпы,— а я всего лишь гонец. Глупо было бы не пожертвовать малой толикой ради того, чтобы сберечь остальное, но я счел бы себя последней скотиной, если бы слишком дорого заплатил за спасение собственной шкуры. Тридцать гиней, если вы высадите меня на побережье, и шестьдесят — если в Лох-Линне. Хотите — берите, нет — дело ваше.

— Так,— сказал Хозисон.— А если я выдам вас солдатам?

— Просчитаетесь, — ответил гость. — Имущество у моего вождя, было бы вам известно, конфисковано, как и у всякого честного человека в Шотландии. Его поместье прибрал к рукам человек, именуемый королем Георгом, и ренту теперь взимают, вернее, пытаются взимать, его чиновники. Но, к чести Шотландии, бедняки-арендаторы не забывают своего вождя, даже если он в изгнании, и эти деньги — часть той самой ренты, на которую зарится король Георг. Вы, сэр, мне кажется, человек с понятием, так скажите сами, если эти денежки попадут туда, где их может заграбастать правительство, много ли перепадет на вашу долю?

— Не слишком, конечно,— отозвался Хозисон и, помолчав, сухо прибавил: — Если про них узнают. А я, надо думать, сумею держать язык за зубами, если постараюсь.

— Тут-то я вас и проведу! — вскричал незнакомец.— Подвох за подвох! Если меня схватят, всем станет известно, что это за деньги.

— Ну, видно, делать нечего,— сказал капитан.— Шестьдесят гиней, и кончено. По рукам?

— По рукам,— сказал гость.

Капитан вышел — что-то очень поспешно, как мне показалось,— и мы с незнакомцем остались в рубке одни.

В те времена, когда сорок пятый год был еще так недалек, очень многие изгнанники с опасностью для жизни возвращались на родину — повидаться с друзьями либо собрать немного денег; что же до вождей шотландских горцев, у которых конфисковали имущество — только и слышно было разговору, как их арендаторы отказывают себе в последнем, чтобы изловчиться посылать им деньги, а собратья по клану буквально на глазах у солдатни ухитряются собирать эти деньги и переправляют на материк под самым носом у доблестного британского флота. Все это, разумеется, я знал понаслышке, а вот теперь собственными глазами видел человека, которому грозила смертная казнь за каждую из этих провинностей и еще одну сверх того: он не только участвовал в мятеже, не только переправлял контрабандой ренту, но и пошел служить под знамена французского короля Людовика. И, как будто всего этого было мало, он носил на себе пояс, набитый золотыми. Каковы бы ни были мои взгляды, такой человек не мог не вызвать у меня живейшего интереса.

— Значит, вы якобит? — сказал я, ставя перед ним ужин.

— Да,— ответил он, принимаясь за еду.— А ты, судя по твоей вытянутой физиономии, верно, виг? [1]

— Середка наполовинку,— ответил я, опасаясь его рассердить. На деле же я был самый завзятый виг, какого только удалось воспитать мистеру Кемпбеллу.

— А это значит — пустое место,— отрезал он.— Но что я вижу, мистер Середка-Наполовинку! Бутылка-то

[1] Виги или вигамуры — насмешливое прозвище приверженцев короля Георга. *(Прим. автора.)*

пуста? Мало того, что содрали шестьдесят гиней, так еще и жалеют глоток спиртного!

— Я схожу попрошу ключ,— сказал я и вышел на палубу.

Стоял все такой же густой туман, но волнение почти улеглось. Никто точно не знал, где мы находимся; ветер (или то немногое, что от него осталось) нам не благоприятствовал, и бриг был вынужден лечь в дрейф. Кое-кто из матросов еще прислушивался, нет ли бурунов, но капитан и оба помощника, сойдясь в кучку, о чем-то шушукались на шкафуте. Сам не знаю почему, мне сразу подумалось, что они затевают недоброе, и первые же слова, которые я услышал, тихонько подойдя поближе, более чем подтвердили мою догадку. Произнес их мистер Риак — так, словно вдруг напал на удачную мысль:

— А что если выманить его из рубки?

— Нам выгодней, чтобы он оставался там,— возразил Хозисон.— Чтобы ему негде было развернуться со шпагой.

— Это-то верно,— сказал Риак.— Но так просто его не возьмешь.

— Вздор! — сказал Хозисон.— Отвлечем его разговорами, а потом схватим за руки, вы с одной стороны, я с другой. Если же так не получится, можно и иначе, сэр: ворвемся в обе двери и скрутим его, пока он не успел обнажить шпагу.

При этих словах ужас и гнев охватили меня, и я возненавидел этих алчных, двуличных, кровожадных людей, с которыми судьба свела меня на бриге. Первым моим побуждением было убежать, но оно быстро сменилось другим, более дерзким.

— Капитан,— сказал я,— тот джентльмен спрашивает коньяку, а бутылка вся. Вы не дадите мне ключ?

Все трое вздрогнули и обернулись.

— Ба, вот и случай достать огнестрельное оружие! — воскликнул Риак.— Слушай, Дэвид,— обратился он ко мне,— ты знаешь, где лежат пистолеты?

— Как же, как же,— подхватил Хозисон.— Дэвид знает, Дэвид — славный малый. Понимаешь, Дэвид, дружище, этот головорез с Шотландских гор навлекает на судно опасность — я уж не говорю о том, что он заклятый враг короля Георга, храни его господь!

Никогда еще с тех пор, как я попал на «Завет», меня так не обхаживали: «Дэвид — то, Дэвид — се...» Но я

ответил: «Да, сэр»,— как будто это было в порядке вещей.

— Беда, что наше огнестрельное оружие, от мушкетов до последнего пистолета, сложено в рубке, прямо под носом у этого человека,— продолжал капитан,— и порох там же. Ну, и если за оружием приду я или мой помощник, это наведет его на подозрение. Но мальцу вроде тебя, Дэвид, ничего не стоит прихватить с собой рог пороху да пару пистолетов, и это пройдет незамеченным. Сумеешь изловчиться — я этого не забуду, если тебе понадобятся друзья; а они тебе еще как понадобятся, когда мы придем в Каролину.

Тут мистер Риак шепнул ему что-то на ухо.

— Совершенно верно, сэр,— ответил капитан и вновь обратился ко мне: — И еще, Дэвид: у того человека пояс набит золотом, так вот даю слово — кое-что перепадет и тебе.

Я сказал, что сделаю, как он пожелает, хотя, по правде говоря, голос едва меня слушался. Тогда капитан дал мне ключ от рундучка со спиртным, и я медленно направился обратно в рубку. Что мне делать? Они были псы и воры, они разлучили меня с родиной, убили несчастного Рансома — так неужели мне расчистить им дорожку к новому убийству? Но вместе с тем во мне говорил и страх, я понимал, что ослушаться — значит пойти на верную смерть: много ли могут против команды целого брига один подросток да один взрослый, будь они даже отважны, как львы?

Все еще обдумывая разные за и против, так и не приняв твердого решения, я вошел в рубку и увидел при свете лампы, как якобит сидит и уплетает свой ужин, и тут в одну секунду выбор был сделан. Здесь нет моей заслуги: не по доброй воле, а точно по принуждению шагнул я к столу и опустил руку на плечо якобита.

— Дожидаетесь, пока вас убьют? — спросил я.

Он вскочил и взглянул на меня с красноречивым вопросом в глазах.

— Да они все здесь убийцы! — крикнул я.— Полный бриг душегубов! С одним мальчиком они уже расправились. Теперь ваш черед.

— Ну-ну,— сказал он.— Я пока еще не дался им в руки.— Он смерил меня любопытным взглядом.— Будешь драться на моей стороне?

— Буду! — *горячо сказал я.— Я-то не вор и не* убийца. Я буду с вами.

— Тогда говори, как тебя зовут.

— Дэвид Бэлфур,— сказал я и, решив, что человеку в таком пышном мундире должны быть по душе пышные титулы, прибавил, впервые в жизни: — Из замка Шос.

Он и не подумал усомниться в моих словах, ибо шотландский горец привык видеть родовитых дворян в тяжкой бедности, но у него самого поместья не было, и мои слова задели в нем струнку поистине ребяческого тщеславия.

— А я из рода Стюартов,— сказал он, горделиво выпрямившись.— Алан Брек — так меня зовут. С меня довольно того, что я ношу королевское имя, уж не взыщи, если я не могу пришлепнуть к нему на конце пригоршню деревенского навоза с громким названием.

И, отпустив мне эту колкость, словно речь шла о предмете первостепенной важности, он принялся обследовать нашу крепость.

Кормовая рубка была построена очень прочно, с таким расчетом, чтобы выдержать удары волн. Из пяти прорезанных в ней отверстий только верхний люк и обе двери были достаточно широки для человека. Двери к тому же наглухо задвигались: толстые, дубовые, они ходили взад и вперед по пазам и были снабжены крючками, чтобы по мере надобности держать их открытыми или закрытыми. Ту, что стояла сейчас закрытой, я запер на крюки, но когда двинулся к другой, Алан меня остановил.

— Дэвид...— сказал он.— Что-то не держится у меня в голове название твоих земельных владений, так уж я возьму на себя смелость говорить тебе просто Дэвид... Самое выигрышное условие моего оборонительного плана — оставить эту дверь открытой.

— Закрытой она будет еще выигрышнее,— сказал я.

— Да нет же, Дэвид. Пойми, лицо у меня одно. Пока эта дверь открыта, и я стою к ней лицом, большая часть противников будет прямо передо мной, а это для меня выгодней всего.

Он дал мне кортик — их было несколько на стойке, помимо ружей и пистолетов, и Алан придирчиво выбрал один, покачивая головой и приговаривая, что в жизни не видывал такого скверного оружия. Затем он

усадил меня за стол с пороховым рогом и мешочком, набитым пулями, и, свалив передо мной пистолеты, велел заряжать все подряд.

— Для прирожденного дворянина, позволь заметить, это будет получше занятие, чем выскребать миски и подавать выпивку просмоленной матросне.

Потом он встал посреди рубки лицом к двери и, обнажив свою длинную шпагу, попробовал, хватит ли места, чтобы ею управляться.

— Придется работать только острием,— сказал он, вновь качая головой.— А жаль, тут не блеснешь, у меня как раз талант к верхней позитуре. Ну, хорошо. Ты продолжай заряжать пистолеты да слушай, чтó я буду говорить.

Я сказал, что готов слушать. Волнение теснило мне грудь, во рту пересохло, в глазах потемнело; от одной мысли о том, какая орава скоро ворвется сюда и обрушится на нас, екало сердце и почему-то не выходило из головы море, чей плеск я слышал за бортом брига и куда, наверное, еще до рассвета бросят мое бездыханное тело.

— Прежде всего, сколько у нас противников? — спросил Алан.

Я стал считать, но у меня так скакали и путались мысли, что пришлось пересчитывать заново.

— Пятнадцать.

Алан присвистнул.

— Ладно,— сказал он,— с этим ничего не поделаешь. Теперь слушай. Мое дело оборонять дверь, здесь, я предвижу, схватка будет самой жаркой. В ней твое участие не требуется. Да смотри, не стреляй в эту сторону, разве что меня свалят с ног. По мне лучше десять недругов впереди, чем один союзничек вроде тебя, который палит из пистолета прямо мне в спину.

Я сказал, что я и вправду не бог весть какой стрелок.

— Смело сказано! — воскликнул он, в восторге от моего прямодушия.— Не каждый благородный дворянин отважится на такое признание.

— Но как быть с той дверью, что позади вас, сэр? — сказал я.— Вдруг они попробуют ее взломать?

— А вот это уж будет твоя забота,— сказал он.— Как только кончишь заряжать пистолеты, влезешь вон на ту койку, откуда видно в окно. Если кто-нибудь хоть

пальцем тронет дверь, стреляй. Но это еще не все. Сейчас узнаем, какой из тебя выйдет солдат. Что еще тебе надо охранять?

— Люк,— ответил я.— Но, право, мистер Стюарт, чтобы охранять и то и другое, мне потребуется еще пара глаз на затылке, ведь когда я лицом к люку, я спиной к окну.

— Очень верное наблюдение,— сказал Алан.— Ну, а уши у тебя имеются?

— Правда! — воскликнул я.— Я услышу, если разобьется стекло!

— Вижу в тебе зачатки здравого смысла,— мрачно заключил Алан.

ГЛАВА X

ОСАДА РУБКИ

Между тем время затишья было на исходе. У тех, кто ждал меня на палубе, истощилось терпение: не успел Алан договорить, как в дверях появился капитан.

— Стой! — крикнул Алан, направляя на него шпагу.

Капитан, точно, остановился, но не переменился в лице и не отступил ни на шаг.

— Обнаженная шпага? — сказал он.— Странная плата за гостеприимство.

— Вы хорошо меня видите? — сказал Алан.— Я из рода королей, я ношу королевское имя. У меня на гербе — дуб. А шпагу мою вам видно? Она снесла головы стольким вигамурам, что у вас пальцев на ногах не хватит, чтобы сосчитать. Созывайте же на подмогу ваш сброд, сэр, и нападайте! Чем раньше завяжется схватка, тем скорей вы отведаете вкус вот этой стали!

Алану капитан ничего не ответил, мне же метнул убийственный взгляд.

— Дэвид,— сказал он.— Я тебе это припомню.

От звука его голоса у меня мороз прошел по коже.

В следующее мгновение он исчез.

— Ну,— сказал Алан,— держись и не теряй головы: сейчас будет драка.

Он выхватил кинжал, чтобы держать его в левой руке на случай, если кто-нибудь попробует проскочить под занесенной шпагой. Я же, набрав охапку пистолетов, взобрался на койку и с замирающим сердцем отворил оконце, через которое мне предстояло вести наблюдение. Отсюда виден был лишь небольшой кусочек палубы, но для нашей цели этого было довольно. Море совсем успокоилось, а ветер дул все в том же направлении, паруса не брали его, и на бриге воцарилась мертвая тишина, но я мог бы побожиться, что различаю в ней приглушенный ропот голосов. Еще немного спустя до меня донесся лязг стали, и я понял, что в неприятельском стане раздают кортики и один уронили на палубу; потом снова наступила тишина.

Не знаю, было ли мне, что называется, страшно, только сердце у меня колотилось, как у малой пичуги, короткими, частыми ударами, и глаза застилало пеленой; я упорно тер их, чтобы ее прогнать, а она так же упорно возвращалась. Надежды у меня не было никакой, только мрачное отчаяние да какая-то злость на весь мир, вселявшая в меня ожесточенное желание продать свою жизнь как можно дороже. Помню, я пробовал молиться, но мысли мои по-прежнему скакали словно взапуски, обгоняя друг друга и мешая сосредоточиться. Больше всего мне хотелось, чтобы все уже поскорей началось, а там — будь что будет.

И все-таки, когда этот миг настал, он поразил меня своей внезапностью: стремительный топот ног, рев голосов, воинственный клич Алана и тут же следом — звуки ударов и чей-то возглас, словно от боли. Я оглянулся и увидел, что в дверях Алан скрестил клинки с мистером Шуаном.

— Это он убил того мальчика! — крикнул я.

— Следить за окном! — отозвался Алан и, уже отворачиваясь, я увидел, как его шпага вонзилась в тело старшего помощника.

Призыв Алана пришелся как раз ко времени: не успел я повернуть голову, как мимо оконца пробежали пятеро, таща в руках запасную рею, и изготовились таранить ею дверь. Мне еще ни разу в жизни не приходилось стрелять из пистолета — из ружья, и то нечасто,— тем более в человека. Но выбора не было — теперь или никогда,— и в тот миг, когда они уже раска-

чали рею для удара, я с криком «Вот, получайте!» выстрелил прямо в гущу пятерки.

Должно быть, в одного я попал, во всяком случае, он вскрикнул и попятился назад, а другие остановились в замешательстве. Не давая им опомниться, я послал еще одну пулю поверх их голов; а после третьего выстрела (такого же неточного, как второй) вся ватага, бросив рею, пустилась наутек.

Теперь я мог снова оглянуться. Вся рубка после моих выстрелов наполнилась пороховым дымом, у меня самого от пальбы едва не лопались уши. Но Алан по-прежнему стоял как ни в чем не бывало, только шпага его была по самый эфес обагрена кровью, а сам он, застывший в молодцеватой позе, исполнен был такого победного торжества, что поистине казался необорим. У самых его ног стоял на четвереньках Шуан, кровь струилась у него изо рта, он оседал все ниже с помертвевшим, страшным лицом; у меня на глазах кто-то снаружи подхватил его за ноги и вытащил из рубки. Вероятно, он тут же испустил дух.

— Вот вам первый из ваших вигов! — вскричал Алан и, повернувшись ко мне, спросил, каковы мои успехи.

Я ответил, что подбил одного, думаю, что капитана.

— А я двоих уложил,— сказал он.— Да, маловато пролито крови, они еще вернутся. По местам, Дэвид. Все это только цветочки, ягодки впереди.

Я опять занял свой пост и, напрягая зрение и слух, продолжал наблюдать, перезаряжая те три пистолета, из которых стрелял.

Наши противники совещались где-то неподалеку на палубе, причем так громко, что даже сквозь плеск волны мне удавалось разобрать отдельные слова.

— Это Шуан нам испортил всю музыку! — услышал я чей-то возглас.

— Чего уж там, браток! — отозвался другой.— Он свое получил сполна.

После этого голоса, как и прежде, слились в неясный ропот. Только теперь по большей части говорил кто-то один, как будто излагая план действий, а остальные, один за другим, коротко отвечали, как солдаты, получившие приказ. Из этого я понял, что готовится новая атака, о чем и сказал Алану.

— Дай бог, чтобы так,— сказал он.— Если мы раз навсегда не отобьем у них вкус к нашему обществу, ни тебе, ни мне не знать сна. Только имей в виду: теперь они шутить не будут.

К этому времени мои пистолеты были приведены в готовность и нам ничего не оставалось, как прислушиваться и ждать. Пока кипела схватка, мне некогда было задумываться, боюсь ли я, но теперь, когда опять все стихло, ничто другое не шло мне на ум. Мне живо представлялись острые клинки и холод стали; а когда я заслышал вскоре сторожкие шаги и шорох одежды по наружной стороне рубки и понял, что противник под прикрытием темноты становится по местам, я едва не закричал в голос.

Все это совершалось на той стороне, где стоял Алан; я уже начал думать, что мне воевать больше не придется, как вдруг услыхал, что прямо надо мной кто-то тихонько опустился на крышу рубки.

Прозвучал одинокий свисток боцманской дудки — условный сигнал — и разом, собравшись в тесный клубок, они ринулись на дверь с кортиками в руках; в ту же секунду стекло светового люка разлетелось на тысячу осколков, в отверстие протиснулся матрос и спрыгнул на пол. Он еще не успел встать на ноги, как я уткнул пистолет ему в спину и, наверно, застрелил бы его, но едва я прикоснулся к нему, к его живому телу, вся плоть моя возмутилась, и я уже не мог нажать курок, как не мог бы взлететь.

Прыгая, он выронил кортик и, когда ощутил дуло пистолета у спины, круто обернулся, с громовым проклятием схватил меня своими ручищами; и тогда то ли мужество возвратилось ко мне, то ли мой страх перерос в бесстрашие, но только с пронзительным воплем я выстрелил ему в живот. Он испустил жуткий, леденящий душу стон и рухнул на пол. Тут меня ударил каблуком по макушке второй матрос, уже просунувший ноги в люк; я тотчас схватил другой пистолет и прострелил ему бедро, он соскользнул в рубку и мешком свалился на своего упавшего товарища. Промахнуться было нельзя, ну, а целиться некогда: я просто ткнул в него дулом и выстрелил.

Возможно, я еще долго стоял бы, не в силах оторвать взгляд от убитых, если бы меня не вывел из оце-

пенения крик Алана, в котором мне почудился призыв о помощи.

До сих пор он успешно удерживал дверь; но пока он дрался с другими, один матрос нырнул под поднятую шпагу и обхватил его сзади. Алан колол противника кинжалом, зажатым в левой руке, но тот прилип к нему, как пиявка. А в рубку уже прорвался еще один и занес кортик для удара. В дверном проеме сплошной стеной лепились лица. Я решил, что мы погибли, и, схватив свой кортик, бросился на них с фланга.

Но я мог не торопиться на помощь. Алан наконец сбросил с себя противника, отскочил назад для разбега, взревел и, словно разъяренный бык, налетел на остальных. Они расступились перед ним, как вода, повернулись и кинулись бежать; они падали, второпях натыкаясь друг на друга, а шпага Алана сверкала, как ртуть, вонзаясь в самую гущу удирающих врагов, и в ответ на каждую вспышку стали раздавался вопль раненого. Я все еще воображал, что нам конец, как вдруг — о диво! — нападающих и след простыл, Алан гнал их по палубе, как овчарка гонит стадо овец.

Однако, едва выбежав из рубки, он тотчас вернулся назад, ибо осмотрительность его не уступала его отваге; а матросы меж тем с криками мчались дальше, как будто он все еще преследовал их по пятам. Мы слышали, как, толкаясь и давя друг друга, они забились в кубрик и захлопнули крышку люка.

Кормовая рубка стала похожа на бойню: три бездыханных тела внутри, один в предсмертной агонии на пороге — и два победителя, целых и невредимых: я и Алан.

Раскинув руки, Алан подошел ко мне.

— Дай, я обниму тебя! — Обняв, он крепко расцеловал меня в обе щеки.— Дэвид, я полюбил тебя, как брата. И признайся, друг,— с торжеством вскричал он,— разве я не славный боец?

Он повернулся к нашим поверженным врагам, проткнул каждого шпагой и одного за другим вытащил всех четверых за дверь. При этом он то мурлыкал себе под нос, то принимался насвистывать, словно силясь припомнить какую-то песню; только на самом-то деле он старался сочинить свою! Лицо его разрумянилось, глаза сияли, как у пятилетнего ребенка при виде новой игрушки. Потом он уселся на стол, дирижируя себе шпагой,

и мотив, который он искал, полился чуть яснее, потом еще увереннней,— и вот, на языке шотландских кельтов, Алан в полный голос запел свою песню.

Я привожу ее здесь не в стихах — стихи я слагать не мастер, но по крайней мере на хорошем английском языке. Он часто певал свою песню и после, она даже стала известной, так что мне еще не однажды доводилось слыхать и ее самое и ее толкование:

Это песнь о шпаге Алана;
Ее ковал кузнец,
Закалял огонь,
Теперь она сверкает в руке Алана Брека.

Было много глаз у врага,
Они были остры и быстры,
Много рук они направляли,
Шпага была одна.

По горе скачут рыжие лани,
Их много, гора одна,
Исчезают рыжие лани,
Гора остается стоять.

Ко мне, с вересковых холмов,
Ко мне, с морских островов,
Слетайтесь, о зоркие орлы,
Здесь есть для вас пожива.

Нельзя сказать, чтобы в этой песне, которую в час нашей победы сложил Алан — сам сочинил и слова и мелодию! — вполне отдавалось должное мне; а ведь я сражался с ним плечом к плечу. В этой схватке полегли мистер Шуан и еще пятеро: одни были убиты наповал, другие тяжело ранены, и из них двое пали от моей руки — те, что проникли в рубку через люк. Ранены были еще четверо, и из них одного, далеко не последнего по важности, ранил я. Так что, вообще говоря, я честно внес свою долю как убитыми, так и ранеными, и по праву мог бы рассчитывать на местечко в стихах Алана. Впрочем, поэтов прежде всего занимают их рифмы;
24 а в частной, хоть и нерифмованной беседе Алан всегда более чем щедро воздавал мне по заслугам.

А пока что у меня и в мыслях не было, что по отношению ко мне совершается какая-то несправедливость. И не только потому, что я не знал ни слова по-гэльски. Сказались и тревога долгого ожидания и лихорадочное напряжение двух бурных схваток, а главное, ужас от

сознания того, какая лепта внесена в них мною, так что когда все кончилось, я был рад-радехонек поскорей доковылять до стула. Грудь мне так стеснило, что я с трудом дышал, мысль о тех двоих, которых я застрелил, давила меня тяжким кошмаром, и не успел я сообразить, что́ со мной происходит, как разрыдался, точно малое дитя.

Алан похлопал меня по плечу, сказал, что я смельчак и молодчина и что мне просто нужно выспаться.

— Я буду караулить первым,— сказал он.— Ты меня не подвел, Дэвид, с начала и до конца. Я тебя на целый Эпин не променял бы — да что там Эпин! На целый Бредалбен!

Я постелил себе на полу, а он, с пистолетом в руке и шпагой у пояса, стал в первую смену караула: три часа по капитанскому хронометру на стене. Потом он разбудил меня, и я тоже отстоял свои три часа; еще до конца моей смены совсем рассвело и наступило очень тихое утро; пологие волны чуть покачивали судно, перегоняя туда и сюда кровь на полу капитанской рубки; по крыше барабанил частый дождь. За всю мою смену никто не шелохнулся, а по хлопанью руля я понял, что даже у штурвала нет ни души. Потом я узнал, что у них, оказывается, было много убитых и раненых, а остальные выказывали столь явное недовольство, что капитану и мистеру Риаку пришлось, как и нам с Аланом, поочередно нести вахту, чтобы бриг ненароком не прибило к берегу. Хорошо еще, что выдалась такая тихая ночь и ветер улегся, как только пошел дождь. И то, как я заключил по многоголосому гомону чаек, которые с криками метались вокруг корабля, охотясь за рыбой, «Завет» снесло к самому побережью Шотландии или к какому-то из Гебридских островов, и в конце концов, высунувшись из рубки, увидел по правому борту громады скалистых утесов Ская, а еще немного правее — таинственный остров Рам.

ГЛАВА XI

КАПИТАН ИДЕТ НА ПОПЯТНЫЙ

Часов в шесть утра мы с Аланом сели завтракать. Пол рубки был усеян битым стеклом и перепачкан кровью — ужасающее месиво; от одного его вида мне

сразу расхотелось есть. Зато во всем прочем положение у нас было не только сносное, но и довольно забавное: выставив капитана с помощником из их собственной каюты, мы получили в полное распоряжение все корабельные запасы спиртного — как вин, так и коньяку — и все самое лакомое из съестных припасов, вроде пикулей и галет лучшей муки. Уже этого было достаточно, чтобы привести нас в веселое расположение духа; но еще потешней было то, что два самых жаждущих сына Шотландии (покойный мистер Шуан в счет не шел) оказались на баке отрезаны от всей этой благодати и обречены пить то, что более всего ненавидели: холодную воду.

— И будь уверен,— говорил Алан,— очень скоро они дадут о себе знать. Можно отбить у людей охоту к драке, но охоту к выпивке — никогда.

Нам было хорошо друг с другом. Алан обходился со мною прямо-таки любовно; взяв со стола нож, он срезал со своего мундира одну из серебряных пуговиц и дал мне.

— Они достались мне от моего отца, Дункана Стюарта,— сказал он.— А теперь я даю одну из них тебе в память о делах минувшей ночи. Куда бы ты ни пришел, покажи эту пуговицу, и вкруг тебя встанут друзья Алана Брека.

Он произнес это с таким видом, словно он Карл Великий и у него под началом бессчетное войско, а я, признаюсь, хоть и восхищался его отвагой, все же постоянно рисковал улыбнуться его тщеславию,— да, именно рисковал, ибо, случись мне не сдержать улыбки, страшно подумать, какая бы разразилась ссора.

Когда мы покончили с едой, Алан стал рыться в капитанском рундуке, пока не нашел платяную щетку; затем, сняв мундир, придирчиво осмотрел его и принялся счищать пятна с усердием и заботой, свойственными, как я полагал, одним только женщинам. Правда, у него не было другого, да и потом, если верить его словам, мундир этот принадлежал королю, стало быть, и ухаживать за ним приличествовало по-королевски.

И все же, когда я увидел, как тщательно он выдергивает каждую ниточку с того места, где срезал для меня пуговицу, его подарок приобрел в моих глазах новую цену.

Алан все еще орудовал щеткой, когда нас окликнул с палубы мистер Риак и запросил перемирия для переговоров. Я вылез на крышу рубки и, сев на край люка, с пистолетом в руке и лихим видом — хоть в душе и побаивался торчащих осколков стекла — подозвал его и велел говорить. Он подошел к краю рубки и встал на бухту каната, так что подбородок его пришелся вровень с крышей, и несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Мистер Риак — он, как я понимаю, не слишком усердствовал на поле брани и потому отделался только ссадиной на скуле — выглядел подавленным и очень утомленным после ночи, проведенной на ногах то подле раненых, то на вахте.

— Скверная вышла история,— промолвил он наконец, качая головой.

— Не мы ее затевали,— отозвался я.

— Капитан хотел бы переговорить с твоим другом. Можно и через окно.

— А может, он опять замышляет вероломство, откуда нам знать? — вскричал я.

— Отнюдь, Дэвид,— сказал мистер Риак.— А если б и замышлял, скажу тебе честно: нам бы все равно не набрать на свою сторону людей.

— Вон как! — протянул я.

— Я тебе больше скажу,— продолжал он.— Дело не только в матросах, дело во мне. Я натерпелся страху, Дэви.— Он усмехнулся мне.— Нет, нам нужно одно: чтобы он нас не трогал.

После этого я посовещался с Аланом, и мы все согласились провести переговоры, обязав обе стороны честным словом прервать военные действия. Однако миссия мистера Риака не была этим исчерпана: он стал молить меня о выпивке, да так неотвязно, с такими горькими ссылками на свою прежнюю ко мне доброту, что я под конец подал ему примерно четверть пинты коньяку в жестяной кружке. Он отпил немного, а остальное унес на бак, верно, чтобы разделить со своим капитаном.

Немного спустя капитан, как и было условлено, подошел к одному из окошек рубки; он стоял под дождем, держа руку на перевязи, суровый, бледный, постаревший, и я почувствовал угрызения совести, что стрелял в него.

Алан тотчас навел на его лицо пистолет.

— Уберите эту штуку! — сказал капитан.— Разве я не поручился своим словом, сэр? Или вам угодно меня оскорблять?

— Капитан, боюсь, что ваше слово не прочно,— отвечал Алан.— Вчера вечером вы чинились и рядились, как торговка на базаре, и тоже поручились своим словом, да еще и по рукам ударили для верности —и сами знаете, что из этого вышло. Будь оно проклято, ваше слово!

— Ну, ну, сэр,— сказал капитан.— От сквернословия большого добра не будет. (Сам капитан, надо отдать ему должное, этим пороком никогда не грешил.) Нам и помимо этого есть о чем поговорить. Вы тут натворили бед на бриге,— горько продолжал он.— Мне не хватает людей, чтобы управляться с судном, а старшего помощника, без которого я как без рук, вы пропороли шпагой так, что он отошел, не успев и слова сказать. Мне ничего другого не остается, сэр, как возвратиться в порт Глазго, чтобы пополнить команду, а уж там, с вашего позволения, найдутся люди, которые сумеют с вами сговориться лучше меня.

— Вот как? — сказал Алан.— Что ж, клянусь честью, и мне будет о чем с ними потолковать! Для всякого, кто в этом городе понимает по-английски, у меня будет припасена презабавная история. С одной стороны, пятнадцать душ просмоленных матросов, а с другой — один мужчина да зеленый юнец. Фу, позорище!

Хозисон покраснел как рак.

— Нет,— продолжал Алан.— Так не выйдет. Хотите, не хотите, а придется вам высадить меня на берег, как договорились.

— Да, но мой старший помощник погиб,— сказал Хозисон.— Каким образом — вам лучше известно. Больше, сэр, никто из нас этого берега не знает, а места здесь очень опасные для судоходства.

— Я предоставляю вам выбор,— сказал Алан.— Можете высадить меня на сушу в Эпине, можете в Ардгуре, в Морвене, Арисейге или Мораре, короче, где вам угодно, в пределах тридцати миль от моей родины, только не в краю Кемпбеллов. Это большая мишень. Если вы и тут промахнетесь, то покажете себя таким же никудышным моряком, как и вoякой. Да в наших местах каждый бедняк на утлой плоскодонке ходит

с острова на остров в любую погоду, даже и ночью, если хотите знать.

— Плоскодонка — не бриг, сэр,— возразил капитан.— У нее осадки никакой.

— Тогда извольте, идем в Глазго! — сказал Алан.— По крайней мере хоть посмеемся над вами.

— У меня сейчас не веселье на уме,— сказал капитан.— Только все это будет стоить денег, сэр.

— Что ж, сэр,— сказал Алан.— Я слов на ветер не бросаю. Тридцать гиней, если высадите меня на побережье, шестьдесят — если доставите в Лох-Линне.

— Но подумайте, сэр: отсюда, где мы сейчас находимся, считанные часы ходу до Арднамёрхана,— сказал Хозисон.— Шестьдесят гиней, и я высажу вас там.

— А мне вам в угоду стаптывать сапоги и подвергать себя риску наткнуться на красные мундиры? — воскликнул Алан.— Нет, сэр, желаете получить шестьдесят гиней, так заработайте их сначала и высадите меня на родной земле.

— Это значит ставить под угрозу корабль, сэр,— сказал капитан.— А заодно и вашу жизнь.

— Не хотите, не надо,— сказал Алан.

Капитан нахмурился.

— Задать курс вы хоть как-то могли бы?

— Хм-м, едва ли,— отозвался Алан.— Я, как вы сами видели, скорей воин, а не моряк. А впрочем, меня достаточно часто подбирали и высаживали на этом побережье, надо думать, разберусь, как подойти к берегу.

Капитан все так же хмуро покачал головой.

— Не потеряй я на этом злосчастном рейсе столько денег,— сказал он,— я охотней согласился бы, чтобы вас вздернули, сэр, чем стал рисковать своим бригом. Но будь по-вашему. Как только ветер сменит румб,— а он, если не ошибаюсь, уже меняется,— я двигаюсь в путь. Но должен сказать вам еще одно. Может статься, нам повстречается королевское судно и возьмет нас на абордаж, причем не по моей вине: здесь вдоль всего побережья снуют сторожевые суда, и вы знаете, кого ради их здесь держат. Так вот, сэр, на такой случай вам бы лучше деньги оставить мне.

— Капитан,— сказал Алан.— Если вы завидите вымпел, ваше дело — удирать. А теперь, прослышал я, что у вас на баке опять нехватка спиртного, так не желаете ли меняться: два ведра воды на бутылку коньяку?

Эта заключительная статья договора была добросовестно исполнена обеими сторонами, после чего мы с Аланом смогли, наконец, навести чистоту в рубке и смыть следы, напоминавшие нам о тех, кого мы убили. Мистер же Риак с капитаном вновь обрели возможность блаженствовать на свой лад, иначе говоря — за бутылкой спиртного.

ГЛАВА XII

Я УЗНАЮ О РЫЖЕЙ ЛИСЕ

Мы еще не кончили прибирать в капитанской рубке, как с северо-востока поднялся ветер. Он разогнал дождь, показалось солнце.

Здесь я должен остановиться и кое-что пояснить, а читатель пусть соизволит взглянуть на карту. В тот день, когда на море пал туман и мы потопили Аланову лодку, мы шли по проливу Малый Минч. На рассвете после побоища мы заштилевали к востоку от острова Канна, а точнее — между ним и Эрискеем, одним из островов Лонг-Айлендской цепи. Чтобы попасть отсюда в Лох-Линне прямым путем, надо идти проливом Саунд-оф-Малл. Однако у капитана не было морской карты, и он боялся углубиться с бригом в самую гущу островов, а так как ветер дул попутный, он предпочел обогнуть с запада Тайри и подойти к цели вдоль южного берега обширного острова Малл.

Ветер весь день не менял направления и не стихал, а скорее крепчал; к вечеру он нагнал из-за внешних Гебридов волну. Наш курс, в обход внутренней группы островов, лежал на юго-запад, так что вначале волна набегала с траверза и нас изрядно швыряло с борта на борт. Но с наступлением темноты, когда мы обогнули оконечность Тайри и взяли немного восточнее, волна стала бить прямо в корму.

А между тем в первой половине дня, до того как море разыгралось, плыть было очень приятно: ярко сияло солнце, множество гористых островов обступало нас со всех сторон. Мы с Аланом, пользуясь тем, что ветер кормовой, настежь открыли обе двери рубки и покуривали трубочки, набитые превосходным табаком из капитан-

ских запасов. Тогда-то и рассказали мы друг другу о себе, что оказалось в особенности важно для меня, ибо я получил некоторое понятие о диких краях горной Шотландии, где мне так скоро предстояло высадиться. В те дни, когда великое восстание было еще совсем недавним прошлым, тому, кто тайно вступал в страну вереска, не мешало знать, что его там ждет.

Первым подал пример я, рассказав Алану все свои злоключения. Он выслушал меня очень благодушно, и, только когда мне случилось упомянуть моего доброго друга священника Кемпбелла, Алан вспылил и стал кричать, что ненавидит всякого, кто носит это имя.

— Что вы,— сказал я.— Это такой человек, которому только лестно подать руку.

— Не знаю, Кемпбеллу я ничего бы не дал,— сказал Алан.— Разве что пулю в лоб. Я все их племя перестрелял бы, как тетеревов. Если б я даже лежал при смерти, то на коленях дополз бы до своего окна, чтобы пристрелить еще одного.

— Помилуйте, Алан! — вскричал я.— Чем вам так досадили Кемпбеллы?

— А вот слушай,— сказал он.— Ты прекрасно знаешь, что я родом из Эпинских Стюартов. Кемпбеллы же издавна пакостят и вредят моим сородичам, да-да, и земли наши захватывают — и всегда кознями, нет чтобы мечом! — Последние слова он выкрикнул очень громко и стукнул кулаком по столу. Я, признаться, не обратил на это особенного внимания, зная, что так обыкновенно говорит всякий, кто потерпел поражение.— Есть еще и много другого, только все на один манер: лживые слова, лживые бумаги, надувательство, достойное мелочного торговца,— и все под видом законности, от этого еще больше зло берет.

— Когда человек так щедро раздает свои пуговицы, как вы,— заметил я,— он едва ли много смыслит в делах.

— Хм! — сказал он, вновь расплываясь в улыбке.— Расточительность мне досталась из тех же рук, что и пуговицы: от бедного моего батюшки Дункана Стюарта, да будет земля ему пухом! Лучший в своем роду, первый фехтовальщик в Шотландии, а это все равно, что сказать «во всем мире»! Уж я-то знаю, недаром он меня обучал! Он был в Черной Страже, когда ее в первый раз созвали и, подобно всем высокородным стражникам,

имел при себе оруженосца, чтобы носил за ним кремневое ружье в походе. Раз королю, видно, пришла охота поглядеть, как фехтуют шотландские горцы. Избрали моего отца и еще троих и послали в город Лондон блеснуть мастерством. Провели их во дворец, и там они два часа без передышки показывали все тонкости фехтовального искусства перед королем Георгом, королевой Каролиной, палачом герцогом Кемберлендским и другими, я всех и не упомню. А когда кончили, король, какой он ни был наглый узурпатор, а обратился к ним с милостивым словом и каждому собственноручно пожаловал по три гинеи. При выходе из дворца им надо было миновать сторожку привратника, и тут отцу пришло в голову, что раз он, вероятно, первым из шотландских дворян проходит в эту дверь, значит, ему надлежит дать бедному привратнику достойное представление о том, с кем он имеет дело. И вот он кладет привратнику в руку три королевские гинеи, словно это для него самое обычное дело; трое, что шли позади, поступили так же. С тем они и очутились на улице, ни на грош не став богаче после всех своих трудов. Кто говорит, что первым одарил королевского привратника один, кто говорит — другой, но в действительности сделал это Дункан Стюарт, и я готов доказать это как шпагой, так и пистолетом. Вот каков человек был мой отец, упокой, господи, его душу!

— Думаю, такой человек не оставил вас богачом,— сказал я.

— Это верно,— сказал Алан.— Оставил он мне пару штанов, чтобы прикрыть наготу, а больше почти ничего. Оттого я и подался на военную службу, а это и в лучшие-то времена лежало на мне черным пятном, ну, а угоди я в лапы красных мундиров, и вовсе меня подведет.

— Как? — воскликнул я.— Вы и в английской армии служили?

— Вот именно,— сказал Алан.— Одно утешение, что под Престонпансом[1] перешел на сторону тех, кто сражался за правое дело.

---

[1] 21 сентября 1745 года шотландцы разбили под Престонпансом войска англичан.

С таким взглядом на вещи мне было трудно согласиться: дезертирство под огнем я привык считать позором для человека чести. Но как ни молод я был, у меня хватило благоразумия не заикнуться об этом вслух.

— Ого! — сказал я.— Ведь это карается смертью!

— Да, попадись Алан им в руки, расправа будет коротка, зато веревка найдется длинная! Правда, у меня в кармане патент на воинский чин, подписанный королем Франции,— все же какая-то защита.

— Очень сомневаюсь,— сказал я.

— Сомнений у меня самого немало,— сухо сказал Алан.

— Но, боже праведный! — вырвалось у меня.— Вы отъявленный мятежник, перебежчик, служите французскому королю — и рискуете возвращаться в Шотландию? Нет, это прямой вызов судьбе.

— Ба! — сказал Алан.—Я с сорок шестого каждый год сюда возвращаюсь.

— Что же вас заставляет?

— Тоскую, понимаешь ли,— сказал он.— По друзьям, по родине. Франция, спору нет, прекрасная страна, но меня тянет к вереску, к оленям. Ну, и занятия тоже находятся. Между делом подбираю молодых людей на службу к французскому королю. Рекрутов, понимаешь? А это как-никак деньги. Но главное, что меня сюда приводит, это дела моего вождя, Ардшила.

— Я думал, вашего вождя зовут Эпин,— сказал я.

— Да, но Ардшил — предводитель клана,— объяснил Алан, не слишком, впрочем, для меня вразумительно.— Представь себе, Дэвид: он, кто всю жизнь был таким важным лицом, королевского рода по крови и по имени, ныне низведен до положения простого бедняка и влачит свои дни во французском городе. Он, к кому по первому зову собирались четыреста рубак, ныне (я видел это собственными глазами!) сам покупает на базаре масло и несет домой в капустном листе. Это не только больно, это позор для всей фамилии, для клана, а потом, есть ведь и дети, плоть от плоти Эпина, его надежда, которых там, на чужбине, надо обучать наукам и умению держать в руке шпагу. Так вот. Эпинским арендаторам приходится платить ренту королю Георгу, но у них стойкие сердца, они верны своему вождю; и так под двойным воздействием любви и легкого нажима — бывает, пригрозишь разок-другой — бедный люд ухитряется наскрести еще одну ренту для Ардшила. А я, Дэвид,— рука, которая передает ему эту ренту.

И он хлопнул рукой по поясу, так, что звякнули гинеи.

— И они платят тому и другому? — воскликнул я.

— Так, Дэвид. Обоим.

— Неужели? Две ренты?

— Да, Дэвид,— ответил Алан.— Этому капитанишке я сказал не то, но тебе говорю правду. И просто диву даешься, как мало требуется усилий, чтобы ее получить. Здесь, впрочем, заслуга достойного моего родича и друга моего батюшки, Джемса из рода Гленов, иначе говоря, Джемса Стюарта, кровного брата Ардшила. Это он собирает деньги и все устраивает.

Так впервые я услышал имя того самого Джемса Стюарта, который потом снискал себе столь громкую известность в дни, когда пошел на виселицу. Но в ту минуту я пропустил это имя мимо ушей, всецело поглощенный мыслью о великодушии бедных горцев.

— Какое благородство! — вскричал я.— Пускай я виг или вроде того, но я заявляю, что это благородно.

— Да,— отозвался Алан.— Ты виг, но ты джентльмен, и потому ты понимаешь. Вот будь ты родом из проклятого племени Кемпбеллов, ты, заслышав такое, зубами бы заскрипел. Будь ты Рыжей Лисой...— При этом имени Алан осекся и стиснул зубы. Много зловещих лиц довелось мне видеть в жизни, но ни одно не дышало такой злобой, как лицо Алана, когда он вспомнил о Рыжей Лисе.

Я слегка оробел, но любопытство пересилило.

— А кто это — Рыжая Лиса? — спросил я.

— Кто? — вскричал Алан.— Хорошо, я тебе скажу. Когда воины шотландских кланов были повержены под Куллоденом и правое дело было растоптано, а кони бродили по бабки в лучшей крови Севера, Ардшил, точно затравленный олень, вынужден был бежать в горы — бежать вместе с супругой и детьми. Тяжко нам пришлось, пока не погрузили их на корабль; а когда он еще укрывался в лесах, подлецы-англичане, не сумев лишить его жизни, лишили нашего вождя его исконных прав. Они отняли у него власть, отняли земли, вырвали шпаги из рук его собратьев по клану, носивших оружие тридцать столетий,— сорвали с них даже одежду, так что теперь и плед надеть почитается преступлением

и тебя могут бросить в темницу за то лишь, что на тебе шотландская юбка. Одно только истребить им было не под силу: любовь клана к своему вождю. Свидетельство тому — эти гинеи. И вот тут на сцену выходит новое лицо: Кемпбелл, рыжий Колин из Гленура...

— Это которого вы зовете Рыжей Лисой? — спросил я.

— Эх, принес бы мне кто хвост этой лисицы! — свирепо выкрикнул Алан.— Да, тот самый. Он вступает в игру, получает у короля Георга бумагу на должность так называемого королевского управляющего в Эпине. Поначалу он тише воды и ниже травы, с Шеймусом — то есть Джемсом Гленом, доверенным моего вождя — чуть не обнимался. Потом мало-помалу до него доходит то, о чем я сейчас тебе рассказал: что эпинские бедняки, простые фермеры, арендаторы, лучники выжимают из себя все до последнего, лишь бы собрать вторую ренту и отправить за море Ардшилу и несчастным его детям. Как ты это назвал?

— Назвал благородством, Алан.

— И это ты, который немногим лучше вига! — вскричал Алан.— Но когда это дошло до Колина Роя, черная кемпбелловская кровь бросилась ему в голову. Скрежеща зубами, сидел он за пиршественным столом. Как! Чтобы Стюарту перепал кусок хлеба, а он не мог помешать? Ну, рыжая тварь, попадись ты мне на мушку, да поможет тогда тебе бог! (Алан помолчал, силясь совладать со своим гневом.) Итак, Дэвид, что же он, по-твоему, делает? Он объявляет, что все фермы сдаются в аренду. А сам, в глубине своей черной души, прикидывает: «Мигом водворю новых арендаторов, которые забьют на торгах всех этих Стюартов, Макколов да Макробов — это все из нашего клана имена, Дэвид,— и тогда, думает, волей-неволей придется Ардшилу ходить с сумой по французским дорогам».

— Ну,— сказал я,— а дальше?

Алан отложил давно уже погасшую трубку и уперся ладонями в колени.

— Дальше? — сказал он.— Ни за что не угадаешь! Дальше эти самые Стюарты, Макколы и Макробы, которым и так уже приходилось платить две ренты: одну, по принуждению,— королю Георгу, другую, по природной доброте своей,— Ардшилу, предложили Рыжему такую цену, какой не давал ни один Кемпбелл во всей

Шотландии. А уж он куда только не посылал за ними, от устья Клайда и до самого Эдинбурга, выискивать, уламывать, улещать: явитесь, мол, сделайте милость, чтобы уморить голодом Стюарта на потеху рыжему псу Кемпбеллу!

— Да, Алан,— сказал я.— Это удивительная и прекрасная история. Я, может быть, и виг, но я рад, что этот человек был сокрушен.

— Сокрушен? — эхом подхватил Алан.— Это он-то? Плохо же ты знаешь Кемпбеллов и еще хуже — Рыжую Лису. Не было этого и не будет, пока склоны гор не окрасятся его кровью. Но пускай только выдастся денек, друг Дэвид, когда у меня будет время поохотиться на досуге, и тогда всего вереска Шотландии не хватит, чтобы укрыть его от моей мести!

— Друг Алан,— сказал я,— к чему столько гневливых слов? И смысла не слишком много, и не очень это по-христиански. Тому, кого вы зовете Лисой, они не причинят вреда, вам же не принесут никакой пользы. Просто расскажите мне все по порядку. Что он сделал потом?

— Уместное замечание, Дэвид,— сказал Алан.— Что правда, то правда: ему от слов вреда не будет, и это очень жаль! И, не считая этого твоего «не по-христиански» — на сей счет я совсем другого мнения, иначе бы и христианином не был,— я совершенно с тобой согласен.

— Мнение — не мнение, а что христианская религия воспрещает месть, это известно.

— Да,— сказал он,— сразу видно, что тебя наущал Кемпбелл! Кемпбеллам и им подобным жилось бы куда уютней, когда бы не было на свете молодца с ружьем за вересковым кусточком! Впрочем, это к делу не относится. Итак: что он сделал потом.

— Ну-ну? — сказал я.— Рассказывайте же.

— Изволь, Дэвид. Не сумев отделаться от верных простолюдинов мытьем, он поклялся избавиться от них катаньем. Только бы Ардшил голодал — вот он чего добивался. А раз тех, кто кормит его в изгнании, деньгами не осилишь, значит, правдами ли, неправдами, а он их выживет иначе. Созывает он себе в поддержку законников, выправляет бумаги, посылает за красными мундирами. И приневолили добрый люд собираться, да брести неведомо куда из родимого дома, с насиженных

мест, где тебя вскормили, вспоили, где ты играл, когда был мальчишкой. А кто пришел на их место? Нищие голодранцы! Будут теперь королю Георгу подати, ищи-свищи! Пускай довольствуется меньшим, пускай масло тоньше мажет, рыжему Колину и горя мало! Удалось навредить Ардшилу — его душенька довольна! Вырвал кусок из рук моего вождя, игрушку из детских ручонок — на радостях песни будет распевать по дороге к себе в Гленур.

— Позвольте, я вставлю слово,— сказал я.— Будьте уверены: раз ренты берут меньше, стало быть, сюда приложило руку правительство. Этот Кемпбелл не виноват, ему так велели. Ну, убьете вы завтра вашего Колина — много ли в этом проку? Вы и оглянуться не успеете, как на его место прибудет новый управляющий.

— Да,— сказал Алан.— В бою ты просто молодчина, а так — виг до мозга костей!

Он говорил как будто бы добродушно, но за его пренебрежительным тоном угадывалось столько ярости, что я счел разумным переменить разговор. Я сказал, что меня удивляет, как это человек в его положении может беспрепятственно наезжать сюда всякий год и его до сих пор не схватили, хотя весь север Шотландии наводнен войсками и часовых там — точно у стен осажденного города.

— Это проще, чем ты думаешь,— отозвался Алан.— Открытый склон горы, понимаешь ли, что твоя дорога: завидел стражу в одном месте, проходи другим, вот и все. Да и вереск — большая подмога. И повсюду дома друзей, их хлева, стога сена. А потом, это ведь больше ради красного словца говорится: «Вся земля наводнена войсками». Один солдатишка наводнит собой ровно столько земли, сколько у него под сапогами. Мне случалось рыбачить, когда на том берегу торчала стража, да еще какую знатную форель я добывал! Сиживал я и под вересковым кустом в пяти шагах от часового, да какой еще миленький мотив перенял у него со свиста! Вот,— и Алан просвистал мне мелодию песенки.

— Ну, а кроме того,— продолжал он,— сейчас не так туго, как в сорок шестом. В горах, как говорится, восстановлен мир. Оно и не удивительно, коль скоро от самого Кинтайра и до мыса Рат не сыщешь ни ружья, ни шпаги, разве что у кого подогадливей припрятаны

под соломой на стрехах! Одно только знать бы, Дэвид, доколе это? Ненадолго, казалось бы, если люди вроде Ардшила томятся в изгнании, а такие, как Рыжая Лиса, лакают вино и обижают бедный люд в его же родном доме. Только хитрая это штука — угадать, что народ вытерпит, а что нет. Иначе как бы могло так получиться, что рыжий Колин разгуливает на коне по моему многострадальному Эпину и до сих пор не нашлось удальца, чтобы всадить в него пулю?

Тут Алан умолк, впал в задумчивость и долго сидел притихший и печальный.

В довершение всего, что сказано уже про моего друга, добавлю, что он искусно играл на всех музыкальных инструментах, в особенности на свирели; был признанным поэтом, слагавшим стихи на своем родном языке; прочел немало книг, французских и английских; стрелял без промаха, был умелый рыболов и великолепный фехтовальщик, равно владея как рапирой, так и излюбленной своей шпагой. Что касается его недостатков, они были видны как на ладони, и я уже знал их наперечет. Правда, после битвы в капитанской рубке худший из них — ребяческую свою обидчивость и склонность затевать ссоры — он, по отношению ко мне, почти не выказывал. Только не берусь судить, почему: оттого ли, что я сам не ударил в грязь лицом, или оттого, что стал свидетелем его собственной, куда большей удали. Ибо сколь ни ценил Алан Брек доблесть в других, больше всего восхищался он ею в Алане Бреке.

ГЛАВА XIII

ГИБЕЛЬ БРИГА

Было уже очень поздно и, для такого времени года, совсем темно (иными словами, достаточно все-таки светло), когда в дверь кормовой рубки просунул голову Хозисон.

— Эй, выходите,— позвал он.— Надо поглядеть, сумеете вы провести нас по этим местам?

— Что, опять ваши фокусы? — спросил Алан.

— Какие там фокусы! — закричал капитан.— И без того голова кругом идет — у меня бриг в опасности!

По его озабоченному виду и в особенности по тому, как тревожно он говорил о бриге, нам обоим стало ясно, что на этот раз капитан совершенно искренен, и мы с Аланом, не слишком опасаясь подвоха, вышли на палубу.

Дул резкий, пронизывающе холодный ветер, на безоблачных небесах еще не потух отблеск заката и ярко светила почти уже полная луна. Бриг шел очень круто к ветру, с тем чтобы обогнуть юго-западную оконечность острова Малл, чьи горы высились на самом виду слева по носу, и выше всех — увенчанный дымкой тумана Бен-Мор. Хотя галс был не слишком удобен для «Завета», все же, подгоняемый западной волной, бриг на огромной скорости рвался вперед, содрогаясь от напряжения, то и дело зарываясь носом в волны.

В сущности, ночь была не такая уж скверная для мореплавания, я даже стал было недоумевать, что́ так расстроило капитана, как вдруг бриг подняло на громадный вал, и капитан, показывая куда-то рукой, закричал нам: «Смотрите!»

Впереди по подветренному борту из освещенного луною моря поднялось в воздух что-то похожее на фонтан, и сразу же послышался приглушенный расстоянием рокот.

— Что это, по-вашему? — угрюмо спросил капитан.

— Волны разбиваются о риф,— сказал Алан.— Теперь вы знаете, где он, так чего же лучшего желать?

— Оно конечно,— сказал Хозисон.— Если б он был один.

И точно: не успел он договорить, как немного южнее из моря поднялся еще один фонтан.

— Видали? — сказал Хозисон.— Вот то-то. Знал бы я про эти рифы да будь у меня морская карта или останься хоть Шуан в живых, ни за какие шестьдесят гиней, ни даже за шестьсот я не стал бы рисковать бригом в эдакой каменоломне! Ну, а вы, сэр, вы же взялись показывать нам курс — что теперь скажете?

— Думаю,— сказал Алан,— что это, как их называют, Торренские скалы.

— И много их?

— Помилуйте, сэр, я не лоцман,— сказал Алан.— Что-то, помнится, миль на десять наберется.

Мистер Риак и капитан переглянулись.

— Но где-то есть же между ними проход? — спросил капитан.

— Несомненно,— сказал Алан.— Только где? Хотя мне, опять-таки не знаю почему, запало в голову, что вроде к берегу посвободнее.

— Вон что? — сказал Хозисон.— Тогда, мистер Риак, надо будет держать круче к ветру, а когда будем огибать Малл, сэр, как можно ближе к берегу. Правда, все равно берег закроет нам ветер, а с подветренной стороны будет торчать эта каменоломня. Ну, да отступать поздно, так что скрипим дальше.

Он скомандовал рулевому, а Риака послал на фок-марс. Из экипажа на палубе было только пять душ, включая капитана и помощника: все, кто был годен — или, по крайней мере, годен и расположен к работе. Потому-то, как я уже сказал, лезть на марс и выпало на долю мистера Риака, и теперь он сидел там впередсмотрящим и кричал на палубу о том, что видел.

— К югу забито скалами,— предостерегал он, и потом, немного спустя: — А к берегу и вправду как будто посвободней.

— Ну, сэр,— обратился Хозисон к Алану,— попробуем идти по вашей указке. Только, сдается мне, с таким же успехом можно довериться слепому скрипачу. Дай-то бог, чтоб вы оказались правы.

— Дай-то бог! — шепнул мне Алан.— Но где же я это слышал? Э, да ладно, чему быть, того не миновать.

Чем ближе мы подходили к оконечности суши, тем гуще было море усеяно рифами — они торчали тут и там прямо у нас на пути, и мистер Риак то и дело кричал, что надо менять курс. Иной раз это было более чем ко времени; один риф, к примеру, прошел так близко от планшира, что когда о него разбилась волна, мелкие брызги дождем посыпались на палубу, обдав нас с головы до ног.

Было светло, как днем, и все эти опасности хорошо видно; оттого становилось, пожалуй, еще тревожнее. Хорошо видел я и лицо капитана: он стоял подле рулевого, переминаясь с ноги на ногу, время от времени дыша на пальцы, но упорно вслушивался, неотступно следил за морем, твердый, как скала. Ни он, ни мистер

Риак не отличились в сражении, но я увидел, что в своем ремесле им храбрости не занимать, и это очень возвысило обоих в моих глазах, тем более что Алан, оказывается, побелел как полотно.

— Ох-хо-хо, Дэвид,— пробормотал он.— Не по душе мне такая смерть!

— Что я вижу, Алан! — воскликнул я.— Уж не струсили ли вы?

— Нет,— сказал он, облизывая пересохшие губы.— Но согласись, что это студеная кончина...

К этому времени, то и дело меняя курс, чтобы не напороться на риф, но по-прежнему держа круто к ветру и как можно ближе к берегу, мы обогнули остров Айону и двинулись вдоль острова Малл. Прибой у оконечности мыса был очень сильный, и бриг швыряло, как щепку. На руль поставили двух матросов, а иной раз и Хозисон самолично приходил им на помощь, и странно было видеть, как трое здоровенных мужчин всей своей тяжестью налегают на румпель, а он, точно живое существо, сопротивляется и отбрасывает их назад. Это усугубило бы и без того грозную опасность, да, по счастью, море вот уже несколько миль как очистилось от подводных скал. А тут и мистер Риак возвестил с марса, что видит прямо по курсу чистую воду.

— Вы оказались правы,— сказал Алану Хозисон.— Вы спасли бриг, сэр; я не забуду этого, когда придет срок сводить счеты.

Я верю, что он произнес эти слова чистосердечно и что, более того, сдержал бы их, так дорог был «Завет» сердцу капитана.

Впрочем, это лишь догадки, ибо сложилось все иначе, нежели он предполагал.

— Увались на румб! — выкрикнул вдруг мистер Риак.— С наветренной стороны риф!

В ту же секунду бриг подхватило прибоем и паруса потеряли ветер. «Завет» волчком повернулся против ветра и тотчас ударился о риф с такой силой, что все мы плашмя повалились на палубу, а мистер Риак едва не слетел с мачты.

Во мгновение ока я был на ногах. Риф, на который мы наткнулись, находился где-то возле юго-западной оконечности Малла, неподалеку от крохотного островка по названию Иррейд, чьи низкие берега чернели по левому борту. Волны то обрушивались прямо на бриг, то молотили его, беднягу, о риф, так что мы слышали, как его дробит в куски; а тут еще плеск парусов, вой ветра, пенные брызги в лунном свете, ощущение опасности — от всего этого у меня, должно быть, голова пошла кругом, во всяком случае, я плохо соображал, что творится у меня перед глазами.

Вскоре я заметил, что мистер Риак с матросами возится подле шлюпки и, все еще в помрачении рассудка, кинулся им подсобить; и едва принялся за работу, как в голове у меня прояснилось. Наша задача была не из легких, ибо шлюпка была закреплена на шканцах и забита всякой всячиной, а на палубу непрестанно накатывали тяжкие волны, заставляя нас бросать работу и хвататься за леера, но, пока было возможно, все мы трудились, как черти.

Тем временем из носового люка кое-как выкарабкались к нам на подмогу раненые, те, что могли передвигаться; остальные, беспомощно распростертые на койках, изводили меня воплями и мольбами о спасении.

Капитан оставался безучастен. Казалось, у него отшибло рассудок. Он стоял, держась за ванты, разговаривал с самим собою и громко стонал всякий раз, как бриг колотило о скалу. «Завет» был ему словно жена и дитя; Хозисон мог спокойно наблюдать день за днем, как мучают несчастного Рансома; но тут дело коснулось брига,— и видно было, что капитан разделяет все страдания своего любимого детища.

За то время, пока мы возились со шлюпкой, мне запомнилось еще только одно: взглянув туда, где был берег, я спросил Алана, что это за края, а он ответил, что для него худшего места не придумаешь, так как это земли Кемпбеллов.

Одному из раненых велели следить за волнами и кричать нам, если что случится. И вот, когда мы почти уж были готовы спустить шлюпку, раздался его отчаянный возглас: «Держись, Христа ради!» Мы вмиг поняли, что готовится нечто страшное, и не ошиблись: надвинулся громадный вал; бриг подняло, как перышко, и опрокинуло на борт. Не знаю, окрик ли донесся слишком поздно или я недостаточно крепко держался, но, когда судно внезапно дало крен, меня единым духом перебросило через фальшборт прямо в море.

Я камнем ушел под воду, вдоволь наглотался воды, потом вынырнул, мельком увидел луну и снова погрузился с головой. Говорят, на третий раз тонешь окончательно. Если так, я, видно, устроен не как все, потому что даже не сосчитать, сколько раз я скрывался под водой и сколько раз всплывал опять. И все это время меня мотало, и тузило, и душило, а потом заглатывало целиком, и от всего этого я до того ошалел, что не успевал ни пожалеть себя, ни испугаться.

В какой-то миг я заметил, что цепляюсь за кусок рангоута и что держаться на поверхности стало легче. А потом внезапно очутился на тихой воде и понемногу опомнился.

Цеплялся я, оказывается, за запасную рею, а оглядевшись, поразился, как далеко я от брига. Конечно же, я принялся кричать, но меня явно не могли услышать «Завет» еще держался на воде; но спустили шлюпку или нет, мне с такого расстояния, да еще снизу, не было видно.

Пока я пробовал докричаться до брига, я заметил, что между мною и судном тянется полоса воды, куда не доходят большие волны, но где зато все кипит белой пеной, и расходится кругами, и вздувается пузырями в лунном свете То вся полоса разом хлестнет в одну сторону как змеиный хвост, то на мгновение разгладится бесследно и тут же вскипает вновь. Что это было такое, я и не догадывался, и оттого мне стало тогда еще страшней; теперь-то я понимаю, что скорей всего то было сильное прибрежное течение, «толчея»: это она так быстро меня унесла, так безжалостно кидала и бросала и, наконец, как бы наскучив этой забавой, вышвырнула вместе с запасной реей в смежные с нею береговые воды.

Здесь, в полосе полного штиля, я ощутил, что замерзнуть можно с не меньшим успехом, чем утонуть. До берегов Иррейда было рукой подать, я различал в свете луны пятнышки вереска, искристые изломы сланца на скалах.

— А что? — сказал я себе.— Пустяки осталось — неужели не доплыву?

Пловец я был не ахти какой: Эссен-Уотер в наших местах воробью по колено, но когда я схватился за рею обеими руками, а ногами принялся бить по воде, то обнаружил, что продвигаюсь вперед. Трудное это было

занятие и убийственно медленное; однако, пробултыхавшись эдак с час, я заплыл довольно далеко меж двумя мысами, в глубь песчаной бухточки, окруженной невысокими холмами.

Бухточка была тихая-тихая, ни единого всплеска волны; ярко светила луна, и во мне шевельнулась мысль, что никогда еще я не видел такого безлюдного, пустынного места. Но все-таки это была суша, и когда, наконец, стало так мелко, что можно было выпустить рею и брести к берегу, не скажу, что владело мною с большей силой — усталость или благодарность. Чувствовал я, во всяком случае, и то и другое: усталость, какой еще не знал до этой ночи, и благодарность создателю, какую, полагаю, испытывал достаточно часто, хоть никогда прежде не имел для нее столь веских оснований.

ГЛАВА XIV

ОСТРОВОК

Итак, я ступил на берег, открыв этим самую горестную страницу моих приключений. Было половина первого ночи, и хоть горы и защищали берег от ветра, ночь стояла холодная. Садиться на землю я не рискнул из опасения, что окоченею, а вместо этого разулся и, превозмогая смертельную усталость, принялся расхаживать туда-сюда босиком по песку, хлопая себя по груди, чтобы согреться. Ни один звук не выдавал присутствия поблизости человека или домашней скотины; ни один петух не пропел, хотя было, вероятно, как раз время первых петухов; лишь буруны разбивались вдали о рифы, вновь напоминая об опасностях, пережитых мною, и тех, что угрожали моему другу,— и что-то боязно стало мне бродить у моря в такой глухой час, в таком глухом и пустынном месте.

Едва занялась заря, я надел башмаки и стал карабкаться на холм — такого тяжкого подъема преодолевать мне еще не случалось — то, поминутно оступаясь, пробирался между огромными гранитными глыбами, то прыгал с одной на другую. Когда я достиг вершины, уже совсем рассвело. От брига не осталось и следа; должно быть, он снялся с рифа и затонул. Шлюпки тоже нигде не было видно. В океане — ни единого паруса,

на суше, насколько хватало глаз,— ни человека, ни жилья.

Страшно было думать об участи, постигшей моих недавних спутников, страшно глядеть дальше на эти пустынные места. Да у меня и без того было довольно напастей: промокшее платье, усталость, а тут еще живот стало подводить от голода. И я двинулся на восток по южному берегу в надежде набрести на какой-нибудь домишко, обогреться, а возможно, и разведать кое-что о тех, с кем меня разлучило несчастье. На худой конец, рассудил я, скоро взойдет солнце и хоть одежду мне высушит.

Немного спустя мне преградил дорогу заливчик или, быть может, узкий фиорд; он, казалось, довольно глубоко вдавался в сушу, а так как переправиться через него мне было не на чем, то поневоле пришлось свернуть и попробовать обойти его стороной. Идти было попрежнему очень трудно; по сути дела, не только весь Иррейд, но и прилегающий к нему кусок Малла, так называемый Росс,— это сплошное нагромождение гранитных скал, а между скалами густо растут кусты вереска. Сначала заливчик, как я и предвидел, все сужался, но через некоторое время, к удивлению моему, стал вновь раздаваться вширь. Я только озадаченно поскреб в затылке, все еще не догадываясь, в чем тут дело, пока, наконец, дорога вновь не пошла в гору и у меня мгновенно вспыхнула догадка: земля, на которую меня забросило,— бесплодный крохотный островок, со всех сторон отрезанный от суши солеными водами океана.

Вместо долгожданного солнца поднялся густой туман, а там и дождь пошел, так что положение у меня было самое плачевное.

Я стоял под дождем, дрожа от холода и гадая, как быть, пока не сообразил, что можно попробовать перейти заливчик вброд. Вновь я поплелся назад к самому узкому месту, вошел в воду. Однако в каких-нибудь трех ярдах от берега провалился по самую макушку и если не покончил на том все счеты с жизнью, то спасла меня лишь милость господня, а не собственное благоразумие. Нельзя сказать, чтобы я сильно вымок — мокнуть дальше все равно было некуда,— но после этой незадачи до смерти продрог и, утратив еще одну надежду, еще больше пал духом.

И тогда-то я вдруг вспомнил о рее. Если она помогла мне выбраться из «толчеи», то переправиться через тихий узенький заливчик поможет и подавно. С этой мыслью я храбро двинулся в гору напрямик через весь островок, чтобы достать рею и принести сюда. Путь был неблизкий и тяжелый во всех отношениях; и если бы надежда не придавала мне силы, я уж, наверно, свалился бы наземь и отказался от своей затеи. То ли от морской воды, то ли от поднимающейся лихорадки, меня томила жажда, по дороге я останавливался и пил илистую болотную водицу.

Наконец, едва живой, я дотащился до своей бухты и с первого же взгляда заметил, что рея, пожалуй, не там, где я ее бросил, а подальше. Снова полез в воду, уже в третий раз... Гладкое, твердое песчаное дно полого уходило вниз, и я все шел, покуда не забрел по самую шею и мелкая рябь не заплескалась мне в лицо. Здесь я уже с трудом доставал до дна и зайти дальше не отважился. А рея, как ни в чем не бывало, мирно покачивалась на воде шагах в двадцати от меня.

До сих пор я держался стойко, но этого последнего удара не вынес и, ступив на берег, бросился на песок и разрыдался.

О времени, проведенном на острове, мне по сей день так мучительно вспоминать, что я вынужден не останавливаться на подробностях. Во всех книжках читаешь, что когда люди терпят кораблекрушение, у них либо все карманы набиты рабочим инструментом, либо море как по заказу выносит вслед за ними на берег ящик с предметами первой необходимости. Со мной получилось совсем иначе. В карманах у меня не нашлось ничего, кроме денег да Алановой серебряной пуговки, и сноровки моряцкой тоже не хватало, потому что вырос я вдали от моря.

Правда, я слыхал, что морские моллюски считаются съедобными, а в скалах на островке я находил великое множество раковин-«блюдечек», которых с непривычки едва ухитрялся отдирать, не зная, что тут требуется проворство. Водились здесь и маленькие улитки, которые у нас в Шотландии зовутся рожками, а у англичан, по-моему, башенками. Эти-то блюдечки и рожки и служили мне пищей, я их глотал холодными, живьем и с голодухи на первых порах находил превкусными.

Возможно, на них был сейчас не сезон; возможно, вокруг моего островка было что-то неладное с водой. Так или иначе, не успел я справиться с первой порцией ракушек, как мне сделалось дурно, к горлу подступила тошнота, и после я долго отлеживался, едва живой. Вторая проба того же кушанья — впрочем, другого-то и не было — сошла удачнее и подкрепила мои силы. Вообще, пока я жил на островке, я никогда не знал наверное, чего ждать после того, как поешь; один раз обойдется, другой — вывернет наизнанку, а определять, какого моллюска не принимает мое нутро, я так и не научился.

Весь день дождь лил как из ведра, островок пропитался влагой точно губка, нигде не сыскать было сухого местечка, и когда я улегся на ночь, примостясь между двумя нависшими валунами, ноги у меня мокли в болоте.

На другой день я исходил весь остров вдоль и поперек. Нигде не обнаружилось хоть сколько-нибудь сносного уголка; все тот же пустынный камень и никаких признаков жизни, лишь пернатая дичь, которую мне не из чего было подстрелить, да чайки, в несметном количестве гнездившиеся в дальних скалах. Но на севере заливчик, вернее, пролив, отделяющий Иррейд от Росса, переходил в бухту, а она, в свою очередь, открывалась на Айонский пролив,— и вот эти-то места я и выбрал себе под дом, хотя от одной мысли, что такое место можно назвать домом, я, наверно, не сдержал бы горьких слез.

Для такого выбора у меня имелись веские основания. В этой части острова стояла маленькая хижина, настоящая конурка; в ней, видимо, наведываясь на островок, ночевали рыбаки; дерновая крыша ее давно провалилась, так что проку от хижины не было никакого — она давала меньше укрытия, чем мои валуны. Важней другое: раковины, которыми я питался, водились здесь в изобилии, при отливе я мог набрать сразу на целый обед, а это было, разумеется, удобно. Но настоящая подоплека была серьезней. Я никак не мог примириться со своим ужасающим одиночеством на острове и все озирался по сторонам, как беглец, и страшась и надеясь увидеть за собой человека. Так вот, если подняться немного по склону, выходящему на бухту, вдали видна была могучая старинная церковь и кровли домов Айоны.

А по другую руку, в низине Росса, я наблюдал, как утром и вечером восходит кверху дымок, верно, над какой-то усадьбой, спрятанной в ложбине.

Иззябший, промокший до костей, теряя голову от одиночества, я, бывало, все глядел на этот дымок и думал о пылающем очаге и людях, дружески собравшихся вокруг него, и у меня переворачивалось сердце. С тем же чувством смотрел я на кровли Айоны. При всем том вид человеческого жилья и уюта, хоть он и заставлял меня острее ощутить собственные мучения, все-таки не давал угаснуть надежде, помогал глотать сырых улиток, а они очень скоро мне опротивели, спасал от гнетущей тоски, охватывавшей меня всякий раз, как я оставался один на один с мертвыми скалами, дикими птицами, дождем и холодным морем.

Я говорю: «не давал угаснуть надежде», и действительно, казалось немыслимым, чтобы мне так и дали сгинуть здесь, прямо на берегу моей отчизны, откуда простым глазом видна церковная колокольня и дым людского жилья. Однако миновали вторые сутки и хоть, покуда не стемнело, я зорко вглядывался, не покажется ли лодка в проливе или какой прохожий на Россе, никто не объявился мне на помощь. Дождь все не переставал, и я лег спать мокрый, как мышь, с жестоко саднящим горлом, но, пожалуй, и с маленьким утешением, что могу пожелать доброй ночи ближайшим моим соседям, островитянам с Айоны.

Карл Второй сказал однажды, что английский климат позволяет проводить больше дней в году под открытым небом, чем любой другой. Хорошо рассуждать, когда ты король и тебя во всякое время ждет дворец и перемена сухого платья. Видно, во время побега из Вустера ему больше везло, чем мне на этом злосчастном островке! Лето было в разгаре, а тут уже больше суток лил дождь, и прояснилось только ввечеру на третий день.

То был день, полный событий. Утром я видел рыжего оленя, самца с прекрасными ветвистыми рогами; он стоял под дождем на самой вершине островка, но, завидев, как я встаю из-под своей скалы, тотчас тронулся рысцой к противоположному краю острова. Я решил, что он, должно быть, переплыл через пролив, хотя чего ради какую-то живую тварь занесло на Иррейд, я и вообразить не мог.

Немного погодя, когда я скакал по камням, охотясь за пресловутыми блюдечками, что-то звякнуло, испугав меня: перед самым моим носом на скалу упала гинея и скатилась в море. Когда матросы с «Завета» вернули мне деньги, примерно треть они удержали, а заодно и кожаный кошелек, доставшийся мне от отца, и с того дня я носил свои золотые прямо в кармане, застегнутом на пуговицу. Теперь он, как видно, прохудился, и я поспешно прижал его рукой. Но какое там! Было слишком поздно. Я покинул переправу у Куинсферри обладателем пятидесяти фунтов, сейчас же в наличности осталось всего-навсего две золотых гинеи и серебряный шиллинг.

Правда, спустя немного, я подобрал еще одну гинею, она валялась, поблескивая, на клочке дерна. Три фунта четыре шиллинга в английской монете — вот и все состояние законного наследника богатого поместья, мальчишки, умирающего с голода на островке, затерянном где-то у самого края дикого шотландского нагорья.

От всего этого я еще больше приуныл, да и то сказать, положение у меня было самое прискорбное. Платье на мне расползалось, в особенности чулки: они совсем прохудились, и сквозь дыры просвечивало тело; руки стали дряблыми от вечной сырости, горло болело нестерпимо, силы таяли, а та гадость, которой я был вынужден питаться, так мне опротивела, что от одного ее вида меня начинало мутить.

И все же худшее было еще впереди.

Есть на северо-западе Иррейда довольно высокая скала, на которую я частенько наведывался затем, что на ее вершине была плоская площадка, откуда хорошо виден Саунд-оф-Малл. Да я и вообще не задерживался подолгу на одном месте, разве что на ночлег, ибо нигде не находил себе покоя в своей беде и совсем измотал себя этими бесцельными и безостановочными блужданиями под дождем.

Впрочем, едва лишь выглянуло солнце, я растянулся на вершине этой скалы, чтобы обсохнуть. Что за невыразимая благодать солнечное тепло! Оно вновь вселило в меня надежду на избавление, когда я уж готов был отчаяться, и я с вновь пробудившимся интересом стал оглядывать море и Росс. К югу от моей скалы часть острова выдавалась в море, заслоняя от меня горизонт, и судно с той стороны легко могло пройти совсем близко, а я бы и не заметил.

И вдруг, откуда ни возьмись, из-за этого края островка вылетела рыбачья плоскодонка под бурым парусом, с двумя рыбаками на борту, и полным ходом направилась к Айоне. Я закричал что было сил и, встав на колени, с мольбой протянул к ним руки. С такого расстояния они меня не могли не услышать — я различал даже, какого цвета у них волосы; да, они несомненно заметили меня, потому что со смехом крикнули мне что-то по-гэльски. И, однако, их плоскодонка ни на градус не отклонилась от курса, а преспокойно пролетела мимо, на Айону.

Я не поверил своим глазам, не поверил, что люди способны на такое злодейство, и кинулся вдоль берега, перескакивая с камня на камень, жалобно крича им вслед; даже когда они уже не могли меня слышать, я все равно звал их на помощь и размахивал руками, а когда они скрылись из виду, я думал, что у меня разорвется сердце. За все время своих мытарств я не сдержал слез лишь дважды. Один раз, когда не мог достать рею, второй — сейчас, когда эти рыбаки остались глухи к моим мольбам. Только в этот раз я не просто плакал, а голосил, ревел благим матом, как капризный ребенок, царапая ногтями землю и зарываясь в траву лицом. Когда бы желания было достаточно, чтобы убить человека, те два рыбака не дожили бы до утра, да и сам я скорей всего испустил бы дух на своем островке.

Когда мой гнев поутих, пора опять было думать о еде, а я уже проникся к ней отвращением, которое едва мог пересилить. И правда, лучше бы уж мне поголодать, потому что я снова отравился своими моллюсками. Я пережил все те же мучения, что и в первый раз; горло у меня так разболелось, что я едва мог глотать; зубы стучали от жестокого озноба, меня охватило то гнетущее чувство тоски и недомогания, которому нет имени ни в шотландском языке, ни в английском. Я уже твердо решил, что умираю, и вверил свою душу всевышнему, мысленно прощая всех и каждого, даже дядю и тех рыбаков; и совсем уже приготовился к худшему, как внезапно у меня словно пелена с глаз спала: я заметил, что ночь обещает хорошую погоду, что платье у меня почти просохло, что мне, короче говоря, по всем статьям еще не было так хорошо с тех пор, как я выбрался на островок,— и с этой благодарной мыслью я, наконец, заснул.

На другой день — четвертый с начала моего горестного прозябания — я почувствовал, что не на шутку обессилел. Впрочем, солнце пригревало, воздух был чист и свеж, моллюски, которых я заставил себя проглотить, не причинили мне вреда, и я воспрянул духом.

Едва я залез обратно на скалу — а я всегда взбирался на нее первым же делом после еды,— как заметил, что по Саунду идет лодка — и, насколько я мог судить, прямо ко мне.

Страх и надежда разом охватили меня: может быть, эти люди раскаялись в своем бессердечии и возвращаются мне на выручку? Но пережить еще одно разочарование, такое, как вчера, было бы свыше моих сил. Я решительно повернулся спиною к морю и не взглянул в ту сторону, прежде чем не досчитал про себя до трехсот. Лодка по-прежнему держала курс на островок. На этот раз я уже досчитал до тысячи, причем как можно медленней, а сердце у меня больно колотилось. Да, сомнений не было! Суденышко направлялось прямо на Иррейд!

Больше я сдерживаться не мог — сбежал к морю и кинулся дальше, прыгая по торчащим из воды скалам, пока они не кончились. Просто чудо, как я не сорвался и не утонул, потому что, когда наконец пришлось остановиться, у меня тряслись колени, а во рту до того пересохло, что пришлось смочить его морской водой, иначе я не мог бы крикнуть.

Тем временем лодка все приближалась, и уж ясно было, что это та же, давешняя, и в ней те же двое. Я их узнал по волосам: у одного они были соломенно-желтые, а у другого смоляные. Только теперь на борту был еще и третий, судя по виду — персона поважней тех двоих.

Приблизившись настолько, чтобы переговариваться со мной, не повышая голоса, они убрали парус и легли в дрейф. Невзирая на все мои заклинания, ближе они не подходили, и, что самое страшное, этот третий, раз глядывая меня и что-то приговаривая, покатывался со смеху.

Потом он встал в лодке и обратился ко мне с пространной речью, сыпля словами, как горохом, и то и дело взмахивая рукой. Я сказал, что не понимаю по-гэльски; на это он сильно рассердился, и я стал догадываться, что он воображает, будто говорит по-английски. Прислушавшись со всем вниманием, я несколько раз уловил слово «защем», но все остальное произносилось по-гэльски, а для меня это было все равно что по-китайски.

— Зачем,— повторил я, чтобы показать ему, что хоть слово да разобрал.

— Да-да,— закивал он.— Да-да,— и, оглядев своих спутников с таким видом, словно хотел сказать: «Ну, говорил я вам, что знаю английский!» — дробнее прежнего затрещал на своем гэльском наречии.

На этот раз я выхватил еще одно слово: «отлив» И тут меня осенило. Я сообразил, отчего он все машет рукой в сторону Росса.

— Вы хотите сказать, что когда бывает отлив?..— крикнул я и осекся.

— Да-да,— сказал он.— Отлив.

Больше я не слушал: позабыв про лодку, в которой мой советчик вновь прыснул и зашелся хохотом, я заспешил к берегу тем же путем, каким добрался сюда, перепрыгивая с камня на камень, а там припустился бежать через весь островок, как никогда еще в жизни не бегал. Примерно через полчаса я примчался на берег своего заливчика, и точно: на его месте струился чахлый ручеек, через который я пронесся, не замочив даже колен, и с победным воплем вылетел на берег Росса.

Мальчишка с побережья и дня не оставался бы на Иррейде, который представляет собой всего-навсего так называемый «приливный островок» и, кроме как по четным четвертям луны, дважды в сутки доступен для прогулок с Росса и обратно либо посуху, либо, в крайнем случае, вброд. Я и сам, наблюдая у себя под носом в бухточке приливы и отливы и даже сторожа эти отливы, чтобы удобней было собирать ракушки,— я и сам, повторяю, неминуемо разгадал бы тайну Иррейда и вырвался на свободу, если бы вместо того, чтоб клясть свою горькую долю, сел да пораскинул мозгами. Не диво, что рыбаки не сразу поняли, в чем дело. Гораздо удивительнее, что они все-таки разгадали мое дурацкое заблуждение и не посчитали за труд возвратиться. Почти сто часов голодал я и холодал на этом острове. Если бы не рыбаки, я мог бы и вообще там сгинуть, и все по чистой глупости. Я и так за нее заплатил недешево — не только муками, перенесенными в эти дни, но

и нынешним своим положением: одет был хуже нищего, едва способен таскать ноги, да и горло болело нестерпимо.

Случалось мне видеть негодяев, случалось и глупцов; тех и других — предостаточно, и думаю, что в конце концов и те и эти получают по заслугам, только глупцы все же первыми.

ГЛАВА XV

«ОТРОК С СЕРЕБРЯНОЙ ПУГОВКОЙ»

ПО ОСТРОВУ МАЛЛУ

На Россе, иными словами, той части Малла, куда я теперь выбрался, меня встретило то же непроходимое бездорожье, что и на только что брошенном островке: сплошь болота, да кустарник, да огромные валуны. Для тех, кому эта местность хорошо знакома, имелись, возможно, и дороги; у меня же не было лучшего проводника, кроме как собственный нюх, и иной вехи, кроме вершины Бен-Мора.

Я старался, сколько возможно, идти на дымок, который так часто видел с острова, и как ни велика была моя усталость, как ни труден путь, часу в шестом вечера вышел к домику, спрятанному на дне неглубокой лощины. Дом был приземистый, длинный, сложенный насухо из камня и крытый дерном; перед ним на холмике сидел старик и курил на солнце трубку.

Ломаным английским языком он с грехом пополам объяснил, что мои товарищи по несчастью благополучно добрались до берега и на другой же день останавливались перекусить под этим самым кровом.

— А был среди них один, одетый по-господски? — спросил я.

Старичок ответил, что все были в грубых плащах, но на первом, который пришел сначала, и вправду красовались короткие панталоны и чулки, хотя на остальных были матросские штаны.

— Ага,— сказал я,— и, уж конечно, шляпа с перьями?

Нет, возразил старичок, путник шел, как и я, с непокрытой головой.

Сначала я подумал, что Алан потерял свою шляпу; потом вспомнил про дождь и решил, что вероятней он все-таки для вящей сохранности держал ее под плащом. При этой догадке я невольно заулыбался, отчасти тому, что мой друг невредим, отчасти же его тщеславной заботе о своей наружности.

Но тут мой собеседник хлопнул себя по лбу и вскричал, что я, наверно, и есть отрок с серебряной пуговкой.

— Да, а что? — не без удивления сказал я.

— А то,— отвечал старичок,— что в таком случае тебе велено передать, чтобы ты пробирался вслед за своим другом в его края, через Тороси.

Он стал расспрашивать, что со мной приключилось, и я поведал ему свою историю. На юге Шотландии такая быль, конечно, вызвала бы одни насмешки; но старый джентльмен — я называю его так за благородство манер, одежонка на нем была самая плохонькая — выслушал меня до последнего слова сочувственно и серьезно. Когда я договорил, он взял меня за руку, ввел в свою лачугу (иначе как лачугой его жилище не назовешь) и представил своей жене с таким видом, как будто она королева, а я — по меньшей мере герцог.

Добрая женщина выставила мне овсяные лепешки и холодную куропатку, и все старалась потрепать меня по плечу и улыбнуться мне, потому что английского она не знала; старый джентльмен тоже не отставал от нее и приготовил мне из деревенского виски крепкий пунш. А я, все время пока уплетал еду и потом, когда запивал ее пуншем, никак не мог уверовать в свою удачу; и эта хибарка, насквозь прокопченная торфяным дымом и вся в щелях, как решето, казалась мне дворцом.

От пунша меня прошиб обильный пот и сморил неодолимый сон; радушные хозяева уложили меня и больше не трогали; и назавтра, когда я выступил в дорогу, было уже около полудня. горло у меня болело куда меньше, хандру после здоровой еды и добрых вестей как рукой сняло. Старый джентльмен, сколько я его ни упрашивал, не пожелал брать денег и еще сам преподнес мне ветхую шапчонку, чтобы было чем покрыть голову; каюсь, правда, что едва домишко вновь скрылся из виду, я старательно выстирал подарок в придорожном роднике.

А про себя я думал: «Если они все такие, эти дикие горцы, недурно бы и моим землякам капельку одичать».

Мало того, что я пустился в путь с опозданием; я еще сбился с дороги и, должно быть, добрую половину времени блуждал понапрасну. Правда, мне встречались люди, и немало: одни копались у себя на полях, скудных, крохотных клочках земли, неспособных прокормить и кошку; другие пасли низкорослых, не крупнее осла, коровенок. Горский костюм был со времен восстания запрещен законом, местным уроженцам вменялось одеваться по обычаю жителей равнины, глубоко им чуждому, и странно было видеть пестроту их нынешнего облачения. Кое-кто ходил нагишом, лишь набросив на плечи плащ или длинный кафтан, а штаны таскал за спиной как никчемную обузу; кое-кто смастерил себе подобие шотландского пледа из разноцветных полосок материи, сшитых вместе, как старушечье лоскутное одеяло; попадались и такие, кто по-прежнему не снимал горской юбки, только прихватил ее двумя-тремя стежками посредине, чтобы преобразить в шаровары вроде голландских. Все подобные ухищрения порицались и преследовались: в надежде сломить клановый дух закон применяли круто; однако здесь, на этом отдаленном острове, любителей осуждать находилось немного, а наушничать — и того меньше.

Бедность вокруг, судя по всему, царила страшная, и неудивительно: разбойничьи набеги были пресечены, а вожди теперь не жили открытым домом; и дороги, даже глухие и извилистые деревенские проселки вроде того, по которому пробирался я, наводнены были нищими. И тут опять я отметил разницу сравнительно с нашими местами. У нас на равнине побирушка — хотя бы и законный, у которого на то выправлена бумага,— держится угодливо, подобострастно; подашь ему серебряную монетку, он тебе честь-честью дает сдачи медяк. Горец же, даже нищий, блюдет свое достоинство, милостыню просит, по его словам, всего лишь на нюхательный табак, и сдачи не дает.

Такие подробности были, конечно, не моя забота, просто они развлекали меня в пути. Куда существенней для меня было то, что здесь мало кто разумел по-английски, притом и эти немногие (кроме тех, кто принадлежал к нищей братии) не очень-то стремились предоставить свои познания к моим услугам. Я знал, что моя цель — Тороси; повторял им это слово и показывал: «туда?»; но вместо того, чтобы попросту указать мне в ответ направление, они принимались долго и нудно толковать что-то по-гэльски, а мне оставалось только хлопать ушами — не диво, что я чаще сбивался с дороги, чем шел по верному пути.

Наконец, часам к восьми вечера, уже не чуя под собою ног от усталости, я наткнулся на одинокий дом, попросился туда, получил отказ, но вовремя вспомнил о могуществе денег, особенно в таком нищем крае, и, зажав в пальцах одну из своих гиней, показал хозяину. При виде золотого тот, хоть до сих пор и прикидывался, будто ни слова не понимает, и знаками гнал меня от порога, внезапно обрел дар речи и на довольно сносном английском языке выразил свое согласие пустить меня за пять шиллингов переночевать, а на другой день проводить в Тороси.

Спал я в ту ночь неспокойно, боялся, как бы меня не ограбили; однако я тревожился понапрасну: хозяин мой был не вор, только беден, как церковная мышь, ну, и плут отменный. И не он один был здесь такой бедняк: наутро нам пришлось отмахать пять миль к дому местного богача, как назвал его мой хозяин, чтобы разменять мою гинею. Что ж, на Малле, возможно, такой и мог слыть богачом, но у нас на юге — едва ли: чтобы наскрести двадцать шиллингов серебром, понадобилась вся его наличность, весь дом перерыли сверху донизу, да еще и на соседа наложили контрибуцию. Двадцать первый шиллинг богач оставил себе, заявив, что ему не по средствам держать столь крупную сумму, как гинея, «мертвым капиталом». При всем том он был весьма приветлив и учтив, усадил нас обедать со своим семейством и смешал в прекрасной фарфоровой чаше пуншу, отведав которого мой мошенник-провожатый ударился в такое веселье, что не пожелал трогаться с места.

Меня разбирала злость, и я попробовал было заручиться поддержкой богача (его звали Гектор Маклин) — он был свидетелем нашей сделки и видел, как я платил пять шиллингов. Но Маклин тоже успел хлебнуть и стал божиться, что ни один уважающий себя джентльмен не встанет из-за стола после того, как подана чаша пунша; так что мне ничего другого не ос-

тавалось, как сидеть, слушая якобитские тосты и гэльские песни, пока все не захмелели вконец и не расползлись почивать — кто по кроватям, кто на сеновал.

Назавтра, то есть на четвертый день моих странствий по Маллу, мы поднялись еще до пяти утра, но мой жулик-провожатый сразу же припал к бутылке; мне понадобилось целых три часа, чтобы выманить его из дому, да и то, как вы увидите, лишь для новой каверзы.

Пока мы спускались в заросшую вереском долину перед домом Маклина, все шло хорошо; разве что провожатый мой все что-то оглядывался через плечо, а когда я спрашивал, зачем, только скалил зубы. Не успели мы, однако, пересечь отрог холма, так что нас уже не видать было из окон дома, как он стал объяснять, что на Тороси идти все прямо, а держать для верности лучше вон на ту вершинку,— и он показал, какую.

— Да мне-то что до того, раз со мною вы? — сказал я.

Бесстыжий плут не замедлил объявить по-гэльски, что английского языка не понимает.

— Вот что, мил-человек,— сказал я на это,— знаю я, как у вас с английским языком: то он есть, то вдруг нету. Не подскажете, как бы нам его вернуть? Может, снова денежки надобны?

— Еще пять шиллингов,— отозвался он,— и самолично тебя доведу до места.

Я поразмыслил немного и предложил два, на что он алчно согласился и тотчас потребовал деньги в руки — «на счастье», как он выразился, хотя я-то думаю, что скорей на мою беду.

Двух шиллингов ему не хватило и на две мили; после этого он уселся на обочине дороги и стянул с ног свои грубые башмаки, словно устраиваясь на долгий привал.

Во мне уже все кипело.

— Ха! — сказал я.— Опять английский позабыл?

Он и бровью не повел:

— Ага.

Тут я взорвался окончательно и замахнулся, чтобы ударить наглеца; а он выхватил откуда-то из-под своих лохмотьев нож, отскочил, чуть присел и ощерился на меня, словно дикий кот. Тогда, не помня себя от ярости, я бросился на него, отбил руку с ножом своей левой, а правой двинул ему в зубы. Малый я был сильный, да еще распалился до крайности, а он был так, замухрышка,— и с одного удара он тяжело рухнул на землю. По счастью, падая, он выронил нож.

Я подобрал нож, а заодно и его башмаки, учтиво откланялся и зашагал своей дорогой, покинув его босым и безоружным. Я шел и усмехался про себя, уверенный, что отделался от мошенника раз и навсегда — причин тому было достаточно. Во-первых, он знал, что денег ему больше от меня не перепадет; во-вторых, башмаки такие продавались в округе всего за несколько пенсов, и, наконец, иметь при себе нож — а это, в сущности, был кинжал — он по закону не имел права.

Примерно через полчаса я нагнал высокого оборванца; он двигался довольно ходко, но нащупывал перед собою дорогу посохом. Он был слеп на оба глаза и назвался законоучителем, что, казалось бы, должно было унять во мне всякие страхи. Мне, однако, никак не внушало доверия его лицо; что-то было в нем недоброе, коварное, затаенное; а вскоре, когда мы зашагали бок о бок, я заметил, что из-под карманного клапана у него торчит стальная рукоятка пистолета. Таскать с собой такую штуку грозило штрафом в пятнадцать фунтов стерлингов на первый случай, а на второй — ссылкой в колонии. Да и неясно как-то было, чего ради учителю слова божия расхаживать вооруженным, слепцу — держать при себе пистолет.

Я рассказал ему про случай со своим горе-провожатым; я был горд собой, и на сей раз мое тщеславие одержало верх над благоразумием. При словах: «пять шиллингов» мой попутчик так громко ахнул, что про другие два я предпочел умолчать и только порадовался, что ему не видно, как я краснею.

— Что, многовато дал? — с запинкой спросил я.

— Многовато! — ужаснулся он.— Милый, за глоток виски я тебя сам провожу в Тороси. Да еще в придачу сможешь наслаждаться обществом образованного человека, моим, стало быть.

Я возразил, что не представляю себе, как слепой может идти поводырем; на это он захохотал и объявил, что со своей палкой он зорче орла.

— Во всяком случае, на острове Малл,— прибавил он,— тут мне сызмальства наперечет знаком всякий камушек и вересковый кусток. Вот гляди,— молвил он,

выстукивая для большей уверенности землю справа и слева,— вон там внизу бежит ручей; у его истока поднимается пригорочек, и на самой вершине торчком стоит камеңюга; у самого подножия пригорка как раз и проходит дорога на Тороси, а по той дороге гонят скотину, она плотно утоптана и среди вереска виднеется травяной полосой.

Я вынужден был признать, что он не ошибся ни в одной малости, и не мог скрыть своего изумления.

— Ха! Это что,— сказал он.— Ты не поверишь: до того, как издали указ и в этой стране еще не повывелось оружие, я и стрелять мог! Да еще как! — вскричал он и с кривой усмешкой добавил: — Если бы, к примеру, у тебя нашелся пистолетик, я б тебе тут же и показал.

Я ответил, что ничего такого у меня и в помине нет, а сам отступил от него на почтительное расстояние. Знал бы он, как явственно проступают очертания пистолета в его кармане и как поблескивает на солнце сталь рукоятки! Только, на мое счастье, ничего этого он не знал, воображал, что все шито-крыто, и по неведению лгал себе дальше.

Потом он начал очень хитро выпытывать у меня, откуда я родом, богат ли, могу ли разменять ему пятишиллинговую монету — таковая, по его утверждению, имелась в его кожаном шотландском кошеле,— сам же все норовил подобраться ко мне поближе, а я, в свой черед, уворачивался. К этому времени мы уже вышли на зеленый скотопрогонный тракт, ведущий через холмы на Тороси, и на ходу то и дело менялись местами, точь-в-точь как танцоры в шотландском риле. Перевес был так явно на моей стороне, что мне стало весело; я просто забавлялся этой игрою в жмурки; зато законоучитель все больше выходил из себя и под конец принялся клясть меня по-гэльски на чем свет стоит и так и метил угодить мне своим посохом по ногам.

Тогда я сказал, что да, у меня в кармане имеется пистолет, как, впрочем, и у него, и ежели он сию минуту не повернет на юг через тот самый пригорок, я не задумаюсь всадить ему пулю в лоб.

Он сразу же сделался куда как учтив, попытался было меня задобрить, но, увидав, что все напрасно, еще раз ругнул меня напоследок по-гэльски и убрался прочь. Я стоял и глядел, как он крупным шагом уходит

все дальше, сквозь топь и вересковую чащобу, выстукивая дорогу посохом; наконец, он завернул за холм и скрылся в соседней ложбине. Тогда только я направился дальше, безмерно довольный, что остался один, без такого попутчика, как сей ученый муж. Денек, что и говорить, выдался неудачный; впрочем, таких проходимцев, как эти двое, мне в горах больше не встречалось.

В Тороси, на проливе Саунд-оф-Малл, обращенная окнами к Морвену, стоит гостиница; хозяин ее, тоже из Маклинов, был, судя по всему, высокая персона: ведь содержать гостиницу почитается в горной Шотландии занятием еще более завидным, чем в наших краях — то ли оттого, что на нем лежит отпечаток гостеприимства, то ли попросту как дело необременительное и в придачу хмельное. Трактирщик свободно изъяснялся по-английски и, обнаружив, что я не чужд учености, стал испытывать мои познания сперва во французском языке, на чем без труда меня посрамил, а потом и в латыни, и тут уж не знаю, кто кого перещеголял. Такое славное соперничество сразу нас сдружило; и я засиделся с ним, распивая пунш — а точней сказать, глядя, как он распивает пунш,— пока он не дошел до того, что пролил пьяную слезу у меня на плече.

Я попробовал, как бы ненароком, в свой черед, испытать его, показав Аланову пуговку; но очевидно было, что он ничего похожего не видал и не слыхал. Больше того, он почему-то имел зуб против родичей и друзей Ардшила и, пока еще не упился до бесчувствия, прочел мне пасквиль, написанный им самим на одного из членов клана: элегические вирши, облеченные в превосходную латынь, но зело ядовитые по смыслу.

Когда я обрисовал ему законоучителя с большой дороги, он покачал головой и сказал, что я счастливо отделался.

— Это человек очень опасный,— объяснил он.— Зовут его Дункан Маккей; он бьет в цель на слух с большого расстояния и не однажды обвинялся в разбое, а случилось как-то, что и в убийстве.

— И еще величает себя законоучителем! — заметил я.

— А почему бы нет,— возразил Маклин,— когда он и есть законоучитель! Это его дюартский Маклин пожаловал таким званием, из снисхождения к его слепоте. Только впрок оно, пожалуй, не пошло,— приба-

вил мой трактирщик,— человек всегда в дороге, мотается с места на место, надо ж проверить, исправно ли молодежь учит молитвы — ну, а это, само собой, для него, убогого, искушение...

Под конец, когда даже у трактирщика душа больше не принимала спиртного, он отвел меня к кровати, и я улегся спать в самом безоблачном настроении; ведь за каких-то четыре дня, без особой натуги, я одолел весь путь от Иррейда до Тороси: пятьдесят миль по прямой, а считая еще и мои напрасные скитания — что-то около ста, и, значит, пересек большую часть обширного и неласкового к путнику острова Малл. И в конце такого длинного и нелегкого перехода чувствовал себя к тому же куда лучше душою и телом, чем в начале.

ГЛАВА XVI

«ОТРОК С СЕРЕБРЯНОЙ ПУГОВКОЙ»

ПО МОРВЕНУ

Из Тороси в Кинлохалин, на материк, ходит постоянный паром. Земли по обе стороны Саунда принадлежат сильному клану Маклинов, и почти все, кто погрузился со мною на паром, были из этого клана. Напротив, паромщика звали Нийл Рой Макроб; а так как Макробы входят в тот же клан, что и Алан Брек, да и на эту переправу меня направил не кто иной, как он, мне не терпелось потолковать с Нийлом Роем с глазу на глаз.

На переполненном пароме это было, разумеется, немыслимо, а подвигались мы очень неспоро. Ветра не было, оснастка же на суденышке оказалась никудышная: на одном борту лишь пара весел, на другом и вовсе одно. Гребцы, однако, старались на совесть, к тому же их по очереди сменяли пассажиры, а все прочие, в лад взмахам, дружно подпевали по-гэльски. Славная это была переправа: матросские песни, соленый запах моря, дух бодрости и товарищества, охвативший всех, безоблачная погода — загляденье!

Впрочем, одно происшествие нам ее омрачило. В устье Лохалина мы увидели большой океанский

корабль; он стоял на якоре, и поначалу я принял его за одно из королевских сторожевых судов, которые зимою и летом крейсируют вдоль побережья, чтобы помешать якобитам сообщаться с французами. Когда мы подошли чуть ближе, стало очевидно, что перед нами торговый корабль; меня поразило, что не только на его палубах, но и на берегу собралось видимо-невидимо народу и меж берегом и судном безостановочно снуют ялики. Еще немного, и до нашего слуха донесся скорбный хор голосов: люди на палубах и люди на берегу причитали, оплакивая друг друга, так что сердце сжималось.

Тогда я понял, что это судно с переселенцами, отбывающими в американские колонии.

Мы подошли к нему борт о борт, и изгнанники, перегибаясь через фальшборт, с рыданьями протягивали руки к моим спутникам на пароме, среди которых у них нашлось немало близких друзей. Сколько еще это продолжалось бы, не знаю: по-видимому, все забыли о времени; но в конце концов к фальшборту пробрался капитан, который среди этих стенаний и неразберихи, казалось, уже не помнил себя (и не диво), и взмолился, чтобы мы проходили дальше.

Тут Нийл отошел от корабля; наш запевала затянул печальную песню, ее подхватили переселенцы, а там и их друзья на берегу, и она полилась со всех сторон, словно плач по умирающим. Я видел, как у мужчин и женщин на пароме и у гребцов, согнувшихся над веслами, по щекам струятся слезы, я и сам был глубоко взволнован и всем происходящим и мелодией песни (она называется «Прости навеки, Лохабер»).

На берегу в Кинлохалине я залучил Нийла Роя в сторонку и объявил, что распознал в нем уроженца Эпина.

— Ну и что? — спросил он.

— Я тут кой-кого разыскиваю,— сказал я,— и сдается мне, что у вас об этом человеке могут быть вести. Его зовут Алан Брек Стюарт.— И вместо того, чтобы показать шкиперу свою пуговицу, попытался сдуру всучить ему шиллинг.

Он отступил.

— Это оскорбление, и немалое,— сказал он.— Джентльмен с джентльменом так не поступает. Тот, кого вы назвали, находится во Франции, но если б он даже сидел у меня в кармане, я бы и волосу не дал

упасть с его головы, будь вы хоть битком набиты шиллингами.

Я понял, что избрал неверный путь, и, не тратя времени на оправдания, показал ему на ладони заветную пуговку.

— То-то,— сказал Нийл.— Вот бы и начал сразу с этого конца! Ну, раз ты и есть отрок с серебряной пуговкой, тогда ничего — мне велено позаботиться, чтобы ты благополучно дошел до места. Только ты уж не обижайся, я тебе скажу прямо: одно имя ты никогда больше не называй — имя Алана Брека; и одну глупость никогда больше не делай — не вздумай в другой раз совать свои поганые деньги горскому джентльмену.

Трудненько мне было извиняться: ведь не станешь говорить человеку, что пока он сам не сказал, тебе и не снилось, чтобы он мнил себя джентльменом (а именно так и обстояло дело). Нийл, со своей стороны, не выказывал охоты затягивать встречу со мною — лишь бы исполнить, что ему поручено, и с плеч долой; и он без промедления начал объяснять мне дорогу. Переночевать я должен был здесь же, в Кинлохалине, на заезжем дворе; назавтра пройти весь Морвен до Ардгура и попроситься на ночлег к некоему Джону из Клеймора, которого предупредили, что я могу прийти; на третий день переправиться через залив из Коррана и еще через один из Баллахулиша, а там спросить, как пройти к Охарну, имению Джемса Глена в эпинском Дюроре. Как видите, мне предстояла еще не одна переправа: в здешних местах море сплошь да рядом глубоко вдается в сушу, обнимая узкими заливами подножия гор. Такой край легко оборонять, но тяжко мерять шагами, а природа здесь грозная и дикая, один грандиозный вид сменяется другим.

Получил я от Нийла и еще кое-какие советы: по пути ни с кем не заговаривать, сторониться вигов, Кемпбеллов и «красных мундиров»; а уж если завижу солдат, должен сойти с дороги и переждать в кустах, «а то с этим народом добра не жди»; одним словом, надо вести себя наподобие разбойника или якобитского лазутчика, каковым, по всей видимости, и счел меня Нийл.

Заезжий двор в Кинлохалине оказался самой что ни на есть гнусной дырой, в каких разве только свиней держать, полной чада, и блох, и немногословных горцев. Я досадовал на скверную ночлежку, да и на себя,

что так нескладно обошелся с Нийлом, и мне казалось — все так плохо, хуже некуда. Однако очень скоро я уверился, что бывает и хуже: не пробыл я здесь и получаса (почти все это время простояв в дверях, где не так ел глаза торфяной дым), как невдалеке прошла гроза, на пригорке, где стоял заезжий двор, разлились ключи, и в одной половине дома под ногами забурлил ручей. В те времена и вообще-то во всей Шотландии не сыскать было порядочной гостиницы, но брести от очага к своей постели по щиколотку в воде — такое было мне в диковинку.

На другой день, вскоре после того, как вышел на дорогу, я нагнал приземистого человечка, степенного и толстенького, он шествовал не спеша, косолапил и то и дело заглядывал в какую-то книжку, изредка отчеркивая ногтем отдельные места, а одет был прилично, но просто, словно бы на манер священника.

Выяснилось, что это тоже законоучитель, но совсем иного толка, чем давешний слепец с Малла: не кто-нибудь, а один из посланцев эдинбургского общества «Распространение Христианских Познаний», коим вменялось в обязанность проповедовать Евангелие в самых диких углах северной Шотландии. Его звали Хендерленд, и говорил он на чистейшем южном наречии, по которому я уже начинал изрядно тосковать; а скоро обнаружилось, что, кроме родных мест, нас связывают еще и интересы более частного свойства. Дело в том, что добрый мой друг, эссендинский священник, в часы досуга перевел на гэльский язык некоторые духовные гимны и богословские трактаты, а Хендерленд пользовался ими и высоко их ценил. С одной из этих книг я и встретил его на дороге.

Мы сразу же решили идти дальше вместе, тем более, что до Кингерлоха нам было по пути. С каждым встречным, будь то странник или работный человек, он останавливался и беседовал; и хоть я, конечно, не мог разобрать, о чем они толковали, но было похоже, что мистера Хендерленда в округе любят, во всяком случае, многие вытаскивали свои роговые табакерки и угощали его понюшкой табаку.

В свои дела я посвятил его насколько счел разумным, иными словами, поскольку они не касались Алана; целью своих скитаний назвал Баллахулиш, где якобы должен был встретиться с другом: Охарн или хотя

бы Дюрор, подумал я, уж слишком красноречивые названия и могут навести его на след.

Хендерленд, в свою очередь, охотно рассказывал о своем деле и людях, среди которых он трудится, о тайных жрецах и беглых якобитах, об указе о разоружении и запретах на платье и множестве иных любопытных примет тех времен и мест. По-видимому, это был человек умеренных взглядов, он частенько бранил парламент, в особенности за то, что изданный им указ строже карает тех, кто ходит в горском костюме, а не тех, кто носит оружие.

Эта-то трезвость его суждений и надоумила меня поспрошать нового знакомца о Рыжей Лисе и эпинских арендаторах; в устах человека пришлого, рассудил я, такие вопросы не покажутся странными.

Он сказал, что это прискорбная история.

— Просто поразительно,— прибавил он,— откуда только у этих арендаторов берутся деньги, ведь сами живут впроголодь. У вас, кстати, мистер Бэлфур, не водится табачок? Ах, вот как. Ну, обойдусь, мне же на пользу... Да, так вот про арендаторов: отчасти, конечно, их заставляют. Джемс Стюарт из Дюрора — его еще называют Джемсом Гленом — доводится единокровным братом предводителю клана, Ардшилу: он тут почитается первым человеком и спуску никому не дает. Есть и еще один, некий Алан Брек...

— Да-да! — подхватил я.— Что вы о нем скажете?

— Что скажешь о ветре, который дует, куда восхочет? — сказал Хендерленд.— Сегодня он здесь, завтра там, то налетел, то поминай как звали: воистину, бродячая душа. Не удивлюсь, если в эту самую минуту он глядит на нас из-за тех вон дроковых кустов, с него станется!.. Вы с собой, между прочим, табачку случайно не прихватили?

Я сказал, что нет и что он уже спрашивает не первый раз.

— Да, это очень может быть,— сказал он, вздохнув.— Странно как-то, почему б вам не прихватить... Так вот, я и говорю, что за птица этот Алан Брек: бесшабашный, отчаянный и к тому же, как всем известно, правая рука Джемса Глена. Смертный приговор этому человеку уже вынесен, терять ему нечего, так что, вздумай какой-нибудь сирый бедняк отлынивать, пожалуй, кинжалом пропорют.

— Вас послушать, мистер Хендерленд, так и правда картина безрадостная,— сказал я.— Коль тут с обеих сторон ничего нет, кроме страха, мне дальше и слушать не хочется.

— Э, нет,— сказал мистер Хендерленд.— Тут еще и любовь и самоотречение, да такие, что и мне и вам в укор. Есть в этом что-то истинно прекрасное — возможно, не по христианским понятиям, а по-человечески прекрасное. Вот и Алан Брек, по всему, что я слышал, малый, достойный уважения. Мало ли, мистер Бэлфур, скажем, и у нас на родине лицемеров и проныр, что и в церкви сидят на первых скамьях и у людей в почете, а сами зачастую в подметки не годятся тому заблудшему головорезу, хоть он и проливает человеческую кровь. Нет, нет, нам у этих горцев еще не грех бы поучиться... Вы, верно, сейчас думаете, что я слишком уж загостился в горах? — улыбаясь, прибавил он.

Я возразил, что вовсе нет, что меня самого в горцах многое восхищает и, если на то пошло, мистер Кемпбелл тоже уроженец гор.

— Да, верно,— отозвался он.— И превосходного рода.

— А что там затевает королевский управляющий? — спросил я.

— Это Колин-то Кемпбелл? — сказал Хендерленд.— Да лезет прямо в осиное гнездо!

— Я слыхал, собрался арендаторов выставлять силой?

— Да,— подтвердил Хендерленд,— только с этим, как в народе говорят, всяк тянет в свою сторону. Сперва Джемс Глен отъехал в Эдинбург, заполучил там какого-то стряпчего — тоже, понятно, из Стюартов; эти вечно все скопом держатся, ровно летучие мыши на колокольне,— и приостановил выселение. Тогда снова заворошился Колин Кемпбелл и выиграл дело в суде казначейства. И вот уже завтра, говорят, первым арендаторам велено сниматься с мест. Начинают с Дюрора, под самым носом у Джемса, что, на мой непосвященный взгляд, не слишком разумно.

— Думаете, будут сопротивляться? — спросил я.

— Видите, они разоружены,— сказал Хендерленд,— во всяком случае, так считается... на самом-то деле по укромным местам немало еще припрятано хо-

лодного оружия. И потом, Колин Кемпбелл вызвал солдат При всем том, будь я на месте его почтенной супруги, у меня бы душа не была спокойна, покуда он не вернется домой Они народец лихой, эти эпинские Стюарты.

Я спросил, лучше ли другие соседи.

— То-то и оно, что нет,— сказал Хендерленд.— В этом вся загвоздка. Потому что, если в Эпине Колин Кемпбелл и поставит на своем, ему все равно нужно будет заводить все сначала в ближайшей округе, которая зовется Мамор и входит в земли Камеронов. Он над обеими землями королевский управляющий, стало быть, ему из обеих и выживать арендаторов; и знаете, мистер Бэлфур, положа руку на сердце, у меня такое убеждение: если от одних он и унесет ноги, его все равно прикончат другие.

Так-то, за разговорами, провели мы в дороге почти весь день; под конец мистер Хендерленд объявил, что был счастлив найти такого попутчика, а в особенности — познакомиться с другом мистера Кемпбелла («которого,— сказал он,— я возьму на себя смелость именовать сладкозвучным певцом нашего пресвитерианского Сиона»), и предложил мне сделать короткую передышку и остановиться на ночь у него — он жил неподалеку, за Кингерлохом. По совести говоря, я несказанно обрадовался; особой охоты проситься к Джону из Клеймора я не чувствовал, тем более, что после своей двойной незадачи — сперва с проводниками, а после с джентльменом-паромщиком — стал с некоторой опаской относиться к каждому новому горцу. На том мы с мистером Хендерлендом и поладили и к вечеру пришли к небольшому домику, одиноко стоявшему на берегу Лох-Линне. Пустынные горы Ардгура по эту сторону уже погрузились в сумрак, но левобережные, эпинские, еще оставались на солнце; залив лежал тихий, как озеро, только чайки кричали, кружа над ним; и какой-то зловещей торжественностью веяло от этих мест.

Едва мы дошли до порога, как, к немалому моему удивлению (я уже успел привыкнуть к обходительности горцев), мистер Хендерленд бесцеремонно протиснулся в дверь мимо меня, ринулся в комнату, схватил глиняную банку, роговую ложечку и принялся чудовищными порциями набивать себе нос табаком. Потом

вволасть начихался и с глуповато-блаженной улыбкой обратил ко мне взор.

— Это я такой обет дал,— пояснил он.— Я положил на себя зарок не брать в дорогу табаку. Тяжкое лишение, слов нет, и все ж, как подумаешь про мучеников, не только наших, пресвитерианских, а вообще всех, кто пострадал за христианскую веру,— стыдно становится роптать.

Сразу же, как мы перекусили (а самым роскошным блюдом у моего доброго хозяина была овсянка с творожной сывороткой), он принял серьезный вид и объявил, что его долг перед мистером Кемпбеллом проверить, обращены ли должным образом помыслы мои к господу. После происшествия с табаком я был склонен посмеиваться над ним; но он заговорил, и очень скоро у меня на глаза навернулись слезы. Есть два свойства, к которым неустанно влечется душа человека: сердечная доброта и смирение; не часто встречаешь их в нашем суровом мире, среди людей холодных и полных гордыни; однако именно доброта и смирение говорили устами мистера Хендерленда. И хотя я изрядно хорохорился после стольких приключений, из которых сумел, как говорится, выйти с честью,— все же очень скоро, внимая ему, я преклонил колена подле простого бедного старика, просветленный и гордый тем, что стою рядом с ним.

Прежде чем отойти ко сну, он вручил мне на дорогу шесть пенсов из тех жалких грошей, что хранились в торфяной стене его домика; а я при виде такой беспредельной доброты не знал, как и быть. Но он так горячо меня уговаривал, что отказаться было бы уж вовсе неучтиво, и я в конце концов уступил, хоть из нас двоих он после этого остался беднее.

ГЛАВА XVII

СМЕРТЬ РЫЖЕЙ ЛИСЫ

На другой день мистер Хендерленд отыскал для меня человека с собственной лодкой, который вечером собирался на ту сторону Лох-Линне в Эпин, рыбачить. Лодочник был из его паствы, и потому мистер Хендерленд уговорил его захватить меня с собою; таким обра-

зом, я выгадывал целый день пути и еще деньги, которые мне пришлось бы заплатить за переправу на двух паромах.

Когда мы отошли от берега, время уж близилось к полудню, день был хмурый, облачный, лишь в просветах там и сям проглядывало солнце. Глубина здесь была морская, но ни единой волны на тихой воде; я даже зачерпнул и попробовал на вкус: мне не верилось, что она и правда соленая. Горы по обоим берегам стояли высоченные, щербатые, голые, в тени облаков — совсем черные и угрюмые, на солнце же — сплошь оплетенные серебристым кружевом ручейков. Суровый край этот Эпин — и чем только он так берет за сердце, что вот Алан без него и жить не может...

Почти ничего примечательного в пути не случилось. Только вскоре после того, как мы отчалили, с северной стороны, возле самой воды вспыхнуло на солнце алое движущееся пятнышко. По цвету оно было совсем как солдатские мундиры; и вдобавок на нем то и дело вспыхивали искорки и молнии, словно лучи высекали их, попадая на гладкую сталь.

Я спросил у своего лодочника, что бы это могло быть; и он сказал, что скорее всего это красные мундиры шагают в Эпин из Форта Вильям для устрашения обездоленных арендаторов. Да, тягостно мне показалось это зрелище; не знаю, оттого ли, что я думал об Алане, или некое предчувствие шевельнулось в моей груди, но я, хоть всего второй раз видел солдат короля Георга, смотрел на них недобрыми глазами.

Наконец мы подошли так близко к косе возле устья Лох-Линне, что я запросился на берег. Мой лодочник, малый добросовестный, памятуя о своем обещании законоучителю, порывался доставить меня в Баллахулиш; но так я очутился бы дальше от своей тайной цели, а потому уперся и в конце концов сошел все-таки в родимом краю Алана, Эпине, у подножия Леттерморской (или, иначе, Леттерворской, я слыхал и так и эдак) чащи.

Лес был березовый и рос на крутом скалистом склоне горы, нависшей над заливом. Склон изобиловал проплешинами и лощинками, заросшими папоротником; а сквозь чащобу с севера на юг бежала вьючная тропа, и на краешке ее, где бил ключ, я примостился, чтобы перекусить овсяной лепешкой, гостинцем мистера Хендерленда, а заодно обдумать свое положение.

Тучи комаров жалили меня напропалую, но куда сильней донимали меня тревоги. Что делать? Зачем мне связываться с Аланом, человеком вне закона, не сегодня-завтра убийцей; не разумней ли будет податься прямо к югу, восвояси, на собственный страх и риск, а то хорош я буду в глазах мистера Кемпбелла или того же мистера Хендерленда, случись им когда-нибудь узнать о моем своеволии, которое иначе как блажью не назовешь — такие-то сомнения осаждали меня больше, чем когда-либо.

Пока я сидел и раздумывал, сквозь чащу стали доноситься людские голоса и конский топот, а вскорости из-за поворота показались четыре путника. Тропа в этом месте была до того сыпучая и узенькая, что они шли гуськом, ведя коней в поводу. Первым шел рыжекудрый великан с лицом властным и разгоряченным; шляпу он нес в руке и обмахивался ею, тяжело переводя дух от жары. За ним, как я безошибочно определил по черному строгому одеянию и белому парику, шествовал стряпчий. Третьим оказался слуга в ливрее с клетчатой выпушкой, а это означало, что господин его происходит из горской фамилии и либо не считается с законом, либо в большой чести у власть имущих, потому что носить шотландскую клетку воспрещалось указом. Будь я более сведущ в тонкостях подобного рода, я распознал бы на выпушке цвета Аргайлов, иначе говоря, Кемпбеллов. К седлу его коня была приторочена внушительных размеров переметная сума, а на седельной луке — так заведено было у местных любителей путешествовать с удобствами — болталась сетка с лимонами для приготовления пунша.

Что до четвертого, который замыкал процессию, я таких, как он, уже видывал прежде и вмиг угадал в нем судебного исполнителя.

Едва заметив, как приближаются эти люди, я решил (а почему и сам не знаю) не обрывать нить своих приключений; и когда первый поравнялся со мной, я встал из папоротника и спросил, как пройти в Охарн.

Он остановился и взглянул на меня с каким-то особенным, как мне почудилось, выражением; потом обернулся к стряпчему.

— Манго,— сказал он,— чем не дурное предвещание, почище двух встречных пиратов! Как вам понравится: я направляюсь в Дюрор по известному вам делу, а тут из папоротников, извольте видеть, является отрок в нежных годах и вопрошает, не держу ли я путь на Охарн.

— Это неподходящий повод для шуток, Гленур,— отозвался его спутник.

Оба уже подошли совсем близко и разглядывали меня; другие двое меж тем остановились немного поодаль.

— И чего ж тебе надобно в Охарне? — спросил Колин Рой Кемпбелл из Гленура, по прозванию Рыжая Лиса, ибо его-то я и остановил на дороге.

— Того, кто там живет,— ответил я.

— Стало быть, Джемса Глена,— раздумчиво молвил Гленур и снова обратился к стряпчему: — Видно, людишек своих собирает?

— Как бы то ни было,— заявил тот,— нам лучше переждать здесь, пока не подоспеют солдаты.

— Может быть, вы из-за меня всполошились,— сказал я,— так я не из его людишек и не из ваших, а просто честный подданный короля Георга, никому ничем не обязан и никого не страшусь.

— А что, неплохо сказано,— одобрил управляющий.— Только осмелюсь спросить, что поделывает честный подданный в такой дали от родных краев и для чего ему вздумалось разыскивать Ардшилова братца? Тут, было бы тебе известно, власть моя. Я на здешних землях королевский управляющий, а за спиной у меня два десятка солдат.

— Наслышан! — запальчиво сказал я.— По всей округе слух идет, какой у вас крутой норов.

Он все глядел на меня, словно бы в нерешимости.

— Что же,— промолвил он наконец,— на язык ты востер, да я не враг прямому слову. Кабы ты у меня в любой другой день спросил дорогу к дому Джемса Стюарта, я б тебе показал без обмана, еще и доброго пути пожелал бы. Но сегодня... Что скажете, Манго? — И он вновь оглянулся на стряпчего.

Но в тот самый миг, как он повернул голову, сверху со склона грянул ружейный выстрел — и едва он прогремел, Гленур упал на тропу.

— Убили! — вскрикнул он.— Меня убили!

Стряпчий успел его подхватить и теперь придерживал, слуга, ломая руки, застыл над ними. Раненый перевел испуганный взгляд с одного на другого и изменившимся, хватающим за душу голосом выговорил:

— Спасайтесь. Я убит.

Он попробовал расстегнуть на себе кафтан, наверно, чтобы нащупать рану, но пальцы его бессильно скользнули по пуговицам. Он глубоко вздохнул, уронил голову на плечо и испустил дух.

Стряпчий не проронил ни слова, только лицо его побелело и черты заострились, словно он сам был покойником; слуга разрыдался, как дитя, шумно всхлипывая и причитая; а я, остолбенев от ужаса, стоял и смотрел на них.

Но вот стряпчий опустил убитого в лужу его же крови на тропе и тяжело поднялся на ноги.

Наверно, это его движение привело меня в чувство, потому что стоило ему шелохнуться, как я кинулся вверх по склону и завопил: «Убийца! Держи убийцу!»

Все произошло мгновенно, так что, когда я вскарабкался на первый уступ и мне открылась часть голой скалы, убийца не успел еще уйти далеко. Это был рослый детина в черном кафтане с металлическими пуговицами, вооруженный длинным охотничьим ружьем.

— Ко мне! — крикнул я.— Вот он!

Убийца тотчас воровато глянул через плечо и пустился бежать. Миг — и он исчез в березовой рощице; потом снова показался уже на верхней ее опушке, и видно было, как он с обезьяньей ловкостью взбирается на новую кручу; а там он скользнул за выступ скалы, и больше я его не видел.

Все это время я тоже не стоял на месте и уже забрался довольно высоко, но тут мне крикнули, чтобы я остановился.

Я как раз добежал до опушки верхнего березняка, так что, когда обернулся, вся прогалина подо мною оказалась на виду.

Стряпчий с судебным исполнителем стояли над самой тропой, кричали и махали руками, чтобы я возвращался, а слева от них, с мушкетами наперевес, уже начали по одному выбираться из нижней рощи солдаты.

— Для чего мне-то возвращаться? — крикнул я.— Вы сами лезьте сюда!

— Десять фунтов тому, кто изловит мальчишку! — закричал стряпчий.— Это сообщник. Его сюда подослали нарочно, чтобы задержал нас разговорами.

При этих словах (я их расслышал очень ясно, хотя кричал он не мне, а солдатам) у меня душа ушла в пятки от страха, только уже иного, чем прежде. Ведь одно дело, когда в опасности твоя жизнь, и совсем другое, когда есть угроза вместе с жизнью потерять и доброе имя И потом, эта новая напасть свалилась на меня словно гром среди ясного неба, так внезапно, что я окончательно опешил и потерялся.

Солдаты стали растягиваться цепочкой, одни побежали в обход, другие вскинули мушкеты и взяли меня на прицел; а я все не двигался с места.

— Ныряй сюда, за деревья,— раздался под боком чей-то голос.

Не очень понимая, что делаю, я повиновался, и едва скользнул за деревья, как сразу затрещали мушкеты и засвистели пули меж березовых стволов.

В двух шагах, под защитой дерев, стоял с удочкой в руках Алан Брек. Он не поздоровался — а впрочем, до любезностей ли тут было — только бросил: «За мной!» — и припустился бегом по косогору в сторону Баллахулиша; а я, как овечка,— за ним.

Мы бежали среди берез; то, согнувшись в три погибели, пробирались за невысокими буграми на склоне, то крались на четвереньках сквозь заросли вереска. Скорость была убийственная, сердце у меня так колотилось о ребра, что того и гляди лопнет; думать было некогда, а чтобы перемолвиться словом, не хватало дыхания. Помню только, я таращил глаза, видя, как Алан в который уж раз выпрямляется в полный рост и оглядывается назад, а в ответ издали неизменно доносится взрыв улюлюканья разъяренных солдат.

Примерно четверть часа спустя Алан припал к земле в вересковых кустах и повернул ко мне голову.

— Ну, шутки кончились,— выдохнул он.— Теперь делай, как я, если жизнь дорога.

И, не сбавляя шага, только теперь с тысячью предосторожностей, мы пустились в обратный путь по склону той же дорогой, какой пришли, разве что взяли чуточку выше, покуда в конце концов Алан не бросился ничком на землю в верхнем березняке Леттерморской

чащи, где я сперва встретил его, и, зарывшись лицом в папоротник, не стал отдуваться, как усталый пес.

А у меня так ломило бока, так все плыло перед глазами и рот запекся от жары и жажды, что я тоже трупом повалился с ним рядом.

ГЛАВА XVIII

У НАС С АЛАНОМ ПРОИСХОДИТ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР В ЛЕТТЕРМОРСКОЙ ЧАЩЕ

Первым опамятовался Алан. Он встал, сделал несколько шагов к опушке, выглянул наружу, потом вернулся и сел на место.

— Уф, и жарко пришлось, Дэвид,— сказал он.

Я не отозвался, даже головы не поднял. У меня на глазах свершилось убийство, в короткую секунду жизнерадостный здоровяк, краснолицый гигант обратился в бездыханное тело; во мне еще не отболела жалость, но это бы только полбеды. Убит был человек, которого ненавидел Алан, а сам Алан — тут как тут, скрывается в чаще и удирает от солдат. Рука ли его нажимала курок или только уста отдавали команду, разница невелика. По моему разумению получалось, что единственный друг, какой есть у меня в этом диком краю, прямо замешан в кровавом преступлении, он внушал мне ужас; я не в силах был глянуть ему в лицо; уж лучше бы мне валяться одному под дождем на своем островке и лязгать зубами от холода, чем лежать в нагретой солнцем роще бок о бок с душегубом.

— Что, не отдышишься никак? — снова обратился он ко мне.

— Нет,— ответил я, все еще пряча лицо в папоротниках,— нет, уже отдышался, могу говорить. Надо нам расстаться. Очень вы мне полюбились, Алан, да повадки ваши не по мне, и не по-божески это у вас: короче говоря, надо нам с вами расставаться.

— Навряд я с тобой расстанусь, Дэвид, прямо так, безо всякой причины,— очень серьезно сказал Алан.— Ежели тебе что-то ведомо, что пятнает мое имя, то по

крайности, старой дружбы ради, полагалось бы объяснить: так, мол, и так; а если тебе просто-напросто разонравилось мое общество, тогда уж мне судить, не оскорбление ли это.

— Алан, к чему это все? — сказал я.— Вам же отлично известно, что на тропе, в луже крови лежит тот самый ваш Кемпбелл.

Он помолчал немного, потом заговорил опять:

— Не слыхал ты когда байку про Человека и Добрый Народец? — Я понял, что он говорит о гномах.

— Нет,— сказал я,— и слышать не желаю.

— С вашего дозволения, мистер Бэлфур, я все-таки вам ее расскажу,— сказал Алан.— Выбросило, стало быть, человека на морскую скалу, и надо же так случиться, чтобы на ту самую, какую облюбовал себе добрый народец и отдыхал там всякий раз по пути в Ирландию. Называют скалу эту Скерривор, и стоит она невдалеке от того места, где мы потерпели крушение. Ну, давай, значит, человек плакать: «Ах, только бы мне перед смертью ребеночка своего повидать!» — и так это он убивался, что сжалился над ним король доброго народца да и велел одному гномику слетать, принести малыша в заплечном мешке и положить под бок человеку, пока тот спит. Просыпается человек, смотрит, рядом мешок, и в мешке что-то шевелится. А был он, видать, из тех господ, что всегда опасаются, как бы чего не вышло; и для пущей верности, перед тем, как открыть мешок, возьми да и проткни его кинжалом: глядь, а ребенок-то мертвенький. И вот сдается мне, мистер Бэлфур, что вы с этим человеком сродни.

— Так, значит, это не ваших рук дело? — закричал я и рывком сел.

— Раньше всего, мистер Бэлфур из замка Шос,— сказал Алан,— я вам скажу, все по той же старой дружбе, что уж ежели б я кого задумал прикончить, так не в своих же родных местах, чтобы накликать беду на свой клан, и не гулял бы я без шпаги и без ружья, при одной только удочке на плече.

— Ох, и то правда!

— А теперь,— продолжал Алан, обнажив кинжал и торжественно возлагая на него десницу,— я клянусь сим священным клинком, что ни сном, ни духом, ни словом, ни делом к убийству не причастен.

— Слава богу! — воскликнул я и протянул ему руку.

Алан ее как будто и не заметил.

— Гляди-ка, что за важное дело один Кемпбелл! — произнес он.— Вроде бы не такая уж они редкость!

— Ну и меня тоже очень винить нельзя,— сказал я.— Вспомните-ка, чего вы мне наговорили на бриге. Но, опять-таки, слава богу, искушение и поступок вещи разные. Искушению кто не подвластен; но хладнокровно лишить человека жизни, Алан!..— Я не сразу мог продолжать: — А кто это сделал, вы не знаете? — прибавил я немного погодя.— Знаком вам тот детина в черном кафтане?

— Вот насчет кафтана я не уверен,— с хитрым видом отозвался Алан,— мне что-то помнится, он был синий.

— Пускай будет синий, пусть черный, человека-то вы узнали?

— По совести сказать, не побожусь,— ответил Алан.— Прошел он очень близко, не спорю, да странное дело, понимаешь: как раз когда я завязывал башмаки.

— Тогда, может, вы побожитесь, что он вам незнаком? — вскричал я в сердцах, хоть меня уже и смех разбирал от его увертюк.

— Тоже нет,— отвечал он.— Но у меня, знаешь, ох, и память, Дэвид: все забываю.

— Зато я кое-что разглядел превосходно,— сказал я,— это как вы нарочно выставляли напоказ себя и меня, чтобы отвлечь солдат.

— Очень может статься,— согласился Алан,— и любой бы так, если он порядочный человек. Мы-то с тобой ни в чем тут не повинны.

— Тем больше у нас причин оправдаться, коль скоро нас заподозрили напрасно,— горячился я.— Правый уж как-нибудь важнее виноватого!

— У правого, Дэвид, еще есть возможность снять с себя оговор на суде; а у того детины, что послал пулю, я думаю, нет иного пристанища, кроме как вересковые дебри. Если ты никогда и ни в чем не замарал себе ручки, значит, тем паче пекись о тех, кто не так уж чист. Вот тогда ты и будешь добрый христианин. Потому что случись оно наоборот, и, скажем, этот детина, которого я так неважно разглядел, оказался бы на нашем месте, а мы — на его (а ведь такое очень могло бы

статься), мы бы еще какое спасибо ему сказали, если б он отвлек солдат!

Когда речь заходила о подобных вещах, я знал, что Алан неисправим. Однако он разглагольствовал с самым простодушным видом, с искренней верой в свою правоту и готовностью пожертвовать собой ради того, что почитал своим долгом,— и я прикусил язык. Мне припомнились слова мистера Хендерленда: нам самим не грех бы поучиться у этих диких горцев. Что ж, я свой урок получил. У Алана все представления о чести и долге были шиворот-навыворот, но за них он не задумался бы отдать жизнь.

— Алан,— сказал я,— не скажу, чтоб я так же понимал насчет добрых христиан, но доброго в ваших речах предостаточно. А поэтому вот вам еще раз моя рука.

Тут уж он протянул мне разом обе, ворча, что не иначе я его колдовством обошел, если он мне все прощает. Потом лицо у него стало озабоченным и он сказал, что нам нельзя терять ни минуты, а надо немедля уносить ноги из этих мест: ему — оттого, что он дезертир, а Эпин теперь обшарят вдоль и поперек, и всякого встречного будут допрашивать с пристрастием, кто он и откуда; а мне — оттого, что я, так или иначе, причастен к убийству.

— Ба! — фыркнул я, чтобы поддеть его немножко.— Я-то не страшусь правосудия моей отчизны.

— Как будто это твоя отчизна! И как будто кто-нибудь станет судить тебя здесь, на земле Стюартов!

— Не все одно, где,— сказал я.— Всюду Шотландия.

— На тебя глядя, друг, иной раз только руками разведешь,— сказал Алан.— Ты возьми в толк: убит Кемпбелл. Стало быть, суд держать будут в Инверэри, ихнем кемпбелловском гнезде; пятнадцать душ Кемпбеллов на скамьях присяжных, а в судейском кресле развалится всем Кемпбеллам Кемпбелл — герцог, стало быть. Правосудие, говоришь, Дэвид? Правосудие будет точь-в-точь такое же, какое Гленур обрел сегодня на горной тропе.

Признаться, я оробел немного, и оробел бы куда больше, когда бы знал, как безошибочно сбудутся Алановы предвещания; и то подумать, лишь в одном он пересолил: всего одиннадцать из присяжных были Кемпбеллы; впрочем, и остальные четверо всецело подчинялись герцогу, так что это было не столь важно, как может показаться. И все же я заспорил, что Алан несправедлив к герцогу Аргайлскому, вельможе здравомыслящему и честному, даром, что он виг.

— Как же! — усмехнулся Алан.— Виг-то он виг, кто сомневается; но и того у него не отнимешь, что он своему клану отменный предводитель. Клан-то что подумает, ежели застрелили Кемпбелла, а на виселицу никто не вздернут, хотя верховный судья — их же собственный вождь? Правда, я не раз примечал,— закончил Алан,— у вас, равнинных жителей, нету ясного понятия о том, что хорошо, а что дурно.

Тут я не выдержал и расхохотался во все горло; каково ж было мое удивление, когда и Алан, мне под стать, залился веселым смехом.

— Нет-нет, Дэвид,— сказал он.— Мы в горах, и уж раз я тебе говорю: «Надо удирать»,— не раздумывай, удирай без оглядки. Согласен, не мед хорониться в горах да лесах и маяться с голодухи, но куда солоней угодить в железы и сидеть под замком у красных мундиров.

Я спросил, куда же нам бежать, и, когда он сказал: «На юг»,— стал охотней склоняться к тому, чтобы идти с ним вместе; честно говоря, мне не терпелось вернуться домой и сполна рассчитаться с дядюшкой. Кроме того, слова Алана, что о правосудии не может быть речи, прозвучали очень убежденно, и я стал побаиваться, не прав ли он. Из всех смертей, прямо сказать, виселицу я избрал бы последней; изображение этого жуткого снаряда (я видел его однажды на картинке к балладе, купленной у бродячего торговца), с поразительной ясностью предстало пред моим внутренним взором и отбило у меня всякую охоту довериться правосудию.

— Была не была, Алан,— сказал я.— Иду с вами.

— Только знай наперед, это не игрушки,— сказал Алан.— Ни тебе перин, ни одеял, а сплошь да рядом еще и пустое брюхо. Ложе делить будешь с куропатками, жить как загнанный олень; спать, не выпуская из рук оружия. Да, брат, немало тяжких миль придется отшагать, пока минует опасность! Я тебя загодя упреждаю, потому что сам изведал такую жизнь до тонкости. Но если ты спросишь, какой есть другой выбор, я скажу: никакого. Либо со мною по тайным тропам, либо на виселицу.

— Выбор нетрудный,— сказал я, и мы скрепили наш уговор рукопожатием.

— А теперь глянем-ка снова одним глазком на красные мундиры.— И с этими словами Алан повел меня к северо-восточной опушке леса.

Выглянув из-за деревьев, мы увидали широченный горный склон, почти отвесно обрывающийся в воды залива. Вокруг громоздились утесы, щетинился вереск, корежился чахлый березняк, а вдалеке, на том краю откоса, что смотрел на Баллахулиш, вверх-вниз, то на холм, то в ложбину, тянулись, с каждой минутой становясь все меньше, крохотные красные фигурки. Стихли воинственные крики: видно, крепко притомились солдаты; и все-таки они упрямо шли по следу, несомненно, в твердой уверенности, что вот-вот настигнут беглецов.

Алан следил за ними с затаенной усмешкой.

— Н-да,— протянул он,— порядком умаются ребята, пока раскусят, что к чему! И, значит, нам с тобой, Дэвид, не возбраняется еще малость перевести дух, посидеть, закусить и отхлебнуть из моей фляги. Потом двинемся на Охарн, имение родича моего Джемса Глена, там мне надо забрать свое платье, оружие и денег взять на дорогу; а потом, Дэвид, крикнем, как водится: «Удача, ступай за мной!» — и попытаем счастья на вольном просторе.

Мы снова сели и принялись есть и пить, и с нашего места видно было, как опускается солнце прямо в могучие, дикие и нелюдимые горы, среди каких мне суждено было отныне странствовать с моим сотоварищем. Отчасти на этом привале, отчасти после, на пути в Охарн мы рассказали друг другу, что приключилось с каждым за это время; и кое-какие из Алановых похождений, самые важные и самые любопытные, я поведаю здесь.

Итак, едва схлынул вал, который меня смыл, он подбежал к фальшборту, нашарил меня глазами, тотчас потерял из виду, снова увидел, когда я уже барахтался в водовороте, и напоследок успел разглядеть, как я цепляюсь за рею. Это-то и вселило в него надежду, что я, может быть, все-таки выберусь на сушу, и навело на мысль расставить для меня за собою те путеводные знаки, которые — за мои прегрешения — привели меня на злосчастную эпинскую землю.

Меж тем с брига спустили на воду шлюпку, и человека два-три уже погрузились в нее, но тут накатила вторая волна, еще огромнее первой, подняла бриг с рифа и, уж наверно, отправила бы его ко дну, если б он снова не напоролся на торчащий зуб скалы. Когда корабль сел на риф первый раз, он ударился носом, и корма его ушла вниз. Теперь же корма задралась в воздух, а нос зарылся в море, и тогда в носовой люк, словно с мельничной плотины, потоками хлынула вода.

Дальше произошло такое, что, даже рассказывая об этом, Алан весь побелел. В кубрике еще оставались на койках двое тяжелораненых; видя, как в люк хлещет вода, они подумали, что судно уже затонуло, и подняли такой душераздирающий крик, что все, кто был на палубе, сломя голову попрыгали в шлюпку и налегли на весла. Не отошли они и на двести ярдов, как нагрянул третий исполинский вал; бриг сняло с рифа; паруса его на мгновение наполнились ветром, и он полетел, точно вдогонку за ними, но при этом оседал все ниже; вот он погрузился глубже, еще глубже, как бы втянутый невидимой рукою; и наконец над дайсетским бригом «Завет» сомкнулись волны.

Пока гребли к берегу, никто не проронил ни слова, всех сковал ужас от тех предсмертных криков; однако не успели ступить на сушу, как Хозисон словно очнулся от забытья и велел схватить Алана. Матросы, которым приказ явно пришелся не по вкусу, нерешительно топтались на месте; однако в Хозисона будто дьявол вселился: он гремел, что Алан теперь один, а при нем большие деньги, что это из-за него погибло судно и потонули их собратья, и вот случай разом и отомстить и взять богатую добычу. Их было семеро против одного; и ни единого валуна вблизи, чтобы Алану хоть спиной прислониться; а матросы стали уже понемногу расходиться и окружать его.

— И тогда,— продолжал Алан,— вышел вперед тот рыженький коротышка... забыл, как, бишь, его зовут...

— Риак,— подсказал я.

— Вот-вот, Риак! Да, и поверишь, он за меня вступился, спросил матросов, не страшатся ли они возмездия, а потом и говорит: «Черт, тогда я сам буду драться плечом к плечу с этим горцем!» Знаешь, не так уж он плох, этот рыженький,— заключил Алан.— Этот коротышка не совсем еще совесть потерял.

— Со мной он на свой лад был добр,— сказал я.

— И с Аланом тоже,— сказал мой приятель,— и, ей-же-ей, его «лад» вполне мне по вкусу. Понимаешь, Дэвид, он уж очень близко к сердцу принял и гибель брига и вопли тех несчастных; думаю, в этом-то и разгадка.

— Да, наверно,— сказал я,— ведь поначалу он на эти денежки зарился не хуже других. Ну, а что Хозисон?

— По-моему, вконец взбесился. Но в это время коротышка мне крикнул: «Беги!»,— вот я и побежал. Видел только, как они сгрудились на берегу, словно бы не очень сошлись во взглядах.

— То есть как это?

— А на кулачках схватились,— объяснил Алан.— Один на моих глазах свалился мешком. Правда, я решил не задерживаться. На том конце Малла есть, понимаешь, кемпбелловский клан, а для людей моего круга Кемпбеллы — неподходящее общество. Не то я остался бы и сам тебя разыскал и, уж конечно, пришел бы на выручку коротышке. (Забавно, как упорно Алан подчеркивал, что мистер Риак невелик ростом, хотя сам, право же, был ненамного выше.) Итак, задал я ходу,— продолжал Алан,— и кто ни попадись навстречу, всякому кричал, что на берег выбросило остатки разбитого корабля. После этого, друг ты мой, им уже было не до меня! Видел бы ты, как они друг другу вдогонку неслись на берег! Ну, а там, понятно, видели, что пробежались ради собственного удовольствия, да, впрочем, Кемпбеллу оно только полезно. Я так думаю, это нарочно, их клану в наказание, бриг потонул целехонек, не разбился. Только вот для тебя это вышло некстати: уж если б хоть щепочку прибило к берегу, они бы все побережье просеяли сквозь сито и скоро бы тебя нашли.

ГЛАВА XIX

ОБИТЕЛЬ СТРАХА

Пока мы шли, пала ночь, и тучи, поредевшие было днем, наползли снова и затянули все небо, так что сделалось, по летнему времени, на редкость темно. Мы

пробирались по каменистым горным откосам; Алан ступал вперед уверенно, и я только дивился, как это он ухитряется держать направление.

Наконец, примерно в половине одиннадцатого, мы вышли на уклон и увидали внизу, в долине, огни. Похоже было, что из распахнутой двери дома падает сноп света от очага и свечей, а вокруг дома и по всей усадьбе суетливо двигались человек пять или шесть с горящими головнями в руках.

— Уж не ума ли Джемс решился,— произнес Алан.— В хорошенькую он угодил бы передрягу, окажись здесь не мы с тобой, а солдаты. Хотя, полагаю, на дорогу он выставил дозор, а того пути, каким мы пришли, он хорошо знает, ни одному солдатишке не доискаться.

Сказав это, Алан трижды свистнул на особый лад. Чудно́ было видеть, как при первом же звуке все огоньки разом замерли, словно факельщиков пригвоздил к месту испуг, и как при третьем свистке суета закипела снова.

Уняв таким образом тревогу обитателей усадьбы, мы спустились с уклона, и в воротах двора (а усадьба походила на зажиточное крестьянское хозяйство) нас встретил высокий видный мужчина лет за пятьдесят, который что-то крикнул Алану по-гэльски.

— Джемс Стюарт,— сказал Алан,— я прошу говорить по-шотландски, потому что со мною гость и он по-нашему не понимает. Я вот о ком говорю,— прибавил он, беря меня под руку,— молодой дворянин с равнины и поместьем владеет в своем краю, ну, а имени его, я думаю, мы поминать не будем, дабы не повредить здоровью обладателя.

Джемс Глен повернулся ко мне и с отменной учтивостью отвесил мне поклон, но тотчас вновь обратился к Алану.

— Какое страшное несчастье! — воскликнул он.— Теперь всей нашей земле не миновать беды! — И он заломил руки.

— Полно тебе! — сказал Алан.— Все же нет худа без добра. Колин Рой преставился, и на том спасибо!

— Так-то так,— сказал Джемс,— но клянусь, я дорого бы дал, чтобы его воскресить! Куда как любо храбриться да бахвалиться до срока; но ведь теперь

дело сделано, Алан, а на чью голову падет кара? Убийство произошло в Эпине — ты это не забудь, Алан; стало быть, Эпин и поплатится, а я человек семейный.

Пока шел этот разговор, я все приглядывался к слугам. Одни залезли на приставные лестницы и рылись в соломенных кровлях дома и служб, извлекая оттуда ружья, шпаги и прочее оружие; другие все это куда-то сносили; по ударам мотыг, доносившимся из глубины долины, я понял, что оружие зарывают в землю. Каждый старался как мог, но никакого порядка не было: то двое принимались тянуть одно и то же ружье, то еще какие-нибудь двое натыкались друг на друга со своими пылающими факелами. Джемс то и дело отрывался от беседы с Аланом и выкрикивал какие-то распоряжения, но их, кажется, плохо понимали. По лицам в свете факелов видно было, что люди одурели от спешки и смятения; никто не повышал голоса, но даже их шепот звучал тревожно и зло.

В это время служанка вынесла из дому какой-то сверток или узел; и я частенько посмеиваюсь, вспоминая, как при одном только виде его пробудилась извечная Аланова слабость.

— Что это там у девушки в руках? — забеспокоился он.

— Мы просто наводим порядок в доме, Алан,— все так же, со страхом и чуточку угодливо, отозвался Джемс.— Эпин теперь сверху донизу перероют, надо, чтобы не к чему было придраться. Ружьишки да шпаги, сам понимаешь, закапываем в торфяник; а это у нее не иначе твоя французская одежда. Ее, думаю, тоже зароем.

— Зарыть мой французский костюм? — возопил Алан.— Да ни за что! — И, выдернув у служанки сверток, удалился в амбар переодеваться, а меня покуда оставил на попечении своего родича.

Джемс чинно привел меня на кухню, усадил за стол, сам сел рядом и с улыбкой весьма радушно принялся занимать меня беседой. Но очень скоро им снова овладела кручина; он сидел хмурый и грыз ногти; о моем присутствии он вспоминал лишь изредка; с вымученной усмешкой выжимал из себя два-три слова и опять отдавался во власть своих невысказанных страхов. Его жена сидела у очага и плакала, спрятав лицо в ладо-

ни; старший сын согнулся над ворохом бумаг на полу и перебирал их, время от времени поднося ту или иную к огню и сжигая дотла; заплаканная, насмерть перепуганная служанка бестолково тыкалась по всем углам и тихонько хныкала; в дверь поминутно просовывался кто-нибудь со двора и спрашивал, что делать дальше.

Наконец, Джемсу совсем невмоготу стало сидеть на месте, он извинился за неучтивость и попросил у меня разрешения походить.

— Я понимаю, сэр, что собеседник из меня никудышный,— сказал он,— и все равно мне ничто нейдет на ум, кроме этого злосчастного случая, ведь сколько он горестей навлечет на людей, ни в чем не повинных!

Немного спустя он заметил, что его сын сжигает не ту бумагу, и тут волнение Джемса прорвалось, да так, что и глядеть было неловко. Он ударил юношу раз и другой.

— Свихнулся ты, что ли? — кричал он.— На виселицу отца вздумал отправить? — и, позабыв, что здесь сижу я, долго распекал его по-гэльски. Юноша ничего не отвечал, зато хозяйка при слове «виселица» закрыла лицо передником и заплакала навзрыд.

Тягостно было стороннему человеку все это видеть и слышать; я был рад-радехонек, когда вернулся Алан, который опять стал похож на себя в своем роскошном французском платье, хотя, по совести, его уже трудно было назвать роскошным, до того оно смялось и обтрепалось. Теперь настал мой черед: один из хозяйских сыновей вывел меня из кухни и дал переодеться, что мне уж давным-давно не мешало сделать, да еще снабдил меня парой горских башмаков из оленьей кожи — сперва в них было непривычно, но, походив немного, я оценил, как удобна такая обувь.

Когда я вернулся на кухню, Алан, видно, уже раскрыл свои планы; во всяком случае, молчаливо подразумевалось, что мы бежим вместе, и все хлопотали, снаряжая нас в дорогу. Нам дали по шпаге и паре пистолетов, хоть я и сознался, что не умею фехтовать; в придачу мы получили небольшой запас пуль, кулек овсяной муки, железную плошку и флягу превосходного французского коньяку и со всем этим готовы были выступить в дорогу. Денег, правда, набралось малова-

то. У меня оставалось что-то около двух гиней; пояс Алана был отослан с другим нарочным, а сам верный посланец Ардшила имел на все про все семнадцать пенсов; что же до Джемса, этот, оказывается, так издержался с вечными наездами в Эдинбург и тяжбами по делам арендаторов, что с трудом наскреб три шиллинга и пять с половиной пенсов, да и то все больше медяками.

— Не хватит,— заметил Алан.

— Надо будет тебе схорониться в надежном месте где-нибудь по соседству,— сказал Джемс,— а там дашь мне знать. Пойми, Алан, тебе надо поторапливаться. Не время сейчас мешкать ради каких-то двух-трех гиней. Пронюхают, что ты здесь, как пить дать, учинят розыск и, чует мое сердце, взвалят вину на тебя. А ведь возьмутся за тебя, так не обойдут и меня, раз я в близком родстве с тобой и укрывал тебя, когда ты гостил в здешних местах. И уж коли до меня доберутся...— Он осекся и, бледный, как мел, прикусил ноготь.— Туго придется нашим, коли меня вздернут,— проговорил он.

— То будет черный день для Эпина,— сказал Алан.

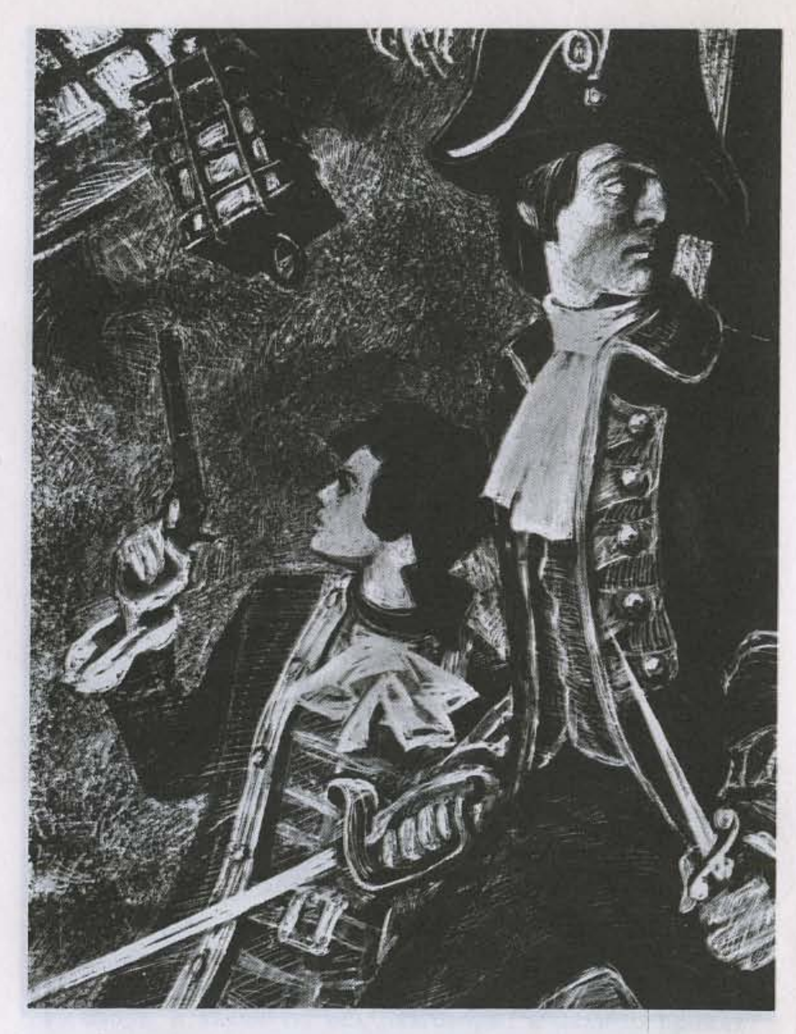
— Страшно подумать,— сказал Джемс.— Ай-яй-яй, Алан, какие ослы мы были с нашей болтовней! — И он стукнул ладонью по стене, так что весь дом загудел.

— Справедливо, чего там,— сказал Алан,— вот и друг мой из равнинного края (он кивнул на меня) правильно мне толковал на этот счет, только я не послушал.

— Да, но видишь ли,— сказал Джемс, снова впадая в прежний тон,— если меня сцапают, Алан, вот когда тебе потребуются денежки. Припомнят, какие я вел разговоры и какие ты вел разговоры, и дело-то примет для нас обоих скверный оборот, ты смекаешь? А раз смекаешь, тогда додумай до конца: неужели ты не понимаешь, что я своими руками должен буду составить бумагу с твоими приметами, должен буду положить награду за твою голову? Да-да, что поделаешь! Нелегко поднимать руку на дорогого друга; и все же, если за это страшное несчастье ответ держать придется мне, я буду вынужден себя оградить, дружище. Ты меня понимаешь?



«ПОХИЩЕННЫЙ»



«ПОХИЩЕННЫЙ»

Он выпалил это все с горячей мольбой, ухватив Алана за отвороты мундира.

— Да,— сказал Алан.— Я понимаю.

— И уходи из наших мест, Алан... да-да, беги из Шотландии... сам беги и приятеля своего уводи. Потому что и на твоего приятеля из южного края мне надо будет составить бумагу. Ты ведь и это понимаешь, Алан, верно? Скажи, что понимаешь!

Почудилось мне или Алан и в самом деле вспыхнул?

— Ну, а каково это мне, Джемс? — промолвил он, вскинув голову.— Ведь это я привел его сюда! Ты же меня выставляешь предателем!

— Погоди, Алан, подумай! — вскричал Джемс.— Посмотри правде в глаза! На него так или иначе составят бумагу, Манго Кемпбелл, уж конечно, опишет его приметы; какая же разница, если и я опишу? И потом, Алан, у меня ведь семья.— Оба немного помолчали.— А суд творить будут Кемпбеллы, Алан,— закончил он.

— Спасибо, хоть имени его никто не знает,— задумчиво сказал Алан.

— И не узнает, Алан! Голову тебе даю на отсечение! — вскричал Джемс с таким видом, словно и вправду знал, как меня зовут и поступился собственной выгодой.— Только как он одет, внешность, возраст, ну и прочее, да? Без этого уж никак не обойтись.

— Смотрю я на тебя и удивляюсь,— жестко сказал Алан.— Ты что, своим же подарком хочешь малого погубить? Сначала подсунул ему платье на перемену, а после выдашь?

— Что ты, Алан,— сказал Джемс.— Нет-нет, я про то платье, что он снял... какое Манго на нем видел.

Все-таки он, по-моему, сник; этот человек был готов ухватиться за любую соломинку и, надо полагать, все время видел перед собой судилище и лица своих кровных врагов, а за всем этим — виселицу.

— Ну, сударь, а твое какое слово? — обратился Алан ко мне.— Тебе здесь защитой моя честь; без твоего согласия ничего не будет, и позаботиться об этом — мой долг.

— Что я могу сказать,— отозвался я.— Для меня ваши споры — темный лес. Но только если рассудить

здраво, так винить надо того, кто виноват, стало быть, того, кто стрелял. Составьте на него бумагу, как вы говорите, пускай его и ловят, а честным, невиновным дайте ходить не прячась.

Но в ответ и Алан и Джемс Глен стали ужасаться на два голоса и наперебой закричали, чтобы я попридержал язык, ведь это дело неслыханное, и что только подумают Камероны (так подтвердилась моя догадка, что убийца — кто-то из маморских Камеронов), и как это я не понимаю, что того детину могут схватить?..

— Это тебе, верно, и в голову не пришло! — возмущались оба, так пылко и бесхитростно, что у меня опустились руки и я понял, что спорить бесполезно.

— Ладно, ладно — отмахнулся я,— составляйте ваши бумаги на меня, на Алана, на короля Георга, если угодно! Мы все трое чисты, а видно, только это и требуется. Как бы то ни было, сэр,— прибавил я, обращаясь к Джемсу, когда немного остыл после своей вспышки,— я друг Алану, и раз представился случай помочь его близким, я не побоюсь никакой опасности.

Лучше согласиться по-хорошему, подумал я, а то вон и у Алана, видно, кошки на душе скребут; да и потом, стоит мне шагнуть за порог, как они составят на меня эту проклятую бумагу, и не посмотрят, согласен я или нет. Но оказалось, что я был несправедлив; ибо не успел я вымолвить последние слова, как миссис Стюарт сорвалась со стула, подбежала к нам и со слезами обняла сперва меня, а после Алана, призывая на нас благословение господне за то, что мы так добры к ее семье.

— Про тебя, Алан, говорить нечего: то была твоя святая обязанность, и не более того,— говорила она.— Иное дело этот мальчик. Он пришел сюда и увидел нас в наихудшем свете, увидел, как глава семьи, кому по праву полагалось бы повелевать как монарху, улещает, точно смиренный челобитчик. Да, сынок, вы совсем иное дело. Жаль, не ведаю, как вас звать, но я вижу ваше лицо, и пока у меня сердце бьется в груди, я сохраню его в памяти, буду думать о нем и благословлять его.

С этими словами она меня поцеловала и опять залилась такими горючими слезами, что я даже оторопел.

— Ну-ну, будет,— с довольно глупым видом сказал Алан.— Ночки в июле такие короткие, что и не заметишь; а завтра — ого, какой переполох поднимется в Эпине: что драгунов понаедет, что «круахану»[1] понакричатся, что красных мундиров понабежит... так нам с тобой сейчас главное поскорей уходить.

Мы распрощались и вновь отправились в путь, держа чуть восточнее, все по такой же неровной земле, под покровом тихой, теплой и сумрачной ночи.

ГЛАВА XX
ПО ТАЙНЫМ ТРОПАМ
СКАЛЫ

Временами мы шли, временами принимались бежать, и чем меньше оставалось до утра, тем все чаще с шагу переходили на бег. Места по виду казались безлюдными, однако в укромных уголках среди холмов сплошь да рядом ютились то хижина, то домишко; мы их миновали, наверно, десятка два. Когда мы подходили к такой лачуге, Алан всякий раз оставлял меня в стороне, а сам шел, легонько стучал в стену и перебрасывался через окно двумя-тремя словами с заспанным хозяином. Так в горах передавали новости; и столь непреложным долгом это здесь почиталось, что Алан, даже спасаясь от смерти, чувствовал себя обязанным исполнить его; и столь исправно долг этот соблюдался другими, что в доброй половине хижин, какие мы обошли, уже слышали про убийство. В прочих же, насколько мне удалось разобрать (стоя на почтительном расстоянии и ловя обрывки чужой речи), эту весть принимали скорей с ужасом, чем с изумлением.

Хоть мы и поспешали, день занялся задолго до того, как мы дошли до укрытия. Рассвет застал нас в бездонном ущелье, забитом скалами, где мчалась вспененная река. Вокруг теснились дикие горы; ни травинки, ни деревца, и мне не раз потом приходило в голову: уж не та ли это долина, что зовется Гленкоу — место побоища во времена короля Вильгельма? Что до подробностей этого нашего странствия, я их все порастерял; где-то мы лезли напрямик, где-то пускались в долгие обходы; оглядеться толком было недосуг, да и шли

[1] «Круахан» — боевой клич Кемпбеллов. *(Прим. автора.)*

мы по большей части ночью; если же я и спрашивал названия иных мест, звучали они по-гэльски и тем быстрей вылетали из головы.

Итак, первый проблеск зари осветил нам эту гибельную пропасть, и я заметил, как Алан насупился.

— Местечко для нас с тобой неудачное,— сказал он.— Такое, уж конечно, караулят.

И он припустился шибче прежнего к тому месту, где скала посредине рассекала реку на два рукава. Поток пробивался сквозь теснину с таким ужасающим ревом, что у меня затряслись поджилки; а над расселиной тучею нависла водяная пыль. Алан, не глянув ни вправо, ни влево, единым духом перемахнул на камень-одинец посредине и сразу пал на четвереньки, чтобы удержаться, потому что камень был неширок и легко было сорваться на ту сторону. Не успев примериться как следует или хотя бы осознать опасность, я и сам с разбегу метнулся за ним, и он уже подхватил и придержал меня.

Так мы с ним очутились бок о бок, на узеньком выступе скалы, осклизлом от пены; до другого берега прыгать было куда дальше, а со всех сторон неумолчно грохотала река. Когда я толком разглядел, где очутился, к сердцу смертной истомой подступил страх, и я закрыл глаза ладонью. Алан схватил меня за плечи и встряхнул; я видел, что он шевелит губами, но за ревом порогов и собственным смятением не расслышал слов, видно только было, как лицо его побагровело от злости и он топнул ногой. А я краем глаза опять приметил, как неистово стремится поток, как воздух застлало водяной пылью, и опять с содроганием зажмурился.

В тот же миг Алан сунул мне к губам флягу с коньяком и насильно влил в глотку эдак с четверть пинты, так что у меня кровь снова заструилась по жилам. Потом он приложил ко рту ладони и, гаркнув мне прямо в ухо: «Хочешь — тони, хочешь — болтайся на виселице!»,— отвернулся от меня, перелетел через второй рукав потока и благополучно очутился на том берегу.

Теперь я стоял на камне один, и мне стало посвободней; от коньяку в ушах у меня звенело; живой пример друга еще стоял перед глазами, и у меня хватило ума сообразить, что, если не прыгнуть сию же секунду, не прыгнешь никогда. Я низко присел и с тем злобным

отчаянием, что не раз выручало меня за нехваткой храбрости, ринулся вперед. Так и есть, только руки достали до скалы; сорвались, уцепились, опять сорвались: и я уж съезжал в самый водоворот, но тут Алан ухватил меня сперва за вихор, после за шиворот и, дрожа от натуги, выволок на ровное место.

Думаете, он вымолвил хоть слово? Ничуть не бывало: он снова ударился бежать что есть мочи, и мне, хочешь не хочешь, пришлось подняться на ноги и мчаться вдогонку. Я и раньше-то устал, а теперь к тому же расшибся и не оправился от испуга, да и хмель кружил мне голову; я спотыкался на бегу, а тут и бок невыносимо закололо, так что, когда под большущей скалой, торчавшей средь целого леса других, Алан, наконец, остановился, для Дэвида Бэлфура это было очень вовремя.

Я сказал: под большущей скалой; но оказалось, что это две скалы прислонились друг к другу вершинами, обе футов двадцати высотой и на первый взгляд неприступные. Алан и тот (хоть у него, можно сказать, было не две руки, а все четыре) дважды потерпел неудачу, пробуя на них залезть; только с третьей попытки, и то лишь взобравшись мне на плечи, а потом оттолкнувшись со всей силой, так что я было подумал, не сломал ли он мне ключицу, он сумел удержаться наверху. Оттуда он спустил мне свой кожаный кушак; с его-то помощью, благо, что еще подвернулись две чуть заметные выемки в скале, я вскарабкался тоже.

Только тогда открылось мне, для чего мы сюда забрались; каждая из скал-двойняшек была сверху немного выщерблена, и в том месте, где они приникли друг к другу, образовалась впадина наподобие блюда или чаши, где можно было залечь втроем, а то и вчетвером, так что снизу было не видно.

За все это время Алан не обронил ни звука, он бежал и влезал на камни с безмолвным неистовством одержимого; я понимал, что он смертельно встревожен, а значит, где-то что-то грозит обернуться не так. Даже сейчас, когда мы были уже на скале, он оставался так же хмур, насторожен и молчалив, он только бросился плашмя на скалу и, как говорится, одним глазом из-за края нашего тайника осмотрел все вокруг. Заря уже разгорелась, мы видели скалистые стены ущелья; дно его, загроможденное скалами, речку, что металась

из стороны в сторону средь белопенных порогов; и нигде ни дымка от очага, ни живой души, только орлы перекликались, паря над утесом.

Только тогда губы Алана тронула улыбка.

— Ну, теперь хоть есть какая-то надежда,— проговорил он и, лукаво покосившись в мою сторону, прибавил:— А ты, друг, не больно ловок прыгать.

Должно быть, я залился краской обиды, потому что он сразу же прибавил:

— Ба! А впрочем, с тебя и спрос невелик. Бояться и все-таки не спасовать — вот на чем проверяются люди. И потом еще эта вода, мне самому от нее муторно. Да-да,— закончил Алан,— твоей тут вины никакой, а вот я опростоволосился.

Я спросил, почему.

— А как же,— сказал он,— каким недотепой себя показал нынешней ночью. Первым делом возьми да пойди не той дорогой, и это где: в Эпине, на своей же родине; ясно, что день нас застал там, куда нам носа не след казать; вот и торчим тут с тобой — и опасно, и тошно. Второе, что подавно грех, когда человек столько прятался по кустам, сколько я на своем веку: вышел в дорогу без фляги с водой. Теперь лежи здесь, прохлаждайся целый летний денек без капли во рту, кроме спиртного. Ты, может быть, подумаешь, невелика беда, но еще не стемнеет, Дэвид, как ты заговоришь иначе.

Мне не терпелось обелить себя в его глазах, и я вызвался спуститься со скалы и сбегать к речке за водой, пусть только он опорожнит флягу.

— Зачем же добру пропадать,— возразил Алан.— Вот и тебе коньяк давеча сослужил хорошую службу; если б не он, ты, по моему скромному разумению, и посейчас куковал бы на том камушке. А главное, от тебя, возможно, не укрылось — ты у нас мужчина страсть какой приметливый,— что Алан Брек Стюарт противу обыкновенного прогуливался, пожалуй, ускоренным шагом.

— Вы-то? — воскликнул я.— Да вы мчались как угорелый.

— Правда? Что ж, коли так, не сомневайся: времени было в самый обрез. А засим, друг, довольно разговоров; ложись-ка ты сосни, а я пока посторожу.

Я не заставил себя упрашивать; меж вершин нанесло с одной стороны тонкий слой торфянистой землицы,

сквозь нее пробились кустики папоротника — они-то и послужили мне ложем; засыпая, я по-прежнему слышал крики орлов.

Было, вероятно, часов девять утра, когда меня бесцеремонно растолкали, и я почувствовал, что рот мне зажимает Аланова ладонь.

— Тише ты! — шепнул он.— Расхрапелся.

— А что, нельзя? — спросил я, озадаченный его тревожным, потемневшим лицом.

Он осторожно глянул за край нашей каменной чаши и знаком велел мне последовать его примеру.

День уже вступил в свои права, безоблачный и очень жаркий. Долина открывалась взору, как нарисованная. Примерно в полумиле вверх по течению стояли биваком красные мундиры; посредине полыхал высокий костер, кое-кто занимался стряпней; а поблизости, на верхушке скалы, почти что вровень с нами стоял часовой, и солнце сверкало на его штыке. Вдоль всей реки, тут вплотную друг к другу, там чуть пореже, расставлены были еще часовые; одни, как тот первый, по высоткам, другие по дну ущелья, вышагивали, встречались на полпути, расходились. Выше по долине, где скалы расступались, цепь дозорных продолжали конные, мы видели, как они разъезжают туда и сюда вдалеке. Ниже по течению караулили пешие; однако с того места, где поток резко раздавался вширь от слияния с полноводным ручьем, часовые стояли реже и стерегли только по бродам да мелководным каменистым перекатам.

Я бросил на них лишь беглый взгляд и мигом юркнул обратно. Глазам не верилось, что эта долина, которая лежала такой пустынной в предрассветный час, теперь ощетинилась оружием и рдеет красными пятнами солдатской одежды.

— Вот этого я и боялся, Дэви,— сказал Алан,— что они выставят дозоры по речушке. Часа два как стали сходиться — ох, друг, и здоров же ты спать! Попали мы с тобой в переделку. Если они вздумают подняться на склон, им ничего не стоит высмотреть нас в подзорную трубу, ну, а если так и будут сидеть на дне долины, тогда, пожалуй, вывернемся. Вниз по течению часовых понаставлено не так густо. Дай срок, придет ночь, попытаем счастья, глядишь, и проскочим.

— А пока что делать? — спросил я.

— Пока лежать,— сказал он,— и жариться.

В это милое словечко «жариться», в сущности, вложено все, что мы претерпели за наступающий день. Не забывайте: мы лежали на открытой маковке скалы, как ячменные лепешки на противне; солнце жгло немилосердно; камень до того накалился, что насилу дотронешься; а на жалком островке почвы, поросшей папоротником, возможно было уместиться только одному. По очереди ложились мы на голый камень, уподобляясь тому святому великомученику, которого пытали на пылающих угольях; и меня преследовала навязчивая мысль: не странно ли, чтобы в одном и том же краю земли, на расстоянии считанных дней пути мне привелось терзаться столь жестоко, сперва от холода на моем островке, а теперь, на этой скале,— от зноя.

Ни глотка воды не было у нас за все время, только неразбавленный коньяк, а это хуже, чем ничего; и все-таки мы, как могли, охлаждали флягу, зарывая ее в землю, потом смачивали себе грудь и виски, и это приносило хоть какое-то облегчение.

Солдаты весь день напролет копошились на дне долины, то сменяли караул, то дозорами по нескольку человек обходили скалы. А скал вокруг торчало видимо-невидимо, выследить в них человека было все равно, что отыскать иголку в стоге сена; это был напрасный труд, и солдаты не проявляли особого рвения. Но иногда у нас на глазах солдаты протыкали кусты вереска штыками, отчего у меня мороз пробегал по коже, а не то им приходила охота слоняться возле самой нашей скалы, так что мы еле отваживались дышать.

Вот тут мне и случилось услышать впервые настоящую английскую речь: какой-то служивый мимоходом похлопал по нашей скале с солнечной стороны и мгновенно с проклятием отдернул руку. «Ну и горяча!» — молвил он, и меня поразил непривычный выговор, сухой и однообразный, а еще больше, что иные звуки англичанин вовсе проглатывал. Конечно, я еще раньше слышал, как говорит Рансом; но юнга от кого только не перенимал ужимки, да и вообще коверкал слова, так что странности его разговора я, по большей части, приписывал ребячеству. А тут, что самое удивительное, на тот же лад говорил взрослый человек; признаться, я так и не свыкся с английским говором; с грамматикой — и то не вполне, что, впрочем, строгое око знатока не преминет заметить хотя бы и по этим воспоминаниям.

День все тянулся, и с каждым часом нам становилось томительней и больней; все сильнее накалялся камень, все яростней жалило солнце. Многое пришлось вытерпеть: голова кружилась, к горлу подступала тошнота, все суставы ломило и резало, как от простуды. Я твердил мысленно, как не раз твердил и после, две строки из нашего шотландского псалма:

В ночи тебя не сразит луна,
Солнце не сгубит днем...

— и воистину, не иначе, как по милости господней не сгубило нас солнце в тот день.

Наконец, часа в два пополудни терпеть не стало сил, так что отныне нам приходилось не только превозмогать боль, но и одолевать искушение. Ибо солнце чуть передвинулось на запад, а к востоку, именно с той стороны, которая была скрыта от солдат, наша скала стала отбрасывать коротенькую тень.

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать,— объявил Алан, скользнул за край выемки и опустился на землю с теневой стороны.

Я без колебаний сполз за ним и сразу упал врастяжку, так слаб и так нетверд на ногах был я от долгой пытки солнцем. Час, если не два пролежали мы здесь, точно избитые с головы до пят и вконец обессиленные, прямо на виду у всякого солдата, какому вздумалось бы сюда прогуляться. Однако ни единой души не было, все проходили по другую сторону скалы — она даже теперь по-прежнему служила нам щитом.

Мало-помалу к нам стали возвращаться силы; солдаты меж тем перешли ближе к реке, и Алан предложил — была не была — трогаться в путь. Меня же в те минуты страшило лишь одно: как бы снова не пришлось лезть на скалу; все прочее было мне нипочем; итак, мы тут же приготовились к походу и заскользили друг за дружкой от скалы к скале; в тени ползли, распластавшись по земле; в других местах бежали, замирая от страха.

Солдаты, кое-как обыскав низовье долины, видимо, осовели от духоты, и рвения у них поубавилось; они дремали, стоя на часах, а если и караулили, то лишь берега; и мы все тем же способом, прижимаясь как могли к подножию гор, потихоньку уходили все дальше от них вниз по ущелью. Правда, такого изнурительного заня-

тия я еще не знавал. Тут требовалась сотня глаз и на руках, и на ногах, и на затылке, чтобы среди скал и выбоин, где нас ежеминутно могли услыхать разбросанные там и сям часовые, ни разу не очутиться на виду. На открытых площадках проворство еще не решало дела, требовалась смекалка, чтобы вмиг оценить не только всякую складочку и бугорок окрест, но и надежность всякого камня, на который ставишь ногу; ибо к вечеру воцарилось такое безветрие, что покатившаяся галька гремела в неподвижном воздухе как пистолетный выстрел и будила в холмах и утесах чуткое эхо.

Как ни медленно мы двигались, а к заходу солнца одолели значительное расстояние, хотя тот часовой все равно еще торчал у нас на виду. Но вдруг нам встретилось нечто такое, что все наши страхи мигом позабылись; то был глубокий быстрый ручей, который мчался вниз, чтобы слить свои воды с речкой ущелья. При виде его мы бросились наземь и погрузили в воду голову и плечи. Уж не скажу, что было сладостней: целительная прохлада потока, пронизавшая нас, или блаженство напиться вволю.

Так мы лежали, скрытые берегами, пили и никак не могли напиться, плескали воду себе на грудь, отдавали руки во власть быстротечных струй, покуда запястья не заломило от холода; и наконец, точно рожденные заново, вытащили кулек с мукой и принялись мешать в железной плошке драммак. Это хоть и просто-напросто размазня из овсяной муки, смешанной с холодной водой, а все ж вполне сносная еда на голодный желудок; когда не из чего развести костер или же (как случилось с нами) есть веские причины его не разводить, драммак — сущее спасение для тех, кто скрывается в лесах и скалах.

Едва стало смеркаться, мы снова двинулись в путь, на первых порах так же осторожно, но вскоре осмелели, выпрямились во весь рост и прибавили шагу. Мы шли запутанными тропами, петляли по горным кручам, пробирались вдоль края обрывов; к закату набежали облака, ночь спускалась темная, свежая; я не слишком устал, только непрерывно томился страхом, как бы не сорваться и не полететь с такой высоты; а куда мы шли, и гадать перестал.

Но вот взошла луна, а мы все брели вперед; она была в последней своей четверти и долго не выходила

из-за туч, но потом выкатилась и засияла над многоглавым скопищем темных гор и отразилась далеко внизу в узкой излуке морского залива.

При этом зрелище мы остановились: я от изумления, что забрался в такую высь, где ступаешь (так мне почудилось) прямо по облакам; Алан же — чтобы проверить дорогу.

Как видно, он остался доволен; во всяком случае, ясно было, что, по его расчетам, услышать нас неприятель уже не может, потому что весь остаток нашего ночного перехода он забавы ради насвистывал на разные лады: то воинственные мелодии, то развеселые, то заунывные; плясовые, от которых ноги сами шли веселей; напевы моей родимой южной стороны, которые так и манили домой, к мирной жизни без приключений; так заливался свистом Алан среди могучих, темных, безлюдных гор, которые одни окружали нас в дороге.

ГЛАВА XXI

ПО ТАЙНЫМ ТРОПАМ

КОРИНАКСКИЙ ОБРЫВ

Как ни рано светает в начале июля, а было еще темно, когда мы дошли до цели: расселины в макушке величавой горы, с торопливым ручьем посредине и неглубокой пещеркой сбоку в скале. Сквозная березовая рощица сменялась немного дальше сосновым бором. Ручей изобиловал форелью; роща — голубями-вяхирями; на дальнем косогоре без умолку пересвистывались кроншнепы, и кукушек тут водилось несметное множество. С устья расселины виднелся узкий речной залив, где кончается эпинская земля, а за ним уже начинался Мамор. С такой высоты это была захватывающая картина, и я не уставал сидеть и любоваться ею.

Расселина называлась Коринакский обрыв, и, хотя на такой вышине и столь близко от моря ее часто застилали тучи, это был, в общем, славный уголок, и те пять дней, что мы здесь прятались, пролетели легко и незаметно.

Спали мы в пещере на ложе из вереска, срезанного нами ради этого случая; укрывались Алановым плащом.

В изгибе расселины была небольшая впадина, и мы до того расхрабрились, что жгли в ней костер, и, когда набегали тучи, можно было согреться, сварить овсянку, нажарить мелкой форели, которую мы голыми руками ловили в ручье под камнями и нависшим берегом. Рыбная ловля, кстати сказать, была у нас тут и первейшей забавой и самым важным делом — не только потому, что муку не мешало приберечь про черный день, но и потому, что нас занимало соревнование,— и, по пояс голые, мы чуть ли не целые дни проводили на берегу, нашаривая в воде рыбешку. Самая крупная форель, какую мы изловили, весила что-нибудь около четверти фунта; и все же, нежная и ароматная, испеченная на угольях — да если б еще присолить немного,— она была прелакомым блюдом!

Всякую свободную минуту Алан тянул меня фехтовать, он никак не мог примириться с тем, что я не держу в руках шпаги; но я-то еще подозреваю, что занятие, в котором он был столь неоспоримо искусней меня, его особенно прельщало потому, что в рыбной ловле он не однажды мне уступал. Придирался он ко мне на уроках сверх меры, бушевал, распекал меня на чем свет стоит и так рьяно наседал на меня, что я только и ждал, как бы он не пропорол меня насквозь. Сколько раз меня подмывало дать стрекача, но я все равно держался стойко и извлек кой-какую пользу из наших уроков; пусть это было всего лишь умение с уверенным видом стать в оборонительную позицию; частенько большего и не требуется. А потому, не сумев заслужить и тени похвалы у моего наставника, сам я был не так уж недоволен собой.

Меж тем неверно было бы предположить, что мы махнули рукой на главную свою заботу: как бы уйти от опасности.

— Не один денек минует, покуда красные мундиры догадаются искать нас в Коринаки,— сказал мне Алан в первое же утро.— Так что теперь надо бы послать весточку Джемсу. Пускай раздобудет нам денег.

— А как ее пошлешь? — сказал я.— Мы здесь одни, в другое место податься пока что не решимся; разве только вы пташек перелетных призовете себе в посыльные, а так я не вижу способа это сделать.

— Да? — промолвил Алан.— Не горазд же ты на выдумки, Дэвид.

Он уставился на тлеющие угольки кострища и задумался; затем подыскал две щепки, связал крест-накрест, а четыре конца обуглил дочерна. После этого он нерешительно взглянул на меня.

— Ты не дашь мне на время ту пуговицу? — сказал он.— Подаренное назад не просят, но мне, признаться, жалко отпарывать еще одну.

Я отдал ему пуговку; он нанизал ее на обрывок плаща, которым был скреплен крест, привязал сюда же веточку березы, добавил еще веточку сосны и с довольным лицом осмотрел свое творение.

— Так вот,— сказал он.— Есть невдалеке от Коринаки селение — по-английски сказать, деревенька, называется она Колиснейкон. У меня там немало друзей — одним я смело доверю жизнь, а на других не так уж полагаюсь. Понимаешь, Дэвид, за наши головы назначат награду; Джемс самолично назначит, ну, а что до Кемпбеллов, эти никогда не поскупятся, лишь бы напакостить Стюарту. Будь оно иначе, я бы ни на что не посмотрел и сам наведался в Колиснейкон, вверил бы свою жизнь этим людям с легкой душой, как перчатку.

— Ну, а так?

— А так лучше мне не попадаться им на глаза,— сказал Алан.— Скверные людишки отыщутся где хочешь, слабодушные тоже, а это еще страшней. Потому, когда стемнеет, проберусь-ка я в то селение и подсуну вот эту штуку, которую я смастерил, на окошко доброму своему приятелю Джону Бреку Макколу, эпинскому испольщику [1].

— Очень хорошо,— сказал я.— Ну, а найдет он эту штуку, что ему думать?

— М-да, жаль, не шибко сообразительный он человек,— заметил Алан.— Положа руку на сердце, боюсь, она ему мало что скажет! Но у меня задумано вот как. Мой крестик немного напоминает огненный крест, то бишь знак, по которому у нас созывают кланы. Ну, что клан подымать не надо, это-то он поймет, потому что знак стоит у него в окне, а на словах ничего не сказано. Вот он и подумает себе: «Клан подымать не нужно, а все же здесь что-то кроется». И потом увидит мою пуговицу, вернее, не мою, а Дункана Стюарта. Тогда он

[1] Испольщиком зовется арендатор, который берет у землевладельца на корма скотину, а приплод делит с хозяином. *(Прим. автора.)*

станет думать дальше: «Дунканов сынок хоронится в лесах, и ему понадобился я».

— Может быть,— сказал я.— Допустим, так и случится, но отсюда до Форта лесов много.

— Правильно,— сказал Алан.— Но еще увидит Джон Брек две веточки, березовую и сосновую, и рассудит, коли у него есть голова на плечах (я-то в этом не очень уверен): «Алан укрывается в лесу, где растет сосна и береза». И подумает про себя: «Эдаких лесов в округе раз-два и обчелся» — и наведается к нам в Коринаки. А уж ежели нет, Дэвид, так и катись он тогда ко всем чертям, я так считаю; грош ему ломаный цена.

— Да, дружище,— сказал я, чуть подтрунивая над ним,— ловко придумано! А может быть, все-таки проще взять и написать ему два слова: так, мол, и так?

— Золотые ваши слова, мистер Бэлфур из замка Шос,— тоже подтрунивая надо мной, отозвался Алан.— Мне написать куда проще, это точно, да Джону-то Бреку прочесть — тяжелый труд. Ему для того надобно года два или три в школу походить; боюсь, мы с тобой соскучимся дожидаться.

И в ту же ночь Алан подбросил свой огненный крестик на окошко испольщику. Вернулся он озабоченный: на него забрехали собаки, и народ повыскакивал из домов; Алану послышался лязг оружия, а из одной двери как будто выглянул солдат. Вот почему на другой день мы притаились у опушки леса и держались начеку, чтобы, если гостем окажется Джон Брек, указать ему дорогу, а если красные мундиры, успеть уйти.

Незадолго до полудня мы завидели на лысом склоне человека, который брел по солнцепеку, озираясь из-под ладони. При виде его Алан тотчас свистнул; человек повернулся и сделал несколько шагов в нашу сторону; новое Аланово «фью!», и путник подошел еще ближе, и так, на свист, он дошел до нас.

Это был патлатый, страхолюдный бородач лет сорока, беспощадно изуродованный оспой; лицо у него было туповатое и вместе свирепое. По-английски он объяснялся еле-еле, и все же Алан (с поистине трогательной и неизменной в моем присутствии учтивостью) не дал ему и слова сказать по-гэльски. Может статься, скованный чужою речью, пришелец дичился сильней обыкновенного, но, по-моему, он вовсе не горел желанием нам услужить, а если и шел на это, так единственно из боязни.

Алан собирался передать свое поручение Джемсу устно; но испольщик и слышать ничего не пожелал. «Так я забыла»,— визгливым голосом твердил он, иными словами, либо подавай ему письмо, либо он умывает руки.

Я было решил, что Алана это обескуражит, ведь откуда в такой глуши раздобудешь, чем писать и на чем. Однако я не отдавал должного его находчивости; он сунулся туда, сюда, нашел в лесу голубиное перо, очинил; отсыпал из рога пороху, смешал с ключевой водой, и получилось нечто вроде чернил; потом он оторвал уголок от своего французского патента на воинский чин (того самого, что таскал в кармане как талисман, способный уберечь его от виселицы), уселся и вывел нижеследующее:

«Любезный родич!

Сделай одолжение, перешли с подателем сего несколько денег в известное ему место.

Любящий тебя двоюродный брат твой

А. С.».

Это послание он вручил испольщику, и тот, с обещанием елико возможно поспешать, пустился с ним под гору.

Два дня его не было; а на третий, часов в пять пополудни, мы услыхали в лесу посвист; Алан отозвался, и вскоре к ручью вышел испольщик и осмотрелся по сторонам, отыскивая нас. Он уж не глядел таким бирюком и был, по всей видимости, несказанно доволен, что разделался со столь опасным поручением.

От него мы узнали местные новости; оказалось, вся округа кишмя кишит красными мундирами; что ни день, у кого-нибудь находят оружие, и на бедный люд сыплются новые невзгоды, а Джемса Глена и кой-кого из его челяди уже свезли в Форт Вильям и бросили в темницу, как самых вероятных соучастников убийства. Повсюду распустили слух, что стрелял не кто иной, как Алан Брек; издан приказ о поимке нас обоих и назначена награда в сто фунтов.

Итак, дела обстояли скверно; доставленная испольщиком записочка от миссис Стюарт была самая горестная. Жена Джемса заклинала Алана не даваться в руки врагам, уверяя, что, если солдаты его схватят, и сам он и Джемс погибли. Деньги, которые она посылает,— это

все, что ей удалось собрать или взять в долг, и она молит всевышнего, чтобы их оказалось довольно. И, наконец, вместе с запиской она посылает бумагу, в которой даются наши приметы.

Бумагу эту мы развернули с изрядным любопытством, но и не без содрогания — так смотришь в зеркало и в дуло вражеского ружья, чтобы определить, точно ли в тебя целятся. Про Алана было написано вот как: «Росту низкого, лицо рябое, очень подвижный, от роду годов тридцати пяти или около того, носит шляпу с перьями, французский кафтан синего сукна о серебряных пуговицах и с галуном, сильно потертым, жилет красный и грубой шерсти штаны по колена»; а про меня так: «Росту высокого, сложения крепкого, от роду годов восемнадцати, одет в старый кафтан, синий, изрядно потрепанный, шапчонку ветхую горскую, долгий домотканый жилет, синие штаны по колена; без чулок, башмаки, в каких ходят на равнине, носы худые; говорит как уроженец равнинного края, бороды не имеет».

Алан был явно польщен, что так хорошо запомнили и обстоятельно описали его наряд; только дойдя до слова «потертый», он с некоторой обидой оглядел свой галун. Я же подумал, что, если верить описанию, я являю собой плачевное зрелище; но в то же время был и доволен: раз я сменил свое рубище, эта опись стала мне спасением, а не ловушкой.

— Алан,— сказал я,— надо вам переодеться.

— Вздор,— сказал Алан,— не во что. Хорошо бы я выглядел, если б воротился во Францию в шапчонке!

Эти слова натолкнули меня на другую мысль: если б отделиться от Алана с его предательским нарядом, ареста бояться нечего, можно открыто идти, куда мне требуется. Мало того, если, допустим, меня и схватят в одиночку, улики будут пустяковые; а вот попадись я заодно с предполагаемым убийцей, дело обернется куда серьезней. Щадя Алана, я не дерзнул заговорить об этом, но думать не перестал.

Напротив, я только укрепился в своих помыслах, когда испольщик вынул зеленый кошелек, в котором оказалось четыре гинеи золотом и почти на гинею мелочи. Согласен, у меня и того не было. Но ведь Алану на неполных пять гиней предстояло добраться до Франции; мне же, на моих неполных две — всего лишь до Куинсферри; таким образом, ежели правильно рассудить, выходило, что без Алана мне не только спокойней, но и не так накладно для кармана.

Однако моему честному сотоварищу ничего подобного и в мысли не приходило. Он был искренне убежден, что он мне опора, помощь и защита. Так что же мне оставалось, как не помалкивать, клясть про себя все на свете и полагаться на судьбу?

— Маловато,— заметил Алан, пряча кошелек в карман,— но я обойдусь. А теперь, Джон Брек, отдай-ка мне назад мою пуговицу, и мы с этим джентльменом выступим в дорогу.

Испольщик, однако, порывшись в волохатом кошеле, который носил спереди, как водится у горцев (хотя в остальном, не считая матросских штанов, одет был как житель равнины), начал как-то подозрительно вращать глазами и наконец изрек:

— Она подумает терять,— и это, видно, означало: «Думаю, что потерял ее».

— Что такое? — рявкнул Алан.— Ты посмел потерять мою пуговицу, которая досталась мне от отца? Тогда вот что я тебе скажу, Джон Брек: хуже ты еще ничего не натворил за всю свою жизнь, понятно?

Тут Алан уперся ладонями в колени и воззрился на испольщика с опасной улыбкой и с тем сумасшедшим огоньком в глазах, который недругам его всегда сулил беду.

То ли испольщик был все же порядочный малый, то ли задумал было сплутовать, но вовремя свернул на стезю добродетели, смекнув, что очутился один в глухом месте против нас двоих; так или иначе, только пуговка внезапно нашлась, и он вручил ее Алану.

— Что ж, это к чести Макколов,— объявил Алан и повернулся ко мне.— Отдаю тебе обратно пуговицу и благодарю, что ты согласился с нею расстаться. Это еще раз подтверждает, какой ты мне верный друг.

И вслед за тем как нельзя более сердечно простился с испольщиком.

— Ты сослужил мне хорошую службу,— сказал Алан,— не посчитался, что сам можешь сложить голову, и я всякому назову тебя добрым человеком.

Наконец испольщик пошел своей дорогой, а мы с Аланом, увязав пожитки, своей: по тайным тропам,

ГЛАВА XXII
ПО ТАЙНЫМ ТРОПАМ
ВЕРЕСКОВАЯ ПУСТОШЬ

Часов семь безостановочного, трудного пути, и ранним утром мы вышли на край горной цепи. Перед нами лежала низина, корявая, скудная земля, которую нам нужно было теперь пройти. Солнце только взошло и било нам прямо в глаза; тонкий летучий туман, как дымок, курился над торфяником; так что (по словам Алана) сюда могло понаехать хоть двадцать драгунских эскадронов, а мы бы и не догадались.

Потому, пока не поднялся туман, мы засели в лощине на откосе, приготовили себе драммаку и держали военный совет.

— Дэвид,— начал Алан,— это место коварное. Переждем до ночи или отважимся и махнем дальше наудачу?

— Что мне сказать? — ответил я.— Устать-то я устал, но коли остановка лишь за этим, берусь пройти еще столько же.

— То-то и оно, что не за этим,— сказал Алан,— это даже не полдела. Положение такое: Эпин нам верная погибель. На юг сплошь Кемпбеллы, туда и соваться нечего. На север — толку мало: тебе надобно в Куинсферри, ну а я хочу пробраться во Францию. Можно, правда, пойти на восток.

— Восток так восток! — бодро отозвался я, а про себя подумал· «Эх, друг, ступал бы ты себе в одну сторону, а мне бы дал пойти в другую, оно бы к лучшему вышло для нас обоих».

— Да, но на восток, понимаешь, у нас болота,— сказал Алан.— Туда только заберись, а уж дальше, как повезет Экая плешина — голь, гладь, где тут укроешься? Случись на каком холме красные мундиры, углядят и за десяток миль, а главное дело, они верхами, мигом настигнут. Дрянное место, Дэви, и днем, прямо скажу, опасней, чем ночью.

— Алан,— сказал я,— теперь послушайте, как я рассуждаю. Эпин для нас погибель; денег у нас не густо, муки тоже; чем дольше нас ищут, тем верней угадают, где мы есть; тут всюду риск, ну, а что буду идти, пока не свалимся с ног, за это я ручаюсь.

Алан просиял.

— Иной раз ты до того бываешь опасливый да виноватый,— сказал он,— что молодцу вроде меня никак не подходишь в товарищи; а порой, как взыграет в тебе боевой дух, ты мне приятнее родного брата.

Туман поднялся и растаял, и из-под него показалась земля, пустынная, точно море; лишь кричали куропатки и чибисы, да на востоке двигалось еле видное вдали оленье стадо. Местами пустошь поросла рыжим вереском; местами была изрыта окнами, бочагами, торфяными яминами; кое-где все было выжжено дочерна степным пожаром; в одном месте, остов за остовом, подымался целый лес мертвых сосен. Тоскливее пустыни не придумаешь, зато ни следа красных мундиров, а нам только того и нужно было.

Итак, мы сошли на пустошь и начали тягостный, кружной поход к восточному ее краю. Не забудьте, со всех сторон теснились горные вершины, откуда нас могли заметить в любой миг; это вынуждало нас пробираться ложбинами, а когда они сворачивали куда не надо, с бесчисленными ухищрениями, передвигаться по открытым местам. Порой полчаса кряду приходилось ползти от одного верескового куста к другому, подобно охотникам, когда они выслеживают оленя. День снова выдался погожий, солнце припекало; вода в коньячной фляге быстро кончилась; одним словом, знай я наперед, что такое полдороги ползти ползком, а остальное время красться, согнувшись в три погибели, я бы, уж конечно, не ввязался в столь убийственную затею.

Томительный переход, короткая передышка, снова переход — так миновало утро, и к полудню мы прилегли вздремнуть в густых вересковых зарослях. Алан сторожил первым; я, кажется, только закрыл глаза, как он уже растолкал меня, и настал мой черед. Часов у нас не было, и Алан воткнул в землю вересковый прутик, чтобы, когда тень от нашего куста протянется к востоку до отметины, я знал, что пора его будить. А я уже до того умаялся, что проспал бы часов двенадцать подряд; от сна у меня слипались глаза; ум еще бодрствовал, но тело погрузилось в дремоту; запах нагретого вереска, жужжание диких пчел убаюкивали, точно хмельное питье; я то и дело вздрагивал и спохватывался, что клюю носом.

В последний раз я, кажется, заснул всерьез, вот и солнце что-то далеко передвинулось в небе. Я взглянул на вересковый прутик и с трудом подавил крик: я увидел, что обманул доверие товарища. У меня голова пошла кругом от страха и стыда; но от того, что представилось моему взору, когда я огляделся по сторонам, у меня оборвалось сердце. Да, верно: пока я спал, на болота спустился отряд конников, и теперь, растянувшись веером, они двигались на нас с юго-востока и по нескольку раз проезжали взад и вперед там, где вереск рос особенно густо.

Когда я разбудил Алана, он глянул сперва на всадников, потом на отметину, на солнце и из-под насупленных бровей метнул в меня единственный, мгновенный взгляд, недобрый и вместе тревожный; вот и все, больше он ничем меня не упрекнул.

— Что теперь делать? — спросил я.

— Придется поиграть в прятки,— сказал Алан.— Видишь вон ту гору? — И он указал на одинокую вершину на горизонте к северо-востоку.

— Вижу.

— Вот туда и двинемся,— сказал он.— Она зовется Бен-Элдер; дикая, пустынная гора, полно бугров и расселин, и, если мы сумеем пробиться к ней до утра, еще не все пропало.

— Так ведь, Алан, двигаться-то надо прямо наперерез солдатам! — воскликнул я.

— Само собой,— сказал он,— но ежели нас загонят обратно в Эпин, нам обоим конец. А потому, друг Дэвид, не мешкай!

И с непостижимым проворством, как будто привык так двигаться с пеленок, он пополз вперед на четвереньках. Мало того, он еще все время вилял по низинкам, где нас трудней было заметить. Иные из них были выжжены дотла или, во всяком случае, опалены пожарами; нам в лицо (а лица-то были у самой земли) взвивалась слепящая, удушливая пыль, тонкая, как дым. Воду мы давно выпили, а когда бежишь на четвереньках, силы быстро иссякают, охватывает всепоглощающая усталость, тело ноет и руки подламываются под твоей тяжестью. Время от времени, где-нибудь за пышным вересковым кустом, мы минуту-другую отлеживались, переводили дух и, чуть раздвинув ветки, смотрели на драгун. Нас не обнаружили, во всяком случае, взвод — а верней, по-

моему, полвзвода — ехал все в том же направлении, растянувшись мили на две, тщательно прочесывая вереск на своем пути. Я пробудился как раз вовремя; еще немного, и мы не могли бы проскочить стороной, оставалось бы бежать прямо перед ними. Да и так нас грозила выдать малейшая случайность; то и дело, когда из вереска, хлопая крыльями, поднималась куропатка, мы замирали на месте, боясь вздохнуть.

Боль и слабость во всем теле, тяжкие удары сердца, исцарапанные руки, резь в глазах и в горле от едкой неоседающей пыли скоро сделались столь непереносимы, что я бы с радостью сдался. В одном только страхе перед Аланом черпал я подобие мужества, помогавшее идти вперед. Сам же он (следует помнить, что он был связан в движениях плащом) вначале густо покраснел, но мало-помалу сквозь краску пятнами проступила бледность; дыхание с клекотом и свистом вырывалось из его груди; а голос, когда на коротких остановках он мне нашептывал на ухо свои наблюдения, звучал, как хрип загнанного зверя. Зато дух его не дрогнул, живости ничуть не поубавилось, я невольно дивился выносливости этого человека.

Наконец-то в ранних сумерках заслышали мы зов трубы и, глянув назад сквозь вереск, увидели, что взвод съезжается. Спустя немного солдаты разложили костер и стали лагерем на ночлег где-то среди пустоши.

И тогда я взмолился, я воззвал к Алану, чтобы он разрешил лечь и выспаться.

— Нынче ночью нам не до сна! — сказал Алан.— Отныне эти самые верховые, которых ты проспал, займут все высоты по краю пустоши, и ни единой душе не выбраться из Эпина, разве что птичкам легкокрылым. Мы проскочили только-только; так неужто уступить, что выиграно? Нет, милый, когда придет день, он нас с тобой застанет в надежном месте на Бен-Элдере.

— Алан,— сказал я,— воли мне не занимать, сил не хватает. Кабы мог, пошел бы; но чем хотите вам клянусь, не могу.

— Что ж, ладно,— сказал Алан.— Я тебя понесу.

Я глянул, не в насмешку ли это он, но нет, невеличка Алан говорил всерьез; и при виде такой неукротимой решимости я устыдился.

— Хорошо, ведите! — сказал я.— Иду.

Он бросил мне быстрый взгляд, как бы говоря: «Мо-

лодчина, Дэвид!»,— и снова во весь дух устремился вперед.

С приходом ночи стало прохладней и даже (правда, ненамного) темнее. Ни единого облачка не осталось на небе; июль только еще начинался, а места как-никак были северные; правда, в самый темный час такой ночи, пожалуй, читать трудновато, и все-таки я сколько раз видал, как в зимний полдень бывает темнее. Пала обильная роса, напоив пустошь влагой, словно дождик; на время это меня освежило. Когда мы останавливались, чтобы отдышаться и я успевал вобрать в себя окружающее — прелесть ясной ночи, очертания прикорнувших холмов, костер, догорающий позади, точно пламенная сердцевина пустоши,— меня охватывала злость, что я вынужден в муках влачиться по земле и, как червь, извиваться в пыли.

Читаешь книжки и поневоле думаешь, что немногие из тех, кто водит пером по бумаге, когда-либо по-настоящему уставали, не то об этом писали бы сильней. Моя судьба, в прошлом ли, в будущем, не трогала меня сейчас; я вряд ли сознавал, что есть на свете такой юнец по имени Дэвид Бэлфур; я и не помышлял о себе, а только с отчаянием думал про каждый новый шаг, который, конечно, будет для меня последним, и с ненавистью про Алана, который тому причиной. Алан не ошибся, избрав поприще военного; недаром ремесло военачальника — принуждать людей идти и не отступать, покоряясь чужой воле, хотя, будь у них выбор, они полегли бы на месте, равнодушно подставили себя под пули. Ну, а из меня, наверно, получился бы неплохой солдат; ведь за все эти часы мне ни разу не пришло на ум, что можно ослушаться, я не видел иного выбора, как повиноваться, пока есть силы, и умереть, повинуясь.

Вечность спустя забрезжило утро; самая страшная опасность теперь была позади, и мы могли шагать по земле как люди, а не пресмыкаться как бессмысленные твари. Но господи боже ты мой, кто бы узнал нас сейчас: согбенные, как два дряхлых старца, косолапые, как младенцы, бледные, как мертвецы! Ни слова не было сказано промеж нас; каждый стиснул зубы и, уставясь прямо перед собою, поднимал и ставил то одну, то другую ногу, как поднимают гири на деревенской ярмарке; а в вереске, то и знай, попискивали куропатки, и понемногу все ясней светало на востоке.

Я говорю, что Алану пришлось не легче. Не то, чтобы я глядел на него: до того ли мне было, я еле держался на ногах; но ясно, что он ничуть не меньше отупел от усталости и, под стать мне, не глядел, куда мы идем, иначе разве мы угодили бы в засаду, точно слепые кроты?

Получилось это вот как. Плелись мы с Аланом с поросшего вереском бугра, он первым, я шагах в двух позади, совсем как чета бродячих музыкантов; вдруг шорох прошел по вереску, из зарослей выскочили четверо каких-то оборванцев, и минуту спустя мы оба лежали навзничь и каждому к глотке приставлен был кинжал.

Мне было как-то все равно; боль от их грубых рук растворилась в страданиях, и без того переполнявших меня; и даже кинжал мне был нипочем, так я радовался, что можно больше не двигаться. Я лежал и смотрел в лицо державшего меня оборванца; оно было, помнится, загорелое дочерна, с белесыми глазищами, но я нисколько его не боялся. Я слышал, как один из них о чем-то по-гэльски перешептывается с Аланом; но о чем — это меня нисколько не занимало.

Потом кинжалы убрали, а нас обезоружили и лицом к лицу посадили в вереск.

— Это дозор Клуни Макферсона,— сообщил мне Алан.— Наше счастье. Теперь только побудем с ними, покуда их вождю не доложат, что пришел я,— и все.

Вождь клана Вуриков Клуни Макферсон был, надо сказать, шесть лет до того одним из зачинщиков великого мятежа; за его голову назначена была награда; я-то думал, он давным-давно во Франции с другими главарями лихих якобитов. При словах Алана я от удивления даже очнулся.

— Вот оно что,— пробормотал я,— значит, Клуни по сю пору здесь?

— А как же! — подтвердил Алан.— По-прежнему на своей землице, а клан его кормит и поит. Самому королю Георгу впору позавидовать.

Я бы еще порасспросил его, но Алан меня остановил.

— Что-то я притомился,— сказал он.— Не худо бы соснуть.

И без долгих разговоров он уткнулся лицом в гущу вереска и, кажется, мигом заснул.

Мне о таком и мечтать было невозможно. Слыхали вы, как летней порой стрекочут в траве кузнечики? Так вот, едва я смежил веки, как по всему телу — в животе,

в запястьях, а главное, в голове — у меня застрекотали тысячи кузнечиков. Глаза мои сразу же вновь открылись, я ворочался с боку на бок, пробовал сесть, и опять ложился, и смотрел бессонными глазами на ослепительные небеса да на заросших, неумытых часовых Клуни, которые выглядывали из-за вершины бугра и трещали друг с другом по-гэльски.

Так-то вот я и отдохнул, а там и гонец воротился; Клуни рад гостям, сообщил он, и нам нужно без промедления подыматься и опять трогаться в путь. Алан был в наилучшем расположении духа; свежий и бодрый после сна, голодный как волк, он не без приятности предвкушал возлияние и жаркое, о котором, видно, помянул гонец. А меня мутило от одних разговоров о еде. Прежде я маялся от свинцовой тяжести в теле, теперь же сделался почти невесом, и это мешало мне идти. Меня несло вперед, точно паутинку; земля под ногами казалась облаком, горы легкими, как перышко, воздух подхватил меня, как быстрый горный ручей, и колыхал то туда, то сюда. Ко всему этому меня тяготило ужасающее чувство безысходности, я казался себе таким беспомощным, что хоть плачь.

Алан взглянул на меня и нахмурился, а я вообразил, что прогневил его, и весь сжался от безотчетного, прямо ребяческого страха. Еще я запомнил, что вдруг заулыбался и никак не мог перестать, хотя мне думалось, что улыбки в такой час неуместны. Но одною лишь добротой движим был мой славный товарищ; вмиг два приспешника Клуни подхватили меня под руки и стремглав (это мне так чудилось, на самом-то деле, скорей всего, не слишком быстро) повлекли вперед, по хитросплетеньям сумрачных падей и лощин, к сердцу суровой горы Бен-Элдер.

ГЛАВА XXIII

КЛУНЕВА КЛЕТЬ

Наконец мы вышли к подножию лесистой кручи, где деревья стлались по высокому откосу, увенчанному отвесной каменной стеной.

— Сюда,— сказал один из провожатых, и мы начали подниматься в гору.

Деревья льнули к склону, как матросы к вантам, стволы их были словно поперечины лестницы, по которой мы взбирались.

На верхней опушке, где вздымал из листвы свое скалистое чело утес, пряталось странное обиталище, прозванное в округе Клуневой Клетью. Меж стволами нескольких деревьев поставлен был плетень, укрепленный кольями, а огороженная площадка выровнена земляной насыпкой наподобие пола. Живой опорой для кровли служило растущее на самой середине дерево. Плетеные стены обложены были мхом. По форме сооружение напоминало яйцо; в этой покатой горной чаще оно наполовину стояло, наполовину висело на откосе, совсем как осиное гнездо в зелени боярышника.

Внутри места с лихвой хватило бы человек на шесть. Выступ утеса хитро приспособили под очаг; дым стлался по скале, тоже дымчато-серой, и снизу оставался неприметен.

То был лишь один из тайников Клуни; пещеры и подземные покои были у него и в других частях его владений; следуя донесениям своих лазутчиков, он, сообразно с тем, подступают или удаляются солдаты, переходил из одного пристанища в другое. Такая кочевая жизнь и приверженность клана к своему вождю не только делали его неуязвимым все то время, пока многие другие либо спасались бегством, либо были схвачены и казнены, но и дали ему пробыть на родине еще лет пять, и лишь по строгому наказу своего повелителя он в конце концов отбыл во Францию. Там он вскоре умер; странно сказать, но может статься, на чужбине ему недоставало бен-элдерской Клети.

Когда мы подошли к входу, он сидел у своего скального очага и глядел, как стряпает прислужник. Одет он был более чем просто, носил вязаный ночной колпак, натянутый на самые уши, и попыхивал зловонной пенковой трубкой. При всем том осанка у него была царственная, стоило посмотреть, с каким величием он поднялся нам навстречу.

— А, мистер Стюарт,— сказал он,— добро пожаловать, сэр. Рад и вам и другу вашему, который пока что неизвестен мне по имени.

— Как поживаете, Клуни? — сказал Алан.— Надеюсь, отменно, сэр. Счастлив видеть вас и представить

вам своего друга, владельца замка Шос мистера Дэвида Бэлфура.

Не было случая, чтобы Алан помянул мое имение без ехидства, но то наедине; при чужих он возглашал мой титул не хуже герольда.

— Входите же, джентльмены, входите,— сказал Клуни.— Милости прошу ко мне в дом; он хоть диковинная обитель и, уж конечно, не хоромы, а все же я принимал в нем особу королевской фамилии — вам, мистер Стюарт, без сомнения, ведомо, какую особу я имею в виду. Смочим горло на счастье, а когда мой косорукий челядин управится с жарким, отобедаем и сразимся в карты, как подобает джентльменам. Жизнь моя здесь несколько пресна,— продолжал он, разливая коньяк,— мало с кем видишься, сидишь сиднем, пальцами сучишь да все думаешь про тот славный день, что миновал, и призываешь новый славный день, который, как мы все надеемся, не за горами. Выпьемте же за восстановление династии!

На том мы чокнулись и осушили чары. Я, право, ничего дурного не желал королю Георгу; но, пожалуй, окажись он с нами, он сделал бы то же, что я. После спиртного мне сразу очень полегчало, и я был в силах оглядеться и следить за разговором, быть может, все еще в легком тумане, но уже без прежнего беспричинного ужаса и душевной тоски.

Да, это было и впрямь диковинное место и такой же диковинный был у нас хозяин. За долгую жизнь вне закона Клуни Макферсон, под стать какой-нибудь вековухе, оброс ворохом мелочных привычек. Сидел он всегда на одном и том же месте, которое прочим занимать возбранялось; в Клети все расставлено было в раз навсегда заведенном порядке, коего никому не дозволялось нарушать; хорошая кухня была одним из главных его пристрастий, и, даже здороваясь с нами, он краем глаза следил за жарким.

Как я понял, время от времени под покровом ночи он наведывался к своей жене и двум-трем лучшим друзьям, либо они навещали его; большею же частью жил в полном уединении и сообщался лишь со своими дозорными да с челядью, которая прислуживала ему в Клети. Поутру к нему первым делом являлся один из них, брадобрей, и за бритьем выкладывал все новости в округе, до которых Клуни был превеликий охотник.

Расспросам его не было конца, он допытывался до всех мелочей, истово, как дитя; а услышав иной ответ, хохотал до упаду, и припомнив задним числом, когда брадобрей уж давным-давно ушел, вновь разражался смехом.

Впрочем, вопросы его, по-видимому, были не так уж бесцельны; отрезанный от жизни, лишенный, как и другие шотландские землевладельцы, законной власти недавним парламентским указом, он у себя в клане по-прежнему, на стародавний обычай, исправлял судейские обязанности.

К нему в это логово шли разрешать споры; люди его клана, которые не посчитались бы с решением Верховного суда, по одному слову затравленного изгоя забывали об отмщении, безропотно выкладывали деньги. Когда он бывал во гневе, а это случалось нередко, он метал громы и молнии почище иного монарха, и прислужники трепетали и никли перед ним, как дети перед грозным родителем. С каждым из них, входя, он чинно здоровался, а после оба по-военному подносили руку к головному убору. Одним словом, мне представился случай заглянуть изнутри в повседневный обиход горного клана, причем такого, чей вождь объявлен вне закона и обречен скрываться; земли его захвачены; войска охотятся за ним по всем краям, порой в какой-нибудь миле от его убежища; а меж тем последний оборванец, который каждый день сносил от него выволочки и брань, мог бы разбогатеть, выдав его.

В тот первый день, едва поспело жаркое, Клуни собственноручно выжал в него лимон (в подобных роскошествах он не знал недостатка) и пригласил нас откушать.

— Таким блюдом, только без лимонного сока, я потчевал в этом же самом доме его королевское высочество,— сказал он.— В те времена и мясо было редким лакомством, а о приправах никто не мечтал. Да и то сказать, в сорок шестом на моей земле больше было драгун, чем лимонов.

Не знаю, вправду ли удалось жаркое — при виде его у меня тошнота подступила к горлу и я насилу проглотил несколько кусков. За едой Клуни занимал нас рассказами о том, как гостил в Клети принц Чарли [1], изображал собеседников в лицах и подымался из-за стола,

[1] Карл Стюарт, внук Иакова II, «молодой претендент» на престол Шотландии.

чтобы показать, где кто стоял. С его слов принц мне представился милым и горячим юношей, достойным отпрыском династии учтивых королей, уступающим, однако, в мудрости царю Соломону. Я понял также, что пока он жил в Клети, он то и дело напивался, а стало быть, уже в ту пору начал проявляться порок, который ныне, если верить слухам, обратил его в развалину.

Как только мы покончили с едой, Клуни извлек видавшую виды, захватанную и засаленную колоду карт, какую держат разве что в жалкой харчевне, и предложил нам сыграть, а у самого уже и глаза разгорелись.

Между тем картежная игра была одним из занятий, которых я издавна приучен был сторониться, как недостойных; мой отец полагал, что христианину, а тем более джентльмену, негоже ставить под удар свое добро и покушаться на чужое по прихоти клочка размалеванного картона. Понятно, я мог бы сослаться на усталость, чем не веское оправдание; но я решил, что мне не пристало искать уловок. Наверно, я покраснел как рак, но голос мой не дрогнул, и я сказал, что не навязываюсь в судьи другим, сам же игрок неважный.

Клуни — он тасовал колоду — остановился.

— Это еще что за разговоры? — промолвил он.— Откуда этакое виговское чистоплюйство в доме Клуни Макферсона?

— Я за мистера Бэлфура ручаюсь головой,— вмешался Алан.— Это честный и доблестный джентльмен, и не извольте забывать, кто это говорит. Я ношу имя королей,— Алан лихо заломил шляпу,— а потому я сам и всякий, кто зовется мне другом, на своем месте среди достойнейших. Просто джентльмен устал, и ему надобно уснуть. Что из того, коли его не тянет к картам,— нам это не помеха. Я, сэр, готов и расположен сразиться с вами в любой игре, какую ни назовете.

— Да будет вам известно, сэр,— ответствовал Клуни,— что под сим убогим кровом всяк джентльмен волен следовать своим желаниям. Ежели б другу вашему заблагорассудилось ходить на голове, пусть сделает одолжение. А если ему, иль вам, или кому другому тут в чем-то не потрафили, я весьма польщен буду выйти с ним прогуляться.

Вот уж, воистину, не хватало, чтобы двое добрых друзей по моей милости перерезали друг другу глотки!

— Сэр,— сказал я,— Алан заметил справедливо, я и правда сильно утомился. Мало того, как человеку, у которого, возможно, есть свои сыновья, я вам открою, что связан обещанием, данным отцу.

— Ни слова более, ни слова,— сказал Клуни и указал мне на вересковое ложе в углу Клети. Несмотря на это, он остался не в духе, косился на меня неприязненно и всякий раз что-то бормотал себе под нос. И верно, нельзя не признать, что щепетильность моя и слова, в коих я о ней объявил, отдавали пресвитерианским душком и не очень-то были кстати в обществе вольных горских якобитов.

От коньяку, от оленины я что-то отяжелел; и едва улегся на вересковое ложе, как впал в странное забытье, в котором и пребывал почти все время, пока мы гостили в Клети. Порою, очнувшись ненадолго, я осознавал, что происходит; порой различал лишь голоса или храп спящих, наподобие бессвязного лопотания речки; а пледы на стене то опадали, то разрастались вширь, совсем как тени на потолке от горящего очага. Наверно, я изредка разговаривал или выкрикивал что-то, потому что, помнится, не раз с изумлением слышал, что мне отвечают; не скажу, правда, чтобы меня мучил один какой-нибудь кошмар, а только глубокое отвращение; и место, куда я попал, и постель, на которой покоился, и пледы на стене, и голоса, и огонь в очаге, и даже сам я был себе отвратителен.

Призван был прислужник-брадобрей, он же и лекарь, дабы предписать лекарство; но так как объяснялся он по-гэльски, до меня из его заключения не дошло ни слова, а спрашивать перевод я не стал, так скверно мне было. Я ведь и без того знал, что болен, прочее же меня не трогало.

Пока дела мои были плохи, я слабо различал, что творится вокруг. Знаю только, что Клуни с Аланом почти все время сражались в карты, и твердо уверен, что сначала определенно выигрывал Алан; мне запомнилось, как я сижу в постели, они азартно играют, а на столе поблескивает груда денег, гиней, наверно, шестьдесят, когда не все сто. Чудно было видеть такое богатство в гнезде, свитом на крутой скале меж стволами живых деревьев. И я еще тогда подумал, что Алан ступил на шаткую почву с таким борзым конем, как тощий зеленый кошелек, в котором нет и пяти фунтов.

Удача, видно, отвернулась от него на второй день. Незадолго до полудня меня, как всегда, разбудили, чтобы покормить, я, как всегда, отказался, и мне дали выпить какого-то горького снадобья, назначенного брадобреем. Сквозь открытую дверь мой угол заливало солнце, оно слепило и тревожило меня. Клуни сидел за столом и мусолил свою колоду. Алан нагнулся над постелью, так что лицо его оказалось возле самых моих глаз; моему воспаленному, горячечному взору оно представилось непомерно огромным.

Он попросил, чтобы я ссудил ему денег.

— На что? — спросил я.

— Просто так, в долг.

— Но для чего? — повторил я.— Не понимаю.

— Да что ты, Дэвид,— сказал Алан.— Неужто мне денег в долг пожалеешь?

Ох, надо бы пожалеть, будь я в здравом уме! Но я ни о чем другом не думал, лишь бы прогнать от себя это огромное лицо,— и отдал ему деньги.

На третье утро, когда мы пробыли в Клети двое суток, я пробудился с чувством невыразимого облегчения, конечно, разбитый и слабый, но вещи видел уже в естественную величину и в истинном их повседневном обличье. Больше того, мне и есть захотелось, и с постели я встал без чьей-либо помощи, а как позавтракали, вышел из Клети и сел на опушке. День выдался серенький, в воздухе веяла мягкая прохлада, и я пронежился целое утро, встряхиваясь лишь, когда мимо, с припасами и донесениями, проходили клуневы слуги и лазутчики; окрест сейчас было спокойно, и Клуни, можно сказать, царствовал почти в открытую.

Когда я воротился, они с Аланом, отложив карты, допрашивали прислужника; глава клана обернулся и что-то сказал мне по-гэльски.

— По-гэльски не разумею, сэр,— отозвался я.

После злополучной размолвки из-за карт, что бы я ни сказал, что бы ни сделал, все вызывало у Клуни досаду.

— Коли так, у имени вашего разумения побольше, чем у вас,— сердито буркнул он,— потому что это доброе гэльское имечко. Ну, да не в том суть. Мой лазутчик показывает, что на юг путь свободен, только вопрос, достанет ли у вас сил идти.

Я видел карты на столе, но золота и след простыл, только гора надписанных бумажек, и все на клуневой стороне. Да и у Алана вид был чудной, словно он чем-то недоволен; и дурное предчувствие овладело мною.

— Не скажу, чтобы я совсем был здоров,— ответил я и посмотрел на Алана,— а впрочем, у нас есть немного денег, и с ними мы себе изрядно облегчим путь.

Алан прикусил губу и уставился в землю.

— Дэвид, знай правду,— молвил он наконец.— Деньги я проиграл.

— И мои тоже? — спросил я.

— И твои,— со стоном сказал Алан.— Зачем только ты мне их дал! Я сам не свой, как дорвусь до карт.

— Ба-ба-ба! — сказал Клуни.— Все это вздор; подурачились, и только. Само собой, деньги вы получите обратно, хоть вдвое больше, коли не побрезгуете. На что б это было похоже, если б я их взял себе! Слыханное ли дело, чтобы я ставил палки в колеса джентльменам в таком положении, как ваше! Куда бы это годилось! — уже во весь голос гаркнул Клуни, весь побагровел и принялся выкладывать золотые из карманов.

Алан ничего не сказал, только все смотрел в землю.

— Может, на минутку выйдем, сэр? — сказал я.

Клуни ответил: «С удовольствием»,— и, точно, сразу пошел за мной, но лицо у него было хмурое и раздосадованное.

— А теперь, сэр,— сказал я,— раньше всего я должен принести вам признательность за ваше великодушие.

— Несусветная чушь! — вскричал Клуни.— Великодушие какое-то выдумал... Нехорошо получилось, конечно, да что прикажете делать — загнали в клетушку, точно овцу в хлев,— только и остается, что посидеть за картами с друзьями, когда в кои-то веки залучишь их к себе! А если они проиграют, то и речи быть не может...— Тут он запнулся.

— Вот именно,— сказал я.— Если они проиграют, вы им отдаете деньги; а выиграют, так ваши уносят в кармане! Я уж сказал, что склоняюсь пред вашим великодушием; и все же, сэр, мне до крайности тяжело оказаться в таком положении.

Наступило короткое молчание; Клуни тщился что-то сказать, но так и не выговорил ни слова. Только лицо его с каждым мгновением сильней наливалось кровью.

— Я человек молодой,— сказал я,— и вот я у вас спрашиваю совета. Посоветуйте мне как сыну. Мой друг честь по чести проиграл свои деньги, а до этого, опять-таки честь по чести, куда больше выиграл у вас. Могу я взять их назад? Хорошо ли будет так поступить? Ведь как ни поверни, сами понимаете, гордость моя при том пострадает.

— Да и для меня нелестно получается, мистер Бэлфур,— сказал Клуни.— По-вашему выходит, я вроде как сети расставляю бедным людям, им в ущерб. А я не допущу, чтобы мои друзья в моем доме терпели оскорбления — да-да! — И вдруг вспылил:— Или наносили оскорбления, вот так!

— Видите, сэр, значит, не совсем я напрасно говорил: карты — никчемное занятие для порядочных людей. Впрочем, я жду, что вы мне присоветуете.

Ручаюсь, если Клуни кого и ненавидел сейчас, так это Дэвида Бэлфура. Он смерил меня воинственным взглядом, и резкое слово готово было сорваться с его уст. Но то ли молодость моя его обезоружила, то ли пересилило чувство справедливости... Спору нет, положение было унизительное для всех, и не в последнюю очередь для Клуни; тем больше ему чести, что сумел выйти из него достойно.

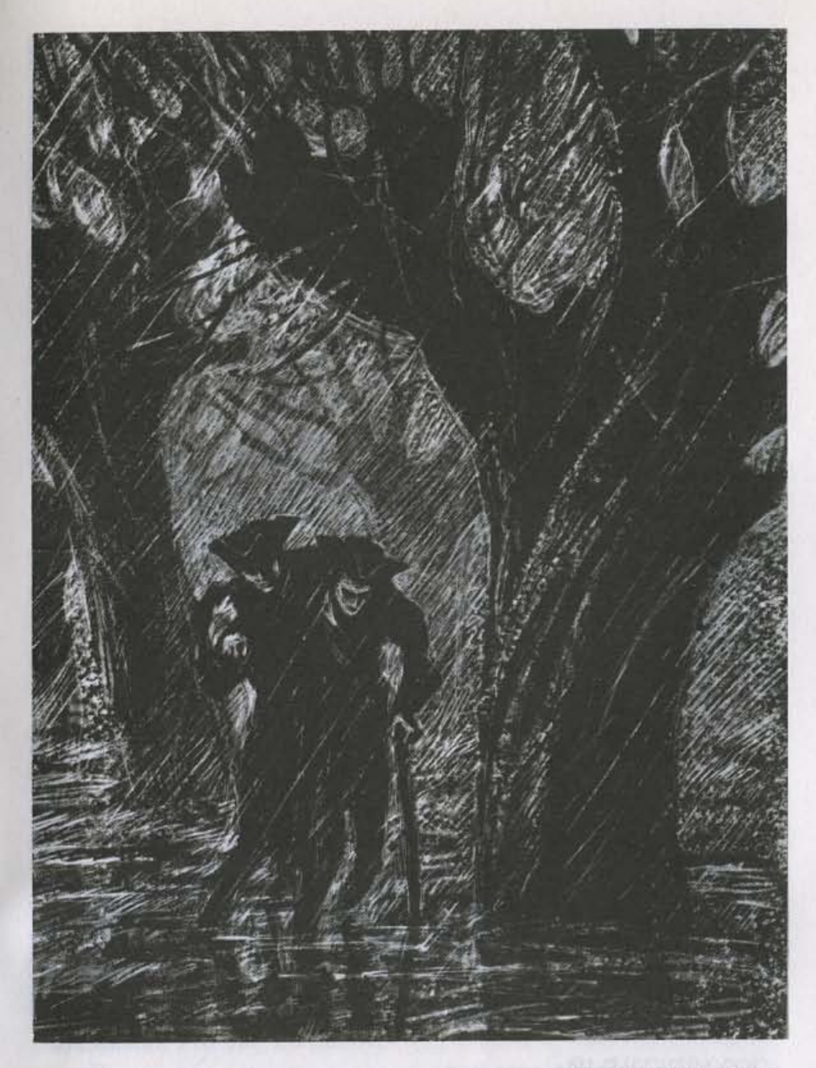
— Мистер Бэлфур,— сказал он,— больно вы на мой вкус велеречивы да обходительны, но при всем том в вас живет дух истого джентльмена. Вот вам честное мое слово: можете брать эти деньги — я и сыну сказал бы то же,— а вот и моя рука.

ГЛАВА XXIV

ПО ТАЙНЫМ ТРОПАМ

ССОРА

Под покровом ночи нас с Аланом переправили через Лох-Эрихт и повели вдоль восточного берега в другой тайник у верховьев Лох-Ранноха, а провожал нас один прислужник из Клети. Этот молодец нес все наши пожитки и еще Аланов плащ в придачу и с эдакой поклажей трусил себе рысцой, как крепкая горская лошадка с охапкой сена; я давеча едва ноги волочил, хотя нес



«ПОХИЩЕННЫЙ»



«ПОХИЩЕННЫЙ»

вдвое меньше; а между тем доведись нам померяться силами в честной схватке, я одолел бы его играючи.

Конечно, совсем иное дело шагать налегке; кабы не это ощущение свободы и легкости, я, пожалуй, вовсе не смог бы идти. Я только что поднялся с одра болезни, ну, а обстоятельства наши были отнюдь не таковы, чтобы воодушевлять на богатырские усилия: путь пролегал по самым безлюдным и унылым местам Шотландии, под ненастными небесами, и в сердцах путников не было согласия.

Долгое время мы ничего не говорили, шли то бок о бок, то друг за другом с каменными лицами; я — злой и надутый, черпая свои невеликие силы в греховных и неистовых чувствах, обуревавших меня; Алан — злой и пристыженный, пристыженный тем, что спустил мои деньги; злой оттого, что я так враждебно это принял.

Мысль о том, чтобы с ним расстаться, преследовала меня все упорнее, и чем больше она меня прельщала, тем отвратительней я становился сам себе. Ведь что бы Алану повернуться и сказать: «Ступай один, моя опасность сейчас страшнее, а со мной опасней и тебе»,— и благородно, и красиво, и великодушно. Но самому обратиться к другу, который тебя, бесспорно, любит, и заявить: «Ты в большой опасности, я — не очень; дружество твое мне обуза, так что выкручивайся как знаешь и сноси тяготы в одиночку...» — нет, ни за что; о таком про себя подумаешь, и то вон щеки пылают!

А все-таки Алан поступил как ребенок и, что хуже всего, ребенок неверный. Выманить у меня деньги, когда я лежал почти в беспамятстве, само по себе немногим лучше воровства; да еще, изволите видеть, бредет себе рядышком, гол как сокол, и без зазрения совести метит поживиться деньгами, которые мне, по его милости, пришлось выклянчить. Понятное дело, я не отказывался с ним поделиться, да только зло брало, что он принимал это как должное.

Вот вокруг чего вертелись все мои мысли, но заикнуться о расставании иль деньгах означало бы проявить черную неблагодарность. Потому, избрав меньшее из двух зол, я молчал как рыба, даже глаз не поднимал на своего спутника, разве что косился исподтишка.

В конце концов на том берегу Лох-Эрихта по дороге сквозь ровные камышовые плавни, где идти было нетрудно, Алан не выдержал и шагнул ко мне.

— Дэвид,— сказал он,— не дело друзьям так себя вести из-за маленькой неприятности. Я должен сознаться, что раскаиваюсь, ну и дело с концом. А теперь, если у тебя что накопилось на душе, лучше выкладывай.

— У меня? — процедил я.— Ровным счетом ничего.

Он как будто погрустнел, что я и отметил с подленьким злорадством.

— Погоди,— сказал он дрогнувшим голосом,— ведь я же говорю, что виноват.

— Еще бы не виноваты,— хладнокровно отозвался я.— Надеюсь, вы отдадите мне должное, что я вас ни разу не попрекнул.

— Ни разу,— сказал Алан.— Ты хуже сделал, и сам это знаешь. Может быть, разойдемся врозь? Ты как-то помянул об этом. Может быть, снова скажешь? Отсюда, Дэвид, и вправо и влево гор и вереска хватит на обоих; а я, откровенно говоря, не люблю набиваться, когда не нужен.

Меня точно ножом резануло, как будто Алан разгадал мое тайное вероломство.

— Алан Брек! — выкрикнул я и разразился негодующей речью: — Как могли вы подумать, что я от вас отвернусь в тяжелый час? Вы не смеете мне бросать такие слова. Все мое поведение их опровергает. Правильно, я тогда уснул на пустоши; так ведь это я от усталости, и нечестно мне за то пенять...

— А я и не думал,— сказал Алан.

— ...но если не считать того случая,— продолжал я,— что такого я сделал, чтобы мне как последней собаке приписывать такие низости? Я никогда еще не подводил друга и с вас начинать не собираюсь. Мы слишком много пережили вместе; вы, может, и забудете это, я — никогда.

— Я тебе одно скажу, Дэвид,— очень спокойно проговорил Алан.— Жизнью я тебе давно обязан, а теперь ты выручил мои деньги. Так постарайся же, не отягчай мне и без того тяжкое бремя.

Кого бы не тронули эти слова; они и меня задели, да не так, как надо. Я понимал, что веду себя прескверно, и злился уже не только на Алана, но и на себя заодно, а оттого сильней ожесточался.

— Вы меня просили говорить,— сказал я.— Что ж, ладно, скажу. Вы сами согласились, что оказали мне плохую услугу, мне пришлось стерпеть унижение — я

вас ни словом не упрекнул, даже речи не заводил об этом, пока вы первый не начали. А теперь вам не нравится, почему я не пляшу от радости, что меня унизили! — кричал я.— А там, глядишь, потребуете, чтобы я еще вам в ноги бухнулся да благодарил! Вы бы о других побольше думали, Алан Брек! Если б вы чаще вспоминали о других, то, может, меньше говорили бы о себе, и когда друг из приязни к вашей особе без звука глотает обиду, сказали бы спасибо и не касались этого, а вы на него же ополчаетесь. Вы ж сами признали, что все получилось по вашей вине, так и не вам бы напрашиваться на ссору.

— Хорошо,— сказал Алан,— ни слова больше.

И вновь воцарилось молчание; дошли до тайника, поужинали, легли спать, и все без единого слова.

На другой день в сумерках наш провожатый переправил нас через Лох-Раннох и объяснил, какой дорогой, на его взгляд, нам лучше пробираться дальше. Он предлагал нам сразу уйти высоко в горы, сделать большой круг в обход трех долин — Глен-Лайона, Глен-Локея, Глен-Докарта и мимо Киппена, вдоль истоков Форта, спуститься на равнину. Алан слушал неодобрительно; такой путь вывел бы нас к землям его кровных врагов, гленоркских Кемпбеллов. Он возразил, что если повернуть на восток, мы почти сразу выходим к атолским Стюартам, людям одного с ним имени и рода, хоть и подчиненным другому вождю; к тому же так нам гораздо ближе и легче дойти до цели. Однако наш провожатый — а он был, кстати сказать, первый среди лазутчиков Клуни — на любой его довод приводил свой, более основательный, называл число солдат в каждой округе и в заключение (насколько я сумел разобрать) объяснил, что нам нигде не будет безопасней, чем на земле Кемпбеллов.

Алан в конце концов сдался, но скрепя сердце.

— Тоскливей края не сыскать в Шотландии,— проворчал он.— Ничегошеньки нету, один лишь вереск, да воронье, да Кемпбеллы. Впрочем, вы, я вижу, человек понимающий, так что будь по-вашему!

Сказано — сделано; мы двинулись дальше этим путем. Почти три ночи напролет блуждали мы по неприютным горам, среди источников, где зарождаются строптивые реки; часто нас окутывали туманы, непрестанно секли ветры, поливали дожди, и не обласкал ни единый

проблеск солнца. Днем мы отсыпались в измокшем вереске, ночами без конца карабкались по неприступным склонам, продирались сквозь нагромождения каменных глыб. Мы то и дело сбивались с пути; нередко попадали в такой плотный туман, что были вынуждены, не двигаясь с места, пережидать, пока он поредеет. О костре и думать не приходилось. Вся еда наша была драммак да ломоть холодного мяса, которым снабдили нас в Клети, что же до питья, видит бог, воды кругом хватало.

Страшное то было время, а беспросветное ненастье и угрюмые места вокруг не скрашивали нам его. Я весь иззяб; стучал от холода зубами; горло у меня разболелось немилосердно, как прежде на островке; в боку кололо, не переставая, когда же я забывался сном на своем мокром ложе, под проливным дождем и в чавкающей грязи, то лишь затем, чтоб пережить еще раз в сновидениях самое страшное, что приключилось наяву; я видел башню замка Шос в свете молний, Рансома на руках у матросов, Шуана в предсмертной агонии на полу кормовой рубки, Колина Кемпбелла, который судорожно силился расстегнуть на себе кафтан. От этого бредового забытья меня пробуждали в предвечерних сумерках, и я садился в той же жидкой грязи, в которой спал, и ужинал холодным драммаком; дождь стегал меня по лицу либо ледяными струйками сочился за воротник; туман надвигался на нас, точно стены мрачной темницы, а иной раз под порывами ветра стены ее внезапно расступались, открывая нам глубокий темный провал какой-нибудь долины, куда с громким ревом низвергались потоки.

Со всех сторон шумели и гремели бессчетные речки. Под затяжным дождем вздулись горные родники, всякое ущелье клокотало, как водослив; всякий ручей набух, как в разгар половодицы, заполнил русло и вышел из берегов. В часы полунощных скитаний робко было внимать долинным водам, то гулким, как раскаты грома, то гневным, точно крик. Вот когда понял я по-настоящему сказки про Водяного Коня, злого духа потоков, который, как рассказывают, плачет и трубит у перекатов, зазывая путника на погибель. Алан, по-моему, в это верил, если не совсем, так вполовину; и когда вопли вод стали особенно пронзительны, я был не слиш-

ком удивлен (хоть, разумеется, и неприятно поражен), увидев, как он крестится на католический лад.

Во время этих мучительных странствий мы с Аланом держались отчужденно, даже почти не разговаривали. И то правда, что я перемогался из последних сил; возможно, в этом для меня есть какое-то оправдание. Но я к тому же по природе был злопамятен, не вдруг обижался, зато долго не прощал обиды, а теперь злобился и на своего спутника и на себя самого. Первые двое суток он был сама доброта; немногословен, быть может, но неизменно готов помочь, и все надеялся (я это отлично видел), что недовольство мое пройдет. А я все это время лишь отмалчивался, растравлял себя, грубо отвергал его услуги и лишь изредка скользил по нему пустым взглядом, как будто он камень или куст какой-нибудь.

Вторая ночь, а верней, заря третьего дня захватила нас на очень голом уклоне, так что по обыкновению сразу же сделать привал, перекусить и лечь спать оказалось нельзя. Пока мы добрались до укрытия, серая мгла заметно поредела, ибо, хотя дождь и не перестал, тучи поднялись выше; и Алан, заглянув мне в лицо, встревоженно нахмурился.

— Давай-ка я понесу твой узел,— предложил он, наверно, в десятый раз с тех пор, как мы простились у Лох-Ранноха с лазутчиком.

— Спасибо, сам управлюсь,— надменно отозвался я.

Алан вспыхнул.

— Больше предлагать не стану,— сказал он.— Я не из терпеливых, Дэвид.

— Да уж, что верно, то верно,— был мой ответ, вполне достойный дерзкого и глупого сорванца лет десяти.

Алан ничего не сказал, но поведение его было красноречивей всяких слов. Отныне, надо полагать, он окончательно простил себе свою оплошность у Клуни; вновь лихо заломил шляпу, приосанился и зашагал, посвистывая и поглядывая на меня краем глаза с вызывающей усмешкой.

На третью ночь нам предстояло пройти западную окраину Бэлкиддера. Небо прояснилось; похолодало, в воздухе запахло морозцем, северный ветер гнал прочь тучи, и звезды разгорались ярче. Речки, конечно, были

полнехоньки и все так же грозно шумели в ущельях, но я заметил, что Алан не вспоминает больше Водяного Коня и настроен как нельзя лучше. Для меня же погода переменилась слишком поздно; я так долго провалялся в болоте, что даже одежда на плечах моих, как говорится в Библии, «была мне мерзостна»; я до смерти устал, на мне живого места не было, все тело болело и ныло, меня бил озноб; колючий ветер пронизывал до костей, от его воя мне закладывало уши. В таком-то незавидном состоянии я еще вынужден был терпеть от своего спутника злые насмешки. Теперь он стал куда как разговорчив, и что ни слово было, то издевка. Меня он любезней, чем «виг», не величал.

— А ну-ка,— говорил он,— видишь, и лужа подвернулась, прыгай, мой маленький виг! Ты ведь у нас прыгун отменный! — И все в подобном духе, да с глумливыми ужимками и язвительным голосом.

Я знал, что это моих же рук дело; но мне даже повиниться было невмоготу: я чувствовал, что мне уже недалеко тащиться: очень скоро останется только лечь и околеть на этих волглых горах, как овце или лисице, и забелеются здесь мои косточки, словно кости дикого зверя. Кажется, я начинал бредить; может, поэтому подобный конец стал представляться мне желанным, я упивался мыслью, что сгину одинокий в этой пустыне и только дикие орлы будут кружить надо мною в мои последние мгновения. Вот тогда Алан раскается, думал я, вспомнит, скольким он мне обязан, а меня уже не будет в живых, и воспоминания станут для него мукой. Так шел я и, как несмышленый хворый и злой мальчишка, пестовал старые обиды на ближнего своего, тогда как мне больше бы пристало на коленях взывать к всевышнему о милосердии. При каждой новой колкости Алана я мысленно потирал себе руки. «Ага,— думал я,— погоди. Я тебе готовлю ответ похлестче; возьму лягу и умру, то-то будет тебе оплеуха! Да, вот это месть! Горько же ты пожалеешь, что был неблагодарен и жесток!»

А между тем мне становилось все хуже. Один раз я даже упал, просто ноги подломились, и Алан на мгновение насторожился; но я так проворно встал и так бодро тронулся дальше, что вскоре он забыл об этом случае. Я то горел, как в огне, то стучал зубами от озноба. Колотье в боку становилось невозможно терпеть.

Под конец я понял, что дальше плестись не в силах, и вдруг меня обуяло желание выложить Алану все начистоту, дать волю гневу и единым духом покончить все счеты с жизнью. Он как раз обозвал меня «виг». Я остановился.

— Мистер Стюарт,— проговорил я, и голос мой дрожал, как натянутая струна,— вы меня старше, и вам бы следовало знать, как себя вести. Ужель вы ничего умнее и забавней не нашли, чем колоть мне глаза моими политическими убеждениями? Я полагал, что, когда люди расходятся во взглядах, долг джентльмена вести себя учтиво; кабы не так, будьте уверены, я вас сумел бы уязвить побольнее, чем вы меня.

Алан стоял передо мною, шляпа набекрень, руки в карманах, чуть склонив голову набок. При свете звезд мне видно было, как он слушает с коварной усмешкой, а когда я договорил, он принялся насвистывать якобитскую песенку. Ее сочинили в насмешку над генералом Коупом, когда он был разбит при Престонпансе.

Эй, Джонни Коуп, еще ноги идут?
И барабаны твои еще бьют?

И тут я сообразил, что сам Алан бился в день сражения на стороне короля.

— Что это вам, мистер Стюарт, вздумалось выбрать именно эту песенку? — сказал я.— Уж не для того ли, чтоб напомнить, что вы были биты и теми и этими?

Свист оборвался у Алана на устах.

— Дэвид! — вымолвил он.

— Но таким замашкам пора положить конец,— продолжал я,— и я позабочусь, чтобы отныне вы о моем короле и моих добрых друзьях Кемпбеллах говорили вежливо.

— Я — Стюарт...— начал было Алан.

— Да-да, знаю,— перебил я,— и носите имя королей. Не забывайте, однако, что я в горах перевидал немало таких, кто его носит, и могу сказать о них только одно: им очень не грех было бы помыться.

— Ты понимаешь, что это оскорбление? — совсем тихо сказал Алан.

— Сожалею, если так,— сказал я,— потому что я еще не кончил; и коли вам присказка не по вкусу, так и сказка будет не по душе. Вас травили в поле взрос-

лые, невелика ж вам радость отыграться на мальчишке. Вас били Кемпбеллы, били и виги, вы только стрекача задавали, как заяц. Вам приличествует о них отзываться почтительно.

Алан стоял как вкопанный, полы плаща его развевались за ним на ветру.

— Жаль,— наконец сказал он.— Но бывают вещи, которые спустить нельзя.

— Вас и не просят ничего спускать,— сказал я.— Извольте, я к вашим услугам.

— К услугам? — переспросил он.

— Да-да, я к вашим услугам. Я не пустозвон и не бахвал, как кое-кто. Обороняйтесь, сударь! — и, выхватив шпагу, я изготовился к бою, как Алан сам меня учил.

— Дэвид! — вскричал он.— Да ты в своем уме? Я не могу скрестить с тобою шпагу. Это же чистое убийство!

— Раньше надо было думать, когда вы меня оскорбляли,— сказал я.

— И то правда! — воскликнул Алан и, ухватясь рукой за подбородок, на миг застыл в тягостной растерянности.— Истинная правда,— сказал он и обнажил шпагу. Но я еще не успел коснуться ее своею, как он отшвырнул оружие и бросился наземь.— Нет-нет,— повторял он,— нет-нет. Я не могу...

При виде этого последние остатки моей злости улетучились, осталась только боль, и сожаление, и пустота, и недовольство собой. Я ничего на свете не пожалел бы, чтоб взять назад то, что наговорил; но разве сказанное воротишь? Я сразу вспомнил былую доброту Алана и его храбрость, и как он меня выручал, и ободрял, и нянчился со мной, когда нам приходилось трудно; потом я вспомнил свои оскорбления и понял, что лишился этого доблестного друга навсегда. В тот же миг мне занеможилось вдвойне, в боку резало как ножом. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание и упаду.

Тут меня и осенило: никакие извинения не сотрут того, что мною сказано; тут нечего и думать, такой обиды не искупить словами. Да, оправдания были бы тщетны, зато единый зов о помощи может воротить мне Алана. И я превозмог свою гордость.

— Алан! — сказал я.— Помогите мне, не то я сейчас умру.

Он вскочил с земли и оглядел меня.

— Я правду говорю,— сказал я.— Кончено дело. Ох, доведите меня только хоть до какой-нибудь лачуги — мне легче там будет умереть.

Прикидываться не было нужды; помимо воли я говорил жалобным голосом, который тронул бы и каменное сердце.

— Идти можешь? — спросил Алан.

— Нет,— сказал я,— без помощи не могу. Ноги подкашиваются вот уже час, наверно; в боку жжет, как каленым железом; нет мочи вздохнуть. Если я умру, Алан, вы меня простите? В душе-то я вас все равно любил — даже когда сильней всего злился.

— Тише, не надо! — вскричал Алан.— Не говори ничего! Дэвид, друг сердечный, да ты знаешь...— Он замолк, чтобы подавить рыдание.— Давай, я тебя обхвачу рукой, вот так! — продолжал он.— Теперь обопрись хорошенько. Черт побери, где же найти жилье? Погоди-ка, мы ведь в Бэлкиддере, здесь домов сколько хочешь, и к тому же здесь живут друзья. Так идти легче, Дэви?

— Да, так, пожалуй, дойду,— и я прижал его руку к себе.

Он опять едва не заплакал.

— Знаешь что, Дэви, никудышный я человек, вот и все; ни разумения во мне, ни доброты. Как будто не мог запомнить, что ты совсем еще дитя, и что тебя, конечно, ноги не держат! Дэви, ты постарайся меня простить.

— Дружище, довольно об этом! — сказал я.— Оба мы хороши, чего там! Какие есть, такими надо принимать друг друга, дорогой мой Алан! Ой, до чего же бок болит! Да неужели тут нет никакого жилья?

— Я найду тебе кров, Дэвид,— твердо сказал Алан.— Сейчас пойдем вниз по ручью, там непременно наткнемся на жилье. Слушай, бедняга ты мой, может, я тебя лучше понесу на спине?

— Алан, голубчик, да ведь я на целую голову вас выше.

— Ничего подобного! — вскинулся Алан.— От силы на дюйм-другой, может быть; я, конечно, не дылда, что называется, никто не говорит, да и к тому же...—

тут голос его препотешно замер, и он прибавил: — ...впрочем, если вдуматься, ты прав. На целую голову, если не больше, а то и на целый локоть даже!

Смешно и трогательно было слушать, как Алан спешит взять назад собственные слова из страха, как бы нам вновь не повздорить. Я бы не удержался от смеха, кабы не боль в боку; но если б я рассмеялся, то, наверно, не сдержал бы и слез.

— Алан! — воскликнул я.— Отчего вы так добры ко мне? На что вам сдался такой неблагодарный малый?

— Веришь ли, я и сам не знаю,— сказал Алан.— Я думал, ты меня тем взял, что никогда не набиваешься на ссору,— так на ж тебе, теперь ты мне стал еще милее!

ГЛАВА XXV

В БЭЛКИДДЕРЕ

Алан постучался в дверь первого же встречного дома, что в такой части горной Шотландии, как Бэлкиддерские Склоны, было поступком далеко не безопасным. Здесь не господствовал какой-нибудь один сильный клан; землю занимали и оспаривали друг у друга кланы-карлики, разрозненные остатки распавшихся родов и просто, что называется, люд без роду без племени, забившийся в этот дикий край по истокам Форта и Тея под натиском Кемпбеллов. Жили здесь Стюарты и Маклярены, а это почти одно и то же, потому что в случае войны Маклярены становились под знамена Аланова вождя и сливались воедино с эпинским кланом. Жили также, и в немалом числе, члены древнего, гонимого законом, безымянного и кровавого клана Макгрегоров. О них всегда, а ныне подавно, шла дурная слава, и ни одна из враждующих сторон и партий во всей Шотландии не оказывала им доверия. Вождь клана, Макгрегор из Макгрегора, был в изгнании; прямой предводитель бэлкиддерских Макгрегоров Джемс Мор, старший сын Роб Роя, был заточен в Эдинбургский замок и ждал суда; они были на ножах и с горцами и с жителями равнины, с Грэмами, с Макларенами, со Стюартами; и Алан, для которого обидчик любого, даже случайного его приятеля становился личным врагом, меньше всего желал бы на них натолкнуться.

Нам посчастливилось: дом принадлежал семейству Макларенов, которые приняли Алана с распростертыми объятиями не потому лишь, что он Стюарт, а потому, что о нем здесь ходили легенды. Меня тотчас же уложили в постель и привели лекаря, который нашел, что я очень плох. Не знаю, он ли оказался столь искусным целителем, я ли сам был так молод и крепок, но только пролежал я не более недели, а на исходе месяца был уже вполне в силах отправиться дальше.

Все это время Алан, как я его ни упрашивал, нипочем не соглашался бросить меня одного, хотя оставаться для него было чистым безрассудством, о чем ему и твердили без устали немногие друзья, посвященные в нашу тайну. Днем он хоронился в перелеске на склоне, где под корнями деревьев была яма, а ночами, когда все затихало, наведывался ко мне. Надо ли говорить, как я ему радовался; хозяйка дома миссис Макларен не знала, чем и ублажить дорогого гостя; сам же Дункан Ду (так звали нашего хозяина) был большой любитель музыки, и у него была пара волынок, а потому, пока я поправлялся, в доме царил настоящий праздник и мы зачастую веселились до утра.

Солдаты нас не тревожили; хотя как-то раз внизу, так что мне было видно с постели из окна, прошел отряд: две пешие роты и сколько-то драгун. Самое поразительное, что ко мне не заглядывал никто из местных властей, никто не спрашивал, откуда я и куда направляюсь; в это смутное время особа моя вызывала не больше интереса, чем ежели б я находился в пустыне. А между тем задолго до моего ухода не было человека в Бэлкиддере, да и по соседству, который не знал бы о моем присутствии; в доме перебывало за это время немало народу — и по обычаю здешних мест новость передавалась от одного к другому. К тому ж и указы о нашей поимке были уже распечатаны. Один прикололи к стене в ногах моей постели, и я мог без труда читать и перечитывать не слишком лестное описание собственной наружности, а заодно и обозначенный большими буквами размер награды за мою голову. Дункан Ду и те прочие, кому было известно, что я пришел вместе с Аланом, понятно, не питали ни малейших сомнений насчет того, кто я такой; а многие другие, верно,

догадывались. Потому что я хоть и сменил одежду, но возраст свой и обличье сменить не мог; а в этот край земли, да еще в такие времена, не больно много захаживало восемнадцатилетних юнцов с равнины, и, сопоставив одно с другим, трудно было не понять, о ком говорится в указе. Но как бы там ни было, а меня никто не трогал. В иных краях человек проговорится двум-трем надежным дружкам — глянь, секрет и просочился наружу; у горных кланов тайна известна всей округе и свято соблюдается целый век.

Дни проходили неприметно, лишь об одном событии стоит рассказать: меня почтил посещением Робин Ойг, один из сыновей легендарного Роб Роя. За этим человеком охотились днем и ночью, он был обвинен в том, что выкрал из Бэлфрона девицу и (как утверждали) силком на ней женился; а он преспокойно расхаживал по Бэлкиддеру, точно по собственному поместью. Это он застрелил Джемса Макларена, когда тот шел за плугом, и усобица с тех пор не стихала; однако он вступил в дом своих кровных врагов, как бродячий торговец в таверну.

Дункан успел мне шепнуть, кто это, и мы с ним обменялись тревожными взглядами. Дело в том, что с минуты на минуту мог нагрянуть Алан; а эти двое едва ли разошлись бы полюбовно; с другой стороны, вздумай мы как-то упредить Алана, подать ему знак, это неизбежно возбудило бы подозрение человека, над которым нависла столь грозная опасность.

Вошел Макгрегор, соблюдая все внешние признаки учтивости и в то же время явно с видом собственного превосходства: снял шляпу перед миссис Макларен, но снова надел, когда заговорил с Дунканом; и, выставив себя, таким образом, в должном (по его понятиям) свете, шагнул к моей постели и поклонился.

— Дошло до меня, сэр, что вы прозываетесь Бэлфуром,— сказал он.

— Меня зовут Дэвид Бэлфур,— сказал я.— К вашим услугам, сэр.

— Я в свой черед назвал бы вам свое имя, сэр,— сказал Робин.— Да в последнее время на него что-то напраслину возводят, так не довольно ль будет, если я помяну, что прихожусь родным братом Джемсу Мору Драммонду, иначе Макгрегору, о котором вы, уж верно, слыхали?

— Слышал, сэр,— не без смятения ответил я.— Как и о батюшке вашем Макгрегоре-Кемпбелле.— Я приподнялся в постели и отвесил ему поклон; я счел за благо угодить ему на тот случай, если он кичится, что родитель у него разбойник.

Он склонился в ответном поклоне.

— Теперь о том, сэр, с чем я к вам пришел,— продолжал он.— В сорок пятом году брат мой собрал часть наших Грегоров и во главе шести рот пошел сразиться за правое дело; а при нем был костоправ, который шагал в рядах нашего клана и выхаживал брата, когда он сломал ногу в схватке под Престонпансом, и носил этот благородный человек то же имя, что и вы. Он доводился братом Бэлфуру из Бейта; и если вы с тем джентльменом состоите в мало-мальски близком родстве, я пришел сюда затем, чтобы предоставить и себя и людей своих в ваше распоряжение.

Не забывайте, о своей родословной я был осведомлен не лучше приблудной дворняги; дядя, правда, лопотал мне что-то насчет знатных родственников, но Бэлфура из Бейта среди них не было; и мне ничего другого не оставалось, как, сгорая от стыда, признаться, что я не знаю.

Робин отрывисто извинился, что меня побеспокоил, повернулся, даже не кивнув на прощание, и пошел к дверям, бросив на ходу Дункану, так что мне было слышно: «Безродная деревенщина, отца родного не ведает». Как ни взбешен я был этими словами и собственным позорным неведением, я едва не усмехнулся тому, что человек, столь жестоко преследуемый законом (и, к слову сказать, повешенный года три спустя), так разборчив, когда дело касается происхождения его знакомцев.

Уже на самом пороге он столкнулся лицом к лицу с Аланом, оба отступили и смерили друг друга взглядами, как два пса с разных дворов. И тот и другой были невелики ростом, но оба так напыжились от спеси, что как будто стали выше. Каждый был при шпаге, и каждый движением бедра высвободил эфес, чтобы легче было ухватиться и обнажить оружие.

— Мистер Стюарт, когда глаза мне не изменяют,— сказал Робин.

— А если б и так, мистер Макгрегор,— ответил Алан.— Такого имени стыдиться нечего.

— Не знал, что вы на моей земле, сэр,— сказал Робин.

— А я-то до сих пор полагал, что я на земле моих друзей Макларенов,— сказал Алан.

— Это еще как сказать,— отозвался Робин Ойг.— Можно поспорить. Впрочем, я, сдается, слыхал, вы мастак решать споры шпагой?

— Разве что вы глухой от рождения, мистер Макгрегор,— ответствовал Алан,— а не то должны были б слышать еще много кой-чего. Не я один в Эпине умею держать в руке шпагу. Когда, к примеру, у сородича и вождя моего Ардшила не так много лет назад случился серьезный разговор с джентльменом того же имени, что и ваше, мне что-то неизвестно, чтобы последнее слово осталось за Макгрегором.

— Вы не о батюшке ли моем говорите, сэр? — сказал Робин.

— Очень возможно,— сказал Алан.— Тот джентльмен тоже не гнушался прицеплять к своему имени слово «Кемпбелл».

— Мой отец был в преклонных годах,— возразил Робин.— То был неравный поединок. Мы с вами лучше подойдем друг другу, сэр.

— И я так думаю,— сказал Алан.

Я свесил было ноги с кровати, а Дункан давно уже вертелся подле этих драчливых петухов, выжидая удобную минуту, чтобы вмешаться. Но при последних словах стало ясно, что нельзя медлить ни секунды, и Дункан, заметно побледнев от волнения, втиснулся между ними.

— Джентльмены, а у меня совсем иное на уме,— сказал он.— Видите, вот мои волынки, а вы оба, джентльмены, признанные музыканты. Давным-давно идет спор, кто из вас играет искусней. Чем же не славный случай его разрешить!

— А что, сэр,— сказал Алан, по-прежнему обращаясь к Робину, от которого и на миг не отвел глаз, как и тот от него,— а что, сэр, до меня и впрямь словно бы доходил такой слух. Музыкой балуетесь, как говорится? Волынку когда-нибудь брали в руки?

— Я на волынке любого Макриммона заткну за пояс! — вскричал Робин.

— Ого, смело сказано,— молвил Алан.

— Я и смелей говаривал, зато правду,— ответил Робин,— и противникам почище вас.

— Это легко проверить,— сказал Алан.

Дункан Дӯ поспешно достал обе волынки, самое дорогое свое сокровище, и выставил гостям бараний окорок и бутыль напитка, именуемого атолским сбитнем и изготовляемого из старого виски, сливок и процеженного меда, которые долго сбивают вместе в строгом порядке и в нужных долях.

Противники все еще были готовы вцепиться друг в друга; но, несмотря на это, чинно, с преувеличенной учтивостью, уселись по обе стороны очага, в котором полыхал торф. Макларен усиленно потчевал их бараниной и «женушкиным сбитнем», напоминая, что его хозяйка родом из Атола и славится как первая по всей округе мастерица готовить это питье. Робин, однако, отверг угощение, потому что сбитень тяжелит дыхание.

— Я вас просил бы, сэр, заметить себе,— сказал Алан,— что у меня вот уже часов десять маковой росинки не было во рту, а это тяжелит дыхание почище любого сбитня во всей Шотландии.

— Я для себя не желаю выгодных условий, мистер Стюарт,— возразил Робин.— Ешьте, пейте; я последую вашему примеру.

Каждый съел по ломтю окорока и осушил стаканчик сбитня за здоровье миссис Макларен; затем, после бесчисленных расшаркиваний друг перед другом, Робин взял волынку и очень лихо наиграл какой-то мотивчик.

— Хм, умеете,— сказал Алан и, взяв у соперника волынку, сыграл сначала тот же мотив и на тот же лихой лад, а потом углубился в вариации, украшая каждую настоящим каскадом излюбленных волынщиками трелей.

Игра Робина мне понравилась, от Алановой я пришел в восторг.

— Не так уж дурно, мистер Стюарт,— заметил соперник.— Однако в трелях вы обнаружили скудость замысла.

— Я? — вскричал Алан, и лицо его налилось кровью.— Я заявляю, что это ложь.

— Стало быть, как волынщик вы признаете себя побежденным,— сказал Робин,— коль вам не терпится сменить волынку на шпагу?

— Разумно сказано, мистер Макгрегор,— ответил Алан.— А потому на время (он многозначительно помедлил) я свое обвинение беру обратно. Я взываю к Дункану, пусть он нас рассудит.

— Полноте, ни к кому вам не надо взывать,— сказал Робин.— Лучше вас самого ни один Макларен в Бэлкиддере не рассудит, ибо если принять в расчет, что вы Стюарт, вы очень сносный волынщик, и это святая правда. Подайте-ка мне волынку.

Алан так и сделал; и тогда Робин принялся повторять одну за другой и исправлять Алановы вариации, которые, как выяснилось, он досконально запомнил.

— Да, вы знаете в музыке толк,— сердито буркнул Алан.

— Ну, а теперь, мистер Стюарт, судите сами,— сказал Робин; и он заиграл вариации сначала, так искусно сплетая их воедино, с таким разнообразием и такою душой, таким дерзостным полетом воображения и легкостью трелей, что я только поражался, внимая ему.

Алан сидел темнее тучи, лицо его пылало, он грыз себе пальцы и вид имел такой, словно получил тяжкое оскорбление.

— Хватит! — вскричал он.— Дуть в дуду вы мастак — и будет с вас! — И хотел было подняться на ноги.

Но Робин только поднял руку, требуя тишины, и вот полились медлительные звуки шотландского наигрыша. Он был пленителен сам по себе и проникновенно исполнен; но это еще не все: то оказался исконный напев эпинских Стюартов, и не было милей его сердцу Алана. Едва раздались первые звуки, как друг мой переменился в лице; когда музыка полилась быстрее, ему уже, видно, не сиделось на месте; и задолго до того, как волынщик кончил играть, последние следы обиды изгладились на лице Алана, и он уже ни о чем не думал, кроме музыки.

— Робин Ойг,— сказал он, когда тот доиграл до конца,— вы замечательный волынщик. Я недостоин играть под одним небом с вами. Разрази меня гром, да в одной нитке вашего пледа больше искусства, чем у меня во всей башке! И хоть я все ж подозреваю, что хладная сталь решила бы наш спор иначе, заранее вам признаюсь — это бы не по совести было! Рука не поднимется искромсать человека, который так играет на волынке!

На том противники помирились; всю ночь напролет лился рекой сбитень и из рук в руки переходили волынки; заря разгорелась в полную силу, хмель всем троим задурманил головы, прежде чем Робин стал подумывать, что пора снаряжаться в дорогу.

ГЛАВА XXVI

НА СВОБОДУ

МЫ ПЕРЕПРАВЛЯЕМСЯ ЧЕРЕЗ ФОРТ

Хотя, как сказано, я не проболел и месяца, все же, когда мне объявили, что я достаточно окреп для дороги, август был уже в полном разгаре и чудесная теплая погода сулила, по всем признакам, ранний и обильный урожай. Денег у нас оставалось в обрез, и теперь наша первая надобность была поспешать; ведь если нам в самом скором времени не попасть к Ранкилеру или случись, что мы придем, а он ничем мне не поможет, мы были обречены голодать. К тому же, по Алановым расчетам, первый пыл у наших преследователей, несомненно, прошел; и берега Форта, и даже Стерлинг-бридж, главный мост на реке, охраняются кое-как.

— В военных делах,— говорил Алан,— основное правило идти там, где тебя меньше всего ждут. Наша печаль — Форт, знаешь пословицу: «Дикому горцу дальше Форта путь заказан». Теперь, ежели б мы вздумали сунуться в обход по истокам и сойти на равнину у Киппена или Бэлфрона, они только того и дожидаются, чтобы нас сцапать. А вот если двинуться напролом, прямо по старому доброму Стерлинг-бриджу, шпагой своей ручаюсь, нам дадут пройти свободно.

Итак, в ночь на двадцать первое августа мы добрались в Стратир к здешнему Макларену, родичу Дункана, и в его доме проспали весь день, а ввечеру выступили в путь и снова без особого труда шли до утра. День двадцать второго мы пережидали в вересковых зарослях на Юм-Варском склоне, где неподалеку паслось оленье стадо; десять часов сна под ласковым живительным солнцем на сухой горячей земле — я такого блаженства

не припомню! Ночью вышли к речке Аллан-Уотер и двинулись вниз по течению; а взойдя на гребень холмистой гряды, увидели под собою все Стерлинговское поречье, плоское, словно блин, посредине на холме — город и замок и в лунном сиянии крутые извивы Форта.

— Ну-с,— молвил Алан,— не знаю, любопытно ли это тебе, но ты уже на своей родной земле — границу горного края мы перешли в первый же час; теперь бы только перебраться через эту вертлявую речку, и можно бросать шляпы в воздух.

На Аллан-Уотере, невдалеке от того места, где он впадает в Форт, мы углядели песчаный островок, заросший лопухами, белокопытником и другими невысокими травами, которые как раз скрыли бы человека, если б он лег плашмя наземь. Здесь мы и сделали привал, на самом виду у Стерлинговского замка, откуда то и дело доносилась барабанная дробь, возвещая, что становится в строй какая-то часть гарнизона. В поле на одном берегу весь день работали жнецы, и слышалось тенькание серпов о камень и голоса и даже отдельные слова из разговора. Тут надо было лежать пластом да помалкивать. Впрочем, песок на островке был прогрет солнцем, зелень спасала макушки от припека, еды и питья было вволю; а главное, до свободы оставалось рукой подать.

Когда жнецы покончили с работой и стало смеркаться, мы перебрались на берег и полями, держась поближе к изгородям, начали подкрадываться к мосту.

Стерлинг-бридж тянется от самого подножия замкового холма: высокий старинный, узкий мост с башенками вдоль перил; легко понять, как жадно я разглядывал это прославленное в истории место, а для нас с Аланом — воистину врата ко спасению. Когда мы его достигли, еще луна не взошла; вдоль крепости там и сям горели огни, и внизу, в городе, кое-где засветились окна; вокруг, однако, царила тишина и часовых на мосту было не видно.

Я рвался вперед, но Алана и тут не покидала осторожность.

— Похоже, тишь да гладь,— сказал он.— А все-таки для верности притаимся-ка мы с тобой вон там за насыпью и поглядим, что будет.

С четверть часа пролежали мы, то перешептываясь, то молча, и ни один из звуков земных не донесся до

нас, только волны плескались о быки моста. Но вот мимо проковыляла, опираясь на костыль, хромая старушка; остановилась передохнуть, неподалеку от нас, кряхтя и сетуя вслух на свои немощи и дальнюю дорогу; потом стала взбираться на горбатый хребет моста. Старушонка была такая крохотная, а безлунная ночь так темна, что мы быстро потеряли хромоножку из виду; только слышали, как медленно замирают вдали ее шаги, стук костыля и нудный кашель.

— Готово, она уже на той стороне,— шепнул я.

— Нет,— отозвался Алан,— шаги еще гулкие, значит, на мосту.

И в этот миг раздался окрик:

— Кто идет?

Мы услышали, как брякнул о камни приклад мушкета. Скорее всего солдат уснул на часах, и, если б мы сразу попытали счастья, возможно, проскользнули бы незаметно; а теперь его разбудили, и, значит, случай был упущен.

— Этот способ для нас не годится,— прошептал Алан.— Ни-ни-ни, Дэвид.

И, не сказав больше ни слова, ползком пустился назад через поля; немного спустя, когда с моста нас уже никак не могли заметить, он снова встал на ноги и зашагал по дороге, ведущей на восток. У меня просто в голове не укладывалось, для чего он это делает; впрочем, признаюсь, я был так убит, что мне сейчас трудно было чем-либо угодить. Всего минуту назад я уже видел мысленно, как стучусь в двери мистера Ранкилера, чтобы, подобно герою баллады, заявить свои права наследника; и вот я, как прежде, на чужом берегу, затравленный, бездомный и гонимый.

— Ну? — спросил я.

— Вот тебе и ну,— сказал Алан.— Что прикажешь делать? Не такие они олухи, как я думал. Нет, Дэви, Форта мы с тобой еще не одолели, чтоб ему высохнуть и травой порасти!

— Но для чего идти на восток? — спросил я.

— А так, наудачу! — сказал Алан.— Раз через реку переправиться не удалось, поглядим, может, с заливом придумаем что-нибудь.

— На реке-то есть броды, а на заливе — никаких.

— Как же: и броды и мост вон стоит,— молвил Алан.— Да что в них толку, если кругом стража?

— Речку хоть можно переплыть,— сказал я.

— Когда умеешь, отчего не переплыть,— возразил Алан.— Только я что-то не слыхал, чтобы мы с тобой сильно блистали этим умением; что до меня, то я плаваю вроде камня.

— Куда мне вас переспорить, Алан,— сказал я,— но все равно я вижу, что мы метим из огня, да в полымя. Если уж речку перейти тяжело, так само собой, что море — еще тяжелей.

— Но есть ведь на свете лодки,— сказал Алан,— если, конечно, я не ошибаюсь.

— Вот-вот, и еще есть на свете деньги,— сказал я.— Но коли у нас ни того, ни другого, какая нам радость, что их кто-то когда-то придумал!

— Полагаешь? — сказал Алан.

— Вообразите, да,— сказал я.

— Дэвид,— сказал он,— выдумки в тебе — кот наплакал, а веры и того меньше. Вот я, дай только пораскинуть умом, хоть что-нибудь, да изобрету: не выпрошу лодку насовсем, так на время возьму, не украду, так сам построю!

— Как бы не так! — фыркнул я.—И потом, главное: мост перейдешь, и он молчок, а на заливе, если даже переплывем, будет лодка на той стороне — значит, кто-то ее привел, значит, сейчас переполох по всей округе...

— Слушай! — гаркнул Алан.— Если я сотворю лодку, так сотворю и лодочника, чтобы отвел ее на место! Так что не докучай ты мне больше своим вздором, знай себе шагай, а уж Алан как-нибудь подумает за тебя.

Итак, всю ночь мы брели по северному берегу поречья под сенью Охиллских вершин, мимо Аллоа, Клакманана, Кулросса, которые мы обходили стороной,— и часам к десяти утра, голодные как волки и смертельно усталые, вышли к селению Лаймкилнс. Деревенька эта примостилась возле самой воды, прямо напротив города Куинсферри по ту сторону залива. На том и другом берегу над крышами курился дым, а вокруг поднимались дымки других деревушек и селений. На полях шла жатва; два корабля стояли на якоре, по заливу — одни к берегу, другие в море — шли лодки. Все здесь радовало глаз; я глядел и не мог наглядеться на обжитые, зеленые, возделанные холмы и на прилежных тружеников полей и вод.

Так-то оно так; а все же дом мистера Ранкилера, где меня, несомненно, ожидало богатство, оставался попрежнему на южном берегу, а сам я — на северном, в убогом, не по-нашему сшитом платье, в кармане три жалких шиллинга, за поимку назначена награда, и единым спутником у меня — человек, объявленный вне закона...

— Ах, Алан, вдуматься только! — сказал я.— Вон там меня ждет все, что душе угодно, птицы летят туда, лодки плывут — всякому, кто пожелает, путь свободен, одному лишь мне нельзя! Прямо сердце надрывается!

В Лаймкилнсе мы зашли в трактирчик, который от других домов отличался только знаком над дверью, и купили у миловидной девушки-служанки хлеба и сыра. Еду мы взяли с собой в узелке, облюбовав шагах в пятистах за селением прибрежный лесок, где рассчитывали посидеть и закусить. По дороге я то и дело заглядывался на противоположный берег и тихонько вздыхал; Алан же, хотя меня это в тот час не слишком занимало, погрузился в задумчивость. Но вот он стал на полпути.

— Приметил ты девушку, у которой мы это покупали? — спросил он, похлопав по узелку.

— А как же,— ответил я.— Девица хоть куда.

— Тебе понравилась? — вскричал он.— Э, друг Дэвид, вот славная новость.

— Ради всего святого, почему? — спросил я.— Нам-то что от того?

— А вот что,— сказал Алан, и в глазах его заплясали знакомые мне бесенята.— Я, понимаешь, питаю надежду, что теперь мы сумеем заполучить лодку.

— Если б наоборот, тогда еще пожалуй,— сказал я.

— Это по-твоему,— сказал Алан.— Я же не хочу, чтоб девчонка в тебя влюбилась, Дэвид, пускай только пожалеет; а для этого вовсе не требуется, чтобы ты пред нею предстал красавцем. Дай-ка я посмотрю,— он придирчиво оглядел меня со всех сторон.— Да, быть бы тебе еще малость побледнее, а впрочем, вполне сгодишься: не то калека сирый, не то огородное пугало — словом, в самый раз. А ну, направо кру-гом, шагом марш назад в трактир добывать себе лодку!

Я, смеясь, повернул вслед за ним.

— Дэвид Бэлфур,— сказал он,— ты у нас, на свой лад, большой весельчак, и такая работенка тебе, спору

нет,— одна потеха. При всем том, из любви к моей шкуре (а к твоей собственной и подавно), ты уж сделай одолжение, отнесись к этой затее серьезно. Я, правда, собрался тут разыграть одну шутку, да подоплека-то у нее нешуточная: по виселице на брата. Так что сделай милость, заруби себе это на носу и держись соответственно случаю.

— Ладно уж,— сказал я,— будь по-вашему.

На краю селения Алан велел мне взять его под руку и повиснуть на нем всей тяжестью, будто я совсем изнемог; а когда он толкнул ногой дверь трактира, он уже почти внес меня в дом на руках. Служаночку (как того и следовало ожидать), кажется, озадачило, что мы воротились так скоро, но Алан без всяких объяснений подвел меня к стулу, усадил, потребовал стаканчик виски, споил мне маленькими глотками, потом наломал кусочками хлеб и сыр и стал кормить меня, как нянька, и все это с проникновенным, заботливым, сострадающим видом, который и судью сбил бы с толку. Ничего удивительного, что служанка не осталась равнодушной к столь трогательной картине: бедный, поникший, обессиленный юноша и возле него — отечески нежный друг. Она подошла и встала рядом, опершись на соседний стол.

— Что это с ним стряслось? — наконец спросила она.

Алан, к великому моему изумлению, накинулся на нее чуть ли не с бешенством.

— Стряслось?! — рявкнул он.— Парень отшагал столько сотен миль, сколько у него волос в бороде не наберется, и спать ложился не на сухие простыни, а куда чаще в мокрый вереск. Она еще спрашивает, что стряслось! Стрясется, я думаю! «Что стряслось», скажет тоже!..— И, недовольно бурча себе под нос, снова принялся меня кормить.

— Молод он еще для такого,— сказала служанка.

— Куда уж моложе,— ответил, не оборачиваясь, Алан.

— Ему верхом бы,— продолжала она.

— А где я возьму для него коня? — вскричал Алан, оборачиваясь к ней с тою же показной свирепостью.— Красть, по-твоему, что ли?

Я думал, что от такой грубости она обидится и уйдет — она и впрямь на время умолкла. Но мой приятель

хорошо знал, что делает; как ни прост он был в делах житейских, а на проделки вроде этой в нем плутовства было хоть отбавляй.

— А вы из благородных,— сказала она наконец,— по всему видать.

— Если и так, что с того? — сказал Алан, чуть смягчившись (по-моему, помимо воли) при этом бесхитростном замечании.— Ты когда-нибудь слыхала, чтобы от благородства водились деньги в кармане?

В ответ она вздохнула, словно сама была знатная дама, лишенная наследства.

— Да уж,— сказала она.— Что правда, то правда.

Между тем, досадуя на роль, навязанную мне, я сидел, как будто язык проглотил, мне и стыдно было и забавно; но в этот миг почему-то сделалось совсем невмоготу, и я попросил Алана более не беспокоиться, потому что мне уже легче. Слова застревали у меня в глотке; я всю жизнь терпеть не мог лжи, однако для Алановой затеи само замешательство мое вышло кстати, ибо служаночка, бесспорно, приписала мой охрипший голос усталости и недомоганию.

— Неужто у него родни никого нет? — чуть не плача, спросила она.

— Есть-то есть, но как к ней доберешься! — вскричал Алан.— Есть родня, и притом богатая, и спал бы мягко, и ел сладко, и лекари бы пользовали самолучшие, а вот приходится ему шлепать по грязи и ночевать в вереске, как последнему забулдыге.

— А почему так? — спросила девушка.

— Это я, милая, открыть не вправе,— сказал Алан.— А лучше вот как сделаем: я насвищу тебе в ответ песенку.

Он перегнулся через стол чуть ли не к самому ее уху и еле слышно, зато с глубоким чувством просвистал ей начало «Принц Чарли всех милее мне».

— Во-он что,— сказала она и оглянулась через плечо на дверь.

— Оно самое,— подтвердил Алан.

— А ведь какой молоденький! — вздохнула девушка.

— Для этого...— Алан резнул себя пальцем поперек шеи,— уже взрослый.

— Эка жалость была бы! — воскликнула она, зардевшись, словно маков цвет.

— И все же так оно и будет, если нам как-то не изловчиться,— сказал Алан.

При этих словах девушка поворотилась и выбежала вон, а мы остались одни: Алан — очень довольный, что все идет как по маслу, я — больно уязвленный, что меня выдают за якобита и обращаются как с маленьким.

— Алан, я больше не могу! — выпалил я.

— Можешь — не можешь, а придется, Дэви,— возразил он.— Если ты сейчас смешаешь карты, так сам еще, может быть, уцелеешь, но Алану Бреку не сносить головы.

Это была сущая правда, и я только застонал от бессилия; но даже мой стон сыграл Алану на руку, потому что его успела услышать служанка, которая в этот миг вновь прибежала с блюдом свиных колбас и бутылью крепкого эля.

— Бедняжечка! — сказала она и, поставив перед нами угощенье, тихонько, дружески, как бы ободряя, коснулась моего плеча. Потом сказала, чтобы мы садились за еду, а денег ей больше не нужно; потому что трактир — ее собственный, то есть, вернее, ее отца, но он на сегодня уехал в Питтенкриф. Мы не заставили просить себя дважды, ведь жевать всухомятку хлеб с сыром мало радости, а от колбасного благоухания просто слюнки текли; мы сидели и уплетали за обе щеки; девушка, как прежде, оперлась на соседний стол и, глядя на нас, думала что-то свое, и хмурила лоб, и теребила в руках завязки фартука.

— Сдается мне, язык у вас длинноват,— наконец сказала она, обращаясь к Алану.

— Зато я знаю, с кем можно говорить, а с кем нельзя,— возразил Алан.

— Я-то вас никогда не выдам,— сказала она,— если вы к этому клоните.

— Конечно,— сказал он,— ты не из таких. Вот что я тебе скажу: ты нам поможешь.

— Что вы,— и она покачала головой.— Я не могу.

— Ну, а если б могла? — сказал Алан.

Девушка ничего не ответила.

— Послушай меня, красавица,— сказал Алан,— в Файфе, на твоей земле, есть лодки — я своими глазами видел две, а то и больше, когда подходил к вашему селению. Так вот, если б нашлась для нас лодка, чтобы в ночное время переправиться в Лотиан, да честный малый не из болтливых, чтобы привел лодку на место и про то помалкивал, две души человеческие спасутся: моя — от возможной смерти, его — от верной. Не отыщется такая лодка, значит, остались мы с ним при трех шиллингах на все про все; а куда идти, что делать, чего ждать, кроме петли на шею,— верь слову, ума не приложу! Так неужто, милая, мы уйдем ни с чем? Ужель ты согласна покоиться в теплой постели и нас поминать, когда ветер завоет в трубе или дождик забарабанит по крыше? Ужель кусок не застрянет в горле, как сядешь за трапезу у доброго очага и вспомнишь, что вот он у меня, горемычный, гложет пальцы с голоду да с холоду где-нибудь на промозглых болотах? Больной ли он, здоровый, а все тащись вперед; пускай уже смерть схватила за горло, все равно влачись дальше под ливнями по долгим дорогам; когда же на груде хладных камней он испустит последний свой вздох, ни одной родной души не окажется подле него, только я да всевышний господь.

Я видел, что эти мольбы приводят девушку в смятение, что она бы и не против нам помочь, но побаивается, как бы не стать пособницей злоумышленников; а потому я решился тоже вставить слово и унять ее страхи, поведав крупицу правды.

— Вам доводилось слышать про мистера Ранкилера из Ферри? — спросил я.

— Ранкилера, который стряпчий? — сказала она.— Еще бы!

— Так вот, мой путь лежит к его порогу,— сказал я,— судите же, могу ль я быть лиходеем. Я вам и более того скажу: хоть жизни моей, по страшному недоразумению, точно угрожает кой-какая опасность, преданней меня у короля Георга нет сторонника во всей Шотландии.

Тут лицо девушки заметно прояснилось, зато Алан сразу помрачнел.

— Чего же больше и просить,— сказала она.— Мистер Ранкилер — человек известный.

И она поторопила нас с едой, чтобы нам скорее выбраться из селения и затаиться в прибрежном лесочке.

— А уж во мне не сомневайтесь,— сказала она,— что-нибудь да выдумаю, чтобы вас переправить на ту сторону.

Ждать больше было нечего, мы скрепили наш уговор рукопожатием, в два счета расправились с колбасами и вновь зашагали из Лаймкилнса в тот лесок. Это была, скорей, просто купа дерев: кустов двадцать бузины да боярышника вперемежку с молодыми ясенями — такая реденькая, что не могла скрыть нас от прохожих ни с дороги, ни со стороны берега. И, однако, как раз здесь предстояло нам сидеть дотемна, утешаться благодатною теплой погодой, доброй надеждой на избавление и подробно обсуждать все, что нам остается сделать.

Всего одна незадача приключилась у нас за целый день: в кусты завернул посидеть с нами бродячий волынщик, красноносый пьянчуга с заплывшими глазками, увесистой флягой виски в кармане и бесконечным перечнем обид, учиненных ему великим множеством людей, начиная от лорда-председателя Верховного суда, который не уделил ему должного внимания, и кончая шерифом Инверкитинга, который уделяет ему внимания свыше меры. Понятно, мы не могли не вызвать у него подозрений: двое взрослых мужчин забились на весь день в кусты без всякого видимого дела. Мы как на иголках сидели, пока он вертелся рядом и досаждал нам расспросами; а когда ушел, не чаяли, как бы самим поскорей выбраться отсюда, потому что пьянчуга был не из тех, кто умеет держать язык за зубами.

День прошел, все такой же погожий; спустился тихий, ясный вечер; в хижинах и селениях загорелись огни, потом, один за другим, стали гаснуть; но лишь незадолго до полуночи, когда мы совсем извелись и не знали, что и думать, послышался скрежет весел в уключинах. Мы выглянули наружу и увидели, что к нам плывет лодка, а гребет не кто иной, как сама девушка из трактира. Никому не доверила она нашей тайны, даже милому (хоть не знаю, был ли у ней жених); нет, она дождалась, пока уснул отец, вылезла в окошко, увела у соседа лодку и самолично явилась нам на выручку.

Я просто потерялся, не зная, как и благодарить ее; впрочем, от изъявлений благодарности она потерялась ничуть не меньше и взмолилась, чтобы мы не тратили даром времени и слов, прибавив (весьма основательно), что в нашем деле главное — тишина и поспешность. Так вот и получилось, что она высадила нас на лотианском берегу невдалеке от Карридена, распрощалась с нами и уже вновь гребла по заливу к Лаймкилнсу, а мы и словечка благодарности ей больше молвить не успели в награду за ее доброту.

Даже и потом, когда она скрылась, слова не шли нам на язык, да и какие слова не показались бы ничтожны в сравнении с таким благодеянием! Только долго еще стоял Алан на берегу, покачивая головой.

— Хорошая девушка,— сказал он наконец.— Не девушка, Дэвид, а золото.

И, наверное, добрый час спустя, когда мы лежали в пещере у залива и я уже стал было задремывать, он снова принялся расхваливать ее на все лады. А я — что мне было говорить; она была такая простодушная, что у меня сердце сжималось от раскаяния и страха: от раскаяния, что у нас хватило совести злоупотребить ее неискушенностью, и от страха, как бы мы не навлекли и на нее грозившую нам опасность.

ГЛАВА XXVII

Я ПРИХОЖУ К МИСТЕРУ РАНКИЛЕРУ

На другой день мы уговорились, что до заката Алан распорядится собой по собственному усмотрению, а как только стемнеет, спрячется в поле близ Ньюхоллса у обочины дороги и не стронется с места, пока не услышит мой свист. Я было предложил взять за условный знак мою любимую «Славный дом Эрли», но Алан запротестовал, сказав, что эту песню знает всякий и может случайно засвистать любой пахарь поблизости; взамен он обучил меня началу горского напева, который по сей день звучит у меня в душе и, верно, будет звучать, пока я жив. Всякий раз, приходя мне на память, он уносит меня в тот последний день, когда должна была решиться моя судьба и Алан сидел в углу нашей пещеры, свистя и отбивая такт пальцем, и лицо его все ясней проступало сквозь предрассветные сумерки.

Еще солнце не взошло, когда я очутился на длинной улице Куинсферри. Город был построен основательно, дома прочные, каменные, чаще крытые шифером; ратуша, правда, поскромней, чем в Пибле, да и сама улица не столь внушительна; но все вместе взятое заставило меня устыдиться своего неописуемого рванья.

Наступало утро, в домах разжигали очаги, растворяли окна, на улице стали появляться люди, а моя тревога и подавленность все возрастали. Я вдруг увидел, на какой зыбкой почве построены все мои надежды, когда у меня нет твердых доказательств не только моих прав, но хотя бы того, что я — это я. Случись, все лопнет, как мыльный пузырь, тогда окажется, что я тешил себя напрасной мечтой и положение у меня самое незавидное. Даже если все обстоит, как мне думалось, потребуется время, чтобы подтвердить основательность моих притязаний, а откуда взять это время, когда в кармане нет и трех шиллингов, а на руках осужденный, который скрывается от закона и которого нужно переправить в другую страну? Страшно сказать, но если надежды мои несбыточны, дело еще может обернуться виселицей для нас обоих. Я расхаживал взад и вперед по улице и ловил на себе косые взгляды из окошек, встречные либо ухмылялись, либо, подтолкнув друг друга локтем, о чем-то переговаривались, и к моим опасениям прибавилось еще одно: не только убедить стряпчего окажется непросто, но даже добиться разговора с ним будет, пожалуй, нелегкой задачей.

Хоть убей, не мог я набраться духу заговорить с кем-либо из этих степенных горожан; мне совестно было даже к ним подойти таким оборванным и грязным; спросишь, где дом такой особы, как мистер Ранкилер, а тебе, чего доброго, рассмеются в лицо. Вот и мотался я из конца в конец улицы, с одной стороны на другую, слонялся по гавани, словно пес, потерявший хозяина, и, чувствуя, как у меня тоскливо сосет под ложечкой, время от времени безнадежно махал рукой. День между тем вступил в свои права — было, наверно, часов уж девять; измученный бесцельным блужданием, я невзначай остановился у добротного дома на дальней от залива стороне; дома с красивыми чистыми окнами, цветочными горшками на подоконниках и свежеоштукатуренными стенами; на приступке, по-хозяйски развалясь, зевала гончая собака. Признаться, я даже позавидовал этому бессловесному существу, как вдруг дверь распахнулась и вышел осанистый румяный мужчина в пудреном парике и очках, с умным и благодушным лицом. Обличье мое было столь неприглядным, что никто и головы не поворачивал в мою сторону, он же задержал на мне свой взор и был, как я узнал потом, так поражен моею жалкой наружностью, что сразу подошел ко мне и осведомился, зачем я тут.

Я сказал, что пришел в Куинсферри по делам, и, приободрясь немного, спросил у него дорогу к дому мистера Ранкилера.

— Хм,— произнес он,— я только что вышел из его дома, и, по весьма странному совпадению, я — он самый и есть.

— Тогда, сэр, я вас прошу об одолжении,— сказал я,— дозвольте мне с вами поговорить.

— Мне неизвестно ваше имя,— возразил он,— и я впервые вас вижу.

— Имя мое — Дэвид Бэлфур,— сказал я.

— Дэвид Бэлфур? — довольно резко и словно бы в удивлении переспросил он.— Откуда же вы изволили прибыть, мистер Дэвид Бэлфур? — прибавил он, очень строго глядя мне в лицо.

— Я, сэр, изволил прибыть из множества самых разных мест,— сказал я,— но думаю, мне лучше рассказать вам, как и что, в более уединенной обстановке.

Он вроде как призадумался на мгновение, пощипывая себе губу и поглядывая то на меня, то на мощеную улицу.

— Да,— сказал он.— Так будет, разумеется, лучше.

И, пригласив меня следовать за ним, он вошел обратно в дом, крикнул кому-то, кого мне было не видно, что будет занят все утро, и привел меня в пыльную, тесную комнату, заполненную книгами и бумагами. Здесь он сел и мне велел садиться, хотя, по-моему, не без грусти перевел глаза с чистенького стула на мое затасканное рубище.

— Итак, если у вас ко мне есть дело,— промолвил он,— прошу быть кратким и говорить по существу. *Nec germino bellum Trojanum orditur ab ovo* [1],— вы меня понимаете? — прибавил он с испытующим взглядом.

— Я внемлю совету Горация, сэр,— улыбаясь, ответил я,— и сразу введу вас *in medias res* [2].

Ранкилер с довольным выражением покивал головой; он для того и ввернул латынь, чтобы меня проверить. Но хоть я видел, что он доволен, да и вообще слегка

[1] Не от яйца начат был рассказ о Троянской войне. *(Из Горация.)*

[2] В суть дела *(лат.)*.

воспрянул духом, кровь мне бросилась в лицо, когда я проговорил:

— Я имею основания полагать, что обладаю известными правами на поместье Шос.

Стряпчий вынул из ящика судейскую книгу и открыл ее перед собою.

— Да, и что же? — сказал он.

Но я, выпалив заветное, онемел.

— Нуте-ка, нуте-ка, мистер Бэлфур,— продолжал стряпчий,— теперь надобно договаривать. Где вы родились?

— В Эссендине, сэр,— сказал я.— Год тысяча семьсот тридцать третий, марта двенадцатого дня.

Я видел, что он сверяется со своею книгой, но что это могло означать, не понимал.

— Отец и мать? — спросил он.

— Отец мой был Александр Бэлфур, наставник эссендинской школы,— сказал я,— а мать Грейс Питэрроу, семья ее, если не ошибаюсь, родом из Энгуса.

— Есть ли у вас бумаги, удостоверяющие вашу личность? — спросил мистер Ранкилер.

— Нет, сэр,— сказал я,— они у нашего священника мистера Кемпбелла и могут быть представлены по первому требованию. Тот же мистер Кемпбелл поручится вам за меня, да если на то пошло, и дядя мой, думаю, не откажется опознать мою личность.

— Не о мистере ли Эбенезере Бэлфуре вы говорите? — спросил стряпчий.

— О нем самом,— сказал я.

— С которым вы имели случай свидеться?

— И которым был принят в собственном его доме,— ответил я.

— А не довелось ли вам повстречать человека, именуемого Хозисоном? — спросил мистер Ранкилер.

— Довелось, сэр, на мою беду,— сказал я.— Ведь это по его милости, хотя и по дядиному умыслу, я был похищен в двух шагах от этого самого города, насильно взят в море, претерпел кораблекрушение и тысячу иных невзгод, а теперь предстал пред вами таким оборванцем.

— Вы помянули, что попали в кораблекрушение,— сказал Ранкилер.— Где это произошло?

— Подле южной оконечности острова Малла,— сказал я.— А выбросило меня на островок по названию Иррейд.

— Э, да вы более меня смыслите в географии,— усмехаясь, сказал он.— Ну что ж, пока, не скрою, все это в точности совпадает с теми сведениями, которые я имею из других источников. Но вас, говорите, похитили? В каком это смысле?

— Да в самом прямом, сэр,— сказал я.— По пути к вашему дому меня завлекли на борт торгового брига, оглушили страшным ударом по голове, швырнули в трюм — и кончено, а очнулся я уже в открытом море. Мне было уготовано рабство на плантациях, но по милости господней я избежал этой судьбы.

— Бриг разбился двадцать седьмого июня,— заглянув в книгу, сказал Ранкилер,— а нынче у нас двадцать четвертое августа. Пробел нешуточный, мистер Бэлфур, без малого два месяца. Вашим друзьям он уже послужил причиной для серьезного беспокойства. И я, сознаюсь, не почту себя в полной мере удовлетворенным, покуда не сойдутся все сроки.

— Право же, сэр, мне не составит труда восполнить этот пробел,— сказал я.— Но прежде чем начать свой рассказ, я бы рад был увериться, что говорю с доброжелателем.

— Так получается порочный круг,— возразил стряпчий.— Я не могу составить твердых суждений, покуда не выслушаю вас. Я не могу назваться вашим другом, пока не буду располагать надлежащими сведениями. В ваши же лета более приличествует доверительность. Вы знаете, мистер Бэлфур, какая у нас есть поговорка: зла боится, кто сам зло чинит.

— Не забудьте, сэр, что я раз уже пострадал за свою доверчивость,— сказал я.— И что меня отправил в рабство не кто иной, как человек, который, сколько я понимаю, платит вам за услуги.

Все это время я понемногу осваивался с мистером Ранкилером и чем тверже чувствовал почву под ногами, тем более обретал уверенности в себе. И на этот выпад, который я сам сделал с затаенной улыбкой, он откровенно расхохотался.

— Ну, ну, вы сгустили краски,— сказал он.— *Fui, non sum*[1]. Я и правда был поверенным в делах вашего дядюшки, но меж тем, как вы (*imberbis juvenis custode remoto*[2]) развлекались на западе, здесь немало воды

[1] Был, но не являюсь (*лат.*).
[2] Безбородый юнец без присмотра (*лат.*).

утекло; и если уши у вас не горели, то никак не оттого, что вас тут мало поминали. В тот самый день, когда вы потерпели бедствие на море, ко мне в контору пожаловал мистер Кемпбелл и потребовал, чтобы ему во что бы то ни стало предъявили вашу особу. О вашем существовании я даже не подозревал; а вот батюшку вашего знавал коротко, и, судя по сведениям, коими располагаю (и кои затрону позднее), я склонен был опасаться наихудшего исхода. Мистер Эбенезер признал, что виделся с вами; заявил (хоть это представлялось малоправдоподобным), будто бы вручил вам значительные деньги и вы отбыли в Европу, вознамерясь завершить свое образование, что было и правдоподобно и вместе похвально. На вопрос, как могло статься, что вы не известили о том мистера Кемпбелла, он показал, будто вы изъявили большое желание порвать всякие связи с прошлым. На дальнейшие вопросы о нынешнем вашем местопребывании отговорился неведением, однако предположил, что вы в Лейдене. Таков вкратце смысл его ответов. Не убежден, что кто-нибудь поверил им,— с улыбкой продолжал мистер Ранкилер.— В особенности же прогневили его некоторые выражения, которые позволил себе употребить я, так что, коротко говоря, он указал мне на дверь. Мы, таким образом, оказались в совершенном тупике, ибо как ни хитроумны были наши догадки, им не было и тени доказательств. И в это самое время, откуда ни возьмись,— капитан Хозисон с вестью, что вы утонули; на том все раскрылось; однако без каких-либо последствий, кроме горя для мистера Кемпбелла. ущерба для моего кармана и нового пятна на имени вашего дяди, коих и без того было предовольно. Так что теперь, мистер Бэлфур,— заключил он,— вы уяснили себе ход событий и в состоянии судить, в какой мере мне можно довериться.

Строго говоря, он излагал события куда более деловито и точно, чем я способен передать, и обильней перемежал их латинскими изречениями, однако говорилось все это с подкупающей благожелательностью во взгляде и повадках, которая изрядно растопила мою отчужденность. Более того, я видел, что теперь он держится. как если б всякие сомнения, кто я таков, отпали; стало быть, первый шаг был сделан: доказано, что я не самозванец.

— Сэр, если все рассказывать, как есть,— сказал я,— я должен вверить вашей деликатности жизнь друга.

Дайте мне слово свято блюсти его тайну, во всем же, что касается меня, я не прошу иной поруки, чем то, что читаю в вашем лице.

Он с величайшей серьезностью дал мне слово.

— Замечу лишь,— сказал он,— что эти оговорки настораживают, и если в повести вашей содержатся хотя б ничтожные трения с законом, я просил бы вас считаться с тем, что я слуга закона, и касаться их мимоходом.

После того я рассказал ему свою историю с самого начала, а он слушал, сдвинув на лоб очки и прикрыв глаза, так что я иногда начинал побаиваться, не уснул ли он. Но ничуть не бывало! Он схватывал каждое слово (как я впоследствии убедился) с такой живостью восприятия и остротою памяти, что я порой только диву давался. Даже чуждые уху, непривычные гэльские имена, единожды в тот случай услышанные, он уловил и часто мне припоминал через многие годы. Вот только когда я назвал полным именем Алана Брека, у нас состоялось прелюбопытное объяснение. После эпинского убийства и объявления о награде имя Алана, разумеется, гремело по всей Шотландии; но едва оно сорвалось с моих уст, как стряпчий задвигался в кресле и открыл глаза.

— Я бы не называл лишних имен, мистер Бэлфур,— сказал он,— тем более имен горцев, многие из коих не в ладах с законом.

— Быть может, и не стоило называть,— сказал я,— но коль уж вырвалось, остается лишь говорить все до конца.

— Отнюдь,— возразил мистер Ранкилер.— Я, как от вас, возможно, не укрылось, туговат на ухо и вовсе не уверен, что правильно расслышал это имя. С вашего изволения, мы будем впредь именовать вашего друга мистер Томсон, дабы не вызывать излишних сопоставлений, и если вам приведется еще упомянуть кого-нибудь из горцев, живых или почивших, я поступал бы на вашем месте точно так же.

Из этих слов я заключил, что имя он расслышал как нельзя лучше и угадал, что скоро я, пожалуй, заведу речь про убийство. Впрочем, он волен был прикидываться глухим, если хотел, меня это не касалось; я только усмехнулся, заметив, что Томсон не ахти какое горское имя, и согласился. Так до конца моей повести Алан и оставался мистером Томсоном; и это было тем забавнее, что самому ему такая уловка очень пришлась бы по вку-

су. Джемс Стюарт подобным же образом выведен был как сородич мистера Томсона; Колин Кемпбелл сошел за мистера Глена; когда же настал черед Клуни, я окрестил его вождем горного клана мистером Джемсоном. Все это было шито белыми нитками, и мне удивительным казалось, как только стряпчему не прискучит вести эту игру; но в конце концов она была вполне в духе того времени, когда в стране боролись две партии, и мирный обыватель без излишне горячей приверженности к обеим выискивал себе любую щель, лишь бы не затронуть ненароком ни ту, ни другую.

— Ну и ну,— заметил стряпчий, когда я договорил до конца,— прямо эпическое сказание, прямо Одиссея своего рода. Вам ее непременно следует переложить на добрую латынь, когда пополните свою ученость; либо поведать на английском, если угодно, хотя сам я отдаю предпочтение латинской мощи. Вы поскитались изрядно. *Quoe regio in terris*[1] — какую только область в Шотландии (да простится мне это доморощенное толкование) не исходили вы в ваших странствиях! Вы проявили к тому же редкостную способность попадать в ложные положения — и, надо признать, в общем, подобающим образом при том держаться. Мистер же Томсон мне представляется джентльменом изрядных достоинств, хотя, возможно, и несколько кровожадным. Тем не менее я был бы рад и счастлив, когда бы он (вкупе со всеми заслугами своими) покоился где-нибудь на дне Северного моря, ибо с человеком этим, мистер Дэвид, хлопот будет полон рот. Однако вы, несомненно, более чем правы, что храните ему верность, ведь он сам хранил вам верность беззаветно. Выходит, можно сказать, что он был вам незаменимым спутником, а также *paribus curis vestigia figit*[2], ведь, полагаю, вам обоим приходили невзначай в голову мысли о виселице. Ну что ж, по счастью, дни сии миновали, и, думаю (не как законник, но как человек), страданиям вашим недалек конец.

Он разглагольствовал о моих приключениях, а сам поглядывал на меня с такою благожелательной и безобидной веселостью, что я насилу мог скрыть удовольствие. Я столько терся среди людей, для которых не писаны никакие законы, столько раз ложился спать на

[1] Какое место на земле *(лат.)*.
[2] Одинаковыми трудами запечатлел следы *(лат.)*.

склонах гор под открытым небом, что просто чудом казалось вновь сидеть под кровлей в чисто прибранном доме и вести задушевную беседу с почтенным человеком в кафтане тонкого сукна. При этой мысли взгляд мой упал на мое непристойное отрепье, и смущение охватило меня с новой силой. Стряпчий перехватил мой взгляд и правильно истолковал. Он встал, крикнул с лестницы, чтобы подан был лишний прибор, потому что мистер Бэлфур останется к обеду, и проводил меня в спальню в верхних покоях дома. Тут он мне дал кувшин с водою, мыло и гребень, разложил на постели платье, которое принадлежало его сыну, а засим, с приличным случаю латинским изречением, удалился, дабы я мог привести себя в порядок.

ГЛАВА XXVIII

Я ИДУ ВЫЗВОЛЯТЬ СВОЕ НАСЛЕДСТВО

По мере сил я придал себе благопристойный вид; куда как отрадно было поглядеться в зеркало и увидать, что нищий голодранец канул в прошлое и вновь вернулся к жизни Дэвид Бэлфур. А все же меня тяготила эта перемена и пуще всего платье с чужого плеча. Когда я был готов, меня встретил на лестнице мистер Ранкилер, похвалил мою наружность и опять повел в свою рабочую комнату.

— Прошу садиться, мистер Дэвид,— сказал он.— Итак, теперь вы более походите на самого себя, давайте ж поглядим, не помогу ли я вам узнать кое-что новое. Вы, верно, строите догадки об отношениях между батюшкой вашим и дядей? Да, это удивительная повесть, и меня, право, смущает надобность объяснить ее вам. Ибо,— при этих словах стряпчий и в самом деле смешался,— всему виной любовная история.

— Право, мне трудно сочетать такое объяснение с обликом дяди,— сказал я.

— Но дядя ваш, мистер Дэвид, не вечно был старик,— возразил стряпчий,— и, что вас, очевидно, удивит еще сильнее, не вечно был безобразен. Облик его дышал отвагой и благородством, люди спешили на порог, чтобы взглянуть, как он проносится мимо на ретивом скакуне. Я видел это собственными глазами, и,

честно вам признаюсь, не без зависти, потому что сам был нехорош собою и незнатен, так что в те дни мог бы сказать: *Odi te, qui bellus es, Sabelle*[1].

— Это похоже на сон какой-то,— сказал я.

— Да, да,— сказал мистер Ранкилер,— так расправляются с юностью годы. Мало того, в нем чувствовалась недюжинная и многообещающая личность. В 1715 году он убежал из дому, и как бы вы думали, для чего? Чтобы примкнуть к мятежникам. Не кто иной, как ваш батюшка, устремился за ним вдогонку, отыскал где-то на дне канавы и, к веселию всей округи, *multum gementem*[2] водворил под отчий кров. Однако, *majora canamus*[3]: братья полюбили, и притом одну и ту же особу. Мистер Эбенезер, всеобщий баловень, привыкший к обожанию, был, надо полагать, твердо уверен, что покорит ее сердце, и, когда понял, что обманулся, закусил удила. Вся округа знала о его муках; то он валился в постель от сердечного недуга, а безмозглое семейство его в слезах толпилось у изголовья; то бродил из одного кабака в другой, изливая свои печали каждому встречному и поперечному. Ваш батюшка, мистер Дэвид, был человек добрый, но слабодушный, непозволительно слабодушный; всю эту дурь он принял всерьез и в один прекрасный день, изволите ли видеть, ради брата отказался от дамы сердца. Девица сия, однако, была много умнее — это вам от нее, видно, достался ваш превосходный здравый смысл — и не пожелала, чтобы ею перебрасывались, как мячом. Оба молили ее на коленях, и дело кончилось тем, что она и тому и другому указала на дверь. То было в августе — подумать только, в тот самый год, как я воротился из колледжа! Да, препотешная, верно, была картинка!

Мне и самому подумалось, что это дурацкая история, но тут был замешан мой отец, и этого нельзя было забывать.

— Согласитесь, сэр, в ней присутствует и трагический оттенок,— сказал я.

— Нисколько, сударь мой, нисколько,— возразил стряпчий.— Ибо трагедия предполагает предметом спора нечто значительное, нечто *dignus vindice nodus*[4].

[1] Ненавижу тебя, прекрасный сабинянин *(лат.)*.
[2] Горько вздыхающего *(лат.)*.
[3] Будем петь далее *(лат.)*.
[4] Достойное вмешательства бога-мстителя *(лат.)*.

Здесь же вся каша заварилась по прихоти молодого осла, которого не в меру избаловали и которому ничто так не пошло б на пользу, как если бы его стреножить и угостить кнутом. Однако ваш батюшка придерживался иного взгляда; он шел на одну уступку за другой, меж тем как дядя ваш все необузданнее предавался приступам уязвленного себялюбия, и завершилось все своеобразным соглашением между ними, губительные последствия коего вам довелось за последнее время столь болезненно ощутить на себе. Одному брату досталась избранница, другому — имение. Знаете ли, мистер Дэвид, много ведется разговоров о великодушии и милосердии, а я вот частенько думаю, что на подобном жизненном распутье счастливейший исход бывает, когда идут за советом к законнику и принимают все, что полагается по закону. Во всяком случае, донкихотский поступок вашего отца, несправедливый в самом корне своем, породил чудовищный выводок несправедливостей. Родители ваши до самой смерти прозябали в бедности, вам было отказано в должном воспитании, а каково тем временем пришлось арендаторам имения Шос! И каково (хотя меня это не слишком беспокоит) пришлось тем временем мистеру Эбенезеру!

— Но это и есть самое поразительное,— сказал я,— что человек способен был настолько измениться.

— И да и нет,— сказал мистер Ранкилер.— Это естественно, по-моему. У него не было причин считать, что он сыграл достойную роль. Те, кто все знал, от него отшатнулись, а кто не знал, видя, что один брат исчез, а другой завладел поместьем, пустили слухи об убийстве, так что он остался в полном одиночестве. Деньги — вот все, чего он добился от этой сделки; что же, тем выше стал он ценить деньги. Он был себялюбец в молодые лета и ныне, в старости, остался себялюбец, а во что выродились его высокие чувства и утонченные манеры, вы видели сами.

— Ну, а в какое положение, сэр, все это ставит меня? — спросил я.

— Поместье, безусловно, ваше,— отвечал стряпчий.— Что бы там ваш батюшка ни подписал, наследником остаетесь вы. Однако дядя у вас таков, что будет оспаривать неоспоримое и, вероятней всего, попробует утверждать, что вы не тот, за кого себя выдаете. Тяжба в суде всегда обходится дорого, при семейной же тяжбе

неизбежна постыдная огласка Кроме того, случись, что вскроется хоть доля правды о ваших похождениях с мистером Томсоном, мы же на этом можем и обжечься. Похищение, разумеется, было бы для нас решающим козырем, если б его удалось доказать. А доказать его, пожалуй, будет трудно, и мой совет, памятуя обо всем этом, решить дело с вашим дядей полюбовно, даже, возможно, дать ему дожить свой век в замке Шос, где он за двадцать пять лет пустил глубокие корни, и удовольствоваться покамест солидным обеспечением.

Я сказал, что охотно пойду на уступки и что, естественно, менее всего желал бы предавать гласности семейные дрязги. А между тем в голове моей начал понемногу созревать замысел, который лег потом в основу наших действий.

— Стало быть, важней всего заставить его признаться, что он виновник похищения? — спросил я.

— Определенно,— сказал мистер Ранкилер,— и лучше, чтоб не в зале суда. Сами подумайте, мистер Дэвид: конечно, мы могли бы отыскать каких-то матросов с «Завета», которые покажут под присягой, что вас держали взаперти, но стоит им встать на свидетельское место, и мы более не в силах будем ограничить их показания, и кто-нибудь уж непременно обронит словцо про вашего друга мистера Томсона. А это (судя по тому, что я слыхал от вас) не весьма желательно.

— Знаете, сэр,— сказал я,— кажется, я кое-что надумал.

И я раскрыл ему свой замысел.

— Да, но тут, как я понимаю, неминуема моя встреча с этим Томсоном? — сказал он, когда я замолчал.

— Думаю, да, сэр,— сказал я.

— Вот ведь беда! — вскричал он, потирая лоб — Ах ты, беда какая! Нет, мистер Дэвид, боюсь, что замысел ваш неприемлем. Я ничего не хочу сказать против вашего друга, я ничего предосудительного про мистера Томсона не знаю, а если б знал — заметьте себе, мистер Дэвид,— мой долг повелевал бы мне его схватить. Судите ж сами: есть ли нам резон встречаться? Как знать, а вдруг на нем лежит еще иная вина? А вдруг он вам не все сказал? Вдруг его и зовут вовсе не Томсон! — вскричал, хитро мне подмигнув, стряпчий.— Такой народец пóходя себе подцепит больше имен, чем иной ягод с ветки боярышника.

— Вам решать, сэр,— сказал я.

И все же очевидно было, что поданная мною мысль овладела его воображением, ибо, покуда нас не позвали к обеду, пред ясные очи миссис Ранкилер, он все обдумывал что-то про себя; и не успела хозяйка дома удалиться, оставив нас вдвоем за бутылкою вина, как он начал придирчиво выспрашивать у меня подробности моей затеи. Когда и где назначено у нас свидание с другом моим мистером Томсоном, вполне ли можно положиться на порядочность означенного Томсона; согласен ли я буду на такие-то условия, в случае если старый лис-дядя попадется на приманку,— эти и им подобные вопросы неспешной чередою шли ко мне от мистера Ранкилера, меж тем как он глубокомысленно смаковал вино. Когда же я на все ответил, видимо, так, что он остался доволен, он впал в еще более глубокое раздумье; даже и красное вино было теперь забыто. Потом он вынул лист бумаги, карандаш и принялся что-то писать, тщательно взвешивая всякое слово; а дописав, звякнул колокольчиком, и явился письмоводитель.

— Торренс,— сказал стряпчий,— к вечеру эта бумага должна быть списана начисто; а как управитесь, будьте добры надеть шляпу и приготовьтесь сопровождать нас с этим джентльменом — вы можете понадобиться как свидетель.

— Ба, сэр, так вы отважились? — вскричал я, едва за писцом закрылась дверь.

— Как видите,— ответствовал мистер Ранкилер, вновь наполняя свой бокал.— Ну, а теперь оставимте дела. Торренс своим появлением привел мне на память забавный случай, какой произошел несколько лет назад, когда у нас с сим злополучным растяпою условлено было о встрече на главной площади в Эдинбурге. Каждый отправился по своему делу, а к четырем часам Торренс успел пропустить стаканчик и не узнал хозяина, я же забыл дома очки и без них, по слепоте своей, даю вам слово, не признал собственного служителя.— И стряпчий громко рассмеялся.

Я тоже улыбнулся из учтивости и заметил, что случай и впрямь не из обычных, но удивительное дело: весь день мистер Ранкилер вновь и вновь возвращался к этому происшествию и пересказывал его сначала с новыми подробностями и новыми раскатами смеха, так

что мне под конец стало не по себе от этой блажи моего новоявленного друга и я не знал, куда девать глаза.

Незадолго до условленного часа нашей с Аланом встречи мы вышли из дому: мистер Ранкилер об руку со мной, а позади, с бумагою в кармане и крытой корзиной в руке,— Торренс. Пока мы шли по городу, стряпчий на каждом шагу раскланивался направо и налево, и всякий встречный норовил его остановить по делу личного или служебного свойства; видно было, что мистера Ранкилера в округе очень почитают. Но вот домá остались позади, и мы направились по краю гавани в сторону трактира «Боярышник» и паромного причала, к тем самым местам, где надо мною учинили злодеяние. Я не мог смотреть на них равнодушно, припомнив, скольких из тех, кто был тогда рядом, более нет: и Рансома, хоть он, можно надеяться, избавлен тем от худшей участи; и Шуана,— страшно подумать, где он теперь; и тех несчастных, которые пустились вместе с бригом в последнее плавание — на дно. Их всех и самый бриг я пережил; невредимым прошел сквозь тяжкие испытания и грозные опасности. Казалось бы, о чем еще печалиться: будь благодарен, и только; а меж тем при виде этих мест я не мог не ощутить скорбь об ушедших и холодок запоздалого страха...

Так шел я, предаваясь своим думам, как вдруг мистер Ранкилер вскрикнул, похлопал себя по карманам и залился смехом.

— Нет, как вам это понравится! — вскричал он.— После всего, что я твердил весь день, забыть очки — вот потеха!

Тут я, конечно, раскусил, для чего повторялась та побасенка, и смекнул, что очки были забыты дома с умыслом, дабы и помощью Алановой не пренебречь и избежать щекотливой надобности признать его в лицо. Да, это было ловко придумано: разве мог теперь Ранкилер (в случае если б дела приняли наихудший оборот) опознать под присягою моего друга? И кто бы мог его заставить дать показания, порочащие меня? Все так, но долгонько он что-то не обнаруживал свою забывчивость, да и когда мы шли по городу, сумел же без труда узнать стольких людей, с которыми разговаривал...— Словом, в душе-то я не сомневался, что он видит вполне сносно и без очков.

Едва мы миновали «Боярышник» (на пороге курил трубку хозяин, я узнал его и удивился, что он нисколько не постарел), как мистер Ранкилер изменил порядок в нашем шествии: сам пошел сзади с Торренсом, а меня выслал вперед, как бы на разведку. Я стал подыматься по склону холма, время от времени принимаясь насвистывать свой гэльский напев; и наконец с радостью заслышал ответный посвист и увидел, как из-за куста встает Алан. Он был слегка подавлен после долгого дня, который провел в одиночестве, скрываясь по окрестностям, и после убогой трапезы в дрянной пивнушке возле Дандаса. Впрочем, при виде моего платья он вмиг повеселел, а узнав от меня, как успешно подвигаются наши дела и какая роль отведена ему в решающих событиях, совершенно преобразился.

— Очень похвальная мысль,— одобрил он.— И прямо скажу, более подходящего человека на эту роль, чем Алан Брек, вам не сыскать. Такое, заметь себе, не каждому дано, здесь требуется сообразительность. Однако, я чаю, стряпчему твоему уже не терпится меня увидеть.

Я крикнул мистеру Ранкилеру и помахал ему рукой, он подошел один и был представлен моему другу мистеру Томсону.

— Рад нашему знакомству, мистер Томсон,— молвил он.— Я, к сожалению, позабыл свои очки, а без них — вот и наш друг мистер Дэвид то же скажет (он похлопал меня по плечу) — я слеп, как крот, и пусть уж вас не удивит, ежели завтра я пройду мимо вас и не узнаю.

Сказал он это, думая Алана обнадежить, но и меньшего было б довольно, чтобы уязвить самолюбие горца.

— Помилуйте, сэр, что за важность,— чопорно сказал он,— когда мы сошлись с единою целью добиться, чтобы мистеру Бэлфуру оказана была справедливость, и, сколько я могу судить, едва ль, помимо этого, найдем что-либо общее. Впрочем, я принимаю ваше извинение, оно было вполне уместно.

— А я на большее и рассчитывать не дерзну, мистер Томсон,— сердечно сказал Ранкилер.— Ну-с, а теперь, коль скоро в этом предприятии главные лицедеи вы да я, нам следует, я полагаю, все до тонкости обсудить, а потому не откажите в любезности дать мне руку, а то я не совсем отчетливо разбираю дорогу — и

темнота, знаете ли, да и очки забыл... Вы же, мистер Дэвид, тем временем найдете славного собеседника в Торренсе. Только дозвольте вам напомнить, что нет решительно никакой нужды посвящать его в подробности ваших и мистера... хм... Томсона приключений.

И оба, истово друг с другом беседуя, пошли вперед, а мы с Торренсом замыкали шествие.

Совсем стемнело, когда пред нами показался замок Шос. Не так давно пробило десять; было безлунно и тепло, мягкий юго-западный ветерок шуршал в листве, заглушая звук наших шагов; мы подошли ближе, но ни проблеска света не было видно ни в одной части замка. Вероятно, дядя уж лег в постель, что для нас оказалось бы как нельзя лучше. Не доходя шагов пятидесяти, мы напоследок шепотом посовещались, а после с Торренсом и стряпчим неслышно подкрались вплотную к замку и спрятались за углом, и едва мы укрылись, как Алан, не таясь, прошествовал к дверям и громко постучал.

ГЛАВА XXIX

Я ВСТУПАЮ В СВОИ ВЛАДЕНИЯ

Довольно долго Алан барабанил по двери впустую, и стук его лишь отдавался эхом в замке и разносился окрест. Но вот тихонько скрипнул оконный шпингалет, и я понял, что дядя занял свой наблюдательный пост. При скудном свете он мог разглядеть только Алана, черной тенью стоящего на пороге; три свидетеля были недосягаемы для его взора; казалось бы, чего тут опасаться честному человеку в собственном доме? Меж тем он первые минуты изучал ночного гостя в молчании, а когда заговорил, то нетвердым голосом, как будто чуя подвох.

— Кто там? — проговорил он.— Добрые люди по ночам не шатаются, а с ночными птицами у меня разговор короткий. Чего надо? А не то у меня и мушкетон имеется.

— Это не вы ли, мистер Бэлфур? — отозвался Алан, отступая назад и вглядываясь в темное окно.— Поосторожнее там с мушкетоном, штука ненадежная, не ровен час, выстрелит.

— Чего надо-то? И кто вы сами будете? — со злобой проскрипел дядя.

— Имя свое мне нет особой охоты горланить на всю округу,— сказал Алан,— а вот что́ мне здесь надобно, это дело другого рода, и скорей вас затрагивает, нежели меня. Коли угодно, извольте, переложу на музыку и вам спою.

— Какое там еще дело? — спросил дядя.

— Дэвид,— молвил Алан.

— Что? Что такое? — совсем другим голосом спросил дядя.

— Ну как, полным именем называть, что ли? — сказал Алан.

Наступило молчание.

— Пожалуй, впущу-ка я вас в дом,— неуверенно проговорил дядя.

— Еще бы не впустить,— сказал Алан.— Только вопрос, пойду ли я. Вот что я вам скажу: лучше потолкуем мы с вами об этом деле прямо тут, на пороге — причем либо так, либо никак, понятно? У меня, знаете, упрямства будет не меньше вашего, а родовитости гораздо поболе.

Такой поворот событий обескуражил Эбенезера; какое-то время он молча осваивался, потом сказал:

— Ну, что поделаешь, раз надо, так надо,— и затворил окно.

Однако же прошел немалый срок, покуда он спустился с лестницы, и еще больший — пока отомкнул все замки, коря себя (я полагаю) и терзаясь новыми приступами страха на каждой ступеньке, перед каждым засовом и крюком. Но наконец послышался скрип петель: как видно, дядя со всяческими предосторожностями протиснулся за порог и (видя, что Алан отошел на несколько шагов) уселся на верхней ступеньке с мушкетоном наготове.

— Вы берегитесь,— сказал он,— мушкетон заряжен, шаг сделаете — и считайте, что вы покойник.

— Ух ты! — отозвался Алан.— До чего любезно сказано.

— А что,— сказал дядя,— обстоятельства настораживают, стало быть, мне и след держаться настороже. Ну, значит, уговорились — теперь можете выкладывать, с чем пришли.

— Что ж,— начал Алан,— вы, как человек догадливый, верно, смекнули уже, что я родом из горного края. Имя мое к делу не относится, скажу только, что моя родная земля не столь далеко от острова Малл, о котором вы, думаю, слыхали. Случилось так, что в местах этих разбилось судно, а на другой день один мой родич собирал по отмелям обломки на топливо да вдруг и натолкнись на юнца, утопленника, стало быть. Ну, откачал он малого; потом кликнул других, и упрятали они того юнца в развалины старого замка, где и сидит он по сю пору, а содержать его моим родным обременительно. Родня у меня — народ вольный, закон блюдет не так строго, как кое-кто; проведали они, что юнец из порядочной семьи и вам, мистер Бэлфур, родной племянник, да и попросили, чтоб я к вам заглянул и столковался на сей счет. Могу вас сразу упредить, что если мы не придем к согласию, едва ли вы когда еще с ним свидитесь. Потому что родичи мои,— просто прибавил Алан,— достатком похвалиться не могут.

Дядя прочистил горло.

— Печаль невелика,— сказал он.— Он и всегда-то малый был никчемный, так чего ради мне его вызволять?

— Ага, вижу я, куда вы гнете,— сказал Алан.— Прикидываетесь, будто вам дела нет, чтобы сбавить выкуп.

— Ничуть не бывало,— сказал дядя,— это чистая правда. Судьба малого меня ничуть не трогает, никаких выкупов я платить не собираюсь, так что по мне хоть на мыло его пускайте.

— Черт побери, сэр, родная кровь — не шутка! — вскричал Алан.— Как можно отринуть братнина сына, ведь это стыд и позор! А коли вы и решитесь на это, не очень-то, я полагаю, вас будут жаловать в здешних краях, если прознают.

— Меня и так не очень жалуют,— сказал Эбенезер.— Да и потом, откуда людям дознаться? Конечно уж, не от меня и не от вас или от ваших родичей. Так что пустой это разговор, мил человек.

— Тогда, значит, сам Дэвид расскажет,— сказал Алан.

— Это как же? — встревожился дядя.

— А вот так,— сказал Алан.— Мои родичи, понятно, племянничка вашего продержат лишь до тех пор, пока есть надежда за него выручить деньги, а коль такой надежды нет, я больше чем уверен, его отпустят на все четыре стороны, и пропади он пропадом!

— Нет, эдак тоже ни к чему,— сказал дядя.— Меня это не особо устроит.

— Так я и знал,— сказал Алан.

— Это отчего же? — спросил Эбенезер.

— Ну как же, мистер Бэлфур,— отвечал Алан.— По всему, что мне довелось слыхать, тут дело могло повернуться двояко: либо вы дорожите Дэвидом и согласитесь уплатить, чтобы он к вам вернулся, либо по очень веским причинам его присутствие вам нежелательно, и вы уплатите, чтоб мы его держали у себя. Похоже, что первого не наблюдается, ну, значит, быть второму, а для меня это благая весть — в моей же мошне прибавится, да и родные не будут внакладе.

— Что-то я не уразумею,— сказал дядя.

— Правда? — сказал Алан.— Ну, поглядите: малый вам тут не надобен; как бы вы желали с ним распорядиться и сколько за это заплатите?

Дядя не отозвался, только беспокойно поерзал на месте.

— Так вот что, сэр! — вскричал Алан.— Было бы вам известно, я дворянин; я ношу королевское имя; я не бродячий торговец какой-нибудь, чтоб обивать у вас пороги. Иль вы дадите мне учтивый ответ, причем сей же час, или, клянусь скалами Гленко, я все кишки из вас выпущу.

— Эй, уважаемый, полегче! — возопил дядя, с трудом поднимаясь на ноги.— Какая муха вас укусила? Я же простой человек, а не учитель танцев, и я, ей-ей, стараюсь соблюдать учтивость. Это вы такую дичь порете, что стыдно слушать. Кишки выпустит, ишь ты, какой скорый! — огрызнулся дядя.— А как насчет моего мушкетона?

— Что порох в ваших дряхлых руках против блестящей стали в руке Алана? — отвечал мой друг.— То же, что сонная улитка противу быстрокрылой ласточки. Вам не успеть курок нашарить своим неуклюжим пальцем, как рукоятка моей шпаги затрепещет на вашей груди.

— Э, уважаемый, да кто же спорит? — сказал дядя.— Извольте, будь по-вашему, я вам ни в чем не по-

перечу. Только скажите, что вам надобно, и увидите, мы с вами мигом поладим.

— Я, сэр, хочу лишь одного,— сказал Алан,— чтобы со мною не юлили. Ну, словом, коротко и ясно: убить вам мальчишку или держать под замком?

— Ах ты, грехи какие! — всполошился Эбенезер.— Ах, грехи! И как это язык поворотится!

— Убить или оставить в живых? — повторил Алан.

— В живых оставить, в живых! — причитал дядюшка.— И никаких кровопролитий, сделайте милость.

— Что ж, это как угодно,— сказал Алан.— Только так обойдется дороже.

— Дороже? — закричал Эбенезер.— Неужто вы не погнушаетесь осквернить руки преступлением?

— Ха! — бросил Алан.— Все едино, то и другое преступление. Зато убить было бы проще, быстрее и верней. А содержать малого — дело хлопотное, мороки не оберешься.

— Я все же предпочту, чтоб он остался жив,— сказал Эбенезер.— Я никогда к нечистым делам не был причастен, и для того, чтобы потрафить дикому горцу, начинать не собираюсь.

— Глядите, совестливый какой...— насмешливо обронил Алан.

— Я человек твердых убеждений,— просто сказал Эбенезер.— А если мне за то приходится платить, я расплачиваюсь. К тому же,— прибавил он,— не забывайте, что юнец — сын моего родного брата.

— Хм, ну-ну,— сказал Алан.— Тогда потолкуем насчет цены. Назвать ее довольно затруднительно, сперва придется выяснить кой-какие незначащие обстоятельства. Недурно бы узнать, к примеру, сколько вы дали в задаток Хозисону.

— Хозисону? — ошеломленно вскричал дядя.— За что?

— А чтоб похитил Дэвида,— сказал Алан.

— Ложь это, наглая ложь! — завопил дядя.— Никто его не похищал. Это вам бессовестно налгали. Похитил! Да ни в жизнь!

— Если его и не похитили, не наша с вами в том заслуга,— сказал Алан.— И не Хозисона, если верить тому, что он сказал.

— То есть как это? — вскричал Эбенезер.— Значит, Хозисон вам все рассказал?

— А ты как думал, дубина ты старая! — закричал Алан.— Откуда же еще мне знать об этом? Мы с Хозисоном заодно, он со мной в доле — теперь сами видите; есть ли вам польза лгать... Да, прямо скажу, почтенный, дурака вы сваляли, что того морячка так основательно посвятили в свои дела. Но о том поздно горевать: что посеешь, то и пожнешь. Вопрос в другом: сколько вы ему заплатили?

— А сам он вам не сказывал? — спросил дядя.

— Уж это мое дело,— ответил Алан.

— Ну, все едино,— сказал дядя.— Что бы он там ни плел, то наглая ложь, а правда, как перед господом богом, вот она: заплатил я ему двадцать фунтов. Но скажу начистоту: помимо этого, ему предназначалась выручка, когда запродаст малого в Каролине, а это был бы кус пожирней, но уж не из моего кармана, понятно?

— Благодарю вас, мистер Томсон. Этого совершенно довольно,— молвил стряпчий, выходя из-за угла.— Вечер добрый, мистер Бэлфур,— прибавил он с изысканной любезностью.

— Добрый вечер, дядя Эбенезер,— сказал и я.

— Славная выдалась погодка, мистер Бэлфур,— прибавил, в свой черед, Торренс.

Ни слова не сказал мой дядя, ни словечка, а как стоял, так и плюхнулся на верхнюю ступеньку и вытаращил на нас глаза, точно окаменев. Алан незаметно вынул у него из рук мушкетон; стряпчий же, взяв его под локоть, оторвал от порога, повел на кухню (следом вошли и мы) и усадил на стул возле очага, где еле теплился слабый огонек.

В первые мгновения мы все стояли и глядели на него, торжествуя, что дело завершилось столь успешно, однако же и с долей жалости к посрамленному противнику.

— Полно, мистер Эбенезер, полно,— промолвил стряпчий,— не нужно отчаиваться, я обещаю, что мы вам предъявим мягкие условия. А пока дайте-ка ключ от погреба, и Торренс в честь такого события достанет нам бутылочку вина из запасов вашего батюшки.— Он повернулся и взял меня за руку.— Мистер Дэвид,— сказал он,— я вам желаю всяческих радостей от этой доброй и, я полагаю, вполне вами заслуженной перемены в судьбе.— Вслед за тем он не без лукавства обра-

тился к Алану: — Мистер Томсон, позвольте выразить вам мое восхищение: вы свою роль провели с незаурядным искусством, и лишь одно я не вполне себе уяснил. Вас, как я понимаю, зовут Джемс или Карл? А если нет, значит, Георг?

— Отчего же, сэр, я непременно должен зваться каким-то из этих трех имен? — воинственно произнес Алан и весь подобрался, словно бы учуяв обиду.

— Да нет, сэр, просто вы помянули про королевское имя,— невинно отозвался Ранкилер.— А так как короля Томсона до сих пор не бывало — во всяком случае, моих ушей слава о нем не достигла,— я рассудил, что, очевидно, вы имеете в виду то имя, которое вам дали при крещении.

Удар пришелся по больному месту; и не скрою, Алан принял его тяжело. Ни слова не сказав в ответ, он отошел в дальний угол кухни, сел и нахохлился; и только после того, как к нему подошел я, пожал ему руку и стал благодарить, сказав, что главная заслуга в моем торжестве принадлежит ему, он улыбнулся краем рта и согласился примкнуть к нашему обществу.

К тому времени уж был затоплен очаг и откупорена бутылка вина, а из корзины извлечена добрая снедь, которой мы с Торренсом и Аланом принялись отдавать должное; стряпчий же с дядюшкой уединились для переговоров в соседней комнате. Целый час совещались они при закрытых дверях; к исходу этого срока они пришли к соглашению, а после дядя с племянником по всей форме приложили к нему руку. Его условия обязывали дядю уплатить вознаграждение Ранкилеру за посредничество, а мне ежегодно выплачивать две трети чистого дохода от имения Шос.

Так обездоленный бродяга из баллады вступил в свои владения; в ту ночь я улегся спать на кухонные сундуки состоятельным человеком, отпрыском знатной фамилии. Алан, Торренс и Ранкилер безмятежно похрапывали на своих жестких постелях; я же — хоть столько дней и ночей валялся под открытым небом в грязи иль на камнях, зачастую на голодное брюхо, да еще в страхе за свою жизнь — был этой переменой к лучшему выбит из колеи, как ни одним ударом судьбы, и пролежал до самого рассвета, глядя, как пляшут на потолке тени от огня, и обдумывая будущее.

ГЛАВА XXX

ПРОЩАНИЕ

Что ж, я-то сам обрел пристанище, однако на моей совести оставался Алан, которому я столь многим был обязан; а на душе тяжелым камнем лежала и другая забота: Джемс Глен, облыжно обвиненный в убийстве. То и другое я наутро поверил Ранкилеру, когда мы с ним часов примерно в шесть прохаживались взад-вперед перед замком Шос, а вокруг, сколько хватало глаз, простирались поля и леса, принадлежавшие когда-то моим предкам, а ныне мои. Хоть и о мрачных предметах велась беседа, а взгляд мой нет-нет да и скользил любовно по этим далям, и мое сердце екало от гордости.

Что у меня прямой долг перед другом, стряпчий признал безоговорочно. Я обязан, чего бы мне то ни стоило, помочь ему выбраться из Шотландии; на участие в судьбе Джемса он смотрел совсем иначе.

— Мистер Томсон — это особая статья,— говорил он,— родич мистера Томсона — совсем другая. Я не довольно осведомлен о подробностях, но, сколько понимаю, дело решается не без вмешательства могущественного вельможи (мы будем, с вашего дозволения, именовать его Г. А.[1]), который, как полагают, относится к обвиняемому с известным предубеждением. Г. А., спору нет, дворянин отменных качеств, и все же, мистер Дэвид, *timeo qui nocuere deos*[2]. Если вы своим вмешательством вознамеритесь преградить ему путь к отмщению, помните, есть надежный способ отделаться от ваших свидетельских показаний: отправить вас на скамью подсудимых. А там вас ожидает столь же горестная участь, что и родича мистера Томсона. Вы возразите, что невиновны — так ведь и он неповинен. А быть судиму присяжными-горцами по поводу горской усобицы и притом, что на судейском кресле горец,— от такого суда до виселицы рукой подать.

Честно говоря, все эти доводы я и сам себе приводил, и возразить мне было нечего; а потому я призвал на помощь все простодушие, на какое был способен.

[1] Герцог Аргайлский. *(Прим. автора.)*
[2] Боюсь тех, которые вредят богам *(лат.)*.

— В таком случае, сэр,— сказал я,— мне, видно, ничего не останется, как пойти на виселицу?

— Дорогое дитя мое,— вскричал Ранкилер,— ступайте себе с богом и делайте, что считаете правильным! Хорош же я, что в свои-то лета наставляю вас на путь постыдный, хоть и надежный. Беру назад свои слова и приношу вам извинения. Ступайте и исполните свой долг и, коль придется, умрите на виселице честным человеком. В жизни бывает кое-что похуже виселицы.

— Немногое, сэр,— с улыбкой заметил я.

— Нет, сэр, позвольте! — вскричал он.— Очень многое. За примером ходить недалеко, вот дяде вашему раз в двадцать лучше бы и пристойней болтаться на виселице!

Сказав это, он воротился в замок (все еще в сильном возбуждении: видно, порыв мой очень пришелся ему по нраву) и принялся составлять для меня два письма, поясняя тем временем их назначение.

— Вот это,— говорил он,— доверительное письмо моим банкирам из Британского Льнопрядильного кредитного общества с просьбою открыть вам кредит. Все ходы и выходы вам подскажет мистер Томсон, он человек бывалый, вы же с помощью этого кредита добудете средства для побега. Надеюсь, вы будете рачительным хозяином своим деньгам; однако по отношению к такому другу, как мистер Томсон, я позволил бы себе даже расточительство. Что же касается родича его, тут для вас самое лучшее проникнуть к Генеральному прокурору, все ему рассказать и вызваться в свидетели; примет ли он ваше предложение, нет ли — это совсем другой вопрос, который будет зависеть уже от Г. А. Теперь, чтоб вас достойным образом представили Генеральному прокурору, я вам даю письмо к вашему ученому тезке, мистеру Бэлфуру из Пилрига, коего высоко почитаю. Для вас приличней быть представлену человеком одного с вами имени, а владелец Пилрига в большой чести у правоведов и пользуется расположением Генерального прокурора Гранта. На вашем месте я не обременял бы его излишними подробностями. И знаете что? Думаю, нет никакой надобности упоминать ему про мистера Томсона. Старайтесь перенять побольше у мистера Бэлфура, он образец, достойный подражания, когда же будете иметь дело с Генеральным прокурором,

блюдите осмотрительность, и во всех усилиях ваших, мистер Дэвид, да поможет вам господь!

Засим он распрощался с нами и в сопровождении Торренса направился к паромной переправе, а мы с Аланом, в свой черед, обратили стопы свои к городу Эдинбургу. Мы шли заросшей тропинкой мимо каменных столбов и недостроенной сторожки и все оглядывались на мое родовое гнездо. Замок стоял пустынный, огромный, холодный и словно нежилой; лишь в одном-единственном окошке наверху подпрыгивал туда-сюда, вверх-вниз, как заячьи уши в норе, кончик ночного колпака. Неласково встречали меня здесь, недобро принимали; но хоть по крайней мере мне глядели вслед, когда я уходил отсюда.

Неторопливо шли мы с Аланом своим путем, на разговор, на быструю ходьбу что-то не тянуло. Одна и та же мысль владела обоими: недалека минута разлуки; и память о минувших днях томила и преследовала нас. Нет, мы, конечно, говорили о том, что предстояло сделать, и было решено, что Алан будет держаться неподалеку, прячась то тут, то там, но непременно раз в день являясь на условленное место, где я бы мог снестись с ним либо самолично, либо через третье лицо. Мне же тем временем надлежало связаться с каким-либо стряпчим из эпинских Стюартов, чтобы можно было на него всецело положиться; обязанностью его будет сыскать подходящий корабль и устроить так, чтобы Алан благополучно погрузился. Едва мы все это обсудили, как обнаружилось, что слова более нейдут нам на язык, и, хоть я тщился поддразнивать Алана мистером Томсоном, а он меня — моим новым платьем и земельными владениями, нетрудно было догадаться, что нам вовсе не до смеха, а скорей хоть плачь.

Мы двинулись коротким путем по Корсторфинскому холму, и когда подошли к тому месту, что называется Переведи-Дыхание, и посмотрели вниз на Корсторфинские болота и далее, на город и увенчанную замком вершину, мы разом остановились, ибо знали без всяких слов, что тут пути наши расходятся. Мой друг мне снова повторил все, о чем мы уговорились: где сыскать стряпчего, в какой час его, Алана, можно будет застать в назначенном месте, какой условный знак должен подать тот, кто придет с ним свидеться. Потом я отдал ему все свои наличные деньги (всего-то-навсего две ги-

неи, полученные от Ранкилера), чтобы ему пока не голодать, потом мы постояли в молчании, глядя на Эдинбург.

— Ну что ж, прощай,— сказал Алан и протянул мне левую руку.

— Прощайте,— сказал я, порывисто стиснул ее и зашагал под гору.

Мы не подняли друг на друга глаза, и, покуда он был на виду, я ни разу не обернулся поглядеть на него. Но по дороге в город я чувствовал себя до того покинутым и одиноким, что впору сесть на обочину и разреветься, точно малое дитя.

Близился полдень, когда, минуя Уэсткирк и Грассмаркет, я вышел на столичные улицы. Высоченные дома по десять — пятнадцать ярусов; узкие, сводчатые ворота, изрыгающие бесконечную вереницу пешеходов; товары, разложенные в окнах лавок; гомон и суета, зловоние и роскошные наряды, множество поразительных, хоть и ничтожных мелочей ошеломили меня, и я в каком-то оцепенении отдался на волю текущей по улицам толпы и повлекся с нею неведомо куда и все то время ни о чем другом не мог думать, кроме как об Алане там, у Переведи-Дыхание, и (хоть скорее можно бы ожидать, что меня приведут в восхищение весь этот блеск и новизна) холодная тоска точила меня изнутри и словно сожаление, что что-то сделано не так.

Волею судьбы уличный поток прибил меня к самым дверям Британского Льнопрядильного кредитного общества.

Катриона

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР

ГЛАВА I

НИЩИЙ В РАЗЗОЛОЧЕННОМ СЕДЛЕ

25 августа 1751 года около двух часов дня, я, Дэвид Бэлфур, вышел из банка Британского Льнопрядильного кредитного общества; рядом шел рассыльный с мешком денег, а важные коммерсанты, стоя в дверях, провожали меня поклонами. Всего два дня назад, и даже еще вчера утром, я ничем не отличался от нищего бродяги, ходил в лохмотьях, без единого шиллинга в кармане, товарищем моим был приговоренный к виселице изменник, а из-за преступления, о котором шла молва по всей стране, за мою голову была объявлена награда. Сегодня, получив наследство, я вступил в новую жизнь, я стал богатым землевладельцем, банковский рассыльный нес в мешке мои деньги, в кармане лежали рекомендательные письма, словом, как говорится, я вытянул из колоды счастливую карту.

Однако же две тучки омрачали мой сияющий небосклон. Первая — то, что мне предстояло выполнить чрезвычайно трудное и опасное дело; вторая — окружавший меня город. Высокие, темные дома, толчея и шум на многолюдных улицах — все это было для меня ново и непривычно после поросших вереском склонов, песчаного морского берега и тихих деревень — словом, всего, что я знал до сих пор. Особенно меня смущала уличная толпа. Сын Ранкилера был ниже и тоньше меня, его одежда выглядела на мне кургузой, и, конечно, мне в таком виде негоже было гордо выступать впереди рассыльного. Люди, конечно, подняли бы меня на смех и, пожалуй (что в моем положении было еще хуже), начали бы

любопытствовать, кто я такой. Стало быть, мне следовало поскорее обзавестись собственной одеждой, а пока что шагать рядом с рассыльным, положив руку ему на плечо, как закадычному другу.

В одной из лавок Лакенбуса я оделся с ног до головы — не слишком роскошно, ибо мне вовсе не хотелось походить на нищего в раззолоченном седле,— но вполне прилично и солидно, так, чтобы слуги относились ко мне почтительно. Оттуда я направился к оружейнику, где приобрел плоскую шпагу, соответствовавшую моему новому положению. С оружием я чувствовал себя безопаснее, хотя, при моем неумении фехтовать, оно скорее представляло лишнюю опасность. Рассыльный, человек само собою опытный, одобрил мою одежду.

— Не броско,— сказал он,— все скромно и прилично. А рапира — ну, вам, конечно, положено ее носить, только на вашем месте я бы своими денежками распорядился поумнее.— И он посоветовал мне купить зимние панталоны у лавочницы в Каугейт-Бэк, которая приходилась ему родственницей — он особенно упирал на то, что они у нее «на редкость прочные».

Но у меня были другие, более неотложные дела. Меня окружал старый черный город, больше всего напоминавший кроличий садок, не только огромным количеством обитателей, но и сложным лабиринтом крытых проходов и тупичков. Вот уж поистине место, где ни один приезжий не сумеет разыскать друга, тем более, если тот тоже приезжий. Пусть даже ему посчастливится найти нужную улицу — эти высокие дома населены таким множеством людей, что можно потратить на поиски целый день, прежде чем найдешь нужную дверь. Поэтому здесь принято нанимать мальчишек, которых называют «бегунки»; такой «бегунок», как проводник или лоцман, приведет вас к цели, а когда вы закончите свое дело, проводит вас домой. Но эти «бегунки», которые постоянно занимаются подобного рода услугами и потому должны знать каждый дом и каждого жителя в городе, постепенно образовали некое общество шпионов; из рассказов мистера Кемпбелла я знал, что все они связаны друг с другом, что они проявляют к делам своих клиентов жгучее любопытство и стали глазами и пальцами полиции. В нынешнем моем положении было бы крайне неумно таскать за собой такую ищейку. Мне предстояло сделать три крайне необходимых, срочных

визита: к моему родственнику Бэлфуру из Пилрига, к стряпчему Стюарту, эпинскому поверенному, и к Уильяму Гранту, эсквайру из Престонгрэнджа, Генеральному прокурору Шотландии. Визит к мистеру Бэлфуру особого риска не представлял; кроме того, Пилриг находился в загородной местности, и я отважился бы разыскать к нему путь без посторонней помощи, полагаясь на свои ноги и знание шотландского языка. Но что касается двух других — здесь дело обстояло иначе. Мало того, что посещение эпинского поверенного сейчас, когда все только и говорят об эпинском убийстве, само по себе опасно,— оно к тому же совершенно несовместимо с визитом к Генеральному прокурору. Даже в лучшем случае разговор с ним у меня будет нелегкий, и если я к нему явлюсь прямиком от эпинского поверенного, это вряд ли улучшит мои дела, а моего друга Алана может простонапросто погубить. Кроме того, все это выглядело так, будто я веду двойную игру, что было мне сильно не по душе. Поэтому я решил прежде всего разделаться с мистером Стюартом и всем, что относилось к якобитам, использовав для этой цели моего рассыльного как проводника. Но случилось так, что едва я успел сказать ему адрес, как начался дождь, хоть и не сильный, но довольно опасный для моего нового костюма,— и мы укрылись под навесом в начале какой-то улочки или переулка.

Все в этом городе было для меня диковинно, и я из любопытства прошел несколько шагов по улочке. Узкая булыжная мостовая круто спускалась вниз. По обе стороны на спуске вырастали огромные, высокие дома, и каждый их этаж выступал над другим. Вверху виднелась лишь узенькая полоска неба. Судя по тому, что мне удалось подглядеть в окнах, и по солидному виду входивших и выходивших господ, я понял, что в домах обитает не простой люд, и вся эта улица заворожила меня, как сказка.

Я рассматривал ее, широко открыв глаза, как вдруг позади раздался быстрый мерный топот и звяканье стали. Мигом обернувшись, я увидел отряд вооруженных солдат, а среди них высокого человека в плаще. Он шел, чуть склонив голову, словно кого-то украдкой приветствуя учтивым поклоном; он даже слегка взмахнул рукой на ходу, и при этом на его красивом лице было хитрое выражение. Мне казалось, что он глядит в мою

сторону, но наши глаза так и не встретились. Процессия подошла к двери, которую распахнул слуга в нарядной ливрее; два молодых солдата повели пленника в дом, а остальные со своими кремневыми ружьями остались стоять у входа.

В городах любое уличное происшествие мгновенно собирает толпу зевак и ребятишек. Так было и сейчас, но затем толпа быстро растаяла и осталось только трое. Среди них была девушка, одетая, как леди, на шарфе вокруг ее шляпки я узнал цвета Драммондов; но ее товарищи, вернее сказать, спутники, были в лохмотьях, как все шотландские слуги — таких я видел немало во время своих странствий по горному краю. Все трое озабоченно о чем-то говорили на гэльском языке, который был приятен для моего слуха, так как напомнил об Алане; и хотя дождь уже прошел и мой рассыльный поторапливал меня продолжать путь, я подошел ближе к разговаривавшим, чтобы лучше слышать. Девушка резко выговаривала слугам, те оправдывались и лебезили пред ней, и мне стало ясно, что она принадлежит к семье вождя какого-то клана. Все трое рылись у себя в карманах — насколько я мог понять, им удалось наскрести всего полфартинга, и я усмехнулся: как видно, все уроженцы гор одинаковы — у них много достоинства и пустые кошельки.

Девушка случайно обернулась, и я увидел ее лицо. Нет на свете большего чуда, чем то, как женский образ проникает в сердце мужчины и оставляет в нем неизгладимый отпечаток, и он даже не понимает, почему; ему просто кажется, что именно этого ему до сих пор и недоставало. У девушки были прекрасные, яркие, как звезды, глаза, и, конечно, эти глаза сделали свое дело, но яснее всего мне запомнились ее чуть приоткрытые губы. Впрочем, не знаю, что меня больше всего поразило, но я уставился на нее, как болван. Для нее было неожиданностью, что кто-то стоит совсем рядом, и она задержала на мне удивленный взгляд, быть может, чуть дольше, чем позволяли приличия.

По своей деревенской простоте я подумал, что она поражена моей новой одеждой; я вспыхнул до корней волос, и, должно быть, выступившую на моем лице краску она истолковала по-своему, так как тут же отвела своих слуг подальше, и я уже не мог расслышать продолжения их спора.

Мне и раньше нравились девушки, правда, не настолько сильно и не с первого взгляда, но я всегда был склонен скорее отступать, чем идти напролом, так как очень боялся женских насмешек. Казалось бы, сейчас я тем более должен был по своему обыкновению отступить: ведь я встретил эту юную леди на улице, она, по-видимому, провожала арестованного, и с нею были два довольно неказистых оборванца. Но тут было особое обстоятельство: девушка, несомненно, заподозрила, что я хочу подслушать ее секреты, а сейчас, когда у меня была новая одежда и новая шпага, когда на меня, наконец, свалилась удача, я не мог отнестись к этому спокойно. Человек, попавший из грязи в князи, не хотел терпеть подобного унижения, тем более от этой юной леди.

Я последовал за ними и снял перед ней свою новую шляпу, стараясь проделать это как можно изящнее.

— Сударыня,— сказал я,— справедливости ради я должен вам объяснить, что не понимаю по-гэльски. Не отрицаю, я прислушивался, но это потому, что у меня есть друзья в горной Шотландии и слышать этот язык мне приятно, но что касается ваших личных дел, то, говори вы по-гречески, я понял бы столько же.

Она с надменным видом слегка присела.

— Что же тут дурного? — произнесла она с милым акцентом, похожим на английский (но гораздо приятнее).— Даже кошка может смотреть на короля.

— У меня и в мыслях не было вас обидеть,— сказал я.— Я не приучен к городскому обхождению; до нынешнего дня я еще никогда не входил в ворота Эдинбурга. Считайте меня деревенщиной,— так оно и есть, и лучше уж я предупрежу вас сразу, не дожидаясь, пока вы сами в этом убедитесь.

— Да, правда, здесь не принято заговаривать с незнакомыми на улице,— ответила она.— Но если вы из деревни, тогда это простительно. Я ведь тоже выросла в деревне, я, как видите, из горного края и очень тоскую по родным местам.

— Еще и недели нет, как я перешел границу,— сказал я.— Меньше недели назад я был на склонах Бэлкиддера.

— Бэлкиддера? — воскликнула она.— Неужели вы были в Бэлкиддере? От одного этого звука у меня радуется сердце. Быть может, вы пробыли там долго и встречались с кем-нибудь из наших друзей или родичей?

— Я жил у честнейшего, доброго человека по имени Дункан Ду Макларен,— ответил я.

— О, я знаю Дункана, и вы совершенно правы! — воскликнула она.— Он честный человек, и жена его — тоже честная женщина.

— Да,— подтвердил я,— они очень славные люди, а местность там прекрасная.

— Лучше не найти на всем свете! — воскликнула она.— Я люблю каждый запах тех мест и каждую травинку на той земле.

Я был бесконечно тронут воодушевлением девушки.

— Жаль, что я не привез вам оттуда веточки вереска,— сказал я.— И хотя я поступил нехорошо, заговорив с вами на улице, но раз уж у нас нашлись общие знакомые, окажите мне милость и не забывайте меня. Зовут меня Дэвидом Бэлфуром. Сегодня у меня счастливый день — я стал владельцем поместья, а совсем еще недавно находился в смертельной опасности. Прошу вас, запомните мое имя в память о Бэлкиддере, а я запомню ваше в память о моем счастливом дне.

— Мое имя нельзя назвать вслух,— очень надменно ответила она.— Уже больше ста лет никто его не произносит, разве только нечаянно. У меня нет имени, как у Мирного народца — эльфов. Я ношу имя Катрионы Драммонд.

Теперь-то я понял, кто передо мной. Во всей обширной Шотландии не было другого запрещенного имени, кроме имени Макгрегоров. Однако мне и в голову не пришло спасаться от этого опасного знакомства, и я нырнул в пучину еще глубже.

— Мне случилось встретиться с человеком, который находится в таком же положении,— сказал я,— и думается мне, он один из ваших друзей. Зовут его Робин Ойг.

— Не может быть! — воскликнула девушка.— Вы видели Роба?

— Я провел с ним под одной кровлей целую ночь.

— Он ночная птица,— сказала девушка.

— Там были волынки,— добавил я,— и вы можете легко догадаться, что время пролетело незаметно.

— Мне кажется, что вы нам, во всяком случае, не враг,— сказала она.— Тот, кого только что провели здесь красные мундиры,— его брат и мой отец.

— Неужели?— воскликнул я.— Стало быть, вы дочь Джемса Мора?

— Да, и притом единственная дочь,— ответила девушка,— дочь узника; а я почти забыла об этом и целый час болтаю с незнакомцем!

Тут к ней обратился один из слуг и на языке, который ему казался английским, спросил, как же все-таки «ей» (он имел в виду себя) раздобыть «хоть шепотку нюхального дабаку». Я пригляделся к нему: это был рыжий, кривоногий малый небольшого роста, с огромной головой, которого мне, к несчастью, пришлось потом узнать поближе.

— Не будет сегодня табаку, Нийл,— возразила девушка.— Как ты достанешь «шепотку» без денег? Пусть это послужит тебе уроком, в другой раз не будешь разиней; я уверена, что Джемс Мор будет не очень доволен Нийлом.

— Мисс Драммонд,— вмешался я,— сегодня, как я сказал, у меня счастливый день. Вон там рассыльный из банка, у него мои деньги. Вспомните, я ведь пользовался гостеприимством Бэлкиддера, вашей родины.

— Но ведь не мои родственники оказывали вам гостеприимство,— возразила она.

— Ну и что же,— ответил я,— зато я в долгу у вашего дядюшки за пение его волынки. А кроме того, я предложил себя вам в друзья, а вы были столь рассеянны, что не отказались вовремя.

— Будь это большая сумма,— сказала девушка,— это, вероятно, сделало бы вам честь. Но я объясню вам, что произошло. Джемс Мор сидит в тюрьме, закованный в кандалы, но в последнее время его каждый день водят сюда, к Генеральному прокурору...

— К прокурору? — воскликнул я.— Значит, это...

— Это дом Генерального прокурора Гранта из Престонгрэнджа,— сказала она.— Сюда то и дело приводят моего отца, а с какой целью, я совсем не знаю, но мне кажется, что для него забрезжила надежда. Они не разрешают мне видеть его, а ему — писать мне; вот мы и ждем здесь, на Кингз-стрит, когда его проведут мимо, и стараемся сунуть ему то немножко нюхательного табаку, то еще что-нибудь. И вот этот злосчастный Нийл, сын Дункана, потерял мой четырехпенсовик, отложенный на покупку табака, и теперь Джемс Мор уйдет ни с чем и будет думать, что дочь о нем позабыла.

Я вынул из кармана шестипенсовик, дал его Нийлу и велел сбегать за табаком.

— Эта монетка пришла со мной из Бэлкиддера,— сказал я девушке.

— А! — отозвалась она.— Вы друг Грегоров.

— Не стану вас обманывать,— сказал я.— О Грегорах я знаю очень мало, и еще меньше — о Джемсе Море и о его деяниях, но за то время, что я стою на этой улице, я узнал кое-что о вас; и если вы скажете «друг мисс Катрионы», я постараюсь, чтобы вы об этом не пожалели.

— Я и остальные — неразделимы,— сказала Катриона.

— Я постараюсь стать другом и для них.

— Но брать деньги от незнакомого человека! — воскликнула она.— Что вы обо мне подумаете?

— Ничего не подумаю, кроме того, что вы хорошая дочь,— сказал я.

— Я, разумеется, верну вам долг. Где вы остановились?

— По правде говоря, еще нигде, я всего три часа в этом городе,— ответил я.— Но скажите, где живете вы, и я осмелюсь сам явиться за своими шестью пенсами.

— Я могу положиться на ваше слово?

— Вам нечего опасаться, что я не сдержу его.

— Иначе Джемс Мор не позволил бы мне взять деньги,— сказала она.— Я живу за деревней Дин, на северном берегу реки, у миссис Драммонд-Огилви из Аллардайса, она мой ближайший друг и будет рада поблагодарить вас.

— Тогда я буду у вас, как только позволят мне дела,— сказал я; и, спохватившись, что совсем забыл об Алане, поспешил проститься с нею.

Но, продолжая свой путь, я невольно подумал, что для столь краткого знакомства мы вели себя слишком непринужденно и что истинно благовоспитанная девушка должна была бы держаться несколько застенчивее. Кажется, от этих далеко не рыцарских мыслей меня отвлек рассыльный.

— Я-то думал, у вас есть голова на плечах,— начал он, презрительно скривив губы.— Эдак вы далеко не уйдете. Коли нет ума, денежки быстро на ветер летят. А вы, как я погляжу, большой любезник! — воскликнул он.— Из молодых да ранний! Ловите потаскушек.

— Как ты смеешь так говорить о молодой леди!..— начал было я.

— Леди! — фыркнул тот.— Господи помилуй, какая такая леди? Вон ту вы зовете леди? Таких леди в городе хоть пруд пруди. Леди! Сразу видно, что город вам в новинку!

Я вспыхнул от гнева.

— Эй ты,— крикнул я,— веди меня, куда велено, и держи свой скверный язык за зубами!

Он повиновался лишь отчасти, он больше не обращался ко мне, зато на редкость неприятным голосом и немилосердно фальшивя затянул песню, звучавшую как наглый намек:

Красотка наша Мэлли Ли по улице гуляет,
Чепец слетел, ей хоть бы что, лишь глазками стреляет.
А мы налево, мы направо, мы за ней пошли,
Все полюбезничать хотят с красоткой Мэлли Ли!

ГЛАВА II

СТРЯПЧИЙ ИЗ ГОРНОГО КРАЯ

К жилищу мистера Чарлза Стюарта, стряпчего, вела лестница, длиннее которой, наверно, не выкладывал ни один каменщик в мире — в ней было маршей пятнадцать, не меньше. Наконец, я добрался до двери, и, когда открывший мне клерк сказал, что хозяин у себя, я, еле переводя дух, отослал рассыльного прочь.

— Убирайся на все четыре стороны,— сказал я, отобрал у него мешок с деньгами и вслед за клерком вошел в дверь.

В первой комнате была контора; здесь у стола, заваленного деловыми бумагами, стоял стул клерка. Во второй, смежной, комнате небольшой человечек с подвижным лицом сосредоточенно читал какой-то документ; он не сразу поднял на меня глаза и держал палец на недочитанной строчке, словно намереваясь выставить меня вон и снова продолжить чтение. Мне это не слишком понравилось, и еще меньше понравилось то, что клерку, по-видимому, было очень удобно подслушивать наш разговор.

— Вы мистер Чарлз Стюарт, стряпчий? — спросил я.

— Он самый,— ответил стряпчий,— а вы, позвольте узнать, кто такой?

— Имя мое вам ничего не скажет,— ответил я,— но я покажу вам памятку от друга, которого вы хорошо знаете. Вы его хорошо знаете,— повторил я, понизив голос,— но, быть может, при нынешних обстоятельствах не так уж стремитесь получать от него вести. И дела, о которых я должен с вами поговорить, секретного свойства Одним словом, я хотел бы знать, что нас с вами никто не слышит.

Ничего не ответив, он поднялся, с досадой бросил на стол недочитанную бумагу, отослал клерка с каким-то поручением и запер за ним входную дверь.

— Ну, сэр,— сказал он, возвратясь,— выкладывайте, с чем пришли, и ничего не бойтесь. Но прежде я вам скажу, что уже предчувствую неприятности! — воскликнул он.— Заранее знаю, либо вы сами один из Стюартов, либо кто-то из Стюартов вас послал Это — славное имя, и грешно было бы сыну моего отца относиться к нему неуважительно. Но когда я его слышу, меня кидает в дрожь.

— Мое имя — Бэлфур,— сказал я.— Дэвид Бэлфур из Шоса. А кто меня прислал, об этом вам скажет вот что.— И я показал ему серебряную пуговицу.

— Спрячьте ее в карман, сэр! — закричал он.— Не нужно называть никаких имен. Чертов шалопай, узнаю я эту его пуговицу! Пусть ею дьявол любуется! Где он сейчас, этот головорез?

Я сказал, что мне неизвестно, где Алан, но у него есть надежное (так он, по крайней мере, считал) убежище, где-то в северной стороне; там он будет скрываться, пока ему не добудут корабль. Я рассказал также, где и как с ним можно встречаться.

— Я так и знал, что рано или поздно меня вздернут на виселицу из-за моих родственничков,— воскликнул стряпчий,— и, как видно, этот день настал! Добыть ему корабль — слыхали? А кто будет платить? Он рехнулся, этот малый?

— Об этом позабочусь я, мистер Стюарт,— сказал я.— В этом мешке немалые деньги, а если не хватит, найдется и еще.

— Мне незачем спрашивать, каковы ваши политические убеждения.

— Спрашивать незачем,— улыбнулся я.— Я виг до мозга костей.

— Погодите, погодите,— сказал мистер Стюарт — Как это так? Вы виг? Тогда почему же вы явились ко мне с пуговицей Алана? И что это за странная затея, мистер виг? Он осужденный мятежник, убийца, голова которого оценена в двести фунтов, и вы просите меня вмешаться в его дела, а потом объявляете, что вы виг! Что-то не попадались мне такие виги, хотя знавал я их немало!

— Да, он осужденный мятежник,— сказал я,— и это тем прискорбнее, что он мой друг. Могу только пожалеть, что у него не было наставников получше. Алана, на беду его, обвиняют в убийстве, это верно, но обвиняют несправедливо.

— От вас первого это слышу,— сказал Стюарт.

— Скоро услышите не только от меня. Алан Брек невиновен, и Джемс тоже.

— А! — отмахнулся он.— Эти двое всегда заодно. Если один чист, значит, и другой не может быть замаран.

Я вкратце рассказал ему о том, как я познакомился с Аланом, как случайно оказался свидетелем эпинского убийства, о том, что приключилось с нами в вересковых пустошах во время бегства, и о том, как я стал владельцем поместья.

— Итак, сэр,— продолжал я,— зная все эти события, вы поймете, каким образом я стал причастен к делам ваших родичей и друзей. Хотелось бы только, ради нашего общего блага, чтобы эти дела были не столь запутанными и кровавыми. И теперь, как вы понимаете, у меня есть некоторые поручения, с которыми неудобно обращаться к первому попавшемуся адвокату. Мне ничего не остается, как спросить вас, согласны ли вы вести эти дела.

— Не скажу, чтобы я горел таким желанием, но раз вы пришли с пуговицей Алана, мне, пожалуй, выбирать не приходится. Каковы же ваши поручения?

— Прежде всего тайком вывезти Алана из этой страны,— сказал я.— Но этого, наверное, я мог бы и не повторять.

— Да уж вряд ли я могу это забыть.

— Затем, я должен немного денег Клуни. Мне едва ли удастся найти оказию, но для вас это, вероятно, не

составит труда. Всего долгу два фунта пять шиллингов и три четверти пенса в английской валюте.

Он записал это.

— В Ардгуре есть некий мистер Хендерленд, проповедник и миссионер, которому мне хотелось бы послать нюхательного табаку; и так как вы, я полагаю, сообщаетесь со своими друзьями в Эпине (это ведь рядом!), то, без сомнения, это дело вам будет так же нетрудно исполнить, как и первое.

— Сколько нужно табаку? — спросил он.

— Пожалуй, два фунта.

— Два,— повторил он.

— Затем, там, в Лаймкилнсе, есть девушка, Элисон Хэсти,— сказал я.— Та самая, что помогла нам с Аланом переправиться через Форт. Мне думается, если бы я мог подарить ей хорошее воскресное платье, сообразное ее положению, то это облегчило бы мою совесть, так как, честно говоря, оба мы обязаны ей жизнью.

— Я рад убедиться, что вы экономны, мистер Бэлфур,— сказал стряпчий, записывая.

— Не годится проматывать деньги, едва успев разбогатеть,— сказал я.— А теперь будьте добры подсчитать расходы и прибавить то, что вы возьмете за труды. Мне хотелось бы знать, останутся ли у меня карманные деньги. Не потому, что мне жаль отдать все, чтобы спасти Алана, и не потому, что больше у меня ничего нет, но, взяв такую сумму в первый день, мне кажется, было бы неловко назавтра просить еще. Только, пожалуйста, проверьте, хватит ли на все этих денег,— добавил я,— потому что у меня нет никакого желания встречаться с вами снова.

— Отлично, мне приятно убедиться, что вы еще и осмотрительны,— сказал стряпчий.— Но не рискованно ли с вашей стороны доверять мне такую значительную сумму?

Он произнес это с нескрываемой насмешкой.

— Что ж, придется рискнуть,— ответил я.— Ах, да, я должен просить вас еще об одной услуге: посоветуйте, где мне поселиться, у меня ведь нет здесь крыши над головой. Только нужно устроить так, будто я нашел это жилище случайно; не дай бог, если Генеральный прокурор заподозрит, что мы знакомы.

— Пусть успокоится ваш неугомонный дух,— сказал стряпчий.— Я никогда не произнесу вашего имени, сэр,

а прокурору надо глубоко посочувствовать: он, бедняга, даже не знает о вашем существовании.

Я понял, что с этим человеком надо говорить по-другому.

— Значит, для него скоро настанет счастливый день,— сказал я,— ибо хочет он того или нет, но завтра, когда я явлюсь к нему, он узнает о моем существовании.

— Когда вы к нему явитесь? — поразился мистер Стюарт.— Кто из нас сошел с ума, я или вы? Зачем вы пойдете к прокурору?

— Да просто затем, чтобы сдаться ему,— ответил я.

— Мистер Бэлфур! — воскликнул стряпчий.— Вы смеетесь надо мной?

— Нисколько, сэр,— сказал я,— хотя мне кажется, что вы позволили себе такую вольность по отношению ко мне. Но вы должны усвоить раз и навсегда, что мне не до шуток.

— Мне также,— сказал Стюарт.— И вы тоже должны усвоить, как вы изволили выразиться, что мне все меньше и меньше нравится ваше поведение. Вы пришли ко мне с целым ворохом прожектов, тем самым вовлекая меня в разного рода сомнительные дела и заставляя вступать в общение с разными весьма подозрительными личностями. А затем заявляете, что прямо из моей конторы идете с повинной к Генеральному прокурору! Ни пуговица Алана, ни две его пуговицы, ни сам Алан целиком не вынудят меня впутываться в ваши дела.

— Я бы на вашем месте не стал так горячиться,— сказал я.— Наверное, можно избежать того, что вам так не по душе. Но я не вижу иного способа, кроме как явиться к Генеральному прокурору; если вы придумаете что-либо другое, то, скажу откровенно, у меня гора свалится с плеч, ибо я побаиваюсь, что переговоры с его светлостью повредят моему здоровью. Для меня ясно одно: я как свидетель должен рассказать то, что знаю; я надеюсь спасти честь Алана, если от нее еще что-то осталось, и голову Джемса — а тут медлить нельзя.

Стряпчий секунду помолчал.

— Послушайте, милейший,— сказал он затем,— вам ни за что не позволят дать такие показания.

— Это мы еще посмотрим,— ответил я.— Я могу быть упрямым, если захочу.

— Неслыханный болван! — закричал Стюарт.— Да ведь им нужен Джемс! Они хотят повесить Джемса,— Алана тоже, если он попадется им в руки, но Джемса уж непременно! Попробуйте-ка подступиться к прокурору с таким делом и увидите, он сумеет быстро заткнуть вам рот.

— Я лучшего мнения о Генеральном прокуроре,— возразил я.

— Да что там прокурор! — воскликнул он.— Кемпбеллы — вот кто сила, милейший! Они накинутся на вас всем кланом, и на прокурора, беднягу, тоже. Просто поразительно, как вы сами этого не понимаете. Если они не заставят вас замолчать добром, то пойдут на любую подлость. Они засадят вас на скамью подсудимых, неужели вы не понимаете? — кричал он, тыча пальцем в мое колено.

— Да,— сказал я.— Не далее, как сегодня утром, мне то же самое сказал другой стряпчий.

— Кто же это? — спросил Стюарт.— Как видно, он человек дельный.

Я ответил, что мне неудобно называть его имя: это почтенный старый виг, который не желает вмешиваться в подобные дела.

— По-моему, весь мир уже замешан в это дело! — воскликнул Стюарт.— Но что же он вам сказал?

Я пересказал ему свой разговор с Ранкилером перед домом в Шосе.

— Ну да, и вас повесят,— сказал стряпчий.— Будете болтаться на виселице рядом с Джемсом Стюартом. Это вам на роду написано.

— Надеюсь, меня ждет лучший удел,— сказал я,— но спорить не стану: здесь есть известный риск.

— Риск! — Стряпчий хмыкнул и опять помолчал.— Следовало бы поблагодарить вас за преданность моим друзьям, которых вы так ретиво защищаете,— произнес он,— если только у вас хватит сил устоять. Но предупреждаю, вы ходите по краю пропасти. И я хоть и сам из рода Стюартов, но я не желал бы очутиться на вашем месте даже ради всех Стюартов, живших на земле со времен праотца Ноя. Риск? Да, рисковать я готов сколько угодно, но сидеть на скамье подсудимых перед кемпбелловскими присяжными и кемпбелловским судьей, на кемпбелловской земле, из-за кемпбелловской рас-

при... думайте обо мне что хотите, Бэлфур, но это свыше моих сил!

— Должно быть, мы просто по-разному смотрим на вещи,— сказал я.— Мои убеждения внушил мне отец.

— Да будет ему земля пухом! Сын не посрамит его имени,— сказал стряпчий.— И все же, не судите меня слишком строго. Я в чрезвычайно трудном положении. Видите ли, сэр, вы заявляете, что вы виг; а я сам не знаю, кто я. Но уж, конечно, не виг; я не могу быть всего лишь вигом. Но — пусть это останется между нами — и другая партия, быть может, мне не очень по душе.

— Неужели это так? — воскликнул я.— От человека с вашим умом я другого и не ждал!

— Хо! Не пытайтесь ко мне подольститься. Умные люди есть и на той и на другой стороне. Я лично не испытываю особого желания обижать короля Георга; а что до короля Иакова, благослови его господь, то по мне он вполне хорош и за морем. Я стряпчий, понимаете, мне бы только книги да бутылочку чернил, хорошую защитительную речь, хорошо составленную бумагу, да стаканчик вина в здании парламента с другими стряпчими, да, пожалуй, субботним вечером партию в гольф. И при чем тут вы, с вашими горскими пледами и палашами?

— Да,— сказал я,— вы, пожалуй, мало похожи на дикого горца.

— Мало? — удивился он.— Да ничуть, милейший мой! И все же я родился в горах, и когда клан играет на волынке, кто должен плясать, как не я? Мой клан и мое имя — вот что главное. Меня, как и вас, тоже учил этому отец, и хорошими же делами я занимаюсь! Измены и изменники, переправка их сюда и отсюда, и французские рекруты, пропади они пропадом, и переправка этих рекрутов, и их иски — ох, уж эти иски! Вот сейчас я веду дело молодого Ардшила, моего двоюродного брата; он претендует на поместье на основании брачного контракта, а именье-то конфискованное! Я говорил им, что это вздор, но им хоть бы что! И вот я пыжился, как мог, перед другим адвокатом, которому это дело так же не нравится, как и мне, потому что это чистая погибель для нас обоих — это непочтенно, это пятно на нашем добром имени, вроде хозяйского тавра на коровьей шкуре! Но что я могу поделать? Я принадлежу к

роду Стюартов и должен лезть из кожи вон ради своей родни и своего клана. А тут не далее как вчера одного из Стюартов бросили в Замок. За что? Я знаю, за что: акт семьсот тридцать шестого года, вербовка рекрутов для короля Людовика. И вот увидите, он кликнет меня себе в адвокаты, и на моем имени будет еще одно пятно! Честно вам скажу: знай я хоть одно слово по-древнееврейски, я бы плюнул на все и пошел в священники!

— Да, положение у вас трудное,— согласился я.

— Трудней трудного! — воскликнул он.— И потому я гляжу на вас с невольным уважением — вы ведь не Стюарт, но с головой увязли в делах Стюартов. А ради чего, я не знаю; разве только из чувства долга?

— Думаю, что вы правы,— ответил я.

— Что ж, это превосходное качество. Но вот вернулся мой клерк, и с вашего позволения мы втроем немножко перекусим. А потом я направлю вас к одному весьма достойному человеку, который охотно возьмет вас в жильцы. И я сам наполню ваши карманы, кстати, из вашего же собственного мешка. Все это будет стоить не так много, как вы полагаете, даже корабль.

Я знаком дал ему понять, что нас может слышать клерк.

— Пусть себе, можете не бояться Робби,— сказал стряпчий.— Он сам из Стюартов, бедняга. Он переправил больше французских рекрутов и беглых папистов, чем у него волос на подбородке. Эта часть моей деятельности всецело в его ведении. Кто у нас сейчас может переправить человека за море, Роб?

— Скажем, Энди Скаугел на «Репейнике»,— ответил Роб.— Вчера я видел Хозисона, только, кажется, у него еще нет корабля. Потом еще Тэм Стобо; но я что-то в Тэме не уверен. Я видел, как он шептался с какими-то подозрительными нетрезвыми личностями, и если речь идет о важной персоне, я бы с Тэмом не стал связываться.

— За голову этого человека обещано двести фунтов, Робин,— сказал Стюарт.

— Господи боже мой, неужели это Алан Брек? — воскликнул клерк Робин.

— Он самый.

— Силы небесные! Это дело серьезное,— сказал клерк.— Тогда попробую столковаться с Энди; Энди будет самый подходящий...

— Я вижу, большая у вас работа,— заметил я.

— Мистер Бэлфур, ей конца нет,— ответил Стюарт.

— Ваш клерк назвал одно имя — Хозисон,— продолжал я.— Кажется, я его знаю, это Хозисон с брига «Завет». Вы ему доверяете?

— Он скверно поступил с вами и Аланом,— сказал стряпчий Стюарт,— но вообще-то я о нем хорошего мнения. Если уж он примет Алана на борт своего корабля на определенных условиях, то я не сомневаюсь, что он честно выполнит уговор. Что ты скажешь, Роб?

— Нет честнее шкипера, чем Эли,— сказал клерк.— Слову Эли я бы доверился, как Шевалье или самому Эпину,— добавил он.

— Ведь это он привез тогда доктора, верно? — спросил стряпчий.

— Да, он,— подтвердил клерк.

— И, кажется, отвез его назад? — продолжал Стюарт.

— Да, причем у того был полный кошель денег,— сказал Робин.— И Эли об этом знал.

— Как видно, человека с первого взгляда не раскусишь,— сказал я.

— Вот об этом-то я и забыл, когда вы ко мне вошли, мистер Бэлфур,— сказал стряпчий.

ГЛАВА III

Я ИДУ В ПИЛРИГ

На следующее утро, едва я проснулся в своем новом жилище, как тотчас же вскочил и надел свое новое платье; и едва проглотил завтрак, как сразу же отправился навстречу новым приключениям. Теперь можно было надеяться, что с Аланом будет все благополучно, но спасение Джемса — дело куда более трудное, и я невольно опасался, что это предприятие обойдется мне чересчур дорого, как утверждали все, с кем я делился своими планами. Похоже, что я вскарабкался на вершину горы только затем, чтобы броситься вниз; я прошел через множество суровых испытаний, достиг богатства, признания своих прав, возможности носить городскую одежду и шпагу на боку, и все это лишь затем, чтобы в конце концов совершить самоубийство, причем самоубийст-

во наихудшего рода: то есть дать себя повесить по указу короля.

«Ради чего я это делаю?» — спрашивал я себя, шагая по Хай-стрит и свернув затем к северу по Ли-Уинд. Сначала я попробовал внушить себе, что хочу спасти Джемса Стюарта; я вспомнил его арест, рыдания его жены и сказанные мною в тот час слова, и это соображение показалось мне весьма убедительным. Но тут же я подумал, что, в сущности, мне, Дэвиду Бэлфуру, нет (или не должно быть) никакого дела до того, умрет ли Джемс в своей постели или на виселице. Конечно, он родня Алану; но что касается Алана, то ему лучше всего было бы где-то притаиться, и пусть костями его родича распорядятся как им угодно король, герцог Аргайлский и воронье. Я к тому же не мог забыть, что, когда мы все вместе были в беде, Джемс не слишком заботился ни об Алане, ни обо мне.

Затем мне пришло в голову, что я действую во имя справедливости: какое прекрасное слово, подумал я, и в конце концов пришел к заключению, что (поскольку мы на свое несчастье живем среди дел политических) самое главное для нас — соблюдать справедливость; а казнь невинного человека — это рана, нанесенная всему обществу. Потом во мне заговорил другой голос, пристыдивший меня за то, что я вообразил себя участником этих важных событий, обозвавший меня тщеславным мальчишкой-пустозвоном, который наговорил Ранкилеру и Стюарту громких слов и теперь единственно из самолюбия старается выполнить свои хвастливые обещания. Но мало этого, тот же голос нанес мне удар побольнее, обвинив меня в своего рода трусливой хитрости, в том, что я хочу ценою небольшого риска купить себе полную безопасность. Да, конечно, пока я не явлюсь к Генеральному прокурору и не докажу свою непричастность к преступлению, я в любой день могу попасться на глаза Манго Кемпбеллу или помощнику шерифа, меня опознают и за шиворот втянут в эпинское убийство. И, конечно, если я дам свои показания и это кончится для меня благополучно, мне будет потом дышаться гораздо легче. Но, обдумав этот довод, я не нашел в нем ничего постыдного. Что касается остального, то есть два пути, думал я, и оба ведут к одному и тому же. Если Джемса повесят, в то время, как я мог бы его спасти, это будет несправедливо; если я, наобещав

так много, не сделаю ничего, я буду смешон в своих собственных глазах. Мое бахвальство оказалось счастьем для Джемса из Глена и не таким уж несчастьем для меня, ибо теперь я обязан поступить по долгу совести. Я ношу имя благородного джентльмена и располагаю состоянием джентльмена; худо, если окажется, что в душе я не джентльмен. Но тут же я упрекнул себя, что так рассуждать может только язычник, и прошептал молитву, прося ниспослать мне мужества, чтобы я мог, не колеблясь, исполнить свой долг, как солдат в сражении, и остаться невредимым.

Эти мысли придали мне решимости, хотя я нисколько не закрывал глаза на грозившую мне опасность и сознавал, насколько я близок (если пойду по этому пути) к шаткой лесенке под виселицей. Стояло погожее, ясное утро, но дул восточный ветер; свежий его холодок студил мне кровь и наводил на мысли об осени, о мертвых листьях, о мертвых телах, лежащих в могилах. Мне подумалось, что если я умру сейчас, когда в моей судьбе произошел счастливый поворот, и умру к тому же за чужие грехи, то это будет делом рук самого дьявола. На верхушке Келтонского холма бегали дети, с криками запуская бумажных змеев, хотя это время года считалось неподходящим для таких забав. Бумажные змеи четко выделялись в синеве; я видел, как один из них высоко взлетел на ветру в небо и тут же рухнул в кусты дрока.

«Вот так и ты, Дэви»,— подумал я, глядя на него.

Путь мой лежал через Маутерский холм, мимо маленькой деревушки среди полей на его склоне. Здесь из каждого дома доносилось гудение ткацкого станка, в садиках жужжали пчелы; соседи, стоя у своих дверей, переговаривались на незнакомом мне языке; позже я узнал, что это была Пикардия, деревня, где французские ткачи работали на Льнопрядильную Компанию. Здесь мне указали путь на Пилриг, цель моего путешествия; пройдя немного, я увидел у дороги виселицу, на которой болтались два тела в цепях. По обычаю вымазанные дегтем, звякая цепями, они раскачивались на ветру, а птицы с криком носились вокруг этих жутких марионеток. Неожиданное зрелище служило как бы наглядным подтверждением моих страхов; проникаясь тоскливым чувством, я не мог оторвать от него глаз. Я стал обходить виселицу кругом и вдруг наткнулся на зловещую

древнюю старуху, которая сидела, прислонясь к столбу и что-то приговаривая, кивала, кланялась и манила меня рукой.

— Кто они, матушка? — спросил я, указывая на мертвецов.

— Бог да благословит тебя, драгоценный мой! — воскликнула она.— Это мои милые дружки, оба были моими милыми, голубчик.

— За что их казнили? — спросил я.

— Да за дело,— сказала старуха.— Сразу, как только я им судьбу предсказала. Два шотландских шиллинга и ни чуточки больше, и вот два славных красавчика за это болтаются на веревке. Они их отняли у мальчишки из Броутона.

— Да! — сказал я себе, а не сумасшедшей старухе.— Неужели они поплатились жизнью за такой пустяк? Вот уж поистине полный проигрыш!

— Дай твою руку, голубчик,— бормотала старуха,— дай, я предскажу твою судьбу.

— Не надо, матушка,— ответил я.— Пока что я и сам ее вижу. Нехорошо заглядывать слишком далеко вперед.

— Твоя судьба у тебя на лбу написана,— продолжала старуха.— Есть у тебя славная девушка с блестящими глазками, и есть маленький человек в коричневой одежде, и большой человек в пудреном парике, а поперек твоей дороги, миленький мой, лежит тень виселицы. Покажи руку, голубочек, и старая Меррен расскажет тебе все, как есть.

Два случайных совпадения — Алан и дочь Джемса Мора! — поразили меня так сильно, что, швырнув этому страшному существу полпенни, я бросился прочь, а старуха все так же сидела под качающимися тенями повешенных и играла монеткой.

Идти по мощенной щебнем Лит-Уокской дороге было бы гораздо приятнее, если бы не эта встреча. Древний вал тянулся между полей — я никогда еще не видел столь тщательно возделанной земли; кроме того, мне было отрадно снова очутиться в деревенской глуши; но в ушах у меня звенели кандалы на виселице, перед глазами мелькали ужимки и гримасы старой ведьмы, и мысль о повешенных преследовала меня, словно дурной сон. Быть повешенным — страшная участь; а что привело человека на виселицу — два ли шотландских шиллинга или, как сказал мистер Стюарт, чувство долга, то, если он закован в цепи, вымазан дегтем и повешен, разница не очень велика. Вот так же может висеть и Дэвид Бэлфур, и какие-то юнцы, проходя мимо по своим делам, мельком подумают о нем и забудут, а старая полоумная ведьма будет сидеть у столба и предсказывать им судьбу, а чистенькие красивые девушки мимоходом взглянут, отвернутся и заткнут носик. Я представлял себе их очень ясно — у них серые глаза и шарфы цвета Драммондов на шляпках.

Я был сильно подавлен всем этим, но решимость моя ничуть не ослабела, когда я увидел перед собой Пилриг, приветливый дом с остроконечной кровлей, стоявший у дороги среди живописных молодых деревьев. У дверей стояла оседланная лошадь хозяина; он принял меня в своем кабинете, среди множества ученых книг и музыкальных инструментов, ибо он был не только серьезным философом, но и неплохим музыкантом. Он сердечно поздоровался со мной и, прочитав письмо Ранкилера, любезно сказал, что он к моим услугам.

— Но что же, родич мой Дэвид,— ведь мы с вами, оказывается, двоюродная родня? что же я могу для вас сделать? Написать Престонгрэнджу? Разумеется, это мне нетрудно. Но что я должен написать?

— Мистер Бэлфур,— сказал я,— если бы я поведал вам всю свою историю с начала до конца, то мне думается — и мистер Ранкилер того же мнения,— что вам она пришлась бы не по душе.

— Очень прискорбно слышать это от родственника,— сказал он.

— Поверьте, я не заслужил этих слов, мистер Бэлфур,— сказал я.— На мне нет такой вины, которая была бы прискорбна для меня, а из-за меня и для вас — разве только обыкновенные человеческие слабости. «Первородный грех Адама, недостаток прирожденной праведности и испорченность моей натуры» — вот мои грехи, но меня научили, где искать помощи,— добавил я, так как, глядя на этого человека, решил, что произведу на него лучшее впечатление, если докажу, что знаю катехизис.— Но если говорить о мирской чести, то против нее у меня нет больших прегрешений, и мне не в чем себя упрекнуть; а в трудное положение я попал против своей воли и, насколько я понимаю, не по своей

вине. Беда моя в том, что я оказался замешанным в сложное политическое дело, о котором, как мне говорили, вам лучше не знать.

— Что же, отлично, мистер Дэвид,— ответил он.— Рад, что вы оказались таким, как описал вас Ранкилер. А что касается политических дел, то вы совершенно правы. Я стараюсь быть вне всяких подозрений и держусь подальше от политики. Одного лишь не пойму: как я могу оказать вам помощь, не зная ваших обстоятельств.

— Сэр,— сказал я,— достаточно, если вы напишете его светлости Генеральному прокурору, что я молодой человек из довольно хорошего рода и с хорошим состоянием — и то и другое, по-моему, соответствует истине.

— Так утверждает и Ранкилер,— сказал мистер Бэлфур,— а это для меня самое надежное ручательство.

— Можно еще добавить (если вы поверите мне на слово), что я верен англиканской церкви, предан королю Георгу и в таком духе был воспитан с детства.

— Все это вам не повредит,— заметил мистер Бэлфур.

— Затем, вы можете написать, что я обращаюсь к его светлости по чрезвычайно важному делу, связанному со службой его величеству и со свершением правосудия.

— Так как вашего дела я не знаю,— сказал мистер Бэлфур,— то не могу судить, сколь оно значительно. Поэтому слово «чрезвычайно» мы опустим, да и «важное» тоже. Все остальное будет написано так, как вы сказали.

— И еще одно, сэр,— сказал я, невольно потрогав пальцем шею,— мне очень хотелось бы, чтобы вы вставили словечко, которое при случае могло бы сохранить мне жизнь.

— Жизнь? — переспросил он.— Сохранить вам жизнь? Вот это мне что-то не нравится. Если дело столь опасно, то, честно говоря, я не испытываю желания вмешиваться в него с завязанными глазами.

— Я, пожалуй, могу объяснить его суть двумя словами,— сказал я.

— Да, вероятно, так будет лучше.

— Это эпинское убийство,— произнес я.

Мистер Бэлфур воздел руки кверху.

— Силы небесные! — воскликнул он.

По выражению его лица и по голосу я понял, что потерял защитника.

— Позвольте мне объяснить...— начал я.

— Благодарю покорно, я больше ничего не желаю слышать,— сказал он.— Я *in toto*[1] отказываюсь слушать. Ради имени, которое вы носите, и ради Ранкилера, а быть может, отчасти и ради вас самого, я сделаю все для меня возможное, чтобы помочь вам; но об этом деле я решительно ничего не желаю знать. И считаю своим долгом предостеречь вас, мистер Дэвид. Это глубокая трясина, а вы еще очень молоды. Будьте осторожны и подумайте дважды.

— Надо полагать, я думал больше, чем дважды, мистер Бэлфур,— сказал я.— Позволю себе напомнить вам о письме Ранкилера, в котором он — верю и надеюсь! — выражает одобрение тому, что я задумал.

— Ну, ладно, ладно,— сказал мистер Бэлфур и еще раз повторил: — Ладно, ладно. Сделаю все, что могу.— Он взял перо и бумагу, немного помедлил и стал писать, обдумывая каждое слово.— Стало быть, Ранкилер одобряет ваши намерения? — спросил он немного погодя.

— Мы обсудили их, и он сказал, чтобы я, уповая на бога, шел к своей цели.

— Да, без божьей помощи вам не обойтись,— сказал мистер Бэлфур и снова принялся писать. Наконец, он поставил свою подпись, перечел написанное и опять обратился ко мне: — Ну, мистер Дэвид, вот вам рекомендательное письмо, я приложу свою печать, но заклеивать конверт не стану и дам его вам незапечатанным, как положено по этикету. Но поскольку я действую вслепую, я прочту его вам, а вы глядите сами, то ли это, что вам нужно.

«Пилриг, 26 августа 1751 года.

Милорд!

Позволяю себе представить вам моего однофамильца и родственника Дэвида Бэлфура из Шоса, молодого джентльмена незапятнанного происхождения, владеющего хорошим состоянием. Кроме того, он обладает и более ценным преимуществом — благочестивым воспитанием, а политические его убеждения таковы, что ваша светлость не может желать ничего лучшего. Я не посвя-

---

[1] Совершенно (*лат.*).

щен в дела мистера Бэлфура, но, насколько мне известно, он намерен сообщить вам нечто, касающееся службы его величеству и свершения правосудия, то есть того о чем, как известно, неустанно печется ваша светлость. Мне остается добавить, что намерение молодого джентльмена знают и одобряют несколько его друзей, которые с надеждой и волнением будут ждать удачного или неудачного исхода дела».

— Затем,— продолжал мистер Бэлфур,— следуют обычные изъявления преданности и подпись. Вы заметили, я написал «несколько друзей»; надеюсь, вы можете подтвердить, что я не преувеличиваю?

— Несомненно, сэр, мои цели и намерения знают и одобряют не один, а несколько человек,— сказал я.— А что касается вашего письма, за которое с вашего разрешения я приношу вам благодарность, то оно превзошло мои надежды!

— Это все, что я сумел из себя выжать,— сказал он,— и, зная, что это за дело, в которое вы намерены вмешаться, я могу только молить бога, чтобы мое письмо принесло вам пользу.

ГЛАВА IV

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ПРЕСТОНГРЭНДЖ

Мой родственник заставил меня отобедать с ним — «дабы поддержать честь дома»,— сказал он; поэтому на обратном пути я шагал гораздо быстрее. Я думал только о том, как бы поскорее покончить со следующей частью моего дела, и спешил навстречу опасности; ведь для человека в моем положении возможность отделаться от колебаний и искушения сама по себе очень соблазнительна; тем сильнее было мое разочарование, когда я, добравшись до дома Престонгрэнджа, услышал, что его нет. Должно быть, мне сказали правду, и его в самом деле не было дома ни в ту минуту, ни в последующие несколько часов; но потом я убедился, что Генеральный прокурор вернулся и принимает в соседней комнате гостей, а о моем присутствии, очевидно, просто позабыли.

Я бы давно ушел, если бы не страстное желание немедленно рассказать все, что я знаю, чтобы наконец-то заснуть со спокойной совестью. Сначала я пробовал читать: в маленьком кабинете, где я ждал, были всевозможные книги. Но, боюсь, от этого чтения было мало проку; а небо тем временем заволокли тучи, сумерки наступили раньше обычного, а кабинетик освещался оконцем вроде бойницы, и в конце концов мне пришлось отказаться от единственного развлечения (если это можно так назвать) и остальное время ждать в тягостном безделье. Впрочем, одиночество мое несколько скрашивали доносившиеся из ближней комнаты приглушенные разговоры, приятные звуки клавикордов и поющий женский голос.

Не знаю, который был час, но уже давно стемнело, когда дверь кабинета открылась и на пороге появился освещенный сзади высокий мужчина. Я тотчас же встал.

— Здесь кто-то есть? — спросил вошедший.— Кто это?

— Я пришел к Генеральному прокурору с письмом от лорда Пилригского,— ответил я.

— И давно вы здесь?

— Боюсь назвать точно, сколько именно часов,— сказал я.

— Впервые об этом слышу,— с коротким смешком отозвался вошедший.— Должно быть, моя челядь позабыла о вас. Но вы своего добились, я Престонгрэндж.

С этими словами он прошел в смежную комнату, куда по его знаку я последовал за ним и где он зажег свечу и сел за письменный стол. Это была длинная, но просторная комната, сплошь уставленная книжными полками вдоль стен. Огонек свечи в углу слабо освещал статную фигуру и энергичное лицо Генерального прокурора Он был красен, глаза его влажно блестели, и, идя к столу, он заметно пошатывался. На нем, несомненно, сказывался обильный ужин, однако и разум и язык повиновались ему полностью.

— Ну что же, садитесь, сэр,— сказал он,— и давайте сюда письмо из Пилрига.

Он небрежно пробежал глазами начало письма, взглянул на меня и кивнул, дойдя до моего имени, но последние строчки, как мне показалось, прочел с удвоенным вниманием — я даже могу поручиться, что он пере-

чел их дважды. Вполне понятно, что в это время у меня колотилось сердце: ведь я перешел свой Рубикон и очутился на поле битвы.

— Весьма приятно познакомиться с вами, мистер Бэлфур,— сказал он, дочитав письмо.— Разрешите предложить вам стакан кларета.

— С вашего позволения, милорд, вряд ли это будет правильно,— ответил я.— Как сказано в письме, я пришел по важному для меня делу, а так как я не привычен к вину, оно может подействовать на меня плохо.

— Что же, вам виднее,— сказал он.— Но если разрешите, я, пожалуй, выпил бы бутылочку.

Он позвонил, и слуга, словно по условному сигналу, внес бутылку вина и стаканы.

— Вы решительно не хотите присоединиться ко мне? — спросил прокурор.— Ну, тогда — за продолжение знакомства! Чем могу вам служить?

— Вероятно, мне следует начать с того, милорд, что я явился по вашему настойчивому приглашению,— сказал я.

— Стало быть, у вас есть некоторое преимущество передо мной, ибо могу поклясться, что до нынешнего вечера я никогда о вас не слышал.

— Верно, милорд, мое имя вам совершенно незнакомо,— сказал я.— И все же вы с некоторых пор стремитесь встретиться со мной и даже объявили об этом публично.

— Желательно, чтобы вы подсказали мне разгадку,— ответил он.— Я не пророк Даниил.

— Быть может, вам будет легче понять меня, если я скажу, что, будь я расположен шутить — а это не так,— я бы мог потребовать с вашей милости двести фунтов.

— На каком основании? — осведомился он.

— На том основании, что за мою поимку обещана в объявлении награда,— сказал я.

Он резко отодвинул стакан и выпрямился в кресле, где до сих пор сидел развалясь.

— Как прикажете это понимать? — спросил он.

— «Высокий, крепкий юноша лет восемнадцати,— прочел я на память,— говорит чисто, не как горец, бороды не имеет».

— Помню эти слова,— сказал он,— и, если вы явились сюда с необдуманным намерением позабавиться, они могут стать для вас пагубными.

— Намерения мои серьезны,— отвечал я,— ибо речь идет о жизни и смерти, и вы меня отлично поняли. Я тот, кто разговаривал с Гленуром, когда в него выстрелили.

— Раз вы явились ко мне, могу предположить только одно: вы считаете себя невиновным,— сказал он.

— Вы совершенно правы,— подтвердил я.— Я преданнейший слуга короля Георга, но если бы я знал за собой какую-нибудь вину, я бы поостерегся входить в логовище льва.

— Рад слышать,— сказал прокурор.— Это такое чудовищное преступление, мистер Бэлфур, что ни о каком помиловании не может быть речи. Варварски пролита человеческая кровь. Это убийство — прямой бунт против его величества, против всей системы наших законов, устроенный известными нам явными врагами. Мне это представляется делом весьма серьезным. Не стану скрывать, я полагаю, что преступление направлено лично против его величества.

— И к несчастью, милорд,— довольно сухо вставил я,— также и против другого высокопоставленного лица, которого я называть не стану.

— Если ваши слова — намек, то должен вам сказать, что странно их слышать из уст верного подданного. И если бы они были произнесены публично, я счел бы своим долгом взять их на заметку,— произнес прокурор.— Мне сдается, вы не сознаете серьезности вашего положения, иначе вы не стали бы ухудшать его намеками, порочащими правосудие. В нашей стране и в руках его скромного служителя Генерального прокурора правосудие нелицеприятно.

— Осмелюсь заметить, милорд,— сказал я,— что слова эти не принадлежат мне. Я всего лишь повторяю общую молву, которую слышал по всей стране и от людей самых различных убеждений.

— Когда вы научитесь осторожности, вы поймете, что такие речи не следует слушать, а тем более повторять,— сказал прокурор.— Но я не стану обвинять вас в злонамеренности. Знатный джентльмен, которого все мы чтим и который действительно задет этим варварским преступлением, имеет столь высокий сан, что его не может коснуться клевета. Герцог Аргайлский — видите, я с вами откровенен — принимает это близко к сердцу, так же, как и я, и оба мы должны поступать так, как

того требуют наши судебные обязанности и служба его величеству; можно только пожелать, чтобы в наш испорченный век все руки были так же не запятнаны семейными распрями, как его. Но случилось так, что один из Кемпбеллов пал жертвой своего долга, ибо кто же, как не Кемпбеллы, всегда были впереди всех там, куда призывал их долг? Сам не будучи Кемпбеллом, я вправе это сказать! А глава этого знатного дома волею судьбы — и на благо нам! — сейчас является председателем Судебной палаты. И вот мелкие душонки и злые языки принялись бушевать во всех харчевнях страны, а молодые джентльмены вроде мистера Бэлфура оказываются столь неблагоразумными, что повторяют их пересуды.— Эту речь он произнес весьма напыщенно, словно ораторствуя в суде, потом вдруг перешел на свой обычный светский тон.— Но оставим это,— сказал он.— Теперь мне остается узнать, что с вами делать?

— Я думал, что это я узнаю от вашей светлости,— сказал я.

— Да, конечно,— отозвался прокурор.— Но видите ли, вы пришли ко мне с надежной рекомендацией. Это письмо подписано хорошим, честным вигом.— Он приподнял лежавший на столе листок.— И, помимо судопроизводства, мистер Бэлфур, всегда есть возможность прийти к соглашению. Должен вам сказать заранее: будьте осторожнее, ваша судьба зависит всецело от меня. С позволения сказать, в подобных делах я могущественнее, чем его королевское величество, и если я буду вами доволен и, разумеется, если будет спокойна моя совесть, то обещаю, что наша беседа останется между нами.

— Как прикажете это понять? — спросил я.

— О, это весьма просто, мистер Бэлфур. Если я буду удовлетворен нашей беседой, то ни одна душа не узнает о том, что вы были у меня. Как видите, я даже не зову своего клерка.

Я догадался, к чему он клонит.

— Полагаю, что нет нужды сообщать кому-либо о моем визите,— сказал я,— хотя я не совсем понимаю, чем это для меня лучше. Я не стыжусь, что пришел к вам.

— Да и нет на то никаких причин,— ободряюще сказал он,— так же, как нет пока причин бояться последствий, если только вы будете благоразумны.

— Милорд,— сказал я,— смею уверить, что меня не так-то легко запугать.

— А я заверяю вас, что нисколько не стараюсь вас пугать,— возразил он.— Но приступим к допросу. И попрошу запомнить: отвечайте только на мои вопросы и не добавляйте ничего лишнего. От этого может зависеть ваша участь. Я многое беру на свою ответственность — это правда, но всему есть пределы.

— Постараюсь следовать вашему совету, милорд,— ответил я.

Он положил перед собой лист бумаги и написал заголовок.

— Стало быть, вы, проходя через Леттерморский лес, оказались свидетелем рокового выстрела,— начал он.— Было ли это случайно?

— Да, случайно,— сказал я.

— Почему вы заговорили с Колином Кемпбеллом?

— Я спросил у него, как пройти в Охарн.

Я заметил, что он не стал записываать этот ответ.

— Гм, верно,— сказал он.— Я об этом позабыл. И знаете, мистер Бэлфур, я бы на вашем месте как можно меньше упоминал о ваших отношениях со Стюартами. Это, пожалуй, только осложнит дело. Я пока не вижу в таких подробностях ничего существенного.

— Я думал, милорд, что в подобном деле все факты одинаково важны.

— Вы забыли, что мы сейчас судим этих Стюартов,— многозначительно сказал он.— Если нам придется судить и вас, тогда совсем другое дело, тогда я буду настойчиво расспрашивать вас о том, что сейчас хочу пропустить. Однако продолжим. В показаниях мистера Манго Кемпбелла говорится, что вы сразу же бросились бежать вверх по склону. Это верно?

— Не сразу, милорд; побежал я потому, что увидел убийцу.

— Значит, вы его видели?

— Так же ясно, как вижу вас, милорд, хотя и не так близко.

— Вы его знаете?

— Я мог бы его узнать в лицо.

— Вы побежали за ним, но, очевидно, вам не удалось его догнать?

— Нет.

— Он был один?

— Да, он был один.

— И никого поблизости не было?

— Неподалеку в лесу был Алан Брек.

Прокурор положил перо.

— Я вижу, мы играем в «кто кого перетянет»,— сказал он.— Эта забава может плохо для вас кончиться.

— Я стараюсь следовать совету вашей светлости и только отвечать на вопросы,— возразил я.

— Будьте благоразумнее и одумайтесь, пока не поздно. Я отношусь к вам с заботливым участием, которое вы, как видно, не цените; если вы не будете осмотрительнее, оно может оказаться напрасным.

— Я очень ценю ваше участие, но вижу, что происходит некое недоразумение,— сказал я чуть дрогнувшим голосом, ибо понял, что сейчас предстоит схватка.— Я пришел убедить вас своими показаниями, что Алан Брек совершенно непричастен к убийству Гленура.

Прокурор, казалось, на мгновение даже растерялся: он застыл, поджав губы и сузив глаза, как разозленная кошка.

— Мистер Бэлфур,— сказал он наконец.— Я решительно заявляю: вы поступаете во вред собственным интересам!

— Милорд,— ответил я,— в этом деле я так же мало считаюсь с собственными интересами, как и ваша светлость. Видит бог, я пришел сюда с единственной целью: добиться, чтобы свершилось правосудие и невиновный был оправдан. Если при этом я навлек на себя гнев вашей светлости — что же, я в ваших руках.

Он встал с кресла, зажег вторую свечу и пристально поглядел мне в глаза. Я с удивлением заметил, как резко изменилось выражение его лица: оно стало чрезвычайно серьезным, и мне даже показалось, что он побледнел.

— Вы либо чересчур наивны, либо совсем наоборот, и я вижу, что с вами надо говорить откровеннее,— сказал он.— Это — дело политическое... да, да, мистер Бэлфур, хотим мы того или нет, но это — политическое дело, и я дрожу при мысли о том, что оно за собой повлечет. Вряд ли нужно объяснять юноше, получившему такое воспитание, как вы, что к политическому делу мы относимся совсем по-иному, чем к обыкновенному уголовному. *Salus populi suprema lex* [1],— этот принцип допу-

[1] Спасение народа — высший закон *(лат.)*

скает большие злоупотребления, но в нем есть та сила, которой проникнуты все законы природы, а именно: сила необходимости. Разрешите, я объясню вам несколько подробнее. Вы хотите, чтобы я поверил...

— Прощу прощения, милорд, я хочу, чтобы вы верили только тому, что я могу доказать,— перебил я.

— Ай-ай, молодой человек! — сказал он.— Не будьте столь дерзким и позвольте человеку, который годится вам по меньшей мере в отцы, изъясняться пусть даже неточно, но по-своему и беспрепятственно высказывать свои скромные суждения, даже если они, к сожалению, не совпадают с мнением мистера Бэлфура. Итак, вы хотите, чтобы я поверил в невиновность Брека. Я бы не придал этому значения, тем более что мы не можем поймать беглеца. Но вопрос о невиновности Брека заведет нас слишком далеко. Признать его невиновность — значит отказаться от обвинения второго преступника, человека иного склада, давнего изменника, который уже дважды поднимал оружие против своего короля и дважды был помилован. Он подстрекатель всякого недовольства, и кто бы ни сделал тот выстрел, вдохновителем был, бесспорно, он. Мне незачем вам пояснять, что я говорю о Джемсе Стюарте.

— А я, ваша светлость, честно вам скажу, что пришел к вам в дом только для того, чтобы заявить о невиновности Алана и Джемса и сообщить, что я готов дать показания перед судом.

— Я вам так же честно отвечу, мистер Бэлфур,— сказал он,— что ваши показания по этому делу мне не желательны и я хочу, чтобы вы вовсе от них воздержались.

— Вы, человек, возглавляющий правосудие в нашей стране, толкаете меня на преступление! — воскликнул я.

— Я — человек, грудью стоящий за интересы своей страны,— ответил он,— и понуждаю вас из политической необходимости. Патриотизм не всегда нравствен в строгом смысле этого слова. Но вы, я полагаю, должны быть рады; ведь в этом ваше спасение. Факты — серьезная улика против вас, и если я еще пытаюсь вытащить вас из пропасти, то это, конечно, отчасти потому, что мне нравится честность, которую вы доказали, явившись ко мне, отчасти из-за письма Пилрига, но главным образом потому, что в этом деле для меня на первом месте —

долг политический, а судейский долг — на втором. По этой причине я все с той же откровенностью повторяю вам: ваши показания мне не нужны.

— Не сочтите, милорд, мои слова за дерзость — я только называю вещи своими именами,— сказал я.— Но если ваша светлость не нуждается в моих показаниях, то, вероятно, другая сторона будет чрезвычайно им рада.

Престонгрэндж встал и принялся мерить шагами комнату.

— Вы уже не дитя,— сказал он,— вы должны ясно помнить сорок пятый год и мятежи, охватившие всю страну. В письме Пилрига говорится, что вы верный сын церкви и государства. Кто же спас их в тот роковой год? Я не говорю о его королевском величестве и солдатах, которые в свое время внесли немалую лепту; но страна была спасена, а сражение было выиграно еще до того, как Кемберленд захватил Драммосси. Кто же ее спас? Я еще раз спрашиваю, кто спас протестантскую веру и наше государство? Во-первых, покойный президент Каллоден; он был истинным героем, но благодарности так и не дождался; вот и я тоже — я все свои силы отдаю тому же делу и не жду иной награды, кроме сознания исполненного долга. Кто же еще, кроме президента? Вы знаете не хуже меня, это человек, о котором нынче злословят, вы сами намекнули на это в начале нашей беседы, и я вас пожурил. Итак, это герцог и великий клан Кемпбеллов. И вот один из Кемпбеллов подло убит во время несения королевской службы. Герцог и я — мы оба горцы. Но мы горцы цивилизованные, чего нельзя сказать о наших кланах, о наших многочисленных сородичах. В них еще сохранились добродетели и пороки дикарей. Они еще такие же варвары, как и эти Стюарты; только варвары Кемпбеллы стоят за правое дело, а варвары Стюарты — за неправое. Теперь судите сами. Кемпбеллы ждут отмщения. Если отмщения не будет, если ваш Джемс избегнет кары, Кемпбеллы возмутятся. А это означает волнения во всей горной Шотландии, которая и без того неспокойна и далеко не разоружена: разоружение — просто комедия...

— Могу это подтвердить,— сказал я.

— Волнения в горной Шотландии сыграют на руку нашему старому, недремлющему врагу,— продолжал прокурор, тыча пальцем в воздух и не переставая шагать

по комнате,— и могу поручиться, что у нас снова будет сорок пятый год, на этот раз с Кемпбеллами в качестве противника. И что же, ради того, чтобы сохранить жизнь вашему Стюарту, который, кстати, уже осужден и за разные другие дела, кроме этого,— ради его спасения вы хотите ввергнуть родину в войну, рисковать попранием веры ваших отцов, поставить под угрозу жизнь и состояние многих тысяч невинных людей?.. Вот какие соображения влияют на меня и, надеюсь, в не меньшей мере повлияют на вас, мистер Бэлфур, если вы преданы своей стране, справедливому правительству и истинной вере.

— Вы откровенны со мной, милорд, и я вам за это очень признателен,— сказал я.— Со своей стороны, постараюсь быть не менее честным. Я понимаю, что ваши политические соображения совершенно здравы. Я понимаю, что на плечах вашей светлости лежит тяжелое бремя долга, понимаю, что ваша совесть связана присягой, которую вы дали, вступая на свой высокий пост. Но я простой смертный, я даже не дорос до того, чтобы называться мужчиной, и свой долг я понимаю просто. Я могу думать только о двух вещах: о несчастном, которому незаслуженно угрожает скорая и позорная смерть, и о криках и рыданиях его жены, которые до сих пор звучат у меня в ушах. Я не способен видеть дальше этого, милорд. Так уж я создан. Если стране суждено погибнуть, значит, она погибнет. И если я слеп, то молю бога просветить меня, пока не поздно.

Он слушал меня, застыв на месте, и стоял так еще некоторое время.

— Вот негаданная помеха! — произнес он вслух, но обращаясь к самому себе.

— А как ваша светлость намерены распорядиться мною? — спросил я.

— Знаете ли вы,— сказал он,— что, если я пожелаю, вы будете ночевать в тюрьме?

— Милорд,— ответил я,— мне приходилось ночевать в местах и похуже.

— Вот что, юноша,— сказал он,— наша беседа убедила меня в одном: на ваше слово можно положиться. Дайте мне честное слово, что вы будете держать в тайне не только то, о чем мы говорили сегодня вечером, но и все, что касается эпинского дела, и я отпущу вас на волю.

— Я дам слово молчать до завтра или до любого ближайшего дня, который вам будет угодно назначить,— ответил я.—Не думайте, что это хитрость; ведь если бы я дал слово без этой оговорки, то ваша цель, милорд, была бы достигнута.

— Я не собирался расставлять вам ловушку.

— Я в этом уверен,— сказал я.

— Дайте подумать,— продолжал он.— Завтра воскресенье. Приходите ко мне в понедельник утром, в восемь часов, а до этого обещайте молчать.

— Охотно обещаю, милорд. А о том, что я от вас слышал, обещаю молчать, пока богу будет угодно продлевать ваши дни.

— Заметьте,— сказал он затем,— что я не прибегаю к угрозам.

— Это еще раз доказывает благородство вашей светлости. Но все же я не настолько туп, чтобы не понять смысла не высказанных вами угроз.

— Ну, спокойной ночи,— сказал Генеральный прокурор.— Желаю вам хорошо выспаться. Мне, к сожалению, это вряд ли удастся.

Он вздохнул и, взяв свечу, проводил меня до входной двери.

ГЛАВА V

В ДОМЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

На следующий день, в воскресенье, двадцать седьмого августа, мне удалось наконец осуществить свое давнее желание — послушать знаменитых эдинбургских проповедников, о которых я знал по рассказам мистера Кемпбелла. Но увы! С тем же успехом я мог бы слушать в Эссендине почтенного мистера Кемпбелла. Сумбурные мысли, беспрестанно вертевшиеся вокруг разговора с Престонгрэнджем, не давали мне сосредоточиться, и я не столько слушал поучения проповедников, сколько разглядывал переполненные народом церкви; мне казалось, что все это похоже на театр или (соответственно моему тогдашнему настроению) на судебное заседание. Это ощущение особенно преследовало меня в Западной церкви с ее трехъярусными галереями, куда я пошел в тщетной надежде встретить мисс Драммонд.

В понедельник я впервые в жизни воспользовался услугами цирюльника и остался очень доволен. Затем я пошел к Генеральному прокурору и снова увидел у его дверей красные мундиры солдат, ярким пятном выделявшиеся на фоне мрачных домов. Я огляделся, ища глазами юную леди и ее слуг, но их здесь не было. Однако, когда меня провели в кабинетик или приемную, где я провел томительные часы ожидания в субботу, я тотчас заметил в углу высокую фигуру Джемса Мора. Его, казалось, терзала мучительная тревога, руки и ноги его судорожно подергивались, а глаза беспрерывно бегали по стенам небольшой комнатки; я вспомнил о его отчаянном положении и почувствовал к нему жалость. Должно быть, отчасти эта жалость, отчасти сильный интерес, который вызывала во мне его дочь, побудили меня поздороваться с ним.

— Позвольте пожелать вам доброго утра, сэр,— сказал я.

— И вам того же, сэр,— ответил он.

— Вы ждете Престонгрэнджа? — спросил я.

— Да, сэр, и дай бог, чтобы ваш разговор с этим джентльменом был приятнее, чем мой.

— Надеюсь, что ваша беседа, во всяком случае, будет недолгой, так как вас, очевидно, примут первым.

— Меня нынче принимают последним,— сказал он, вздернув плечи и разводя руками.— Так не всегда бывало, сэр, но времена меняются. Все обстояло иначе, юный джентльмен, когда шпага была в чести, а солдатская доблесть ценилась высоко.

Он растягивал слова, чуть гнусавя, как все горцы, и это почему-то меня вдруг разозлило.

— Мне кажется, мистер Макгрегор,— сказал я,— что солдат прежде всего должен уметь молчать, а главная его доблесть — никогда не жаловаться.

— Я вижу, вы знаете мое имя,— он поклонился, скрестив руки,— хотя сам я не вправе его называть. Что ж, оно достаточно известно: я никогда не прятался от своих врагов и называл себя открыто; неудивительно, если и меня самого и мое имя знают многие, о ком я никогда не слыхал.

— Да, ни вы не слыхали,— сказал я,— ни пока еще многие другие, но если вам угодно, чтобы я назвал себя, то мое имя — Бэлфур.

— Имя хорошее,— вежливо ответил он,— его носят немало достойных людей. Помню, в сорок пятом году

у меня в батальоне был молодой лекарь, ваш однофамилец.

— Это, наверное, был брат Бэлфура из Бэйта,— сказал я; теперь уж я знал об этом лекаре.

— Именно, сэр,— подтвердил Джемс Мор.— А так как мы сражались вместе с вашим родственником, то позвольте пожать вашу руку.

Он долго и ласково жал мне руку, сияя так, будто нашел родного брата.

— Ах,—воскликнул он,— многое изменилось с тех пор, как мы с вашим родичем слышали свист пуль!

— Он был мне очень дальним родственником,— сухо ответил я,— и должен вам признаться, что я его никогда и в глаза не видал.

— Ну, ну,— сказал Джемс Мор,— это неважно. Но вы сами... ведь вы, наверное, тоже сражались? Я не припомню вашего лица, хотя оно не из тех, что забываются.

— В тот год, который вы назвали, мистер Макгрегор, я бегал в приходскую школу,— сказал я.

— Как вы еще молоды! — воскликнул он.— О, тогда вам ни за что не понять, что значит для меня наша встреча. В мой горький час в доме моего врага встретить человека одной крови с моим соратником — это придает мне мужества, мистер Бэлфур, как звуки горских волынок. Сэр, многие из нас оглядываются на прошлое с грустью, а некоторые даже со слезами. В своем краю я жил, как король; я любил свою шпагу, свои горы, веру своих друзей и родичей, и мне этого было достаточно. А теперь я сижу в зловонной тюрьме, и поверите ли, мистер Бэлфур,— продолжал он, беря меня под руку и вместе со мной шагая по комнате,— поверите ли, сэр, что я лишен самого необходимого? По злобному навету врагов все мое имущество конфисковано. Как вам известно, сэр, меня бросили в темницу по ложному обвинению в преступлении, в котором я так же неповинен, как и вы. Они не осмеливаются устроить надо мной суд, а тем временем держат меня в узилище раздетого и разутого. Как жаль, что я не встретил здесь вашего родича или его брата из Бэйта. Я знаю, и тот и другой с радостью пришли бы мне на помощь; в то время, как вы — человек сравнительно чужой...

Он плакался, как нищий, и мне стыдно пересказывать его бесконечные сетования и мои краткие, сердитые

ответы. Временами я испытывал большое искушение заткнуть Джемсу Мору рот, бросив ему несколько мелких монеток, но то ли от стыда, то ли из гордости, ради себя самого или ради Катрионы, потому ли, что я считал его недостойным такой дочери, или потому, что меня отталкивала явная и вульгарная фальшивость, которая чувствовалась в этом человеке, но у меня не поднялась на это рука. И вот я слушал лесть и нравоучения, шагал рядом с ним взад и вперед по маленькой комнатке — три шага и поворот обратно — и своими отрывистыми ответами уже успел если не обескуражить, то раздосадовать этого попрошайку, как вдруг на пороге появился Престонгрэндж и нетерпеливо позвал меня в свой большой кабинет.

— У меня минутное дело,— сказал он,— и чтобы вам не скучать в одиночестве, я хочу представить вас своей прекрасной троице — моим дочерям, о которых вы, быть может, уже наслышаны, так как, по-моему, они куда более известны, чем их папенька. Сюда, прошу вас.

Он провел меня наверх, в другую длинную комнату, где за пяльцами с вышивкой сидела сухопарая старая леди, а у окна стояли три, как мне показалось, самые красивые девушки во всей Шотландии.

— Это мой новый друг, мистер Бэлфур,— держа меня под руку, представил Престонгрэндж.— Дэвид, это моя сестра, мисс Грант, которая так добра, что взяла на себя управление моим хозяйством и будет очень рада вам услужить. А это,— он повернулся к юным леди,— это мои три прекрасные дщери. Скажите честно, мистер Дэви, которую из них вы находите лучше? Держу пари, что у него не хватит духу ответить честно, как Алан Рамсэй!

Три девушки и вместе с ними старая мисс Грант шумно запротестовали против этой выходки, которая и у меня (я знал, что за стихи он имел в виду) вызвала краску смущения на лице. Мне казалось, что подобные намеки недопустимы в устах отца, и я был изумлен, что девушки, негодуя или разыгрывая негодование, все же заливались смехом.

Воспользовавшись общим весельем, Престонгрэндж выскользнул из комнаты, и я, чувствуя себя, как рыба на суше, остался один в этом весьма непривычном для меня обществе. Теперь, вспоминая все, что произошло потом, я не стану отрицать, что оказался совершеннейшим чур-

баном, а юные леди только благодаря превосходному воспитанию проявили ко мне такое долготерпение. Тетушка склонилась над своим рукоделием и время от времени вскидывала глаза и улыбалась мне, зато девушки, и в особенности старшая, к тому же и самая красивая из них, осыпали меня знаками внимания, на которые я ничем не сумел ответить. Напрасно я внушал себе, что я не просто деревенский юнец, а состоятельный владелец поместья и мне нечего робеть перед этими девицами, тем более что старшая была лишь немногим старше меня, и, разумеется, ни одна из них не была и вполовину так образованна, как я. Но эти доводы ничуть не помогали делу, и несколько раз я сильно краснел, вспоминая, что сегодня я в первый раз в жизни побрился.

Несмотря на все их усилия, наша беседа не клеилась, и старшая сестра, сжалившись над моей неуклюжестью, села за клавикорды, которыми владела мастерски, и принялась развлекать меня игрой, потом стала петь шотландские и итальянские песни. Я почувствовал себя чуточку непринужденнее и вскоре осмелел настолько, что, вспомнив песню, которой научил меня Алан в пещере близ Кэридена, насвистал несколько тактов и спросил девушку, знает ли она ее.

Она покачала головой.

— В первый раз слышу,— ответила она.— Просвистите всю до конца... А теперь еще раз,— добавила она, когда я просвистел.

Она подобрала мелодию на клавишах и, к моему удивлению, тут же украсила ее звучными аккордами. Играя, она скорчила забавную гримаску и с сильным шотландским акцентом пропела:

Ферно ль я подобрала мотив?
То ли это, что вы мне швистели?

— Видите,— сказала она,— я тоже умею сочинять стихи, только они у меня без рифмы.— И опять пропела:

Я мисс Грант, прокурорская дочка,
Вы, мне сдается, Дэфид Бэлфур.

Я сказал, что поражен ее талантами.

— А как называется эта песня? — спросила она.

— Не знаю,— ответил я.— Я называю ее просто песней Алана.

Девушка взглянула мне в глаза.

— Я буду называть ее «песней Дэвида»,— сказала она,— но если она хоть чуть-чуть похожа на ту, что ваш тезка-израильтянин пел перед Саулом, то я не удивляюсь, что царь не получил никакого удовольствия, ведь мотив-то довольно унылый. Имя, которым вы окрестили песню, мне не нравится; так что если когда-нибудь захотите услышать ее еще раз, называйте по-моему.

Это было сказано так многозначительно, что у меня екнуло сердце.

— Почему же, мисс Грант? — спросил я.

— Да потому,— ответила мисс Грант,— что, если вас все-таки повесят, я положу ваши последние слова и вашу исповедь на этот мотив и буду петь.

Сомнений не было — ей что-то известно и о моей жизни и о моей беде. Что именно она узнала и каким образом — догадаться было труднее. Она, конечно, знала, что имя Алана произносить опасно, и предупредила меня об этом; и, конечно же, она знала, что меня подозревают в преступлении. Я решил, что резкость ее последних слов (вслед за ними она тотчас же громко заиграла что-то бравурное) означала желание положить конец этому разговору. Я стоял рядом с нею, делал вид, будто слушаю и восхищаюсь, на самом же деле меня далеко унес вихрь собственных мыслей. Впоследствии я убедился, что эта юная леди — большая любительница всего загадочного, и, разумеется, этот наш первый разговор превратила в загадку, недоступную моему пониманию. Много времени спустя я узнал, что воскресный день был использован с толком, что за это время разыскали и допросили рассыльного из банка, дознались, что я был у Чарлза Стюарта, и сделали вывод, что я тесно связан с Джемсом и Аланом и, по всей вероятности, состою с последним в переписке. Отсюда и прозрачный намек, который был брошен мне из-за клавикордов.

Одна из младших девушек, стоявших у окна, которое выходило на улицу, прервала игру сестры и крикнула, чтобы все шли сюда скорей: «Сероглазка опять тут!» Сестры немедленно бросились к окну, оттесняя одна другую, чтобы лучше видеть. Окно-фонарь, к которому они подбежали, находилось в углу комнаты — оно выдавалось над входной дверью и боком выходило в переулок.

— Идите сюда, мистер Бэлфур,— закричали девушки,— посмотрите, какая красавица! В последнее время

она часто приходит сюда, и всегда с какими-то оборванцами, но выглядит как настоящая леди!

Мне не было нужды всматриваться, я бросил один только быстрый взгляд. Я боялся, что она увидит, как я смотрю на нее сверху, из этой комнаты, откуда слышится музыка, а она стоит на улице возле дома, где отец ее в эту минуту, быть может, со слезами умоляет не лишать его жизни, где я сам только что возмущался его жалобами. Но даже от одного взгляда на нее я почувствовал себя гораздо увереннее и почти перестал испытывать благоговейную робость перед этими юными леди. Спору нет, они были красивы, но Катриона тоже была красива, и от нее исходил какой-то теплый свет, как от пламенеющего уголька. И если эти девицы меня чем-то подавляли, то Катриона, наоборот, воодушевляла. Я вспомнил, как легко с ней было разговаривать. Если мне не удалось разговориться с этими красивыми барышнями, то, быть может, это было отчасти по их вине. Мне вдруг стало смешно, и от этого смущение мое начало постепенно проходить; и когда тетушка, отрываясь от рукоделия, посылала мне улыбку, а три девицы занимали меня, как ребенка, и при этом на их лицах было написано «так велел папенька», я временами даже посмеивался про себя.

Вскоре вернулся и сам папенька, столь же благодушный и любезный, как прежде.

— Теперь, девочки,— сказал он,— я должен увести от вас мистера Бэлфура, но вы, надеюсь, сумели уговорить его бывать у нас почаще,— я всегда буду рад его видеть.

Каждая из них сказала мне какую-то ничего не значащую любезность, и Престонгрэндж увел меня.

Если этот семейный прием был задуман с целью смягчить мое упорство, то Генеральный прокурор потерпел полный крах. Я был не настолько глуп, чтобы не понять, какое жалкое впечатление я произвел на девиц, которые, должно быть, дали волю зевоте, едва моя оцепеневшая спина скрылась за дверью. Я показал, как мало во мне мягкости и обходительности, и теперь жаждал случая доказать, что у меня есть и другие свойства, что я могу быть непреклонным и даже опасным.

И желание мое тотчас же исполнилось, ибо беседа, ради которой увел меня прокурор, носила совсем иной характер.

ГЛАВА VI

БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЛОВЭТА

В кабинете Престонгрэнджа сидел человек, который с первого взгляда внушил мне отвращение, как внушает отвращение хорек или уховертка. Он отличался редкостным уродством, но выглядел как джентльмен; он обладал спокойными манерами, но мог внезапно заметаться по комнате в приступе ярости, а его тихий голос порой становился пронзительным и грозным.

Прокурор представил нас друг другу непринужденным, почти небрежным тоном.

— Вот, Фрэзер,— сказал он,— это мистер Бэлфур, о котором мы с вами толковали. Мистер Дэвид, это мистер Саймон Фрэзер, которого мы прежде знавали под другим именем... но это дело прошлое. У мистера Фрэзера есть к вам дельце.

Он отошел в дальний конец комнаты и сделал вид, будто углубился в какой-то взятый с книжной полки объемистый труд.

Я, таким образом, остался с глазу на глаз с человеком, которого меньше всего на свете ожидал здесь встретить. Судя по тому, как мне его представили, это, несомненно, был лишенный прав владелец Ловэта и вождь огромного клана Фрэзеров. Я знал, что он во главе своего клана участвовал в восстании; я знал, что его отец — прежний владелец Эссендина, эта серая лисица тамошних гор,— сложил голову на плахе как мятежник, что родовые земли были у них отняты, а члены семейства лишены дворянского звания. Я не мог представить себе, как он оказался в доме Гранта; я, конечно, не догадывался, что он получил звание юриста, отрекся от своих убеждений и теперь пляшет на задних лапках перед правительством так, что его даже назначили помощником Генерального прокурора в эпинском деле.

— Ну-с, мистер Бэлфур,— обратился он ко мне,— что же вы скажете?

— Не берусь предрешать,— ответил я,— но если вы толковали обо мне с его светлостью Генеральным прокурором, то ему мои взгляды известны.

— К вашему сведению, я занимаюсь эпинским делом,— продолжал он.— Я выступаю в суде в качестве помощника Престонгрэнджа и, изучив показания свиде-

телей, могу вас уверить, что ваши взгляды ошибочны. Виновность Брека очевидна; и вашего свидетельства, подтверждающего, что он в момент убийства находился на холме, будет вполне достаточно, чтобы его повесить.

— Трудно вам будет повесить его, пока вы его не поймали,— заметил я.— Что же касается остального, то я охотно признаю ваше право доверять своим впечатлениям.

— Герцог уже осведомлен обо всем,— продолжал Фрэзер.— Я только что от его высочества, и он мне высказал все откровенно и прямо, как истинный вельможа. Он назвал ваше имя, мистер Бэлфур, и заранее выразил вам свою признательность, если вы станете внимать советам тех, кто печется о вашем благополучии и благополучии страны куда больше, чем вы сами. Благодарность в устах герцога не пустые слова: *experto crede* [1]. Смею утверждать, что вам кое-что известно о моем имени и моем клане, о недостойном примере и плачевной смерти моего отца, не говоря уже о моих собственных заблуждениях. И что же — я примирился с нашим добрым герцогом; он походатайствовал обо мне перед нашим другом Престонгрэнджем, я опять на коне и принимаю участие в судебном преследовании врагов короля Георга и мщении за недавнее дерзкое и наглое оскорбление, нанесенное его величеству.

— Что и говорить, весьма благородное занятие для сына вашего отца,— сказал я.

Фрэзер сдвинул свои белесые брови.

— Вы можете ехидствовать сколько вам угодно,— сказал он.— Но я здесь по долгу службы, я здесь для того, чтобы добросовестно выполнить данное мне поручение, и вы напрасно думаете, что вам удастся сбить меня. И разрешите вам сказать, что для юноши с вашим умом и честолюбием хороший толчок в самом начале гораздо полезнее, чем десять лет упорного труда. Вам только стоит захотеть этого толчка; скажите, в какой области вы желали бы выдвинуться, и герцог будет заботиться о вас с отеческой любовью.

— Боюсь, что мне недостает сыновней покорности,— сказал я.

[1] Верь тому, кто познал на опыте *(лат.)*.

— Неужели вы в самом деле думаете, сэр, что вся политика нашей страны может рухнуть и развалиться из-за какого-то неотесанного мальчишки? — закричал он.— Эпинское дело — пробный камень; всякий, кто хочет преуспеть в будущем, должен ревностно помогать нам! Возьмите хоть меня — вы думаете, я ради своего удовольствия ставлю себя в некрасивое положение человека, который преследует того, с кем он сражался плечом к плечу? Просто у меня нет выбора!

— Но мне думается, сэр, что вы лишили себя выбора участием в этом чудовищном восстании,— заметил я.— Я же, к счастью, в ином положении: я верный подданный и могу с чистой совестью смотреть в глаза герцогу и королю Георгу.

— Вы так полагаете? — усмехнулся он.— Разрешите возразить: вы глубоко заблуждаетесь. Насколько я знаю, Престонгрэндж был до сих пор настолько деликатен, что не опровергал ваши свидетельства; тем не менее они нам кажутся чрезвычайно сомнительными. Вы утверждаете, что невиновны. Факты, мой дорогой сэр, говорят о том, что вы виновны.

— Этого я от вас и ждал.

— Свидетельство Манго Кемпбелла, ваше бегство после убийства, то, что вы так долго скрывались, мой дорогой юноша,— сказал мистер Саймон,— этих улик достаточно, чтобы послать на виселицу смирного вола, а не то что Дэвида Бэлфура! Я буду заседать в суде, мне предоставят слово, и тогда я заговорю иначе, чем сегодня, и если мои слова вам и сейчас не нравятся, то тогда они доставят вам еще меньше удовольствия! О, да вы побледнели! — воскликнул он.— Я задел за живое вашу бесстыжую душу! Вы бледны, и у вас бегают глаза, мистер Дэвид! Вы поняли, что могила и виселица куда ближе, чем вы воображали!

— Просто естественная слабость,— сказал я.— Ничего позорного в этом нет. Позор...— хотел я продолжить.

— Позор ожидает вас на виселице,— перебил он.

— Где сравняюсь с милордом вашим отцом,— сказал я.

— О, нисколько! — воскликнул он.— Вы не понимаете сути дела. Мой отец пострадал за государственное преступление, за вмешательство в дела королей. А вас повесят за подлое убийство из самых низких целей. И вы

играли в нем гнусную роль предателя, вы заговорили с этим беднягой, чтобы задержать его, а вашими сообщниками была шайка горских оборванцев. Можно доказать, мой великолепный мистер Бэлфур, можно доказать, и мы докажем, уж поверьте мне, человеку, от которого кое-что зависит, мы сможем доказать и докажем, что вам за это было заплачено. Я так и вижу, как переглянутся судьи, когда я представлю улики и выяснится, что вы, такой образованный юноша, дали себя подкупить и пошли на это ужасное дело ради каких-то обносков, бутылки виски и трех шиллингов и пяти с половиной пенсов медной монетой!

Меня словно обухом ударило; в его словах была доля правды: одежда, бутылка ирландского виски и три шиллинга пять с половиной пенсов медяками — это было почти все, с чем Алан и я ушли из Охарна, и я понял, что кто-то из людей Джемса проболтался в тюрьме.

— Как видите, мне известно больше, чем вы думали,— злорадно сказал он.— И не рассчитывайте, мой великолепный мистер Дэвид, что правительству Великобритании и Ирландии будет трудно найти свидетелей, чтобы дать делу такой оборот. У нас здесь, в тюрьме, сколько угодно людей, которые поклянутся в чем угодно, когда мы им прикажем,— когда им прикажу я, если так вам больше нравится. И теперь судите сами, что за славу вы о себе оставите, если предпочтете умереть. С одной стороны, жизнь, вино, женщины и рука герцога, всегда готовая вас поддержать. С другой стороны, веревка на шее, виселица, на которой будут стучать ваши кости, и позорнейшая, гнуснейшая история о наемном убийце, которая останется у вас в роду и перейдет из поколения в поколение. Вот, взгляните! — перешел он на угрожающий визг.— Вот я вынимаю из кармана бумагу! Видите, чье тут написано имя — это имя Дэвида Великолепного, и чернила едва просохли. Смекнули, что это за бумага? Это приказ о взятии вас под стражу, и стоит мне позвонить вот в этот колокольчик, как он будет немедленно приведен в исполнение. И когда с этой бумагой вас препроводят в Толбут, то да поможет вам бог, ибо ваш жребий брошен!

Не стану отрицать, эта низость испугала меня не на шутку, и мужество почти покинуло меня — так ужасна была угроза позорной смерти. Минуту назад мистер Саймон злорадствовал, заметив, что я побледнел, но сейчас я, наверное, был белее своей рубашки, к тому же голос мой сильно дрожал.

— В этой комнате присутствует благородный джентльмен! — воскликнул я.— Я обращаюсь к нему! Я вверяю ему свою жизнь и честь.

Престонгрэндж со стуком захлопнул книгу.

— Я же говорил вам, Саймон,— сказал он,— вы пошли ва-банк и проиграли свою игру. Мистер Дэвид,— продолжал он,— прошу вас поверить, что вас подвергли этому испытанию не по моей воле. И прошу вас поверить — я очень рад, что вы вышли из него с честью. Быть может, вы меня не сразу поймете, но тем самым вы оказали мне некоторую услугу. Если бы мой друг добился от вас большего, чем я вчера вечером, оказалось бы, что он лучший знаток людей, чем я; оказалось бы, что каждый из нас, мистер Саймон и я, находится не на своем месте. А я знаю, что наш друг Саймон честолюбив,— добавил он, легонько хлопнув Фрэзера по плечу.— Ну что же, этот маленький спектакль окончен; я настроен в вашу пользу, и, чем бы ни кончилось это неприятнейшее дело, я постараюсь, чтобы к вам отнеслись снисходительно.

Хорошие слова сказал мне Престонгрэндж, и, кроме того, я видел, что отношения между моими противниками были далеко не дружеские, пожалуй, в них даже сквозила враждебность. Тем не менее я не сомневался, что этот допрос был обдуман, а быть может, и прорепетирован ими совместно; очевидно, мои противники решили испробовать на мне все средства, и теперь, когда не подействовали ни убеждения, ни лесть, ни угрозы, мне оставалось только гадать, что же они придумают еще. Но после перенесенной пытки у меня мутилось в глазах и дрожали колени, и я только и мог, что пробормотать те же слова:

— Я вверяю вам свою жизнь и честь.

— Хорошо, хорошо,— сказал Престонгрэндж,— мы постараемся спасти и то и другое. А пока вернемся к более приятным делам. Вы не должны гневаться на моего друга мистера Саймона, он всего лишь выполнял полученные указания. А если вы в обиде на меня за то, что я стоял здесь, словно его пособник, то пусть ваша обида не распространится на мое ни в чем не повинное семейство. Девочки жаждут вашего общества, и я не желаю их ра-

зочаровывать. Завтра они собираются в Хоуп-Парк, вот и вам хорошо бы прогуляться с ними. Но сначала загляните ко мне, быть может, мне понадобится сказать вам кое-что наедине, и потом я вас передам под надзор моим барышням, а до тех пор еще раз подтвердите свое обещание молчать.

Напрасно я не отказался сразу, но, говоря по правде, в ту минуту я соображал довольно туго и послушно повторил обещание. Как я с ним простился — не помню, но когда я очутился на улице и за моей спиной захлопнулась дверь, я с облегчением прислонился к стене дома и отер лицо. Мистер Саймон, этот, как мне казалось, страшный призрак, не выходил у меня из головы, подобно тому, как внезапный грохот еще долго отдается в ушах. В памяти моей вставало все, что я слыхал и читал об отце Саймона, о нем самом, о его лживости и постоянных многочисленных предательствах, и все это перемешивалось с тем, что я сейчас испытал сам. Каждый раз, вспоминая о гнусной, ловко придуманной клевете, которой он хотел меня заклеймить, я вздрагивал от ужаса. Преступление человека на виселице у Лит-Уокской дороги мало чем отличалось от того, что теперь навязывали мне. Разумеется, подлое дело свершили эти двое взрослых мужчин, отняв у ребенка какие-то жалкие гроши, но ведь и мои поступки в том виде, как их намерен представить на суде Саймон Фрэзер, выглядят не менее подлыми и возмутительными.

Меня заставили очнуться голоса двух слуг в ливреях; они разговаривали у дверей Престонгрэнджа.

— Держи-ка записку,— сказал один,— и мчись что есть духу к капитану.

— Опять притащат сюда этого разбойника? — спросил другой.

— Да, видно так,— сказал первый.— Хозяину и Саймону он спешно понадобился.

— Наш Престонгрэндж вроде бы малость свихнулся,— сказал второй.— Скоро он этого Джемса Мора насовсем у себя оставит.

— Ну, это не наше с тобой дело,— ответил первый.

И они разошлись: один убежал с запиской, другой вернулся в дом.

Это не сулило ничего хорошего. Не успел я уйти, как они послали за Джемсом Мором, и, наверное, это на него намекал мистер Саймон, сказав о людях, которые сидят в тюрьме и охотно пойдут на что угодно, лишь бы выкупить свою жизнь. Волосы зашевелились у меня на голове, а через секунду вся кровь отхлынула от сердца: я вспомнил о Катрионе. Бедная девушка! Ее отцу грозила виселица за такие некрасивые проступки, что его, конечно, не помилуют. Но что еще противнее: теперь он готов спасти свою шкуру ценою позорнейшего и гнуснейшего убийства — убийства с помощью ложной клятвы. И в довершение всех наших бед, по-видимому, его жертвой буду я.

Я быстро зашагал, сам не зная куда, чувствуя только, что мне необходим воздух, движение и простор.

ГЛАВА VII

Я НАРУШАЮ СВОЕ СЛОВО

Могу поклясться, что совершенно не помню, как я очутился на Ланг-Дайкс [1] — проселочной дороге на северном, противоположном городу берегу озера. Отсюда мне была видна черная громада Эдинбурга; на склонах над озером высился замок, от него бесконечной чередой тянулись шпили, остроконечные крыши и дымящие трубы, и от этого зрелища у меня защемило сердце. Несмотря на свою молодость, я уже привык к опасностям, но ничем еще я не был так потрясен, как опасностью, с которой столкнулся нынче утром в так называемом мирном и безопасном городе. Угроза попасть в рабство, погибнуть в кораблекрушении, угроза умереть от шпаги или пули — все это я вынес с честью, но угроза, которая таилась в пронзительном голосе и жирном лице Саймона, бывшего лорда Ловэта, страшила меня, как ничто другое.

Я присел у озера, где сбегали в воду камыши, окунул руки в воду и смочил виски. Если бы не боязнь лишиться остатков самоуважения, я бы бросил свою безрассудную дерзкую затею. Но — называйте это отвагой или трусостью, а, по-моему, тут было и то и другое — я решил, что зашел слишком далеко и отступать уже поздно. Я не поддался этим людям, не поддамся им и впредь. Будь что будет, но я должен стоять на своем.

[1] Ныне Принс-стрит. (*Прим. автора.*)

Сознание своей стойкости несколько приободрило меня, но не слишком. Где-то в сердце у меня словно лежал кусок льда, и мне казалось, что жизнь беспросветно мрачна и не стоит того, чтобы за нее бороться. Я вдруг почувствовал острую жалость к двум существам. Одно из них — я сам, такой одинокий, среди стольких опасностей. Другое — та девушка, дочь Джемса Мора. Я мало говорил с ней, но я ее рассмотрел и составил о ней свое мнение. Мне казалось, что она, совсем как мужчина, ценит превыше всего незапятнанную честь, что она может умереть от бесчестья, а в эту самую минуту, быть может, ее отец выменивает свою подлую жизнь на мою. Мне подумалось, что наши с ней судьбы внезапно переплелись. До сих пор она была как бы в стороне от моей жизни, хотя я вспоминал о ней со странной радостью; сейчас обстоятельства внезапно столкнули нас ближе — она оказалась дочерью моего кровного врага и, быть может, даже моего убийцы. Как это жестоко, думал я, что всю свою жизнь я должен страдать и подвергаться преследованиям из-за чужих дел и не знать никаких радостей. Я не голодаю, у меня есть кров, где я могу спать, если мне не мешают тяжелые мысли, но, кроме этого, мое богатство ничего мне не принесло. Если меня приговорят к виселице, то дни мои, конечно, сочтены; если же меня не повесят и я выпутаюсь из этой беды, то жизнь будет тянуться еще долго и уныло, пока не наступит мой смертный час. И вдруг в памяти моей всплыло ее лицо, такое, каким я видел его в первый раз, с полуоткрытыми губами; я почувствовал замирание в груди и силу в ногах и решительно направился в сторону Дина. Если меня завтра повесят и если, что весьма вероятно, эту ночь мне придется провести в тюрьме, то напоследок я должен еще раз увидеть Катриону и услышать ее голос.

Быстрая ходьба и мысль о том, куда я иду, придали мне бодрости, и я даже чуть повеселел. В деревне Дин, приютившейся в долине у реки, я спросил дорогу у мельника; он указал мне ровную тропинку, по которой я поднялся на холм и подошел к маленькому опрятному домику, окруженному лужайками и яблоневым садом. Сердце мое радостно билось, когда я вошел в садовую ограду, но сразу упало, когда я столкнулся лицом к лицу со свирепого вида старой дамой в мужской шляпе, нахлобученной поверх белого чепца.

— Что вам здесь нужно? — спросила она.

Я сказал, что пришел к мисс Драммонд.

— А зачем вам понадобилась мисс Драммонд?

Я сказал, что познакомился с ней в прошлую субботу, что мне посчастливилось оказать ей пустяковую услугу и пришел я сюда по ее приглашению.

— А, так вы Шесть-пенсов! — с колкой насмешкой воскликнула старая дама.— Экая щедрость и экий благородный джентльмен! А у вас есть имя и фамилия, или вас так и крестили — «Шесть-пенсов»?

Я назвал себя.

— Боже правый! — воскликнула она.— Да неужто у Эбенезера есть сын?

— Нет, сударыня,— сказал я.—Я сын Александра. Теперь владелец Шоса я.

— Погодите, он с вас еще семь шкур сдерет, покуда вы отвоюете свои права,—заметила она.

— Я вижу, вы знаете моего дядюшку,—сказал я.— Тогда, возможно, вам будет приятно слышать, что дело уже улажено.

— Ну хорошо, а зачем вам понадобилась мисс Драммонд?—не унималась старая дама.

— Хочу получить свои шесть пенсов, сударыня,— сказал я.—Будучи племянником своего дяди, я, конечно, такой же скопидом, как и он.

— А вы хитрый малый, как я погляжу,— не без одобрения заметила старая дама.— Я-то думала, вы просто теленок — эти ваши шесть пенсов, да «ваш счастливый день», «да в память о Бэлкиддере»!..

Я обрадовался, поняв, что Катриона не забыла моих слов.

— Оказывается, тут было не без умысла,— продолжала она.— Вы, что же, пришли свататься?

— Довольно преждевременный вопрос,— сказал я.— Мисс Драммонд еще очень молода; я, к сожалению, тоже. Я видел ее всего один раз. Не стану отрицать,— добавил я, решив подкупить мою собеседницу откровенностью,— не стану отрицать, я часто думал о ней с тех пор, как мы встретились. Но это одно дело, а связывать себя по рукам и ногам — совсем другое; я не настолько глуп.

— Вижу, язык у вас хорошо привешен,—сказала старая дама.— Слава богу, у меня тоже! Я была такой дурой, что взяла на свое попечение дочь этого негодяя — вот уж поистине не было других забот! Но раз взялась, то буду заботиться по-своему. Не хотите ли вы сказать,

мистер Бэлфур из Шоса, что вы женились бы на дочери Джемса Мора, которого вот-вот повесят? Ну, а нет, значит, не будет и никакого волокитства, зарубите себе это на носу. Девушки — ненадежный народ,— прибавила она, кивая,— и, может, вы не поверите, глядя на мои морщинистые щеки, но я тоже была девушкой, и довольно миленькой.

— Леди Аллардайс,— сказал я,— полагаю, я не ошибся? Леди Аллардайс, вы спрашиваете и отвечаете за нас обоих, так мы никогда не договоримся. Вы нанесли мне меткий удар, спросив, собираюсь ли я жениться у подножия виселицы на девушке, которую я видел всего один раз. Я сказал, что не настолько опрометчив, чтобы связывать себя словом. И все же продолжим наш разговор. Если девушка будет нравиться мне все так же — а у меня есть основания надеяться на это,— тогда ни ее отец, ни виселица нас не разлучат. А моя родня — я нашел ее на дороге, как потерянную монетку. Я ровно ничем не обязан своему дядюшке; если я когда-нибудь и женюсь, то только для того, чтобы угодить одной-единственной особе: самому себе.

— Такие речи я слыхала еще до того, как вы на свет родились,— заявила миссис Огилви,— должно быть, потому я их и в грош не ставлю. Тут много есть над чем поразмыслить. Этот Джемс Мор, к стыду моему, приходится мне родственником. Но чем лучше род, тем больше в нем отрубленных голов и скелетов на виселицах, так уж исстари повелось в нашей несчастной Шотландии. Да если б дело было только в виселице! Я бы даже рада была, если бы Джемс висел в петле, по крайней мере с ним было бы покончено. Кэтрин — славная девочка и добрая душа, она целыми днями терпит воркотню такой старой карги, как я. Но у нее есть своя слабость. Она просто голову теряет, когда дело касается ее папаши, этого лживого верзилы, льстеца и попрошайки, и помешана на всех Грегорах, на запрещенных именах, короле Джемсе и прочей чепухе. Если вы воображаете, что сможете ее переделать, вы сильно ошибаетесь. Вы говорите, что видели ее всего раз...

— Я всего один раз с ней разговаривал,— перебил я,— но видел еще раз сегодня утром из окна гостиной Престонгрэнджа.

Должен признаться, я сказал это, чтобы щегольнуть своим знакомством, но тотчас же был наказан за чванство.

— Как так? — вдруг забеспокоившись, воскликнула старая дама.— Ведь вы же и в первый раз встретились с ней у прокурорского дома?

Я подтвердил это.

— Гм...— произнесла она и вдруг сварливо набросилась на меня.— Я ведь только от вас и знаю, кто вы и что вы! — закричала она.— Вы говорите, что вы Бэлфур из Шоса, но кто вас знает, может, вы Бэлфур из чертовой подмышки! И зачем вы сюда явились — может, вы и правду сказали, а может, и черт знает зачем! Я никогда не подведу вигов, я сижу и помалкиваю, чтобы мужчины моего клана сохранили головы на плечах, но я не стану молчать, когда меня дурачат! И я вам прямо скажу: что-то слишком часто вы околачиваетесь у прокурорских дверей да окон, непохоже, чтоб вы были вздыхателем дочери Макгрегора. Так и скажите прокурору, который вас подослал, и низко ему кланяйтесь. Прощайте, мистер Бэлфур.— Она послала мне воздушный поцелуй.— Желаю благополучно добраться туда, откуда вы пришли!

— Если вы принимаете меня за шпиона...— вскипел я, но у меня перехватило горло. Я стоял и свирепо глядел на старую даму, потом поклонился и пошел было прочь.

— Ха! Вот еще! Кавалер обиделся! — закричала она.— Принимаю вас за шпиона! А за кого же мне вас принимать, если я про вас ровно ничего не знаю? Но, видно, я все-таки ошиблась, а раз я не могу драться, придется мне попросить извинения. Хороша бы я была со шпагой в руке! Ну, ну,— продолжала она,— вы посвоему не такой уж скверный малый. Наверное, ваши недостатки чем-то искупаются. Только, ох, Дэвид Бэлфур, вы ужасная деревенщина. Надо вам, дружок, пообтесаться, надо, чтобы вы ступали полегче и чтобы вы поменьше мнили о своей прекрасной особе; да еще постарайтесь усвоить, что женщины не гренадеры. Хотя где уж вам! До последнего своего дня вы будете смыслить в женщинах не больше, чем я в холощении кабанов.

Никогда еще я не слыхал от женщины таких слов; в своей жизни я знал всего двух женщин — свою мать и миссис Кемпбелл, и обе были весьма благочестивы и весьма деликатны. Должно быть, на моем лице отразилось изумление, ибо миссис Огилви вдруг громко расхохоталась.

— О господи,— воскликнула она, борясь со смехом,— ну и дурацкая же у вас физиономия, а еще хотите жениться на дочери горного разбойника! Дэви, милый мой, надо вас непременно поженить — хотя бы для того, чтобы посмотреть, какие у вас получатся детки! Ну, а теперь,— продолжала она,— нечего вам здесь топтаться, вашей девицы нет дома, и боюсь, что старуха Огилви не слишком подходящее общество для вашей милости. К тому же, кроме меня самой, некому позаботиться о моем добром имени, а я и так слишком долго пробыла наедине с весьма соблазнительным юношей. За шестью пенсами зайдете в другой раз! — крикнула она мне уже вслед.

Стычка с этой старой насмешницей придала моим мыслям смелость, которой им сильно недоставало. Уже два дня, как образ Катрионы сливался со всеми моими размышлениями; она была как бы фоном для них, и я почти не оставался наедине с собой: она всегда присутствовала где-то в уголке моего сознания. А сейчас она стала совсем близкой, ощутимой; казалось, я мог дотронуться до нее, которой не касался еще ни разу. Я перестал сдерживать себя, и душа моя, счастливая этой слабостью, ринулась к ней; глядя вокруг, вперед и назад, я понял, что мир — унылая пустыня, где люди, как солдаты в походе, должны выполнять свой долг со всей стойкостью, на какую они способны, и в этом мире одна лишь Катриона может внести радость в мою жизнь. Мне самому было удивительно, как я мог предаваться таким мыслям перед лицом опасности и позора; а когда я вспомнил, какой я еще юнец, мне стало стыдно. Я должен закончить образование, должен найти себе какое-то полезное дело и пройти службу там, где все обязаны служить; я еще должен присмотреться к себе, понять себя и доказать, что я мужчина, и здравый смысл заставлял меня краснеть оттого, что меня уже искушают мысли о предстоящих мне святых восторгах и обязанностях. Во мне заговорило мое воспитание: я вырос не на сладких бисквитах, а на черством хлебе правды. Я знал, что не может быть мужем тот, кто еще не готов стать отцом; а такой юнец, как я, в роли отца был бы просто смешон.

Погруженный в эти мысли, примерно на полпути к городу я увидел шедшую мне навстречу девушку, и смятение мое возросло. Мне казалось, что я мог так много

сказать ей, но начать было не с чего; и, вспомнив, как я был косноязычен сегодня утром в гостиной генерального прокурора, я думал, что сейчас совсем онемею. Но стоило ей подойти ближе, как мои страхи улетучились, и даже эти мои тайные мысли меня больше ничуть не смущали. Оказалось, что я могу разговаривать с нею свободно и рассудительно, как разговаривал бы с Аланом.

— О! — воскликнула она.— Вы приходили за своими шестью пенсами! Вы их получили?

Я ответил, что нет, но поскольку я ее встретил, значит, прошелся не зря.

— Хотя я вас сегодня уже видел,— добавил я и рассказал, когда и где.

— А я вас не видела,— сказала она.— Глаза у меня не маленькие, но я плохо вижу вдаль. Я только слышала пение.

— Это пела мисс Грант,— сказал я,— старшая и самая красивая из дочерей Престонгрэнджа.

— Говорят, они все очень красивые.

— То же самое они думают о вас, мисс Драммонд,— ответил я.— Они все столпились у окна, чтобы на вас посмотреть.

— Как жаль, что я такая близорукая,— сказала Катриона.— Я бы тоже могла их увидеть. Значит, вы были там? Наверное, славно провели время: хорошая музыка и хорошенькие барышни!

— Нет, вы ошибаетесь,— сказал я.— Я чувствовал себя не лучше, чем морская рыба на склоне холма. По правде сказать, компания грубых мужланов подходит мне куда больше, чем общество хорошеньких барышень.

— Да, мне тоже так кажется,—сказала она, и мы оба рассмеялись.

— Странная вещь,—сказал я.— Я ничуть не боюсь вас, а от барышень Грант мне хотелось поскорее сбежать. И вашу родственницу я тоже боюсь.

— Ну, ее-то все мужчины боятся!— воскликнула Катриона.—Даже мой отец.

Упоминание об отце заставило меня умолкнуть. Идя рядом с Катрионой, я смотрел на нее и вспоминал этого человека, все немногое, что я о нем знал, и то многое, что я в нем угадывал; я сопоставлял одно с другим и понял, что молчать об этом нельзя, иначе я буду предателем.

— Кстати, о вашем отце,—сказал я.—Я видел его не далее, как сегодня утром.

— Правда?—воскликнула она с радостью в голосе, прозвучавшей для меня укором.— Вы видели Джемса Мора? И, быть может, даже разговаривали с ним?

— Даже разговаривал,—сказал я.

И тут все обернулось для меня как нельзя хуже. Она взглянула на меня полными благодарности глазами.

— О, спасибо вам за это,— сказала она.

— Меня не за что благодарить,— начал я и умолк. Но мне показалось, что если я о стольком умалчиваю, то хоть что-то все же должен ей сказать.— Я говорил с ним довольно резко. Он мне не очень понравился, поэтому я был с ним резок, и он рассердился.

— Тогда зачем же вы разговариваете с его дочерью да еще и рассказываете ей про это! — воскликнула Катриона.— Я не желаю знаться с теми, кто его не любит и кому он не дорог!

— И все же я осмелюсь сказать еще слово,— произнес я, чувствуя, что меня бросает в дрожь.— Вероятно, и вашему отцу и мне у Престонгрэнджа было совсем не весело. Обоих нас мучила тревога, ибо это опасный дом. Мне стало жаль вашего отца, и я заговорил с ним первый... Правда, я мог бы разговаривать умнее. Одно могу вам сказать: по-моему, вы скоро убедитесь, что дела его улучшаются.

— Но, наверное, не благодаря вам,— сказала она,— а за соболезнование он, конечно, вам очень признателен.

— Мисс Драммонд! — воскликнул я.— Я один на свете!..

— Меня это ничуть не удивляет,— сказала она.

— О, позвольте мне говорить! — сказал я.— Я выскажу вам все и потом, если вы хотите, уйду навсегда. Сегодня я пришел к вам в надежде услышать доброе слово, мне так его не хватает! Знаю, то, что я сказал о вашем отце, вас обидело, и я знал это заранее. Было бы куда легче сказать вам что-нибудь приятное — и солгать; разве вы не понимаете, как это было для меня соблазнительно? Разве вы не видите, что я чистосердечно говорю вам правду?

— Я думаю, что все это слишком сложно для меня, мистер Бэлфур,— сказала она.— Я думаю, что одной

встречи достаточно и мы можем расстаться, как благородные люди.

— О, если бы хоть одна душа мне поверила! — взмолился я.— Иначе я не смогу жить! Весь мир словно в заговоре против меня. Как же я исполню свой долг, если судьба моя так ужасна? Ничего я не смогу сделать, если никто в меня не поверит. И человек умрет, потому что я не смогу выручить его!

Она шла, высоко подняв голову и глядя прямо перед собой, но мои слова или мой тон заставили ее остановиться.

— Что вы сказали? — спросила она.— О чем вы говорите?

— О моих показаниях, которые могут спасти невинного,— сказал я,— а мне не разрешают быть свидетелем. Как бы вы поступили на моем месте? Вы-то знаете, каково это, вашему отцу тоже угрожает смерть. Покинули бы вы человека в беде? Меня пытались уговорить всякими способами. Хотели подкупить и сулили золотые горы. А сегодня этот цепной пес объяснил мне, что я у него в руках, и рассказал, каким образом он меня погубит и опозорит. Меня хотят сделать соучастником убийства; я будто бы разговором задержал Гленура, польстившись на старое тряпье и несколько монет; я буду повешен и опозорен. Если меня ждет такая смерть — а я еще даже не считаюсь взрослым,— если по всей Шотландии обо мне будут рассказывать такую историю, если и вы тоже ей поверите, и мое имя станет притчей во языцех,— как я могу, Катриона, довести свое дело до конца? Это невозможно, этого не выдержит ни одна человеческая душа!

Слова мои лились сплошным потоком, без передышки; умолкнув, я увидел, что она смотрит на меня испуганными глазами.

— Гленур! Это же эпинское убийство! — тихо, но изумленно произнесла она.

Встретившись с нею, я повернул обратно, чтобы проводить ее, и сейчас мы почти дошли до вершины холма над деревней Дин. При этих ее словах я, не помня себя, шагнул вперед и заступил ей дорогу.

— Боже мой! — воскликнул я.— Боже мой, что я наделал! — Я сдавил кулаками виски.— Что со мной? Как я мог проговориться, это просто наваждение!

— Да что случилось? — воскликнула она.

— Я поступил бесчестно,— простонал я,— я дал слово и не сдержал его! О Катриона!

— Но скажите же, что произошло? — спросила она.— Чего вы не должны были говорить? Неужели вы думаете, что у меня нет чести? Или что я способна предать друга? Вот, я поднимаю правую руку и клянусь.

— О, я знаю, что вы будете верны слову,— сказал я.— Речь обо мне. Только сегодня утром я смело смотрел им в лицо, я готов был скорее умереть опозоренным на виселице, чем пойти против своей совести, а через несколько часов разболтался и швырнул свою честь в дорожную пыль! «Наша беседа убедила меня в одном,— сказал он,— на ваше слово можно положиться». Где оно теперь, мое слово? Кто мне теперь поверит? Вы-то уже не сможете мне верить. Как я низко пал! Лучше бы мне умереть!

Все это я проговорил плачущим голосом, но слез у меня не было.

— Я гляжу на вас, и у меня разрывается сердце,— сказала она,— но, знаете, вы чересчур к себе взыскательны. Вы говорите, что я вам не стану верить? Я доверила бы вам все, что угодно. А эти люди? Я бы и думать о них не стала! Люди, которые стараются поймать вас в ловушку и погубить! Фу! Нашли, перед кем унижать себя! Держите голову выше! Знаете, я готова восхищаться вами, как настоящим героем, а вы ведь только чуточку старше меня! И стоит ли так убиваться из-за того, что вы сказали лишнее слово другу, который скорее умрет, чем выдаст вас! Лучше всего нам с вами об этом забыть.

— Катриона,— сказал я, глядя на нее виноватыми глазами,—неужели это правда? Вы все же мне доверяете?

— Вы видите мои слезы? Вы и им не верите? — воскликнула она.— Я бесконечно вас уважаю, мистер Дэвид Бэлфур. Пускай даже вас повесят, я никогда вас не забуду, я стану совсем старой и все равно буду помнить вас Это прекрасная смерть, я буду завидовать, что вас повесили!

— А может быть, я просто испугался, как ребенок буки,— сказал я.— Может быть, они просто посмеялись надо мной.

— Вот это мне надобно уразуметь,— сказала Катриона.— Вы должны рассказать мне все. Так или иначе, вы проговорились, теперь извольте рассказывать все.

Я сел у дороги, она присела рядом, и я рассказал ей все почти так, как здесь написано, умолчав только о своих опасениях, что ее отец пойдет на постыдную сделку.

— Да,— сказала она, когда я кончил,— вы, конечно, герой, вот уж никогда бы не подумала! И мне кажется, жизнь ваша действительно в опасности. О Саймон Фрэзер! Подумать только, что за человек! Ввязаться в такое дело из-за денег и из страха за свою жизнь! — И тут я услышал странное выражение, которое, как я потом убедился, было ее постоянным присловьем.— Вот наказанье! — воскликнула она.— Поглядите, где солнце!

Солнце и в самом деле уже клонилось к горам.

Катриона велела мне поскорее прийти опять, пожала мне руку и оставила меня в радостном смятении. Я не спешил возвращаться на свою квартиру, боясь, что меня тотчас же арестуют; я поужинал на постоялом дворе и почти всю ночь пробродил по ячменным полям, так явственно чувствуя присутствие Катрионы, будто я нес ее на руках.

ГЛАВА VIII

ПОДОСЛАННЫЙ УБИЙЦА

На следующий день, двадцать девятого августа, в условленный час я пришел к Генеральному прокурору в новой, с иголочки, сшитой по моей мерке одежде.

— Ого,— сказал Престонгрэндж,— как вы сегодня нарядны; у моих девиц будет прекрасный кавалер. Это очень любезно с вашей стороны. Очень любезно, мистер Дэвид. О, мы с вами отлично поладим, и надеюсь, все ваши тревоги близятся к концу.

— Вы хотите мне что-то сообщить?

— Да, нечто совершенно неожиданное,—ответил он.—Вам, в конце концов, разрешено дать показания; и если вам будет угодно, вы вместе со мной пойдете на суд, который состоится в Инверэри, в четверг двадцать первого числа будущего месяца.

От удивления я не мог найти слов.

— А тем временем,—продолжал он,— хотя я и не беру с вас еще раз слово, но все же обязан предупредить, что вам следует строго соблюдать наш уговор. Завтра вы дадите предварительные показания; а потом — надеюсь, вы понимаете, что чем меньше вы будете говорить, тем лучше.

— Постараюсь быть благоразумным,— сказал я.— За эту огромную милость я, наверное, должен поблагодарить вас, и я приношу свою глубокую благодарность. После вчерашнего, милорд, для меня сейчас словно открылись врата рая. Мне даже с трудом верится, что это правда.

— Ну, постарайтесь как следует, и вы поверите, постарайтесь и поверите,— успокаивающе молвил он,— а я очень рад слышать, что вы считаете себя обязанным мне. Вероятно, возможность отплатить мне представится очень скоро...— Он покашлял.— Быть может, даже сейчас. Обстоятельства сильно изменились. Ваши свидетельские показания, ради которых я не хочу сегодня вас беспокоить, несомненно, представят дело в несколько ином свете для всех, кого оно касается, и потому мне уже будет менее неловко обсудить с вами один побочный вопрос.

— Милорд,—перебил я,— простите, что я вас прерываю, но как же это случилось? Препятствия, о которых вы говорили в субботу, даже мне показались совершенно непреодолимыми, как же удалось это сделать?

— Дорогой мистер Дэвид,— сказал он,— я никак не могу даже перед вами разглашать то, что происходит на совещаниях правительства, и вы, к сожалению, должны удовольствоваться просто фактом.

Он отечески улыбался мне, поигрывая новым пером; я не допускал и мысли, что в его словах есть хоть тень обмана; однако же, когда он придвинул к себе лист бумаги, обмакнул перо в чернила и снова обратился ко мне, моя уверенность поколебалась, и я невольно насторожился.

— Я хотел бы выяснить одно обстоятельство,— начал он.— Я умышленно не спрашивал вас о нем прежде, но сейчас молчать уже нет необходимости. Это, конечно, не допрос, допрашивать вас будет другое лицо; это просто частная беседа о том, что меня интересует. Вы говорите, вы встретили Алана Брека на холме?

— Да, милорд,— ответил я.

— Это было сразу же после убийства?

— Да.

— Вы с ним разговаривали?

— Да.

— Вы, я полагаю, знали его прежде? — небрежно спросил прокурор.

— Не могу догадаться, почему вы так полагаете, милорд,— ответил я,— но я действительно знал его и раньше.

— А когда вы с ним расстались?

— Я не стану отвечать сейчас,—сказал я.— Этот вопрос мне зададут на суде.

— Мистер Бэлфур,—сказал Престонгрэндж,— поймите же, что от этого никакого вреда вам не будет. Я обещал спасти вашу жизнь и честь, и, поверьте, я умею держать свое слово. Поэтому вам совершенно не о чем беспокоиться. По-видимому, вы думаете, будто можете выручить Алана; вы выражали мне свою благодарность, которую, если уж на то пошло, я вполне заслужил. Можно привести множество других соображений, и все сводятся к одному и тому же; и меня ничто не убедит, что вы не можете, если только захотите, помочь нам изловить Алана.

— Милорд,— ответил я,— даю вам слово, я даже не догадываюсь, где Алан.

Он помолчал.

— И даже не знаете, каким образом его можно разыскать? — спросил он наконец.

Я сидел перед ним, как пень.

— Стало быть, такова ваша благодарность, мистер Дэвид,— заметил он и снова немного помолчал.— Ну что же,—сказал он, вставая,— мне не повезло, мы с вами не понимаем друг друга. Не будем больше говорить об этом. Вас уведомят, когда, где и кто будет вас допрашивать. А сейчас мои девицы, должно быть, уже заждались вас. Они никогда мне не простят, если я задержу их кавалера.

После этого я был препровожден к трем грациям, которые показались мне сверхъестественно нарядными и напоминали пышный букет цветов.

Когда мы выходили из дверей, произошел незначительный случай, который впоследствии оказался необычайно важным. Кто-то громко и отрывисто свистнул, точно подавая сигнал; я оглянулся по сторонам: невда-

леке мелькнула рыжая голова Нийла, сына Дункана из Тома. Через мгновение он исчез из виду, и я не успел увидеть даже краешка юбки Катрионы, которую, как я, естественно, подумал, он, должно быть, сопровождал.

Мои прекрасные телохранительницы повели меня по Бристо и Брантсфилд-Линкс, откуда дорога шла прямо к Хоуп-Парку, чудесному месту с усыпанными гравием дорожками, скамейками и беседками; все это находилось под охраной сторожа. Путь был довольно долгим, две младшие девицы приняли томно-усталый вид, что меня чрезвычайно угнетало, а старшая временами чуть ли не посмеивалась, глядя на меня; и хотя я чувствовал, что держусь гораздо лучше, чем накануне, все же это стоило мне немалых усилий. Едва мы вошли в парк, как я попал в компанию восьми или десяти молодых джентльменов — почти все они, кроме нескольких офицеров, были адвокатами. Они окружили юных красавиц, намереваясь сопровождать их; и хотя меня представили им весьма любезно, все они тут же обо мне позабыли. Молодые люди в обществе похожи на диких животных: они либо набрасываются на незнакомца, либо относятся к нему с полным презрением, забывая о всякой учтивости и, я бы даже сказал, человечности; не сомневаюсь, что, очутись я среди павианов, они вели бы себя почти так же. Адвокаты принялись отпускать остроты, а офицеры шумно болтать, и я не знаю, которые из них раздражали меня больше. Все они так горделиво поглаживали рукоятки своих шпаг и расправляли полы одежды, что из одной черной зависти мне хотелось вытолкать их за ворота парка. Мне казалось, что и они, со своей стороны, имели против меня зуб за то, что я пришел сюда в обществе этих прелестных девиц; вскоре я отстал от веселой компании и с натянутым видом шагал позади, погрузившись в свои мысли.

Меня отвлек от них один из офицеров, дубоватый и хитрый, судя по говору, уроженец гор, спросивший, верно ли, что меня зовут «Пэлфуром».

Довольно сухо, ибо тон его был не очень вежлив, я ответил, что он не ошибся.

— Ха, Пэлфур,— повторил он.— Пэлфур, Пэлфур!

— Боюсь, вам не нравится мое имя, сэр? — произнес я, злясь на себя за то, что меня злит этот неотесанный малый.

— Нет,— ответил он,— только я думал...

— Я бы не советовал вам заниматься этим, сэр,— сказал я.— Я уверен, что это вам не по силам.

— А фам известно, где Алан Грегор нашел чипцы?

Я спросил, как это понять, и он с лающим смехом ответил, что, наверное, там же я нашел кочергу, которую, как видно, проглотил.

Мне все стало ясно, и щеки мои запылали.

— На вашем месте,— сказал я,— прежде чем наносить оскорбления джентльменам, я бы выучился английскому языку.

Он взял меня за рукав, кивнул и, подмигнув, тихонько вывел из парка. Но едва мы скрылись от глаз гуляющей компании, как выражение его лица изменилось.

— Ах ты болотная жаба! — крикнул он и с силой ударил меня кулаком в подбородок.

В ответ я ударил его так же, если не крепче; тогда он отступил назад и учтивым жестом снял передо мной шляпу.

— Хватит махать кулаками,— сказал он.— Вы оскорбили шентльмена. Это неслыханная наглость — сказать *шентльмену и к тому же королевскому офичеру*, пудто он не умеет говорить по-англишки! У нас есть шпаги, и рядом Королевский парк. Фы пойдете первым, или мне показать фам дорогу?

Я ответил таким же поклоном, предложил ему идти вперед и последовал за ним. Шагая позади, я слышал, как он бормотал что-то насчет «англишкого языка» и королевского мундира, из чего можно было бы заключить, что он оскорблен всерьез. Но его выдавало то, как он вел себя в начале нашего разговора. Без сомнения, он явился сюда, чтобы затеять со мной ссору под любым предлогом; без сомнения, я попал в ловушку, устроенную моими недругами; и, зная, что фехтовальщик я никудышный, не сомневался, что из этой схватки мне не выйти живым.

Когда мы вошли в скалистый, пустынный Королевский парк, меня то и дело подмывало убежать без оглядки,—так не хотелось мне обнаруживать свою неумелость и так неприятно было думать, что меня убьют или хотя бы ранят. Но я внушил себе, что если враги в своей злобе зашли так далеко, то теперь уж не остановятся ни перед чем, а принять смерть от шпаги, пусть даже не очень почетную, все же лучше, чем болтаться в

петле. К тому же, подумал я, после того, как я неосторожно наговорил ему дерзостей и так быстро ответил ударом на удар, у меня уже нет выхода; если даже я побегу, мой противник, вероятно, догонит меня, и ко всем моим бедам прибавится еще и позор. И, поняв все это, я уже без всякой надежды продолжал шагать за ним, точно осужденный за палачом.

Мы миновали длинную вереницу скал и подошли к Охотничьему болоту. На лужке, покрытом мягким дерном, мой противник выхватил шпагу. Здесь нас никто не мог видеть, кроме птиц; и мне ничего не оставалось, как последовать его примеру и стать в позицию, изо всех сил стараясь выглядеть уверенно Что-то, однако, не понравилось мистеру Дункансби; очевидно, усмотрев в моих движениях какую-то неправильность, он помедлил, окинул меня острым взглядом, отскочил и сделал выпад, угрожая мне концом шпаги. Алан не показывал мне таких приемов, к тому же я был подавлен ощущением неминуемой смерти, поэтому совсем растерялся и, беспомощно стоя на месте, думал только о том, как бы пуститься наутек.

— Што с вами, шорт вас дери? — крикнул лейтенант и вдруг ловким движением выбил у меня из рук шпагу, которая отлетела далеко в камыши.

Он дважды повторил этот маневр, а подняв свой опозоренный клинок в третий раз, я увидел, что мой противник уже засунул шпагу в ножны и ждет меня со злым лицом, заложив руки за спину.

— Разрази меня гром, если я до вас дотронусь! — закричал он и язвительно спросил, какое я имею право выходить на бой с «шентльменом», если не умею отличить острия шпаги от рукоятки.

Я ответил, что виной тому мое воспитание, и осведомился, может ли он по справедливости сказать, что получил удовлетворение в той мере, в какой, к сожалению, я мог его дать, и что я держался, как мужчина.

— Это ферно,— сказал он,—я и сам шеловек храбрый и отвашный, как лев. Но стоять, как вы стояли, даже не умея дершать шпагу,— нет, у меня не хватило бы духу! Прошу прощенья, что ударил вас, хотя вы стукнули меня еще сильнее, у меня до сих пор в голове гудит Знай я такое дело, я бы нипочем не стал связываться!

— Хорошо сказано,— ответил я.— Уверен, что в другой раз вы не захотите быть марионеткой в руках моих врагов.

— Да ни за что, Пэлфур! — воскликнул он.— Если подумать, так они меня сильно обидели, заставив фехтовать все равно, что со старой бабкой или малым ребенком! Так я ему и скажу и, ей-богу, вызову его сражаться со мной!

— А если бы вы знали, почему мистер Саймон зол на меня,— сказал я,— вы оскорбились бы еще больше за то, что вас впутывают в такие дела.

Он поклялся, что охотно верит этому, что все Ловэты сделаны из одного теста, которое месил сам дьявол; потом вдруг крепко пожал мне руку и заявил, что я в общем-то славный малый и какая жалость, что никто как следует не занялся моим воспитанием; если у него найдется время, то он непременно последит за ним сам.

— Вы могли бы оказать мне куда более важную услугу,— сказал я; и когда он спросил, какую же именно, я ответил: — Пойдите вместе со мной к одному из моих врагов и подтвердите, как я себя вел сегодня. Это будет истинная услуга. Хотя мистер Саймон на первый раз послал мне благородного противника, но ведь он замыслил убийство,— значит, пошлет и второго, и третьего, а вы уже видели, как я владею холодным оружием, и можете судить, чем, по всей вероятности, это кончится.

— Будь я таким фехтовальщиком, как вы, я тоже этому не обрадовался бы! — воскликнул он.— Но я расскажу о вас все по справедливости! Идем!

Если я шел в этот проклятый парк, с трудом передвигая ноги, то на обратном пути я шагал легко и быстро, в такт прекрасной песне, древней, как библия; «Жало смерти меня миновало» — таковы были ее слова. Помнится, я почувствовал нестерпимую жажду и напился из колодца святой Маргариты, стоявшего у дороги. Вода показалась мне необычайно вкусной.

Сговариваясь на ходу о подробностях предстоящего нам объяснения, мы прошли мимо церкви, поднялись до Кэнонгейт и по Низербау подошли прямо к дому Престонгрэнджа. Лакей сказал, что его светлость дома, но занимается с другими джентльменами каким-то секретным делом и приказал его не беспокоить.

— Мое дело займет всего три минуты, и откладывать его нельзя,— сказал я.— Передайте ему, что оно

вовсе не секретно, и я даже рад буду присутствию свидетелей.

Лакей неохотно отправился докладывать, а мы осмелились пройти вслед за ним в переднюю, куда из соседней комнаты доносились приглушенные голоса. Как оказалось, там у стола собрались трое — Престонгрэндж, Саймон Фрэзер и мистер Эрскин, пертский шериф; они как раз обсуждали эпинское дело и были очень недовольны моим вторжением, однако решили принять меня.

— А, мистер Бэлфур, что вас заставило вернуться сюда? И кого это вы с собой привели? — спросил Престонгрэндж.

Фрэзер тем временем молчал, уставясь в стол.

— Этот человек пришел, чтобы дать свидетельство в мою пользу, милорд, и мне кажется, вам необходимо его выслушать,— ответил я и повернулся к Дункансби.

— Могу сказать одно,— произнес лейтенант.— Мы с Пэлфуром сегодня обнажили шпаги у Охотничьего болота, о чем я ошень теперь сожалею, и он вел себя, как настоящий шентльмен. И я очень уважаю Пэлфура,— добавил он.

— Благодарю за честные слова,— сказал я.

Затем, как мы условились, Дункансби сделал общий поклон и вышел из комнаты.

— Но ради бога, при чем тут я? — сказал Престонгрэндж.

— Это я объясню вам в двух словах, милорд,— ответил я.— Я привел этого джентльмена, офицера армии его величества, чтобы он при вас подтвердил свое мнение обо мне. Теперь, мне кажется, честь моя удостоверена, и до известного срока — ваша светлость знает, до какого,— бесполезно подсылать ко мне других офицеров. Я не согласен пробивать себе путь сквозь весь гарнизон замка.

На лбу Престонгрэнджа вздулись жилы, глаза его загорелись яростью.

— Честное слово, сам дьявол натравляет на меня этого мальчишку! — закричал он и в бешенстве повернулся к своему соседу.— Это ваша работа, Саймон,— сказал он.— Я вижу, что вы к этому приложили руку, и позвольте вам сказать, что я вами возмущен! Договориться об одном способе и тайком применять другой — это нечестно! Вы поступили со мной нечестно.

Как! Вы допустили, чтобы я послал туда этого мальчишку с моими дочерями! И только потому, что я обмолвился при вас... Фу, сэр, не вовлекайте других в ваши козни!

Саймон мертвенно побледнел.

— Я больше не желаю, чтобы вы и герцог перебрасывались мною, как мячом! — воскликнул он.— Спорьте между собой или соглашайтесь, воля ваша. Но я больше не хочу быть на побегушках, получать противоречивые указания и выслушивать попреки от обоих! Если бы я сказал все, что думаю об этих ваших делах с Гановерами, у вас бы долго звенело в ушах!

Но тут наконец вступил в разговор шериф Эрскин, до сей поры сохранявший полную невозмутимость.

— А тем временем,— ровным голосом произнес он,— мне кажется, следует сказать мистеру Бэлфуру, что мы удостоверились в его отваге. Он может спать спокойно. До упомянутого срока его доблесть больше не будет подвергаться испытаниям.

Его хладнокровие отрезвило остальных, и они вежливо, но несколько торопливо стали прощаться, стараясь поскорее выпроводить меня из дома.

ГЛАВА IX

ВЕРЕСК В ОГНЕ

Я вышел из этого дома, впервые разгневавшись на Престонгрэнджа. Оказывается, прокурор просто насмехался надо мной. Он лгал, что мои показания будут выслушаны, что мне ничто не угрожает, а тем временем не только Саймон с помощью офицера-горца покушался на мою жизнь, но и сам Престонгрэндж, как явствовало из его слов, тоже замышлял что-то против меня. Я пересчитал моих врагов. Престонгрэндж, на стороне которого королевская власть; герцог и вся подвластная ему западная часть шотландских гор; и тут же под боком Ловэт, готовый привлечь им на помощь огромные силы на севере страны и весь клан старых якобитских шпионов и их наемников. А вспомнив Джемса Мора и рыжую голову Нийла, Дунканова сына, я подумал, что в заговоре против меня, быть может, есть и четвертый участник и что остатки древнего клана Роб Роя, потом-

ки отчаянных разбойников, тоже объединятся против меня с остальными. Как мне сейчас не хватало сильного друга или умного советчика! Должно быть, в стране немало людей, которые могут и хотят прийти мне на выручку, иначе Ловэту, герцогу и Престонгрэнджу незачем было бы измышлять способы от меня отделаться; и я выходил из себя при мысли, что где-нибудь на улице я мог задеть друга плечом и не узнать его.

И тотчас же, словно подтверждая мои мысли, какой-то джентльмен, проходя мимо, задел меня плечом, бросил многозначительный взгляд и свернул в переулок. Уголком глаза я успел разглядеть, что это стряпчий Стюарт, и, благословляя судьбу, повернулся и последовал за ним. В переулке я увидел его тотчас же: он стоял на лестнице у входа в дом и, сделав мне знак, быстро исчез. Несколькими этажами выше я догнал его у какой-то двери, которую он запер на ключ, как только мы вошли. Это была пустая квартира, без всякой мебели — очевидно, одна из тех, которые Стюарту было поручено сдать внаем.

— Придется сидеть на полу,— сказал он,— зато здесь мы в полной безопасности, а я жаждал вас видеть, мистер Бэлфур.

— Как Алан? — спросил я.

— Прекрасно,— сказал стряпчий.— Завтра, в среду, Энди возьмет его на борт с Джилланской отмели. Он очень хотел попрощаться с вами, но, боюсь, при нынешнем положении вам лучше держаться подальше друг от друга. А теперь о главном: как подвигается ваше дело?

— Да вот,— ответил я,— сегодня утром мне сказали, что мои свидетельские показания будут выслушаны и что я отправлюсь в Инверэри вместе с самим Генеральным прокурором — ни больше, ни меньше!

— Ха-ха! — засмеялся стряпчий.— Как бы не так!

— Я и сам подозреваю тут неладное,— сказал я,— но мне хотелось бы услышать ваши соображения.

— Скажу вам честно, я просто киплю от злости,— почти кричал Стюарт.— Достать бы мне рукой до их правительства, я бы сбил его наземь, как гнилое яблоко! Я доверенное лицо Эпина и Джемса Гленского, и, само собой, мой долг бороться за жизнь моего родича. Но вы послушайте, что творится, и судите сами. Первым делом им нужно разделаться с Аланом. Они не могут притянуть Джемса ни за преступление, ни за злоумышление, пока сначала не притянут Алана как главного виновника,— таков закон: нельзя ставить повозку перед лошадью.

— Как же они притянут Алана, если они его не поймали? — спросил я.

— А этот закон можно обойти,— сказал он.— На то имеется другой закон. Было бы куда как просто, ежели бы по причине бегства одного из преступников другой остался безнаказанным. Но в таком случае вызывают в суд главного виновника и по причине неявки выносят приговор заочно. Вызов можно посылать в четыре места: по месту его жительства, затем туда, где он проживал в течение сорока дней, затем в главный город графства, где он обычно проживает, и, наконец, если есть основания полагать, что он уехал из Шотландии, то его два месяца кряду вызывают на Главной площади Эдинбурга, в гавани и на литском берегу. Цель этой последней меры ясна сама собою: корабли, уходящие за море, успеют передать сообщение в тамошних гаванях, и, следственно, такой вызов — не просто для проформы. Теперь как же быть с Аланом? Я не слыхал, чтобы у него был свой дом. Я был бы весьма признателен, если бы хоть кто-нибудь указал мне место, где бы он жил сорок дней подряд, начиная с сорок пятого года. Нет такого графства, где бы он жил постоянно или хотя бы временно; если у него вообще есть какое-то жилище, то оно, вероятно, во Франции, где стоит его полк, а если он еще не покинул Шотландию — о чем мы с вами знаем, а они подозревают,— то даже последний глупец догадается, каковы его намерения. Где же и каким образом следует его вызывать? Это я спрашиваю у вас, человека, не искушенного в законах.

— Вы сами только что сказали,— ответил я.— Здесь, на Главной площади, и в гавани, и на литском берегу в течение двух месяцев.

— Видите, вы гораздо более толковый законник, чем Престонгрэндж! — воскликнул стряпчий.— Он уже однажды вызывал Алана; это было двадцать пятого, в тот день, когда вы пришли ко мне. Вызвал один раз — и на этом успокоился. И где же, вы бы думали? На площади в Инверэри, главном городе Кемпбеллов! Скажу вам по секрету, мистер Бэлфур: они не ищут Алана.

— Как так? — изумился я.— Они его не ищут?

— Насколько я понимаю,— нет,— сказал он.— По моему скудному разумению, они вовсе не желают найти его. Они боятся, что он, быть может, сумеет оправдаться, а тогда и Джемс, с которым они, собственно, и хотят разделаться, чего доброго, ускользнет у них из рук. Это, видите ли, не правосудие, это заговор.

— Однако, уверяю вас, Престонгрэндж настойчиво расспрашивал об Алане,— сказал я.— Впрочем, сейчас я понял, что мне не стоило никакого труда уклониться от ответов.

— Вот видите,— заметил стряпчий.— Ну хорошо, прав я или нет, но это в конце концов лишь догадки, обратимся же к фактам. До моих ушей дошло, что Джемса и свидетелей — свидетелей, мистер Бэлфур! — держат под семью замками, они закованы в кандалы и сидят в военной тюрьме форта Вильям. К ним никого не допускают и не разрешают переписываться. А ведь это свидетели, мистер Бэлфур, слышали вы что-либо подобное? Уверяю вас, ни один Стюарт из всей их нечестивой шайки никогда не нарушал законов так нагло. Ведь в парламентском акте тысяча семисотого года черным по белому написано о незаконном заключении в тюрьму. Как только я узнал о Джемсе и свидетелях, я подал петицию лорду-секретарю Верховного суда. И сегодня получил ответ. Вот вам и закон! Вот вам и справедливость!

Он сунул мне в руки бумагу, ту самую бумагу с медоточивыми и лицемерными словами, которая впоследствии была напечатана в книжечке, изданной «Посторонним наблюдателем» в пользу, как гласило заглавие, «несчастной вдовы и пятерых детей» Джемса.

— Видите,— продолжал Стюарт,— он не смеет мне отказать в свидании с моим клиентом, поэтому он «испрашивает дозволения у коменданта впустить меня». Испрашивает дозволения! Лорд-секретарь Верховного суда Шотландии испрашивает! Разве смысл этих слов не ясен? Они надеются, что комендант окажется столь глуп или, наоборот, столь умен, что не даст своего дозволения. И придется мне не солоно хлебавши тащиться из форта Вильям обратно. А потом — новая проволочка, пока я буду обращаться к другому высокопоставленному лицу, а они будут все валить на коменданта — солдаты, мол, полные невежды в законах,— знаю я эту песню! Затем я проделаю этот путь в третий раз, и пока я получу от

моего клиента первые распоряжения, суд будет уже на носу. Разве я не прав, считая это заговором?

— Да, похоже на то,— сказал я.

— И я вам сейчас же это докажу,— заявил стряпчий.— У них есть право держать Джемса в тюрьме, но они не могут запретить мне видеться с ним. У них нет права держать в тюрьме свидетелей, но смогу ли я увидеться с этими людьми, которые должны были бы разгуливать на свободе, как сам лорд-секретарь? Вот, читайте: «Что касается остального, то лорд-секретарь отказывается давать какие-либо приказания смотрителям тюрьмы, которые не были замечены ни в каких нарушениях долга своей службы». Ни в каких нарушениях! Господи! А парламентский акт тысяча семисотого года? Мистер Бэлфур, у меня разрывается сердце, вереск моей страны пылает в моей груди!

— В переводе на простой язык,— сказал я,— это значит, что свидетели останутся в тюрьме и вы их не увидите?

— И я их не увижу до Инверэри, где состоится суд! — воскликнул он.— А там услышу, как Престонгрэндж распространяется об «ответственности и душевных тревогах, связанных с его должностью», и о «необычайно благоприятных условиях, созданных для защитников»! Но я их обведу вокруг пальца, мистер Дэвид! Я задумал перехватить свидетелей на дороге, и вот увидите, я выжму хоть каплю справедливости из того солдата — «полного невежды в законах», который будет сопровождать узников.

Так и случилось: мистер Стюарт впервые увиделся со свидетелями на дороге близ Тиндрама благодаря попустительству офицера.

— В этом деле меня уже ничто не удивит,— заметил я.

— Нет, пока я жив, я вас еще удивлю! — воскликнул стряпчий.— Вот, видите? — Он показал мне еще не просохший, только что вышедший из печатного станка оттиск.— Это обвинительный акт: смотрите, вот имя Престонгрэнджа под списком свидетелей, в котором я что-то не вижу никакого Бэлфура. Но не в том дело. Как вы думаете, на чьи деньги печаталась эта бумага?

— Должно быть, короля Георга,— сказал я.

— Представьте себе, на мои! То есть они ее печатали сами для себя: для Грантов, Эрскинов и того по-

лунощного вора, Саймона Фрэзера. Но мог ли я надеяться, что получу копию? Нет, мне полагалось вести защиту вслепую, мне полагалось услышать обвинительный акт впервые на суде, вместе с присяжными.

— Но ведь это не по закону? — спросил я.

— Да как вам сказать,— ответил он.— Это столь естественная и — до этого небывалого дела — неизменно оказываемая услуга, что закон ее даже никогда не рассматривал. А теперь преклонитесь перед рукой провидения! Некий незнакомец входит в печатню Флеминга, замечает на полу какой-то оттиск, подбирает и приносит его ко мне. И что же? Это оказался обвинительный акт! Я снова отдал его напечатать — за счет защиты: *sumptibus moesti rei*. Слыхано ли что-либо подобное? И вот он — читайте, кто хочет, великая тайна уже ни для кого не тайна. Но как вы думаете, много ли радости доставила вся эта история мне, человеку, которому вверена жизнь его родича?

— Думаю, что никакой,— сказал я.

— Теперь вы понимаете, что творится и почему я засмеялся вам в лицо, когда вы заявили, что вам разрешено дать показания.

Теперь настала моя очередь. Я вкратце рассказал ему об угрозах и посулах мистера Саймона, о случае с подосланным убийцей и о том, что произошло затем у Престонгрэнджа. О моем первом разговоре с ним я, держась своего слова, не сказал ничего, да, впрочем в этом и не было надобности. Слушая меня, Стюарт все время кивал головой, как заводной болванчик, и едва только я умолк, как он высказал мне свое мнение одним-единственным словом, произнеся его с большим ударением:

— Скройтесь!

— Не понимаю вас,— удивился я.

— Ну что же, я объясню,— сказал стряпчий.— На мой взгляд, вам необходимо скрыться. Тут и спорить не о чем. Прокурор, в котором еще тлеют остатки порядочности, вырвал вашу жизнь из рук Саймона и герцога. Он не согласился отдать вас под суд и не позволил убить вас, и вот откуда у них раздоры: Саймон и герцог не могут быть верными ни другу, ни врагу. Очевидно, вас не отдадут под суд и не убьют, но назовите меня последним болваном, если вас не похитят и не увезут куда-нибудь, как леди Грэндж. Ручаюсь чем угодно — вот это и есть их «способ»!

Я вспомнил еще кое-что и рассказал ему, как я услышал свист и увидел рыжего слугу Нийла.

— Можете не сомневаться: где Джемс Мор, там непременно какое-нибудь темное дело,— сказал стряпчий.— Об его отце я ничего дурного не сказал бы, хотя он был не в ладах с законом и совсем не по-дружески относился к моему роду, так что я и палец о палец не ударил бы, чтобы его защитить. Но Джемс, тот просто подлец и хвастливый мошенник. Мне это появление рыжего Нийла не нравится так же, как вам. Это неспроста — фу, это пахнет какой-то пакостью. Ведь дело леди Грэндж состряпал старый Ловэт; если младший Ловэт возьмется за ваше, то пойдет по стопам отца. За что Джемс Мор сидит в тюрьме? За такое же дело — за похищение. Его люди уже набили руку на похищениях. Он передаст этих мастеров Саймону, и вскоре мы узнаем, что Джемс помилован или бежал, а вы очутитесь в Бенбекуле или Эплкроссе.

— Стало быть, дело плохо,— согласился я.

— Я хочу вот чего,— продолжал он,— я хочу, чтобы вы исчезли, пока они не успели зажать вас в кулак. Спрячьтесь где-нибудь до суда и вынырните в последнюю минуту, когда они меньше всего будут этого ждать. Это, конечно, только в том случае, мистер Бэлфур, если ваши показания стоят такого риска и всяких передряг.

— Скажу вам одно,— произнес я.— Я видел убийцу, и это был не Алан.

— Тогда, клянусь богом, мой родич спасен! — воскликнул Стюарт.— Жизнь его зависит от ваших показаний на суде, и ради того, чтобы вы там были, нельзя жалеть ни времени, ни денег и надо идти на любой риск.— Он вывалил на пол содержимое своих карманов.—Вот все, что у меня есть при себе,—продолжал он.— Берите, это вам еще понадобится, пока вы не закончите свое дело. Идите прямо по этому переулку, оттуда есть выход на Ланг-Дайкс, и заклинаю вас — не показывайтесь в Эдинбурге, пока не кончится этот переполох.

— Но куда же мне идти? — спросил я.

— А! Хотел бы я знать! — сказал стряпчий.— В тех местах, куда я мог бы вас послать, они непременно будут рыскать. Нет, придется вам самому о себе позаботиться, и да направит вас господь! За пять дней до

суда, шестнадцатого сентября, дайте о себе знать в Стирлинг, я буду там в гостинице «Королевский герб», и если вы до тех пор будете целы и невредимы, я сделаю все, чтобы вы добрались до Инверэри.

— Скажите мне еще одно: могу я видеть Алана?

Он, видимо, заколебался.

— Эх, лучше бы не надо,— сказал он.— Но я не стану отрицать, что Алан очень этого хочет и на всякий случай нынче ночью будет ждать у Селвермилза. Если вы убедитесь, что за вами не следят, мистер Бэлфур,— но имейте в виду, только если вы твердо убедитесь в этом,— то спрячьтесь в укромном месте и понаблюдайте за дорогой целый час, не меньше, прежде чем рискнете пойти туда. Если вы или он оплошаете, будет страшная беда!

ГЛАВА X

РЫЖИЙ НИЙЛ

Было около половины четвертого, когда я вышел на Ланг-Дайкс. Меня влекло в деревню Дин. Так как там жила Катриона, а ее родня, Гленгайлские Макгрегоры, почти наверное будет пущена по моему следу, то это было одним из немногих мест, от которых мне следовало держаться подальше; но я был очень молод и, кажется, очень влюблен, а потому, не задумываясь, повернул в сторону деревни. Правда, чтобы успокоить совесть и здравый смысл, я старался соблюдать осторожность. Там, где дорога пошла в гору, я, взойдя на перевал, внезапно бросился в ячмень и притаился там, выжидая. Некоторое время спустя мимо прошел человек, по виду горец, но мне совершенно незнакомый. Вскоре прошел рыжеголовый Нийл. Затем проехала тележка мельника, а после шел только всякий деревенский люд. Этого было достаточно, чтобы заставить самого отчаянного смельчака отказаться от своей цели, но во мне еще сильнее разгорелось желание попасть в деревню Дин. Я убеждал себя, что появление Нийла на этой дороге вполне естественно, ибо эта дорога вела к дому, где жила дочь его господина; что касается первого прохожего, то, если я стану пугаться всякого попавшегося на пути горца, мне далеко не уйти. И, успокоив себя этими хитрыми доводами, я прибавил шагу и в самом начале пятого уже был у калитки миссис Драммонд-Огилви.

Обе дамы были в доме; увидев их через открытую дверь, я сорвал с себя шляпу.

— Тут пришел один малый за своими шестью пенсами,— сказал я, думая, что это понравится вдове.

Катриона выбежала мне навстречу и сердечно поздоровалась; к моему удивлению, старая дама встретила меня не менее приветливо. Много времени спустя я узнал, что она еще на рассвете посылала верхового в Куинсферри к Ранкилеру, который, как она знала, был поверенным по делам имения Шос, и у нее в кармане лежало письмо от моего доброго друга с самыми лестными словами обо мне и моем будущем. Но даже не зная об этом письме, я легко разгадал, что она замышляет. Быть может, я и в самом деле был «деревенщиной», но не настолько, как ей представлялось; и даже при моем не слишком тонком уме мне было ясно, что она вознамерилась устроить брак своей родственницы с безбородым мальчишкой, который как-никак владел поместьем в Лотиане.

— Пусть-ка Шесть-пенсов отведает нашей похлебки, Кэтрин,— сказала она.— Сбегай и скажи девушкам.

И пока мы оставались одни, она всячески старалась польстить мне, всегда умно, всегда как бы подшучивая, по-прежнему называя меня «Шесть-пенсов», но таким тоном, который должен был возвысить меня в собственных глазах. Когда вернулась Катриона, намерения старой дамы стали еще более очевидны, если только это было возможно; она принялась расхваливать достоинства девушки, словно барышник, продающий коня. Щеки мои пылали при мысли, что она считает меня таким тупицей. Порой мне приходило в голову, что наивная девушка даже не догадывается, что ее выставляют напоказ, и тогда мне хотелось стукнуть старую перечницу дубиной; а порой казалось, что обе они сговорились завлечь меня в ловушку, и тогда я мрачнел, хмурился и сидел между ними, как воплощение неприязни. Наконец, старая сваха придумала наилучшую уловку — оставить нас наедине. Если уж во мне зародится подозрение, заглушить его бывает нелегко. Но хотя я знал, к какому воровскому роду принадлежит Катриона, для меня было невозможно смотреть ей в глаза и не верить ей.

— Я не должна вас расспрашивать? — быстро спросила она, как только мы остались одни.

— Нет, сегодня я могу говорить обо всем с чистой совестью,— ответил я.— Я уже не связан словом, и после того, что произошло за сегодняшний день, я бы не дал его снова, если бы меня о том попросили.

— Тогда рассказывайте скорее,— поторопила она.— Тетушка вот-вот вернется.

Я рассказал ей всю историю с лейтенантом с начала до конца, стараясь представить ее как можно смешнее, и в самом деле все это было так нелепо, что невольно вызывало смех.

— Оказывается, все-таки грубые мужланы для вас столь же неподходящее общество, как и хорошенькие барышни! — воскликнула она, когда я кончил.— Но как же это ваш отец не научил вас владеть шпагой? В жизни не слыхала ничего подобного! Это так неблагородно!

— Во всяком случае, неудобно,— сказал я,— а мой отец — честнейший человек! — вероятно, витал в облаках, иначе он не стал бы вместо фехтования обучать меня латыни. Но, как видите, я делаю, что могу: я, подобно жене Лота, превращаюсь в соляной столб и даю себя рубить.

— Знаете, отчего я смеюсь? — сказала Катриона.— Вот отчего: я такая, что мне следовало бы родиться мужчиной. И я часто воображаю, что я мужчина, и придумываю для себя всякие приключения. Но когда дело доходит до боя, я спохватываюсь, что я ведь только девушка, что я не умею держать шпагу или нанести хороший удар, и тогда я перекраиваю свою историю так, чтобы бой не состоялся, а я бы все равно вышла победительницей — вот как вы с вашим лейтенантом; и я — мальчик и все время произношу благородные слова, совсем как мистер Дэвид Бэлфур.

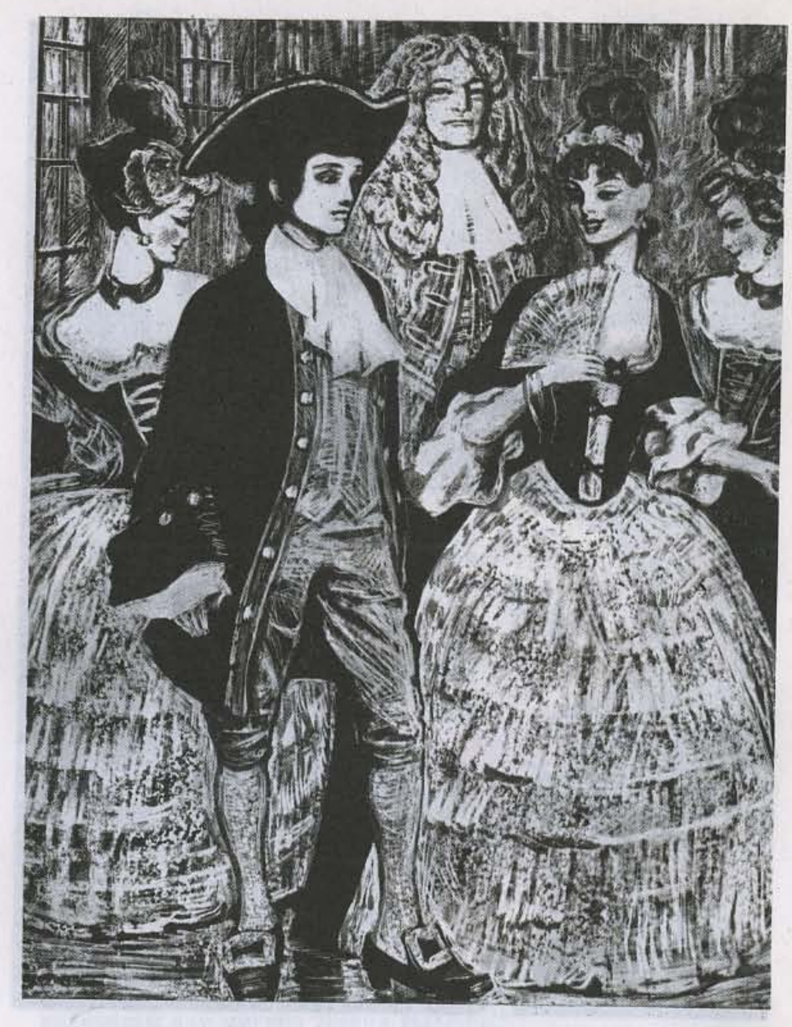
— Вы кровожадная девица,— сказал я.

— Я знаю, что надо уметь шить, прясть и вышивать,— ответила она,— но если бы вы только этим и занимались, вы бы поняли, какая это скука. И по-моему, это вовсе не значит, что мне хочется убивать. А вам не случалось убить человека?

— Случалось, и даже двоих. И я был тогда мальчишкой, которому еще надо бы учиться в школе,— ска-



«КАТРИОНА»



«КАТРИОНА»

зал я.— Но, вспоминая об этом, я нисколько не стыжусь.

— Но что вы чувствовали тогда... после этого? — спросила она.

— Я сидел и ревел, как малый ребенок,— сказал я.

— Я понимаю! — воскликнула она.— Я знаю, откуда берутся эти слезы. Во всяком случае, я не желаю убивать, я хочу быть Кэтрион Дуглас, которая, когда выломали засов, просунула в скобы свою руку. Это моя любимая героиня. А вы хотели бы так умереть за своего короля?

— По правде говоря,— сказал я,— моя любовь к королю (бог да благословит его курносое величество!) гораздо более сдержанна; к тому же я сегодня так близко видел смерть, что теперь предпочитаю думать о жизни.

— Это хорошо,— сказала она,— так и должен рассуждать мужчина! Только вам нужно научиться фехтовать. Мне было бы неприятно, если б мой друг не умел сражаться. Но тех двоих вы, наверное, убили не шпагой?

— Нет,— ответил я,— у меня была пара пистолетов. И к счастью моему, эти люди были совсем рядом со мной, ибо стреляю я ничуть не лучше, чем фехтую.

Она тотчас выведала у меня все о сражении на бриге, о чем я умолчал, когда впервые рассказывал о себе.

— Да,— сказала она,— вы очень храбрый. А вашим другом я просто восхищаюсь и люблю его.

— Им нельзя не восхищаться,— сказал я.— У него, как у всех, есть свои недостатки, но он храбрец, верный друг и добрая душа, благослови его бог! Не верится мне, что придет такой день, когда я смогу забыть Алана! — Сейчас я уже мог думать только об Алане и о том, что от меня одного зависит, увидимся мы нынче же ночью или нет.

— Боже, где моя голова, ведь я забыла сообщить вам новость! — воскликнула Катриона и рассказала мне, что получила письмо от отца: он пишет, что его перевели в Замок, где она может завтра его навестить, и что дела его улучшаются.— Вам это, наверное, неприятно слышать,— сказала она.— Но можно ли осуждать моего отца, не зная его?

— Я и не думаю его осуждать,— ответил я.— И даю вам слово, я рад, что у вас стало легче на душе, а если я и приуныл, что, должно быть, видно по моему лицу, то согласитесь, что сегодня неподходящий день для примирений и что люди, стоящие у власти,— совсем не те, с кем можно поладить. Я все еще не могу опомниться после встречи с Саймоном Фрэзером.

— О, как можно их сравнивать! — воскликнула она.— И кроме того, не забывайте, что Престонгрэндж и мой отец Джемс Мор — одной крови.

— В первый раз об этом слышу,— сказал я.

— Странно, как мало вы вообще знаете,— заметила Катриона.— Одни называют себя Грантами, другие Макгрегорами, но все принадлежат к одному клану. И все они сыны Эпина, в честь которого и названа наша страна.

— Какая страна?— спросил я.

— Моя и ваша,— ответила Катриона.

— Как видно, сегодня для меня день открытий,— сказал я,— ибо я всегда думал, что моя страна называется Шотландией.

— А на самом деле Шотландия — это страна, которую вы называете Ирландией,— возразила она.— Настоящее же, древнее название земли, по которой мы ходим и из которой сделаны наши кости,— Эпин. И когда наши предки сражались за нее с Александром и римлянами, она называлась Эпин. И до сих пор так называется на вашем родном языке, который вы позабыли!

— Верно,— сказал я,— и которому я никогда не учился.— У меня не хватило духу вразумить ее относительно Александра Македонского.

— Но ваши предки говорили на нем из поколения в поколение,— заявила она,— и пели колыбельные песни, когда ни меня, ни вас еще и в помине не было. И даже в вашем имени еще слышится наша родная речь. Ах, если бы мы с вами могли говорить на этом языке, вы бы увидели, что я совсем другая! Это язык сердца!

Дамы угостили меня вкусным обедом, стол был сервирован красивой старинной посудой, и вино оказалось отменным; очевидно, миссис Огилви была богата. За столом мы оживленно болтали, но, заметив, что солнце быстро клонится к закату и по земле потянулись длинные тени, я встал и откланялся. Я уже твердо решил

попрощаться с Аланом, и мне нужно было найти и осмотреть условленное место при дневном свете. Катриона проводила меня до садовой калитки.

— Долго я вас теперь не увижу? — спросила она.

— Мне трудно сказать,— ответил я.— Быть может, долго, а быть может, никогда.

— И это возможно,— согласилась она.— Вам жаль?

Я наклонил голову, глядя на́ нее.

— Мне тоже, и еще как,— сказала она.— Мы мало виделись с вами, но я вас высоко ценю. Вы храбрый и честный; со временем вы, наверное, станете настоящим мужчиной, и я буду рада об этом услышать. Если даже случится худшее, если вам суждено погибнуть... что ж! Помните только, что у вас есть друг. И долго-долго после вашей смерти, когда я буду совсем старухой, я стану рассказывать внукам о Дэвиде Бэлфуре и плакать. Я расскажу им, как мы расстались, что я вам сказала и что сделала. «Да сохранит и направит вас бог, так будет молиться ваша маленькая подружка» — вот что я сказала, и вот что я сделала...

Она схватила мою руку и поцеловала ее. Это так меня поразило, что я вскрикнул, словно от боли. Лицо ее зарделось, она взглянула мне в глаза и кивнула.

— Да, мистер Дэвид,— сказала она,— вот что я думаю о вас. Вместе с поцелуем я отдала вам душу.

Я видел на ее лице воодушевление и рыцарский пыл смелого ребенка, но не больше того. Она поцеловала мне руку, как когда-то целовала руку принцу Чарли, в порыве высокого чувства, которое неведомо людям обычного склада. Только теперь я понял, как сильно я ее люблю и какой трудный путь мне еще нужно пройти для того, чтобы она думала обо мне, как о возлюбленном. И все же я чувствовал, что уже немного продвинулся на этом пути и что при мысли обо мне сердце ее бьется чуть чаще, а кровь становится чуть горячее.

После великой чести, которую она мне оказала, я уже не мог произнести какую-нибудь обычную любезность. Мне даже трудно было говорить: в голосе ее звучало такое вдохновение, что у меня готовы были хлынуть слезы.

— Благодарю господа, что вы так добры, дорогая,— сказал я.— Прощайте, моя маленькая подружка.— Я назвал ее так, как она назвалась сама; затем поклонился и вышел за калитку.

Путь мой лежал по долине вдоль реки Лит, к Стокбриджу и Силвермилзу. Тропинка бежала по краю долины, посреди журчала и звенела река, низкое солнце на западе расстилало свои лучи среди длинных теней, и с каждым извивом тропы передо мной открывались все новые картины, точно за каждым поворотом был новый мир. Думая об оставшейся позади Катрионе и ждавшем меня впереди Алане, я летел, как на крыльях. Мне бесконечно нравились и здешние места, и этот предвечерний свет, и говор воды; я замедлил шаг и огляделся по сторонам. И потому, а также по воле провидения — увидел недалеко позади себя в кустах рыжую голову.

Во мне вспыхнул гнев; я круто повернул назад и твердым шагом пошел обратно. Тропа проходила рядом с кустами, в которых я заметил рыжую голову. Поравнявшись с засадой, я весь напрягся, готовясь встретить и отразить нападение. Но ничего не случилось, я беспрепятственно прошел мимо, и от этого мне стало только страшнее. Еще светило солнце, но вокруг было совсем пустынно. Если мои преследователи упустили такой удобный случай, то можно было предположить лишь одно: они охотятся за кем-то поважнее, чем Дэвид Бэлфур. Ответственность за жизнь Алана и Джемса легла мне на душу тяжким бременем.

Катриона все еще была в саду, одна.

— Катриона,— сказал я,— видите, я вернулся.

— И на вас нет лица! — воскликнула она.

— Я отвечаю за две человеческие жизни, кроме своей собственной,— сказал я.— Было бы преступно и позорно ходить, не остерегаясь. Я не знаю, правильно ли я поступил, придя к вам. Я был бы очень огорчен, если бы навлек этим беду на нас обоих.

— Есть человек, который был бы огорчен еще больше и уже сейчас огорчен вашими словами,— проговорила она.— Скажите по крайней мере, что я такого сделала?

— О, вы! Вы ничего не сделали,— ответил я.— Но когда я вышел, за мной следили, и я могу назвать того, кто шел за мной по пятам. Это Нийл, сын Дункана, слуга вашего отца и ваш.

— Вы, разумеется, ошиблись,— сказала она, побледнев.— Нийл в Эдинбурге, его послал с каким-то поручением отец.

— Вот этого я и боялся,— сказал я,— то есть последних ваших слов. А если вы думаете, что он в Эдинбурге, то, кажется, я смогу доказать, что это не так. У вас, конечно, есть условный сигнал на случай необходимости, сигнал, по которому он поспешит к вам на помощь, если сможет услышать и добежать?

— Как вы узнали? — удивленно воскликнула Катриона.

— С помощью волшебного талисмана, который бог подарил мне при рождении, и называется он Здравый Смысл,— ответил я.— Сделайте одолжение, подайте сигнал, и я покажу вам рыжую голову Нийла.

Не сомневаюсь, что слова мои звучали горько и резко. Горечь переполняла мое сердце. Я винил и себя и девушку и ненавидел нас обоих; ее за то, что она принадлежит к этой подлой шайке, себя — за глупое легкомыслие, с которым я сунул голову в это осиное гнездо.

Катриона приложила пальцы к губам, и раздался свист, чистый, пронзительный, на высокой ноте; так мощно мог бы свистнуть пастух. С минуту мы стояли молча, и я уже хотел было просить, чтобы она повторила сигнал, но вдруг услышал, как внизу на склоне холма кто-то пробирается сквозь кустарник. Я с улыбкой указал ей в ту сторону, и вскоре Нийл прыгнул в сад. Глаза его горели, в руке был обнаженный «черный нож», как называют его в горах; увидев меня рядом со своей госпожой, Нийл остановился, как вкопанный.

— Он явился на ваш зов,— сказал я,— судите сами, был ли он в Эдинбурге и какого рода поручение дал ему ваш отец. Спросите его самого. Если я или те двое, что от меня зависят, должны погибнуть от руки вашего клана, то дайте мне идти навстречу смерти с открытыми глазами.

Дрожащим голосом Катриона обратилась к нему погэльски. Вспомнив деликатную щепетильность Алана в таких случаях, я чуть не рассмеялся горьким смехом; именно сейчас, зная о моих подозрениях, она должна была бы говорить только по-английски.

Они перебросились двумя-тремя фразами, и я понял, что Нийл, несмотря на всю свою подобострастность, очень разозлился.

Затем Катриона повернулась ко мне.

— Он клянется, что это неправда,— сказала она.

— Катриона,— произнес я,— а вы сами верите этому человеку?

— Откуда я знаю? — воскликнула она, ломая руки.

— Но я должен как-то узнать,— сказал я.— Не могу больше блуждать в потемках, неся на себе две человеческие жизни! Катриона, постарайтесь поставить себя на мое место, а я богом клянусь, что изо всех сил стараюсь стать на ваше. Не думал я, что когда-нибудь нам с вами придется вести такой разговор, вот уж не думал; сердце мое обливается кровью. Но задержите его здесь до двух часов ночи, и больше мне ничего не нужно. Попробуйте его уговорить.

Они опять заговорили по-гэльски.

— Он говорит, что мой отец, Джемс Мор, дал ему поручение,— сказала Катриона. Она побледнела еще больше, и голос ее дрожал.

— Теперь мне все ясно,— сказал я,— и да простит им господь их злодеяния!

Она ничего не ответила, но по-прежнему смотрела на меня, и с лица ее не сходила бледность.

— Что же, прекрасно,— сказал я.— Значит, я должен умереть и те двое тоже?

— О, что же мне делать! — воскликнула она.— Как я могу идти наперекор отцу, когда он в тюрьме и жизнь его в опасности?

— Но может быть, все не так, как мы думаем? — сказал я.— Может быть, он опять лжет и никакого приказа он не получал; возможно, все это подстроил Саймон, без ведома вашего отца?

Она вдруг расплакалась, и у меня больно сжалось сердце; я понимал, в каком ужасном положении эта девушка.

— Знаете что,— сказал я,— задержите его только на час; я попробую рискнуть и буду молить за вас бога.

Она протянула мне руку.

— Мне так нужно хоть одно доброе слово,— всхлипнула она.

— Итак, на целый час,— сказал я, беря ее руку в свою.— Он стоит трех жизней, дорогая!

— Целый час! — сказала она и стала громко молить Спасителя, чтобы он простил ее.

Я подумал, что мешкать здесь больше нельзя, и убежал.

ГЛАВА XI

ЛЕС У СИЛВЕРМИЛЗА

Я не терял времени и что было духу помчался вниз по долине, мимо Стокбриджа и Силвермилза. Каждую ночь от двенадцати до двух часов Алан ждал в условленном месте — «в роще, что восточнее Силвермилза и южнее южной мельничной запруды». Рощу я нашел довольно легко, она сбегала по крутому склону холма к быстрой и глубокой речке; здесь я пошел медленнее, стараясь спокойно обдумать свои действия. Я понял, что мой уговор с Катрионой — сущая бессмыслица. Вряд ли Нийла послали с таким поручением одного, но возможно, что он был единственным из приверженцев Джемса Мора; в таком случае я сделал все, чтобы отправить отца Катрионы на виселицу, и ничего такого, что помогло бы мне. Сказать по правде, раньше мне все это и в голову не приходило. Если то, что она задержала Нийла, приблизит гибель ее отца, она не простит себе этого до конца своей жизни. А если сейчас по моим следам идут и другие, хороший же подарок я преподнесу Алану; и каково будет мне самому?

Я уже подходил к западному краю леска, когда эти мысли поразили меня, как громом. Ноги мои вдруг сами собой остановились и сердце тоже. «Зачем я затеял эту безумную игру?» — подумал я и круто повернулся, готовый бежать, куда глаза глядят.

Передо мной открылся Силвермилз; тропа огибала деревню петлей, однако была видна отсюда вся как на ладони, и кто бы за мной ни охотился, горцы или не горцы, но на ней не было ни души. Вот он, удобный случай, вот то стечение обстоятельств, которым мне советовал пользоваться Стюарт, и я побежал вдоль запруды, обогнул восточный край леса, прошел его насквозь и снова очутился на западной опушке, откуда я мог наблюдать за тропой, оставаясь невидимым. Она по-прежнему была безлюдной, и я немного приободрился.

Больше часа я сидел, притаившись за деревьями, и, наверное, ни заяц, ни орел не могли бы следить за опасностью зорче и настороженнее, чем я. Солнце зашло еще в начале этого часа, но небо сияло золотом, и было еще совсем светло; к исходу часа дневной свет стал меркнуть, очертания предметов сливались вдали, и наблю-

дать стало трудно. За это время к востоку от Силвермилза не прошел ни один человек, а в западном направлении шли только честные поселяне с женами, возвращавшиеся по домам на покой. Если даже за мной следят самые хитроумные шпионы в Европе, думал я, и то маловероятно, чтобы они догадались, где я; забравшись немного глубже в лесок, я лег и стал дожидаться Алана.

Все это время я сильно напрягал внимание, следя не только за тропой, но и, насколько хватало глаз, за всеми кустами и полями. Сейчас в этом уже не было надобности. Луна в первой своей четверти поблескивала между ветвями; вокруг стояла сельская тишина, и следующие три-четыре часа я, лежа на спине, мог спокойно обдумывать свое поведение.

Прежде всего два обстоятельства не вызывали у меня сомнений: я не имел права идти сегодня в Дин, и уж если я там побывал, то не имел права лежать в этом леске, куда должен прийти Алан. Если здраво рассуждать, то из всех лесов обширной Шотландии именно в этот мне был заказан путь; я это знал и тем не менее лежал здесь, дивясь самому себе. Я думал о том, как дурно я сегодня поступил с Катрионой; как я твердил, что от меня зависят две человеческие жизни, и этим заставил подвергнуть опасности ее отца; и о том, что, легкомысленно явившись сюда, я опять могу выдать их обоих. Чистая совесть — залог мужества. И как только я здраво оценил свои поступки, мне показалось, что я стою безоружный среди полчища опасностей. Я быстро привстал. А что если я сейчас пойду к Престонгрэнджу, застану его, пока он не лег спать (я легко успею дойти), и покорно отдамся в его руки? Кто меня за это осудит? Не стряпчий же Стюарт: мне только стоит сказать, что за мною гнались, что я отчаялся спастись и поэтому сдался. И не Катриона, для нее тоже ответ у меня был наготове: я не мог допустить, чтобы она выдала своего отца. И в одно мгновение я смогу избавиться от всех бед, которые, в сущности, и не были моими: выпутаться из эпинского убийства, уйти из-под власти всех Стюартов и Кемпбеллов, всех вигов и тори в стране и отныне жить по собственному разумению, наслаждаться своим богатством, увеличивать его и посвятить дни моей молодости ухаживанию за Катрионой, что для меня будет куда более подходящим занятием, чем

прятаться от преследователей, словно воришка, и снова терпеть тяжкие мытарства, которыми была полна моя жизнь после бегства с Аланом.

Поначалу я не видел ничего постыдного в том, чтобы сложить оружие; я только удивлялся, почему я не додумался до этого раньше, и стал размышлять, почему же во мне свершилась такая перемена. Очевидно, причина в том, что я пал духом, а это было следствием моего недавнего безрассудства, которое, в свою очередь, порождено старым, всеобщим позорным грехом — безволием. Мне тотчас же вспомнились евангельские слова: «Как сатане изгнать сатану?» Неужели же, думал я, из-за своего малодушия, из-за того, что я пошел по приятному мне пути и поддался влечению к молодой девушке, я совсем лишился самоуважения и готов погубить Алана и Джемса? И теперь должен искать выхода там, откуда я вошел? Нет, зло, причиненное себялюбием, надо исправить самоотречением; плоть, которую я ублажал, должна быть распята на кресте. Я мысленно искал такой образ действий, который был бы мне наименее приятен: очевидно, я должен уйти из леса, не дождавшись Алана, и продолжить свой путь в одиночестве, во тьме, среди невзгод и опасностей, уготованных мне судьбой.

Я описываю свои размышления столь подробно потому, что они, как мне кажется, могут быть полезными и послужить уроком для молодых людей. Но говорят, и в том, чтобы сажать капусту, есть своя истина, и даже в нравственности и вере находится место здравому смыслу. Близился час прихода Алана, и луна уже зашла. Если я уйду и шпионы в темноте меня не заметят (не мог же я свистнуть им, чтобы они следовали за мной!), то по ошибке они могут накинуться на Алана. А если я останусь, то хотя бы сумею его предостеречь и, быть может, этим спасу. Потворствуя своим желаниям, я рисковал жизнью других людей; навлекать на них опасность снова, и на этот раз во имя искупления, вряд ли было бы разумно. И я, привстав было, опять опустился на землю, но теперь я был настроен по-иному: я одинаково удивлялся приступу малодушия и радовался охватившему меня спокойствию.

Вскоре я услышал треск сучьев. Низко наклонившись к земле, я просвистел две-три нотки из песни Алана; он ответил таким же осторожным свистом, и немно-

го погодя мы с Аланом натолкнулись друг на друга в темноте.

— Неужели это ты наконец, Дэви? — прошептал он.

— Я самый,— ответил я.

— Боже, как мне хотелось тебя видеть! — сказал он.— Время тянулось бесконечно. Я целые дни просиживал в стоге сена, где нельзя было разглядеть даже собственных пальцев, а потом два часа ждал тебя здесь, а ты все не шел! Ей-богу, ты не слишком торопился — ведь я отплываю завтра утром. Что я говорю, не завтра, а сегодня!

— Да, Алан, дружище, конечно, сегодня,— сказал я.— Уже первый час, и ты отплываешь сегодня. Долгий тебе путь предстоит!

— Но сначала мы всласть наговоримся,— сказал Алан.

— Конечно,— ответил я,— и у меня есть что порассказать!

И я рассказал все, что ему надлежало знать, правда, довольно сбивчиво, но в конце концов Алан понял все. Он слушал меня, почти не задавая вопросов, иногда от души смеялся, и его смех, особенно в этой темноте, где мы не видели друг друга, удивительно согревал мне сердце.

— А ты, Дэви, все-таки на редкость странный малый,— сказал он, когда я кончил,— чудак да и только, не дай бог столкнуться с такими, как ты! А насчет того, что ты рассказал,— ну, Престонгрэндж тоже виг, как и ты, и я о нем распространяться не стану, но, ей-богу, он был бы тебе лучшим другом, если б только ты мог ему доверять. Но Саймон Фрэзер и Джемс Мор одной породы со мной, и я вправе говорить о них, что думаю. Все Фрэзеры пошли от черного дьявола, это каждый знает, а от Макгрегоров меня мутит с тех пор, как я научился стоять на ногах. Помню, одному я расквасил нос, когда еще ходить как следует не умел, я его толкнул и шмякнулся ему на спину. Отец тогда очень этим гордился, упокой, господи, его душу, да и было чем. Спору нет, Робин волынщик, каких мало,— прибавил он,— но Джемс Мор пусть идет к черту в зубы!

— Нам надо подумать вот о чем,— сказал я.— Прав был Чарлз Стюарт или нет? Им нужен только я или мы оба?

— А ты как полагаешь, ты ведь теперь человек опытный? — спросил Алан.

— Не могу понять,— сказал я.

— И я тоже,— признался Алан.— Ты думаешь, эта девушка сдержала слово?

— Конечно.

— Ну, кто ее знает,— сказал Алан.— Впрочем, что теперь говорить: этот рыжий давно уже вместе с остальными.

— А много ли их, как по-твоему? — спросил я.

— Смотря какие у них намерения,— ответил Алан.— Если они ловят одного тебя, наверно, пошлют двух-трех проворных молодцов, а если они решат, что не худо прихватить и меня, тогда человек десять — двенадцать.

Я невольно прыснул со смеху.

— И думается мне, ты собственными глазами увидишь, как они побегут от меня, будь их даже вдвое больше! — воскликнул Алан.

— Увидеть не придется,— сказал я,— на этот раз я от них отделался.

— Как знать,— возразил Алан,— я ничуть не удивлюсь, если они притаились где-то в этом лесу. Видишь ли, Дэвид, дружище, это ведь горцы. А среди них, наверное, будет кое-кто из Фрэзеров и из Макгрегоров тоже; и спору нет, что и те и другие, в особенности Макгрегоры, люди умные и опытные. Кто не гнал стадо коров целых десять миль по людным дорогам низин, зная, что его вот-вот настигнет черная стража, тот еще ничего не испытал. Вот это, пожалуй, больше всего и научило меня быть прозорливым. Что и говорить, это лучше, чем война, но война тоже может многому научить, хотя вообще это пустяковое дело. Так вот, Макгрегоры — люди бывалые.

— В моем образовании тут как раз пробел,— произнес я.

— Это я вижу то и дело,— сказал Алан.— Но вот что странно в вас, людях образованных: вы невежды и сами этого не замечаете. Я, к примеру, не знаю ни по-гречески, ни по-древнееврейски; но ведь я, дружище мой, сознаю, что я этого не знаю,— вот в чем разница. А ты? Ты валяешься на брюхе в этом лесу и уверяешь, что отделался от всех Фрэзеров и Макгрегоров. И почему? «Потому, что я их не видел»,— говоришь ты. Глу-

пая ты голова, да ведь тем они и живут, что умеют прятаться.

— Предположим самое худшее,— сказал я,— что же нам тогда делать?

— Вот и я о том же думаю,— ответил Алан.— Мы можем разделиться. Это мне очень не по душе. И кроме того, совсем не разумно. Во-первых, тьма здесь кромешная, и, может, мы сумеем улизнуть. Если мы будем держаться вместе, то пойдем в одну сторону, а разделившись, побежим в разные стороны, и тем вероятнее, что кто-то из нас наткнется на этих твоих джентльменов. А, во-вторых, если они нас выследят, наверное, драки не миновать, и скажу тебе честно, Дэви, я был бы рад чувствовать рядом твое плечо, а ты, думаю, не прочь чувствовать мое. Так что, по-моему, надо нам поскорей выбираться из леса и держать на восток, в Джиллан, где меня подберет корабль. Все, как в наши былые дни, Дэви, и если найдется время, надо будет подумать, что тебе делать дальше. Трудно мне бросать тебя одного, Дэви.

— Что ж, будь по-твоему,— согласился я.— Ты зайдешь туда, где ты остановился?

— Боже упаси! — сказал Алан.— Они хорошо ко мне отнеслись, но, наверное, не обрадуются при виде моего милого лица. Время нынче такое, что меня нельзя назвать желанным гостем. Тем больше я дорожу вашим обществом, мистер Дэвид Бэлфур из Шоса, можете задирать нос! С тех пор как мы расстались у Корсторфайна, я почти и рта не раскрывал, если не считать двух перебранок с Чарли Стюартом здесь, в лесу.

Он встал, и мы бесшумно пошли через лес на восток.

ГЛАВА XII

СНОВА В ПУТЬ С АЛАНОМ

Шел, вероятно, второй час ночи; луна, как я уже говорил, зашла, с запада внезапно налетел сильный ветер, несущий тяжелые, рваные тучи, и мы пустились в путь в такой непроглядной тьме, о которой может только мечтать беглец или убийца. Белеющая в темноте дорога привела нас в спящий городок Браутон, а оттуда пошла через Пикардию мимо старой моей знакомой — виселицы с телами двух воров. Пройдя немного дальше, мы увидели очень нужный для нас маяк: огонек в верхнем окне какого-то дома в Лохэнде. Мы направились к нему почти наугад, топча ногами жатву, спотыкаясь и падая в канавы, затем миновали деревню и добрались наконец до покатой болотистой пустоши под названием Фигейтские Дроки. Здесь, под кустом дрока, мы улеглись и продремали до зари.

Солнце пробудило нас в пять часов. Стояло погожее утро, все еще дул сильный западный ветер, но тучи уплыли в Европу. Алан сидел на земле и чему-то улыбался. С тех пор, как мы расстались, я впервые видел своего друга и глядел на него с удовольствием. На нем был все тот же широкий плащ, но вязаных гетр, натянутых выше колен, он раньше не носил. Гетры, без сомнения, служили своего рода маскировкой, но так как день обещал быть жарким, то наряд Алана был совсем не по сезону.

— Смотри, Дэви,— сказал он,— какое славное утро! Будет такой денек, каким ему положено быть от бога. Это не то, что сидеть в стоге сена! Пока ты спал да похрапывал, я тут занялся тем, чего никогда почти не делаю.

— Чем же? — спросил я.

— Да просто взял и помолился.

— А где же мои джентльмены, как ты их называешь? — спросил я.

— Кто их знает,— сказал он.— Одним словом, надо нам воспользоваться тем, что их не видно. Живей поднимайся, Дэви! Мы сейчас славно прогуляемся. Вперед, Фортуна, веди нас за собой!

Мы пошли берегом моря на восток, к устью Эска, туда, где курились паром соляные ва́рницы. В лучах утреннего солнца Стул Артура и зеленые Пентлендские холмы были необычайно живописны; но прелесть занимающегося дня, по-видимому, вызывала в Алане только досаду.

— Надо быть сущим ослом, чтобы покидать Шотландию в такой денек,— ворчал он.— Неохота уезжать; лучше бы мне остаться, и пусть меня тут повесят.

— Нет, Алан, это нисколько не лучше.

— Не потому, что Франция хуже,— объяснил он,— а просто она совсем другая. Там, пожалуй, еще красивее, чем здесь, но все-таки это не Шотландия. Когда я

во Франции, мне там очень нравится, и все же я тоскую по шотландскому дерну и торфяному дыму.

— Если дело только в дыме, то это еще не беда,— заметил я.

— Конечно, грех жаловаться, когда я только что вылез из того проклятого стога,— сказал он.

— Тебе, должно быть, опостылел этот стог? — спросил я.

— Мало сказать, опостылел,— сказал он.— Я не так-то легко впадаю в уныние, но мне нужен свежий воздух и небо над головой. Я, как и старый Черный Дуглас, больше люблю пение жаворонка, чем писк мышей. А в этом стоге, Дэви, хотя я признаю, что лучшего тайника не сыскать, но там с рассвета до сумерек было темно, как в могиле. Иные дни (а может, и ночи, разве их там отличишь?) казались мне долгими, как зима.

— Как же ты узнавал час, когда идти на место встречи? — спросил я.

— Около одиннадцати хозяин приносил мне еду, немножко бренди и огарок свечи, чтобы не есть в темноте. И я знал, что, когда поем, пора идти в лес. Там я лежал и сильно тосковал по тебе, Дэви,— сказал он, кладя руку мне на плечо,— и гадал, прошло уже два часа или нет, если только не приходил Чарли Стюарт со своими часами; а потом возвращался в свой распроклятый стог. Нет, дрянное было житье, и слава богу, что я оттуда вырвался.

— А что же ты там делал все время?

— Да все, что мог! Иногда играл в бабки. Я отлично играю в бабки, только неинтересно играть, если тобой никто не любуется. А иногда сочинял песни.

— О чем? — спросил я.

— Ну, об оленях, о вереске,— сказал Алан,— о вождях, что жили в давние времена, и вообще обо всем, о чем поется в песнях. А иной раз я воображал, что в руках у меня волынка и я играю. Я вспоминал прекрасные песни, и мне казалось, будто я играю страх как хорошо; клянусь тебе, порой я даже слышал звуки своей волынки! Но до чего я рад, что все это кончилось!

Он заставил меня снова рассказать о моих приключениях и выслушал все с начала до конца, расспрашивая о подробностях, выказывая бурное одобрение и временами восклицая, что я «на редкость храбрый, хоть и чудак».

— Значит, ты испугался Саймона Фрэзера? — однажды спросил он.

— По правде сказать, да!

— Я бы на твоем месте тоже испугался, Дэви,— сказал Алан.— Но хоть он и негодяй, а надо по справедливости сказать, что в сражениях он вел себя очень достойно.

— Так он не трус? — спросил я.

— Трус! — хмыкнул Алан.— Да он бесстрашный, как моя шпага.

Рассказ о моей дуэли привел его в неистовство.

— Подумать только! — кричал он.— Я ведь показывал тебе этот прием в Корринэки! Три раза, три раза ты дал выбить у себя шпагу! Позор на мою голову — ведь это я тебя учил! Ну-ка, становись, вынимай шпагу, мы не сойдем с этого места, пока ты не сотрешь пятно со своей и моей чести!

— Алан,— сказал я,— тебя, должно быть, хватил солнечный удар! Ну время ли сейчас заниматься уроками фехтования!

— Ты, пожалуй, прав,— согласился он.— Но три раза выбить шпагу, Дэви! А ты стоял, как соломенное чучело, и бегал за ней, точно собачонка за платком! Дэвид, этот Дункансби, очевидно, какой-то особенный! Должно быть, несравненный фехтовальщик! Будь у меня время, я бы побежал назад и сразился с ним сам. Он, как видно, большой мастер!

— Глупый ты человек,— сказал я,— ты забываешь, что сражался-то он со мной.

— Это верно,— сказал он,— но три раза!

— Ты же сам знаешь, что я никудышный фехтовальщик,— сказал я.

— Все равно, я сроду ничего подобного не слыхал!

— Обещаю тебе одно, Алан,— сказал я.— Когда мы свидимся в следующий раз, я буду фехтовать лучше. Тебя больше не опозорит друг, не умеющий биться на шпагах.

— В следующий раз! — вздохнул Алан.— Когда он будет, хотел бы я знать?

— Я подумывал об этом, Алан,— сказал я,— и у меня вот какие намерения: мне хочется стать адвокатом.

— Это такая скучища, Дэви,— возразил Алан,— и к тому же сплошное крючкотворство. Нет, тебе больше подходит королевский мундир.

— И конечно же, тогда нам будет легче всего встретиться! — воскликнул я.— Но так как ты наденешь мундир короля Людовика, а я — короля Георга, то встреча будет премиленькая!

— Пожалуй, ты прав,— согласился Алан.

— Лучше я стану адвокатом,— продолжал я,— на мой взгляд, это — самое подходящее дело для джентльмена, у которого *три раза* выбили шпагу. Но вот в чем соль: один из лучших колледжей, где учат на адвокатов и где учился мой родич Пилриг,— это Лейденский колледж в Голландии. Что ты на это скажешь, Алан? Не сможет ли волонтер Royal Ecossais [1] взять отпуск, перескочить через границу и навестить лейденского студента?

— Еще бы, конечно, сможет! — воскликнул он.— Видишь ли, мой полковник, граф Драммонд-Мелфорт, ко мне благоволит; а что еще важнее, один из моих родичей — подполковник шотландского полка в Голландии. Это проще простого — отпроситься, чтобы навестить подполковника Стюарта из Халкета. А лорд Мелфорт — человек весьма ученый, он, как Цезарь, пишет книги и бесспорно будет доволен, если я поделюсь с ним своими наблюдениями.

— Стало быть, лорд Мелфорт — писатель? — обрадовался я, ибо если Алан превыше всего ценил солдат, то я питал гораздо большее уважение к джентльменам, пишущим книги.

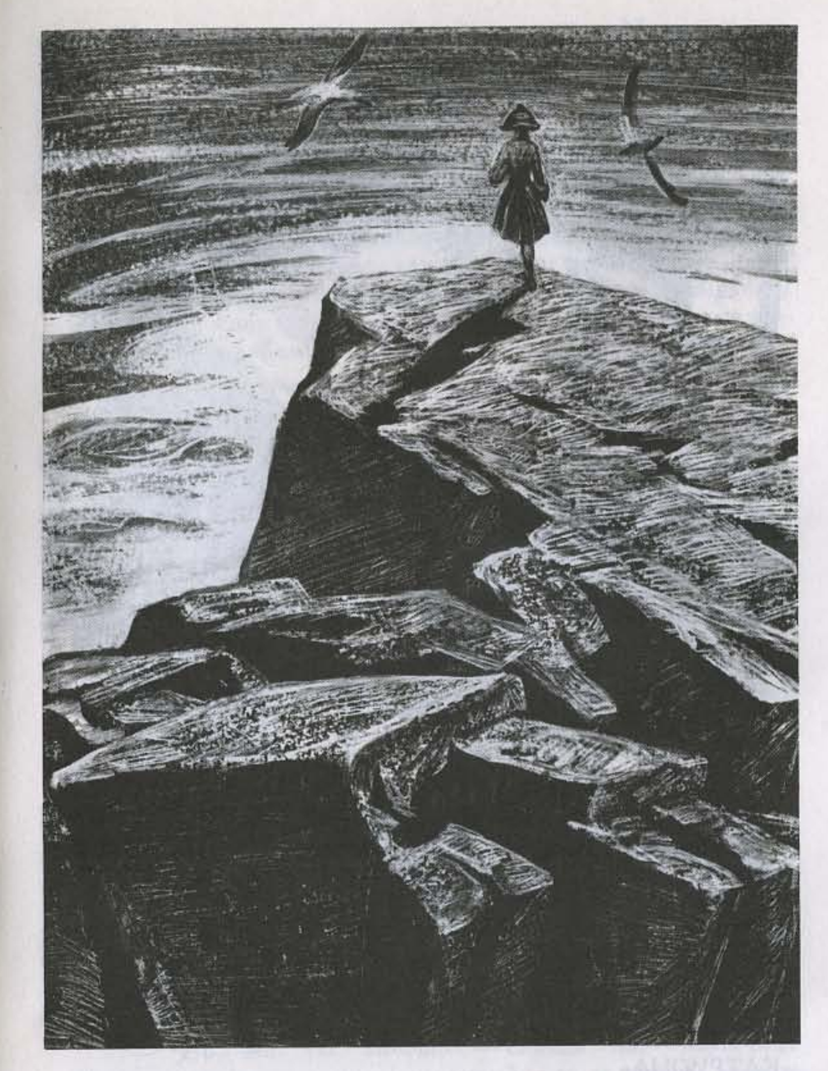
— Вот именно, Дэви,— подтвердил он.— Многие думают, что полковник мог бы заняться делами и поважнее. Но что мне сказать, когда я сам сочиняю песни?

— Ну что же,— сказал я,— теперь тебе остается лишь дать адрес, куда тебе писать во Францию; а как только я попаду в Лейден, я пришлю тебе свой.

— Лучше всего писать на имя вождя моего клана,— сказал он.— Чарлзу Стюарту из Ардшила, эсквайру, город Мелон во Франции. Рано или поздно письмо непременно попадет в мои руки.

---

[1] Полка Королевских шотландцев (*франц.*).



«КАТРИОНА»



«КАТРИОНА»

Мы позавтракали жареной пикшей в Массельборо, где я от души потешался над Аланом. В это жаркое утро его плащ и вязаные гетры невольно бросались людям в глаза, и, быть может, разумнее было бы объяснить причины такого наряда вскользь, как бы между прочим; но Алан взялся за дело необычайно ретиво, вернее, даже разыграл целое представление. Он расхвалил хозяйку за ее умение жарить рыбу, а потом до самого ухода рассказывал, как у него от простуды заболел живот, торжественно описывал всевозможные симптомы болезни и свои страдания и с огромным интересом выслушивал хозяйкины советы.

Мы постарались уйти из Массельборо до прихода первой почтовой кареты, ибо, как сказал Алан, этой встречи нам лучше избежать. Ветер, хотя и сильный, дышал теплом, и чем сильнее припекало солнце, тем больше Алан страдал от жары. В Престонпансе он увел меня в сторону, на Глэдсмьюрское поле, и стал с совершенно излишней пространностью описывать мне здешнее сражение. Оттуда мы прежним быстрым шагом отправились в Кокенси. Несмотря на верфи миссис Кэделл, где сооружались рыбачьи шхуны для ловли сельдей, это был пустынный, обветшалый городишко с множеством разрушенных домов; однако в харчевне оказалось чисто, и Алан, совсем разомлевший от жары, угостился бутылкой эля и поведал старухе хозяйке историю о простуженном животе, хотя на этот раз симптомы были совсем другие.

Я сидел и слушал, и вдруг мне пришло в голову, что я не припомню, чтобы он сказал какой-нибудь женщине хоть два-три слова всерьез: он всегда зубоскалил и дурачился, втайне издеваясь над ними, однако же предавался этому делу с большим азартом и энергией. Я намекнул ему об этом, когда хозяйку случайно отозвали из комнаты.

— Что же ты хочешь? — сказал он.— Мужчина всегда должен веселить женский пол и плести всякие небылицы, чтобы развлечь бедных овечек! Тебе во что бы то ни стало надо поучиться этому, Дэвид, надо усвоить приемы, это ведь как ремесло. Ну, само собой, если б тут была молоденькая женщина, да еще и хорошенькая, я бы и не заикнулся про свой живот. Но если женщина слишком стара, чтобы думать о любовниках, ее хлебом не корми, только дай кого-то полечить.

Почему? Откуда я знаю? Такими уж создал их бог. И все равно болван тот мужчина, который не постарается им угодить.

Но тут старуха вошла в комнату, и он отвернулся от меня, словно ему не терпелось продолжить увлекательный разговор. Хозяйка, отвлекшись на время от Аланова живота, принялась рассказывать о своем девере из Эберледи, чью болезнь и кончину она живописала бесконечно долго. Иногда это было скучно, иногда же и скучно и противно, ибо старуха рассказывала, смакуя подробности. В конце концов я погрузился в глубокую задумчивость и глядел в окно на дорогу, почти не замечая того, что видел перед собой. Но если бы кто-нибудь за мной наблюдал, он увидел бы, как я внезапно вздрогнул.

— И припарки к ногам мы ему ставили,— говорила хозяйка,— и горячий камень на живот клали, и давали ему пить отвар из иссопа, и мятную воду, и хороший, чистый серный бальзам...

— Сэр,— тихо произнес я, вмешиваясь в разговор,— сейчас мимо дома прошел один мой друг.

— Да неужели? — небрежно отозвался Алан, словно речь шла о сущем пустяке.— Ну, а еще что, мэм? — обратился он к несносной старухе, и она опять повела свой рассказ.

Вскоре, однако, он расплатился с ней монетой в полкроны, и ей пришлось выйти за сдачей.

— Это был тот рыжий? — спросил Алан.

— Ты угадал,— ответил я.

— А что я тебе говорил в лесу! — воскликнул он.— И все же странно, что он оказался тут. Он был один?

— По-моему, да.

— Он прошел мимо? — продолжал Алан.

— Да,— сказал я,— и не смотрел ни направо, ни налево.

— Это еще более странно,— произнес Алан.— Мне думается, Дэви, что нам надо уходить. Но куда? Черт его знает! Похоже на прежние времена! — воскликнул он.

— Нет, не совсем похоже,— возразил я.— Теперь у нас есть деньги в кармане.

— И еще одна большая разница, мистер Бэлфур,— сказал он.— Теперь за нами гонятся псы. Они почуяли

след; вся свора бежит за нами.— Он выпрямился на стуле, и на лице его появилось знакомое мне сосредоточенное выражение.

— Послушайте, матушка,— обратился он к вошедшей хозяйке,— нет ли другой дороги к вашему постоялому двору?

Она ответила, что есть, и сказала, куда эта дорога ведет.

— Я думаю, сэр,— сказал он мне,— что этот путь будет для нас короче. Прощайте, милая хозяюшка, я не забуду о припарках из коричной настойки.

Через огород с грядками капусты мы вышли на тропинку среди полей. Алан зорко огляделся по сторонам и, заметив, что мы находимся в неглубокой лощине, где нас из деревни не видно, сел на землю.

— Теперь давай держать военный совет, Дэви,— сказал он.— Но прежде всего хочу дать тебе небольшой урок. Если бы я вел себя, как ты, что бы запомнила о нас хозяйка? Только то, что мы вышли через огород. А что запомнит теперь? Что проходил красивый, веселый, любезный и разговорчивый молодой человек, он мучился животом, бедняжка, и очень расстроился, когда она рассказала про своего деверя. Вот, Дэвид, голубчик, учись, как нужно соображать!

— Постараюсь, Алан,— сказал я.

— Ну, теперь о рыжем,— сказал Алан.— Он шел быстро или медленно?

— Ни так, ни эдак,— ответил я.

— Ты не заметил, он не торопился?

— Нет, что-то незаметно было,— сказал я.

— Гм!.. Это странно. Утром в Дроках мы их не видали; он прошел мимо нас, он как будто нас и не ищет, и все-таки он тут, на нашем пути!.. Черт возьми, Дэви, я, кажется, догадываюсь. По-моему, они ищут не тебя, а меня; и, по-моему, они отлично знают, куда им идти.

— Знают? — переспросил я.

— Думаю, что меня выдал Энди Скаугел — либо он, либо его приятель, который тоже кое-что знает; или этот молодчик, клерк Чарли Стюарта, что было бы совсем прискорбно,— сказал Алан,— и, попомни мое слово, на Джилланской отмели наверняка будет разбито несколько голов.

— Алан! — воскликнул я.— Если ты прав, то людей там будет много, силы неравные. Несколько разбитых голов только ухудшат дело.

— Все-таки хоть какое-то удовлетворение,— сказал Алан.— Но постой-ка, постой... я вспомнил — спасибо славному западному ветру, кажется, я еще смогу уплыть. И вот каким образом, Дэви. Я условился с этим Скаугелом, что мы встретимся, когда стемнеет. «Но,— сказал он,— если ветер подует с запада, я приду гораздо раньше, лягу в дрейф и буду ждать вас за островом Фидра». Так вот, если твои джентльмены знают место встречи, то, конечно, знают и час. Понимаешь меня, Дэви? Благодаря Джонни Коупу и остолопам в красных мундирах я знаю эти места, как свои пять пальцев; если хочешь еще раз бежать с Аланом Креком, то мы повернем от берега и снова выйдем к морю возле Дирлтона. Если корабль там, мы попробуем попасть на него. Если его не будет, придется мне возвращаться в постылый стог. Во всяком случае, думаю, что мы оставим твоих джентльменов в дураках.

— Мне кажется, надежда есть,— сказал я.— Будь по-твоему, Алан!

ГЛАВА XIII

ДЖИЛЛАНСКАЯ ОТМЕЛЬ

Несмотря на старания Алана, мне не удалось изучить эти места так, как он изучил их во время похода с генералом Коупом; я почти не замечал, какой дорогой мы шли. В оправдание свое могу сказать, что мы чрезвычайно спешили. Часть пути мы бежали бегом, часть трусили рысцой, остальное время шли очень быстрым шагом. Мчась изо всех сил, мы дважды наталкивались на крестьян; но хотя на первого мы налетели из-за угла, Алан оказался наготове, как взведенный курок.

— Вы не видели мою лошадь? — запыхавшись, выпалил он.

— Нет, милый человек, не видел я никакой лошади,— ответил крестьянин.

Алан, не пожалев времени, осведомил его, что мы по очереди ехали верхом на коне, что конь куда-то ускакал

и мы боимся, не вернулся ли он домой, в Линтон. Но этого ему показалось мало: еле переводя дух, он стал проклинать свою неудачливость и мою глупость, из-за которой все и случилось.

— Если нельзя говорить правду,— заметил он, когда мы двинулись дальше,— надо уметь лихо и правдоподобно солгать. Когда люди не знают, что ты тут делаешь, Дэви, их разбирает ярое любопытство; а когда они думают, что знают, им до тебя столько же дела, сколько мне до прошлогоднего снега.

Так как мы сначала уходили от моря, то путь вел нас прямо на север; вехами нам служили слева старая церковь в Эберледи, а справа — вершина горы Бервик Ло; таким образом, мы снова вышли к морю неподалеку от Дирлтона. К западу от Северного берега до Джилланского мыса тянутся цепочкой четыре островка: Крэйглит, Лэм, Фидра и Айбро; все они сильно разнятся друг от друга и величиной и формой. Самый своеобразный из них Фидра; это странный серый островок с двумя горбами, приметный еще и тем, что на нем виднеются какие-то развалины; помню, когда мы подошли ближе, через дверь или окно в этих развалинах море блеснуло, как человеческий глаз. Между островом и берегом есть удобное, защищенное от западных ветров место для стоянки кораблей, и мы еще издали увидели стоящий там «Репейник».

Напротив островков тянулся совершенно пустынный берег. Здесь нет человеческого жилья и редко встретишь людей, разве только пробегут резвящиеся ребятишки. Маленькая деревушка Джиллан расположена на дальнем конце мыса; жители Дирлтона работают вдали от моря, на полях, а рыбаки Северного Бервика выходят на ловлю из своей гавани; словом, на всем побережье вряд ли найдется столь безлюдное место, как это. Но, помнится, когда мы, озираясь по сторонам и слыша громкий стук своих сердец, ползли на животе среди бесчисленных бугров и впадин, то здесь так ослепительно сияло солнце и сверкало море, так шелестели под ветром травы, так быстро юркали в норы кролики и взлетали чайки, что мне казалось, будто в этой пустыне царит кипучее оживление. Бесспорно, место для тайного отплытия было бы выбрано превосходно, если бы только оно оставалось тайным; даже сейчас, когда тайна была выдана и за берегом следили, нам все же удалось

незаметно подползти к дюнам, спускавшимся прямо к морю.

Но тут Алан остановился.

— Дэви,— сказал он,— здесь нам не пройти. Пока мы лежим, мы в безопасности, да только ни корабль, ни берег Франции от этого не станут ближе. А если мы встанем и начнем подавать знаки бригу, то неизвестно, чем это кончится. Где сейчас твои джентльмены, как ты думаешь?

— Может, они еще не пришли,— сказал я.— А если они и здесь, то у нас все-таки есть одно преимущество. Они ждут нас, чтобы схватить, это правда. Но ведь они ждут, что мы придем с востока, а мы явились с запада.

— Да,— ответил Алан.— Вот если бы нас было больше да завязался бы бой, тогда они остались бы с носом. Но нас только двое, Дэвид, и положение наше мало радует Алана Брека. Не знаю, что делать.

— Время идет, Алан,— напомнил я.

— Я это знаю,— ответил Алан,— и больше ничего не знаю, как говорят французы. Просто хоть гадай — орел или решка. Если бы только знать, где они, твои джентльмены!

— Алан,— сказал я,— это на тебя непохоже. Надо решать сейчас или никогда.

«Не мне, не мне, сказал он»...— пропел Алан и сделал забавную гримасу, в которой сочетались и смущение и озорство.

Не мне и не тебе, сказал, не мне и не тебе!
Клянусь я, Джонни славный мой, не мне и не тебе!

Внезапно он встал во весь рост и, подняв правую руку с развевающимся платком, стал спускаться к берегу. Я тоже встал и пошел сзади, внимательно разглядывая песчаные холмы на востоке. Сначала его появление осталось незамеченным: Скаугел не ждал его так рано, а «мои джентльмены» высматривали нас с другой стороны. Затем на палубе «Репейника» началось движение; очевидно, там было все наготове, ибо не прошло и секунды, как с кормы спустили шлюпку, которая быстро поплыла к берегу. Почти тотчас же в стороне Джилланского мыса, примерно в полумиле от нас, на песчаном холме, поднялся человек и взмахнул руками, и, хотя он сразу же исчез, в той стороне еще с минуту беспокойно метались чайки.

Алан, глядевший на корабль и на шлюпку, ничего не заметил.

— Будь что будет! — воскликнул он, когда я сказал ему об этом.— Быстрей бы они гребли на этой шлюпке, не то пройдется топор по моей шее!

Здесь вдоль берега тянулась длинная плоская отмель, во время отлива очень удобная для ходьбы; по ней в море стекал маленький ручеек, а песчаные холмы высились над нею, как крепостной вал. Мы не могли видеть, что происходит по ту сторону холмов, и нетерпение наше не могло ускорить приближение шлюпки: время словно остановилось, и ожидание казалось мучительно долгим.

— Хотел бы я знать, какой приказ получили эти джентльмены. Мы с тобой вместе стоим четыреста фунтов; что, если они начнут стрелять в нас из ружей, Дэви? С этого длинного песчаного вала очень удобно стрелять.

— Этого не может быть,— сказал я.— Прежде всего у них нет ружей. Все делается секретно; возможно, у них есть пистолеты, но никоим образом не ружья.

— Надеюсь, что ты прав,— произнес Алан.— И все равно — скорей бы подошла эта лодка!

Он щелкнул пальцами и свистнул, подзывая лодку, как собаку.

До берега ей оставалось приблизительно треть пути, мы уже подошли к самой воде, и мне в башмаки набился сырой песок. Теперь нужно было набраться терпения, всматриваться в медленно приближающуюся лодку и поменьше оглядываться на длинную непроницаемую гряду песчаных холмов, над которыми мелькали чайки и за которыми, несомненно, расположились наши враги.

— В таком славном, солнечном, прохладном месте обидно получить пулю в лоб,— вдруг сказал Алан,— и я завидую твоему мужеству, дружище.

— Алан! — воскликнул я.— Подумай, что ты говоришь! Да ты храбрейший человек на свете, ты само мужество, я берусь это доказать кому угодно!

— И ты бы очень ошибся,— сказал он.— Я опытнее и дальновиднее тебя, только и всего. А если говорить о спокойном, твердом, стойком мужестве, то я тебе

и в подметки не гожусь. Вот я стою и думаю только о том, как бы удрать; а ты, насколько я понимаю, подумываешь, не остаться ли здесь. Ты полагаешь, я был бы способен так поступить, если б и захотел? Никогда! Во-первых, я бы не решился, у меня не хватило бы мужества; во-вторых, я человек настолько прозорливый, что уже видел бы себя под судом.

— Вот к чему ты клонишь! — сказал я.— Алан, дорогой, ты можешь морочить старых баб, но меня тебе не удастся провести!

Память об искушении, которое я испытал в лесу, сделала меня твердым, как железо.

— Я назначил встречу,— продолжал я,— мы с твоим родичем Чарли условились встретиться, я дал ему слово.

— Черта с два ты с ним встретишься,— сказал Алан.— Ты прямиком отправишься на свидание с джентльменами из-за холмов. И чего ради, скажи на милость? — мрачным и грозным тоном продолжал он.— Хочешь, чтобы тебя похитили, как леди Грэндж? Чтобы тебя проткнули насквозь и зарыли в песчаном холме? А может быть, хочешь другого: чтобы тебя засудили вместе с Джемсом? Да можно ли им доверять? Неужели ты сунешь голову в пасть Саймону Фрэзеру и прочим вигам? — добавил он с горечью.

— Алан! — воскликнул я.— Я с тобой согласен, все они негодяи и лгуны. Тем более необходимо, чтобы хоть один порядочный человек остался в этом царстве воров! Я дал слово и сдержу его. Еще давно я сказал твоей родственнице, что меня не остановит опасность. Ты помнишь? Это было в ту ночь, когда убили Рыжего Колина. И меня действительно ничто не остановит. Я останусь здесь. Престонгрэндж обещал сохранить мне жизнь. Если он предатель, значит, я умру.

— Ладно, ладно,— сказал Алан.

Все это время наших преследователей не было ни видно, ни слышно. Позже я узнал, что наше появление застигло их врасплох: главный отряд еще не успел подойти; те же, кого послали в засаду раньше, рассыпались по холмам близ Джиллана. Собрать их было нелегко, а лодка тем временем приближалась к берегу. Кроме того, это были трусы, шайка горских воров, угоняющих скот; все они принадлежали к разным кланам и не имели во главе командира-джентльмена. И чем

больше они глазели с холмов на нас с Аланом, тем меньше, я полагаю, воодушевлял их наш вид.

Не знаю, кто предал Алана, но только не капитан: он сидел в шлюпке у руля и беспрестанно подгонял гребцов, и было видно, что он искренне стремится выполнить свое дело. Лодка быстро неслась к берегу, уже близка была свобода, и лицо Алана запылало от радостного волнения, как вдруг наши друзья из-за холмов то ли от отчаяния, что добыча ускользает из их рук, то ли надеясь испугать Энди, пронзительно завопили хором.

Этот внезапный крик среди, казалось бы, пустынных песков был и вправду страшен, и гребцы на лодке перестали грести.

— Что это? — воскликнул капитан; теперь лодка была уже так близко, что мы могли переговариваться.

— Мои друзья,— ответил Алан и, войдя в воду, устремился навстречу лодке.— Дэви,— произнес он, останавливаясь.— Дэви, что же ты не идешь? Я не могу бросить тебя тут.

— Я не пойду,— сказал я.

Заколебавшись, он какое-то мгновение стоял по колено в морской воде.

— Ну, чему быть, того не миновать,— сказал он и двинулся дальше; когда он был уже почти по грудь в воде, его втащили в шлюпку, которая тотчас же повернула к кораблю.

Я стоял все на том же месте, заложив руки за спину; Алан, обернувшись к берегу, не отрывал от меня глаз, а лодка плавно уходила все дальше и дальше. Вдруг я понял, что вот-вот расплачусь: мне казалось, что нет во всей Шотландии человека более одинокого и несчастного, чем я. Я повернулся спиной к морю и оглядел дюны. Там было тихо и пусто, солнце золотило мокрые и сухие пески, меж дюнами посвистывал ветер и уныло кричали чайки. Я отошел чуть дальше от моря; водяные блохи проворно скакали по выброшенным на берег водорослям — и больше ни звука, ни движения на этом зловещем берегу. И все же я чувствовал, что кто-то тайком за мной наблюдает. Вряд ли это солдаты, они давно бы уже выбежали и схватили нас; вернее всего, это просто какие-то проходимцы, нанятые, чтобы разделаться со мной, быть может, похитить, а может,

тут же и убить меня. Судя по их поведению, первое, пожалуй, было вернее; но, зная повадки и усердие таких наемников, я подумал, что второе тоже весьма вероятно, и похолодел.

Мне пришла в голову отчаянная мысль вынуть из ножен шпагу; хоть я и не умею сражаться с джентльменами по всем правилам, но, быть может, мне случайно удастся ранить противника в рукопашной схватке. Но тут же я понял, как бессмысленно было бы всякое сопротивление. Ведь это, наверное, и есть тот «способ», на котором сошлись Престонгрэндж и Фрэзер. Я был убежден, что прокурор настоял на том, чтобы сохранить мне жизнь; Фрэзер же, по всей вероятности, намекнул Нийлу и его товарищам, что это вовсе не обязательно; и обнажив клинок, я, пожалуй, сыграю на руку моему злейшему врагу и подпишу себе смертный приговор.

Погруженный в эти мысли, я дошел почти до дюн. Я оглянулся на море; шлюпка приближалась к бригу, и Алан, прощаясь со мной, размахивал платком, а я в ответ помахал ему рукой. Но вскоре и Алан, отделенный от меня морским пространством, превратился в еле различимую точку. Я надвинул шляпу поглубже, стиснул зубы и пошел прямо к песчаному холму. Взбираться на крутой склон было нелегко, песок уходил из-под ног, как вода. Наконец я ухватился за пучок длинной и жесткой травы, росшей на вершине, и, подтянувшись, очутился на твердой площадке. И в то же мгновение справа и слева зашевелились и подняли головы шесть или семь разбойничьего вида оборванцев с кинжалами в руках. Должен сознаться, я зажмурился и прошептал молитву. Когда я открыл глаза, негодяи молча и неторопливо подползли чуть ближе. Они смотрели на меня не отрываясь, и я со странным ощущением увидел, как горят их глаза и с какой опаской они продвигаются ко мне. Я протянул руки, показывая, что безоружен; тогда один из них с сильным горским акцентом спросил, сдаюсь ли я.

— Против своей воли,— сказал я,— если ты понимаешь, что это значит, в чем я сильно сомневаюсь.

При этих словах они накинулись на меня, как стая воронов на падаль, отняли шпагу и все деньги, что были у меня в карманах, связали мне руки и ноги крепкой веревкой и бросили на траву. Затем они уселись полукругом и в настороженном молчании глядели на

своего пленника, словно на опасного зверя, льва или тигра, готового прыгнуть на них в любую секунду. Немного погодя опасения их, очевидно, рассеялись. Они сбились в кучу, заговорили по-гэльски и на моих глазах весьма нагло занялись дележкой моего имущества. К счастью, я мог отвлечься от этого зрелища: с места, где я лежал, было удобно наблюдать за бегством Алана. Я видел, как лодка подошла к бригу, как ее подняли на борт, затем надулись паруса и корабль, пройдя за островами и миновав Северный Бервик, ушел в открытое море.

В течение двух часов прибывали другие горцы в лохмотьях, пока не собралась шайка человек в двадцать; одним из первых пришел рыжий Нийл. С появлением каждого нового оборванца возобновлялся оживленный разговор, в котором слышались и жалобы и оправдания; но я заметил, что никому из тех, кто пришел позже, из добычи не досталось ничего. В конце концов между ними разгорелся такой жаркий и злобный спор, что мне казалось, они вот-вот передерутся; после этого шайка тотчас же разделилась: большинство гурьбой направилось на запад, и только трое, Нийл и двое других, остались стеречь своего пленника.

— Я могу назвать человека, который будет очень недоволен твоими сегодняшними делами, Нийл, Дунканов сын,— сказал я, когда остальные ушли.

В ответ он стал уверять, что со мной будут обращаться по-хорошему, не то ему придется «держать ответ перед леди».

На этом наша беседа окончилась, и на берегу больше не появлялась ни одна живая душа. Когда же солнце опустилось за Шотландские горы и стали сгущаться сумерки, я увидел тощего, костлявого верзилу с темным от загара лицом, который подъехал к нам по дюнам на деревенской кляче.

— Эй, братцы,— крикнул он,— есть у вас такая штука? — И он помахал бумагой, которую держал в руке. Нийл протянул ему другую бумагу; тот, нацепив очки в роговой оправе, прочел ее и, сказав, что все правильно и мы те самые, кого он ищет, тотчас же спешился. Меня посадили на его место, связали мне ноги под брюхом лошади, и во главе с приморским жителем мы отправились в путь. Он, должно быть, хорошо выбрал дорогу: за все время мы не встретили ни души,

кроме двух влюбленных, которые при нашем приближении пустились наутек, очевидно, приняв нас за контрабандистов. Путь наш проходил у самого подножия Бервик Ло с южной его стороны; с другой стороны, когда мы шли через холмы, я увидел неподалеку огоньки деревушки и старинную церковную колокольню среди деревьев, но вряд ли мой голос донесся бы туда, если бы даже мне вздумалось позвать на помощь. Наконец мы опять услышали шум моря. Светила луна, хотя и неяркая, и при ее свете я разглядел три огромные башни и разбитые зубцы на стенах Тантеллона, старинной крепости Красных Дугласов. Лошадь привязали к колу у рва и оставили пастись, а меня ввели во двор и оттуда в полуразрушенный замковый зал. Ночь была холодная, и мои провожатые тут же, на каменном полу, развели яркий костер. Мне развязали руки, усадили возле внутренней стены, наш приморский житель вытащил привезенную им еду, и мне дали кусок хлеба из овсяной муки и кружку французского коньяку. Затем я снова остался в обществе своих трех горцев. Усевшись поближе к огню, они пили и переговаривались; ветер задувал в проломы стен, разбрасывал во все стороны искры и дым и завывал на верхушках башен. Я слушал, как внизу, под скалами, гудело море; я был теперь спокоен за свою жизнь и, устав телом и духом от всего пережитого за этот день, повернулся на бок и задремал.

Не знаю, который был час, когда меня разбудили, но луна уже зашла и костер почти догорал. Мне развязали ноги, провели меня через развалины и заставили спуститься по крутой тропинке на краю скалы вниз, где в бухточке меж камней нас ждала рыбачья лодка. Мы сели в нее и при свете звезд отплыли от берега.

ГЛАВА XIV

СКАЛА БАСС

Я не мог догадаться, куда меня везут, и только глядел во все стороны, не ждет ли нас где-нибудь корабль, а из головы у меня не выходило выражение Рэнсома — «двадцатифунтовые». Если мне опять угрожает опасность попасть на плантации, размышлял я, то дело обстоит как нельзя хуже: сейчас мне нечего надеяться ни

на второго Алана, ни на второе кораблекрушение и запасную рею. Я уже представил себе, как меня хлещут бичом, заставляя мотыжить табачное поле, и невольно поежился. На воде было холодно, перекладины в лодке покрылись ледяной росой, и, сидя рядом с рулевым, я чувствовал, что меня пробирает дрожь. Рулевым был тот самый смуглый человек, которого я называл про себя приморским жителем; звали его Черным Энди, хотя настоящее имя его было Дэйл. Заметив, что я дрожу, он дружелюбно протянул мне грубую куртку, покрытую рыбьей чешуей, и я с радостью набросил ее на себя.

— Спасибо за вашу доброту,— сказал я.— Взамен позволю себе предостеречь вас. Вы можете сильно поплатиться за это дело. Вы не похожи на этих невежественных, диких горцев, и вам, наверное, известно, что такое закон и что грозит тем, кто его нарушает.

— По правде сказать, я никогда не был рьяным приверженцем закона,— сказал он,— а тут мне дали хорошую поруку.

— Что вы собираетесь со мной делать? — спросил я.

— Ничего дурного,— ответил он,— ровно ничего. У вас, видно, есть заступники. Ничего с вами не случится, скоро будем на месте.

Море начинало понемногу сереть, на востоке слабо засветились розовые и красные облачка, похожие на медленно тлеющие угли, и сейчас же на вершине скалы Басс проснулись и заголосили морские птицы. Скала Басс, как известно, одиноко стоящий камень, но такой огромный, что его гранита хватило бы на целый город. Море было необычайно тихим, но плеск воды у подножия скалы с гулким шумом отдавался в расселинах.

Занималась заря, и я уже мог рассмотреть отвесные утесы, покрытые птичьим пометом, словно инеем, покатую вершину, поросшую зеленой травой, стаи белых бакланов, кричавших со всех сторон, и черные развалины тюрьмы над самым морем.

И вдруг меня осенила догадка.

— Вы везете меня сюда! — вскричал я.

— Да, прямо на Басс, приятель,— сказал он.— В давние времена тут томились святые, но вы-то вряд ли попали сюда без вины.

— Но ведь здесь теперь никого нет! — снова воскликнул я.— Темница давно разрушена.

— Что ж, зато бакланам будет с вами веселее,— сухо сказал Энди.

При свете наступающего дня я увидел, что посреди лодки, вместе с камнями, которые служат для рыбаков балластом, лежит несколько бочонков, корзин и вязанки дров. Все это было выгружено на скалу; Энди, я и три моих горца — я называю их своими, хотя скорее они владели мною,— также сошли на берег. Еще не взошло солнце, когда лодка двинулась в обратный путь; заскрипели весла в уключинах, перекликаясь с эхом среди скал, и мы остались одни в этом странном месте заточения.

Энди Дэйл, которому я дал шутливое прозвище мэра скалы Басс, был одновременно и пастухом и смотрителем дичи в этом небольшом и богатом поместье. Он присматривал за десятком овец, которые на травянистом склоне утеса, где они паслись и жирели, напоминали мне изображения животных на крыше собора. На его попечении были еще и бакланы, которые гнездились в скалах и представляли собою довольно необычный источник дохода. Птенцы бакланов считались весьма изысканным блюдом, и любители полакомиться охотно платили по два шиллинга за штуку. Сало и перья взрослых птиц тоже ценились высоко; еще и до сих пор в Северном Бервике священнику выплачивают часть жалованья бакланами, что и заставляет некоторых пасторов домогаться этого прихода. Энди проводил на скалах целые дни, а зачастую и ночи, выполняя свои разнообразные обязанности и сторожа птиц от браконьеров; здесь он чувствовал себя, как фермер в своей усадьбе. Велев нам взвалить на спину груз, что я и не замедлил сделать, он отомкнул калитку, единственный вход на остров, и через развалины крепости провел к сторожке. Судя по золе в очаге и по кровати, стоявшей в углу, здесь было его постоянное жилище.

Кровать он предложил мне — раз уж я корчу из себя благородного джентльмена, проворчал он.

— Я останусь им, на чем бы я ни спал,— ответил я.— По божьей воле, до сих пор постели мои были жесткими, и я охотно буду спать на полу. Пока я здесь, мистер Энди,— так вас, кажется, зовут? — я буду жить во всем наравне с остальными; но прошу избавить меня от ваших насмешек, которые мне не слишком нравятся.

Он немного побрюзжал, но по некотором размышлении, кажется, одобрил мои слова. Человек он, как оказалось, был толковый и себе на уме, хороший виг и пресвитерианин; он ежедневно читал карманную Библию, умел и любил вести серьезные беседы о религии, обнаруживая склонность к суровым догмам Камерона. Нравственность его оставалась для меня под сомнением. Я убедился, что он усиленно занимался контрабандой и превратил развалины Тантеллона в склад контрабандных товаров. Что до таможенных стражников, то, думается мне, жизнь любого из них он не ставил ни в грош. Впрочем, эта часть Лотианского берега и доныне самая дикая местность в Шотландии, и обитает здесь самый отчаянный народ.

За время моего житья на скале произошел случай, о котором мне пришлось вспомнить много времени спустя. В Форте тогда стоял военный корабль под названием «Морской конь», капитаном его был некий Пэллисер. Случилось так, что в сентябре корабль крейсировал между Файфом и Лотианом, промеряя лотом дно, чтобы обнаружить опасные рифы. Однажды ранним погожим утром корабль появился в двух милях к востоку от нас, спустил шлюпку и, как нам казалось, стал исследовать Уайлдфайрские скалы и Чертов куст — места, известные своей опасностью для судов. Но вскоре, подняв лодку на борт, корабль пошел по ветру и направился прямо к Бассу. Энди и горцы встревожились: мое похищение было делом секретным, и если на скалу явится флотский капитан, то, по всей вероятности, не миновать огласки, а быть может, чего-нибудь и похуже. Здесь я был одинок, я не мог, как Алан, напасть на нескольких человек сразу и был отнюдь не уверен, что военный корабль возьмет мою сторону. Приняв это в соображение, я дал Энди слово, что буду вести себя смирно и не выйду из повиновения; меня быстро увели на вершину скалы, где все мы залегли и притаились на самом краю, поодаль друг от друга, наблюдая за кораблем. «Морской конь» шел прямо на нас, мне даже казалось, что он неизбежно врежется в нашу скалу; с головокружительной высоты мы видели всю команду и слышали протяжные выкрики лотового у лота. Вдруг корабль сделал поворот фордевинд и дал залп, не знаю уж, из скольких пушек. От грохота содрогнулась скала, над нашими головами поплыл дым, несметные стаи бакланов взметну-

лись вверх. Глядеть, как мелькают крылья, и слышать птичий крик было на редкость любопытно, и я подозреваю, что капитан Пэллисер подошел к скале только ради этой ребяческой забавы. Со временем ему пришлось дорого поплатиться за это. Пока «Морской конь» приближался к скале, я успел рассмотреть его так, что много позже мог узнать по оснастке за несколько миль; благодаря этому мне, по воле небес, удалось отвратить от друга большую беду и доставить серьезное огорчение капитану Пэллисеру.

На скале нам жилось недурно. У нас был эль, коньяк и овсяная мука, из которой мы по утрам и вечерам варили кашу. Иногда из Каслтона нам привозили на лодке четверть бараньей туши; трогать здешних овец запрещалось, их откармливали для продажи. К сожалению, время для охоты на бакланов уже миновало, и пришлось оставить их в покое. Мы ловили рыбу сами, но чаще заставляли бакланов добывать ее для нас: мы подстерегали птицу с рыбой в клюве и спугивали ее, прежде чем она успевала проглотить свою добычу.

Своеобразие этого места и разные диковины, которыми изобиловала скала Басс, занимали меня и заполняли все мое время. Убежать отсюда было невозможно, поэтому я пользовался полной свободой и исследовал всю скалу, лазая повсюду, где только можно было ступить ногой. Я не оставил без внимания запущенный тюремный сад, где росли одичавшие цветы и огородные растения, а на старой вишне попадались спелые ягоды. Чуть пониже сада стояла не то часовня, не то келья пустынника; неизвестно, кто ее построил и кто в ней жил, и древний ее вид вызывал раздумья. Даже тюрьма, где я ютился вместе с горцами-скотокрадами, была памятником исторических событий, мирских и духовных. Я дивился, что множество святых и мучеников, томившихся в этих стенах, не оставили после себя даже листка из Библии или выскобленного на камне имени, а грубые солдаты, стоявшие в карауле на сторожевых башнях, усеяли скалу памятками, главным образом сломанными трубками — я поражался их количеству — и металлическими пуговицами от мундиров. Временами мне чудилось, что я слышу пение псалмов из подземелий, где сидели мученики, и вижу солдат, попыхивающих трубками на крепостной стене, за которой из Северного моря встает рассвет.

Разумеется, причиной моих фантазий был Энди со своими рассказами. Он знал историю скалы Басс до мельчайших подробностей, вплоть до имен рядовых солдат, среди которых в свое время был и его отец. Кроме того, он обладал природным даром рассказчика; когда я слушал его, мне казалось, что я вижу и слышу живых людей и участвую в их делах и поступках.

Этот его талант и моя готовность слушать его часами сблизили нас. Не стану отрицать, что он пришелся мне по душе, и вскоре я понял, что тоже нравлюсь ему; сказать по правде, я с самого начала старался завоевать его расположение. Странный случай, о котором я расскажу позже, заставил меня убедиться, что он расположен ко мне больше, чем я думал, но даже и в первое время мы жили дружнее, чем полагалось бы пленнику и тюремщику.

Я покривил бы душой, если бы стал утверждать, что мое пребывание на скале Басс было беспросветно тягостным. Здесь мне было покойно; я как бы укрылся на этой скале от всех своих тревог. Со мной обращались нестрого, скалы и море лишали меня возможности предпринимать попытки к бегству, ничто не угрожало ни моей жизни, ни чести, и временами я позволял себе наслаждаться этим, как запретным плодом. Но бывали дни, когда меня одолевали другие мысли. Я вспоминал решительные слова, которые говорил Ранкилеру и Стюарту; я думал о том, что мое заключение на скале Басс, не так уж далеко от файфского и лотианского берегов, может показаться выдумкой, и в глазах по меньшей мере двух джентльменов я окажусь хвастунишкой и трусом. Правда, это меня мало беспокоило; я говорил себе, что покуда Катриона Драммонд думает обо мне хорошо, мнения других людей для меня ничто; и я предавался размышлениям, которые так приятны для влюбленного и, должно быть, кажутся читателю удивительно скучными. Но тотчас же меня начинали терзать иные опасения: мое самолюбие возмущалось тем, что меня, быть может, станут сурово осуждать, и это казалось мне такой несправедливостью, которую невозможно перенести. Тут мои мысли перескакивали на другое, и стоило подумать о том, какого мнения будут обо мне люди, как меня начинали преследовать воспоминания о Джемсе Стюарте в его темнице и о рыданиях его жены. И тогда меня обуревало неистовое волнение, я не мог простить себе, что си-

жу здесь сложа руки; будь я настоящим мужчиной, я бы улетел или уплыл из своего спокойного убежища. В таком состоянии, стремясь заглушить угрызения совести, я еще больше старался расположить к себе Энди Дэйла.

Наконец однажды солнечным утром, когда мы оказались одни на вершине скалы, я намекнул, что могу заплатить за помощь. Он поглядел на меня и, закинув голову, громко расхохотался.

— Да, вам смешно, мистер Дэйл,— сказал я,— но, быть может, если вы взглянете на эту бумагу, то отнесетесь к моим словам иначе.

Глупые горцы отобрали у меня на дюнах только звонкую монету, бумага же, которую я показал Энди, была распиской от Льнопрядильного общества, дающей мне право получить значительную сумму.

— Верно, вы человек не бедный,— сказал он.

— Мне кажется, это вас должно настроить по-другому,— заметил я.

— Ха! — произнес он.— Я вижу, вы можете подкупить, да только я неподкупный.

— Мы поговорим об этом после,— сказал я.— Сначала я докажу, что знаю, где тут собака зарыта. Вам велено держать меня здесь до четверга, двадцать первого сентября.

— Вы почти что не ошиблись,— ответил Энди.— Я должен отпустить всех вас, ежели не будет другого приказа, в субботу, двадцать третьего.

Я сразу понял, сколько коварства таилось в этом замысле. Я появлюсь именно в тот день, когда будет слишком поздно, и поэтому, если я захочу оправдаться, мой рассказ покажется совсем неправдоподобным. Меня охватил такой гнев, что я решил идти напролом.

— Вот что, Энди, вы человек бывалый, так выслушайте же и поразмыслите над тем, что я скажу,— начал я.— Мне известно, что тут замешаны важные лица, и я не сомневаюсь, что вы знаете их имена. С тех пор, как началось это дело, я виделся кое с кем из них и сказал им в лицо то, что думаю. Какое же преступление я совершил? И что они со мной делают? Тридцатого августа меня хватают какие-то оборванцы с гор, привозят на кучу старых камней, которая уже не крепость, не тюрьма, а просто жилище сторожа скалы Басс, и отпускают на свободу двадцать третьего сентября так же втихомолку, как и арестовали,— где тут, по-вашему, закон? И где тут правосудие? Не пахнет ли это какой-то подлой и грязной интригой, которой стыдятся даже те, кто ее затеял?

— Не стану спорить, Шос. Тут, мне сдается, и вправду что-то не чисто,— сказал Энди.— И не будь те люди хорошими вигами и истинными пресвитерианами, я бы послал их к черту на рога и не стал бы ввязываться в такие дела.

— Лорд Ловэт — прекрасный виг,— усмехнулся я,— и отменный пресвитерианин!

— Не знаю такого,— сказал Энди,— я с Ловэтами не якшаюсь.

— Да, верно, ведь вы связались с Престонгрэнджем,— сказал я.

— Ну нет, этого я вам не скажу,— заявил Энди.

— И не надо, я и сам знаю,— возразил я.

— Одно только зарубите себе на носу, Шос,— сказал Энди.— С вами я связываться не стану, так что не старайтесь попусту.

— Что ж, Энди, вижу, придется поговорить с вами начистоту,— ответил я и рассказал ему все, что счел нужным.

Энди слушал меня серьезно и с интересом, а когда я кончил, он призадумался.

— Шос,— сказал он наконец,— буду говорить без обиняков. Диковина все это, и не очень мне верится, что так оно и есть, как вы говорите, может, совсем и не так, хоть вы сами, сдается мне, честный малый. Но я все же постарше вас и порассудительней, я могу видеть то, что вам и невдомек. Скажу вам честно и прямо. Ничего дурного не будет, если я вас здесь продержу, сколько надо; пожалуй, будет куда лучше. И для страны тут ничего дурного нет; ну, повесят вашего горца — и слава богу, одним меньше будет. А вот мне-то не поздоровится, если я вас отпущу. Говорю вам как хороший виг и как честный ваш друг, а еще больше друг самому себе: оставайтесь-ка здесь с Энди и бакланами, и все тут.

— Энди,— промолвил я, положив руку ему на колено,— этот горец ни в чем не повинен.

— Экая жалость,— сказал он.— Но что ж поделаешь, так уж бог сотворил наш мир, что не все выходит, как нам хочется.

ГЛАВА XV

ИСТОРИЯ ЛИСА ЛЭПРАЙКА, РАССКАЗАННАЯ ЧЕРНЫМ ЭНДИ

До сих пор я почти ничего не сказал о моих горцах. Все трое были сторонниками Джемса Мора, поэтому его причастность к моему заключению была несомненна. Все они знали по-английски не больше двух-трех слов, но один только Нийл воображал, будто может свободно изъясняться на этом языке; однако стоило ему пуститься в разговоры, как его собеседники быстро убеждались в обратном. Горцы были люди смирные и недалекие; они вели себя гораздо учтивее, чем можно было ожидать, судя по их неприглядной внешности, и сразу же выказали готовность прислуживать мне и Энди.

Мне казалось, что в этом пустынном месте, в развалинах древней тюрьмы, среди постоянного и непривычного для них шума моря и крика морских птиц на них нападал суеверный страх. Когда нечего было делать, они либо заваливались спать — а спать они могли сколько угодно,— либо слушали Нийла, который развлекал их страшными историями. Если же эти удовольствия были недоступны — например, двое спали, а третий почему-либо не мог последовать их примеру,— то он сидел и прислушивался, и я замечал, что он все тревожнее озирается вокруг, вздрагивает, лицо его бледнеет, пальцы сжимаются, и весь он точно натянутая тетива. Мне так и не довелось узнать причину этого страха, но он был заразителен, да и наша временная обитель была такова, что располагала к боязливости. Я не могу найти подходящего слова по-английски, но Энди постоянно повторял по-шотландски одно и то же выражение.

— Да,— говорил он,— наша скала наводит жуть.

Я думал то же самое. Здесь было жутко ночью, жутко и днем; нас окружали жуткие звуки — стенания бакланов, плеск моря и эхо в скалах. Так бывало в тихую погоду. Когда бушевало море и волны разбивались о скалу с грохотом, похожим на гром или бой несчетных барабанов, было страшно, но вместе с тем весело; когда же наступало затишье, человек, прислушиваясь, мог обезуметь от ужаса. И не только горец, я и сам испытал это не раз, такое множество глухих, непонятных звуков возникало и отдавалось в расселинах скал.

Это напомнило мне одну услышанную на Бассе историю и случай, который произошел не без моего участия, круто изменил наш образ жизни и сыграл большую роль в моем освобождении. Однажды вечером, сидя у огня, я задумался и стал насвистывать пришедшую мне на память песню Алана. Вдруг на плечо мне легла рука, и голос Нийла велел мне перестать, потому что это «не бошеская песня».

— Как не божеская? — удивился я.— Почему?

— Не бошеская,— повторил он.— Она — песня привидения, что хочет назад свою отрубленную голову.

— Ну, тут привидения не водятся, Нийл,— сказал я,— очень им нужно пугать бакланов!

— Да? — произнес Энди.— Вы так думаете? А я вам скажу, что тут водилось кое-что похуже привидений.

— Что же такое хуже привидений, Энди? — спросил я.

— Колдуны,— сказал он.— То бишь колдун. Любопытная приключилась здесь история,— прибавил он.— Если желаете, я расскажу.

Разумеется, тут мы были единодушны, и даже горец, понимавший по-английски еще меньше других, и тот обратился в слух.

РАССКАЗ О ЛИСЕ ЛЭПРАЙКЕ

Мой отец, Том Дэйл, упокой, господи, его душу, в молодости был бедовый малый и большой озорник, в голове у него гулял ветер, а уж благочестием он сроду не мог похвастаться. Ему бы только бутылочки распивать, и с девушками баловать, да буянить, а вот чтобы делом каким заняться — к этому у него охоты не было. Ну, туда-сюда, записался он наконец в солдаты, и послали его служить в здешний гарнизон, а у нас в роду еще никто на Басс и ногой не ступал. Незавидная тут была служба, скажу я вам. Начальник здешний сам варил эль, да такой, что хуже и вообразить невозможно. Провизию им с берега привозили, да только так, что ежели они сами рыбы не наловят и бакланов не настреляют, то хоть зубы на полку клади. А тогда как раз гонения за веру начались, на Бассе в холодных каменных мешках держали мучеников и святых, соль земли, которой земля эта недостойна. А Том Дэйл, хоть он здесь ходил под ружьем и был самый что ни на есть простой солдат, любил и бутылочку распить и с девушками баловать, а все

же душа у него была не по чину благородная. Он тут нагляделся на узников, славу нашей церкви; иной раз у него кровь вскипала, когда он видел, как мучают святых, и он со стыда сгорал от того, что приходится ему ходить под началом (либо под ружьем) у тех, кто творил эти черные дела. Бывало, стоит он ночью на часах, кругом тишина, мороз пробирает до костей, и вдруг слышит, кто-то из узников запел псалом, другие подхватили, и вот уже из всех камер, вернее сказать, склепов, слышались священные песнопения, и чудилось ему, что он не на скале среди моря, а на небесах. Совестно ему становилось за свою жизнь и мерещилось, что грехов у него целая куча, побольше, чем скала Басс, а главный грех то, что он пособляет мучить и губить приверженцев святой церкви. Ну, правда, это у него скоро проходило. Наступал день, подымались дружки-товарищи, и всех благих помыслов как не бывало.

В то время жил на Бассе божий человек, звали его Педен-пророк. Вы, верно, слыхали про Педена-пророка. Таких, как он, больше нет на свете, и бьюсь об заклад, что и не было. Он был дикий, как чертополох, смотреть на него было страшно, а слушать и того страшнее. Лицо у него было, точно божья кара, голос — как у баклана, от него потом в ушах звенело, а слова его жгли, как горячие угли.

А на скале тогда жила одна девушка; уж не знаю, чем она занималась, потому как приличным женщинам тут не место. Но, говорят, она была красива собою, и они с Томом Дэйлом быстро поладили. Вот как-то раз Педен молился один в саду, а Том с девушкой проходили мимо, и она возьми да передразни святого на молитве, да еще и смеяться начала. Педен встал и так поглядел на обоих, что у Тома поджилки затряслись. А заговорил Педен не сердито, а жалостно. «Бедная ты, бедная! — говорит он и смотрит на девушку.— Вон как ты визжишь и хохочешь, но господь уготовил тебе смертный удар, и, когда тебя нежданно настигнет его кара, ты взвизгнешь только один раз!» Вскорости она пошла с двумя-тремя солдатами прогуляться по скалам, а день был ветреный. И вдруг налетел такой вихрь, что раздул все ее юбки и мигом смахнул в море. Солдаты рассказывали, что она и взвизгнуть-то успела только разок.

Конечно, после такого случая Том малость приуныл, но скоро оправился и ничуть не стал лучше. Как-то поссорился он с другим солдатом. «Дьявол меня возьми!»— крикнул Том, большой любитель ругаться и богохульничать. И откуда ни возьмись перед ним Педен, страшный, лохматый, глаза горят, на плечах пастушья дерюга, и руку вперед вытянул с черными ногтями — он всегда грязный ходил, как угольщик. «Тьфу, тьфу, вот бедный! — крикнул он.— Бедный дурачина! Говорит: «Дьявол меня возьми». А я вижу, дьявол-то уже стоит у него за спиной!» Тут Том словно прозрел и увидел пучину своей греховности, и на него сошла божья благодать: он бросил пику, что была у него в руках, и сказал: «Никогда больше не подыму оружие против дела Христова!»— и своего слова держался крепко. Поначалу пришлось ему туго, но потом начальник видит, что ничего с ним поделать нельзя, ну и отпустил его в отставку. Том вернулся в Северный Бервик, женился и нажил себе доброе имя среди честных людей.

В тысяча семьсот шестом году скала Басс перешла в руки Далримплов, и на место смотрителя попросились двое. И тот и другой были подходящими, оба служили солдатами в здешнем гарнизоне, знали, как обращаться с бакланами: и когда можно на них охотиться, и почем продавать. Первый был Том Дэйл, мой отец. Второй человек был Лэпрайк, люди звали его Лис Лэпрайк, но то ли это было его имя, то ли так его прозвали из-за лисьего нрава, я уж не скажу. Вот однажды Тому пришлось пойти к Лэпрайку по делу, и он взял меня с собой, а я тогда был еще совсем малым ребенком. Лис жил в длинном проулке между церковью и кладбищем. Проулок был темный, страшный, да к тому же церковь имела дурную славу еще со времен Якова Шестого, там и при короле нечистая сила колдовала. А дом Лиса стоял в самом темном углу, и люди разумные старались туда не наведываться. В тот день дверь была не заперта на задвижку, и мы с отцом прямо шагнули через порог. Надо вам сказать, что Лэпрайк занимался ткацким ремеслом, и в первой его каморке стоял станок. Сам он сидел тут же, толстый, белый, точно кусок сала, и улыбался, как блаженный, у меня даже мурашки по коже поползли. В руке он держал челнок, а у самого глаза были закрыты. Мы окликали его, мы кричали ему в самое ухо, мы трясли его за плечо. Ничего не помогало! Он сидел на табурете, держал челнок и улыбался, как блаженный.

— Господи, помилуй нас,— сказал Том Дэйл,— с ним что-то неладно!

Только он это выговорил, как Лис Лэпрайк очнулся.

— Это ты, Том? — сказал он.— Здорово, приятель. Хорошо, что ты пришел. А на меня иногда находит такое беспамятство, это от желудка.

Ну, тут они принялись толковать про скалу Басс, про то, кому достанется место смотрителя, слово за слово перебранились и расстались злые как черти. Хорошо помню, как по дороге домой отец все время твердил, что ему сильно не по душе Лис Лэпрайк и его беспамятство.

— Беспамятство! — говорил он.— Да за такие беспамятства людей на костре сжигают!

Вскорости отец получил место на Бассе, а Лис остался ни при чем. Люди еще долго вспоминали, что он сказал отцу. «Том,— сказал он,— ты еще раз взял надо мной верх, ну так желаю тебе найти на Бассе то, чего ты ждешь». После люди говорили, что он недаром сказал такие слова. Вот наконец пришло время Тому Дэйлу выбирать птенцов из гнезд. Дело было для него привычное: он с самого детства лазал по скалам и никому эту работу не хотел доверять. Он обвязался веревкой и спустился с самого высокого и крутого края утеса. Наверху стояли другие охотники, они держали веревку и следили за его сигналами. А там, где висел Том, были только скалы, да море внизу, да вокруг летали и вопили бакланы. Утро стояло ясное, весеннее, и Том карабкался за птенцами да посвистывал. Сколько раз он мне про это рассказывал, и всегда у него на лбу выступал пот.

Верите ли, Том случайно глянул наверх и увидел большущего баклана, и баклан тот долбил клювом веревку. Он подивился: за бакланами такого сроду не водилось. Он смекнул, что веревка-то мягкая, а клюв у баклана и скала Басс твердые и что падать в море с двухсотфутовой вышины не так уж приятно.

— Кыш! — крикнул Том.— Пошел вон, окаянный!

Баклан поглядел вниз на Тома, а глаза у него были какие-то странные. Глянул разок — и опять давай долбить клювом. Только теперь он стал долбить и трепать веревку как бешеный. Никогда еще не бывало, чтобы баклан клевал веревку, а этот будто прекрасно знал, чего хочет: он тер мягкую веревку об острый край камня.

У Тома от страха похолодели руки-ноги. Он подумал: «Это не птица». Он оглянулся назад, и у него в глазах потемнело. «Если сейчас найдет на меня беспамятство, прощай, Том Дэйл»,— подумал он. И подал знак охотникам, чтобы его тащили наверх.

А баклан будто понял, какой Том подал знак. Он сразу бросил веревку, взмахнул крыльями, громко крикнул, сделал круг над Томом и кинулся, чтоб выклевать ему глаза. Но у Тома был нож, он его мигом выхватил. Баклан, видно, и насчет ножей понимал: как только сталь блеснула на солнце, он опять крикнул, но уже потише и будто с досадой и улетел за скалу, так что Том его больше не видел. Тут голова Тома упала на плечо, и пока его тащили, он болтался вдоль скалы, как мертвое тело.

Дали ему глотнуть бренди — а Том без него на скалу не ходил,— и он очнулся, но был как будто не в себе.

— Беги, Джорди, скорей беги к лодке, смотри за лодкой! — закричал он.— Не то этот баклан ее угонит!

Охотники переглянулись и попробовали было его утихомирить. Но Том не унимался, и в конце концов кто-то побежал вниз сторожить лодку. Другие спросили, полезет ли он опять вниз.

— Нет,— сказал Том,— и сам не полезу и вас не пущу. И как только меня будут держать ноги, мы дадим тягу с этой чертовой скалы.

Ну, понятно, они мешкать не стали и хорошо сделали: не успели они добраться до Северного Бервика, как у Тома началась сильная горячка. Он пролежал все лето. И кто же, вы думаете, приходил, как добрый сосед, спрашивать о его здоровье? Лис Лэпрайк! Люди потом говорили, что, когда Лис подходил к дому, горячка начинала трепать Тома еще пуще. Я-то этого не помню, зато хорошо помню, чем все кончилось.

Как-то раз, примерно об эту пору, мой дед собрался ловить сигов, и что бы я был за мальчишка, ежели б не увязался с ним. Помню, улов был большой, мы плыли вслед за рыбой и очутились неподалеку от скалы Басс, а там повстречали лодку Сэнди Флетчера из Каслтона. Он не так давно умер, а то он бы сам рассказал. Сэнди нас окликнул.

— Что это,— спрашивает,— там на Бассе?

— На Бассе? — тоже спрашивает дед.

— Ну да,— говорит Сэнди,— на зеленом откосе.

— Что же там такое? — говорит дед.— На Бассе ничего нет, одни овцы.

— Как будто бы человек,— говорит Сэнди; его лодка была ближе к скале, чем наша.

— Человек! — удивились мы, и нам это что-то не понравилось. Откуда бы ему взяться, лодки у скалы не видать, а ключ от тюремной калитки висел у нас дома, в изголовье складной кровати, где лежал отец.

Мы подвели лодки ближе друг к другу и стали грести к скале. У деда была подзорная труба, он прежде был моряком и плавал капитаном на рыболовном судне, а судно потом затонуло возле Тэйских мелей. Мы посмотрели в трубу — верно, там был человек. Вон там, где на зеленом откосе есть впадина, чуть пониже часовни, он, совсем один, прыгал, приплясывал и выделывал коленца, как полоумная побирушка на свадьбе.

— Это Лис,— говорит дед и дает трубу Сэнди.

— Да, он самый,— говорит Сэнди.

— Либо кто-то обернулся Лисом,— говорит дед.

— Разница невелика,— отвечает Сэнди.— Дьявол то или оборотень, попробую-ка стрельнуть в него из ружья.— И Сэнди вытаскивает охотничье ружье, которое всегда носил при себе: он был лучшим стрелком в нашей местности.

— Постой-ка, Сэнди,— говорит дед,— надо еще раз посмотреть, а то как бы нам с тобой не нажить беду.

— Вот еще,— говорит Сэнди,— это божий суд, и бог его покарает.

— Может, и так, а может, и не так,— говорит мой дед; разумный был человек.— Только не забывай окружного прокурора, ты, кажется, с ним уже познакомился.

Дед попал не в бровь, а в глаз, и Сэнди немножко смешался.

— Ладно, Энди,— говорит он,— а что, по-твоему, делать?

— А вот что,— говорит дед.— У меня лодка побыстрее твоей, и я сейчас вернусь в Северный Бервик, а ты стой тут и не спускай глаз с Того. Если Лэпрайка нету дома, я вернусь, и мы вместе потолкуем с ним. Если же он дома, я подыму на пристани флаг, и тогда можешь пальнуть в То из ружья.

Вот так они и уговорились, а я, постреленок, поскорее перелез в лодку Сэнди: мне думалось, что отсюда-

то я увижу самое любопытное. Дед дал Сэнди серебряный шестипенсовик, чтобы зарядить ружье вместе со свинцовой дробью: против оборотней это самое верное средство. Потом одна лодка пошла в Северный Бервик, другая осталась на месте, и с нее мы следили за чудищем на зеленом откосе.

Все время, пока мы там стояли, оно скакало, металось, подпрыгивало и кружилось, как юла, порой еще и визжало. Мне случалось видеть, как девушки, словно одержимые, отплясывают всю зимнюю ночь напролет и не могут угомониться, даже когда наступает зимний день. Но тогда кругом полно народу, и девушек подзадоривают молодые парни, а это чудище было одно-одинешенько. Там, возле очага, пиликает смычком скрипач, а тут оно плясало безо всякой музыки, разве что под крики бакланов. Там девушки были молодые, кровь у них играла в каждой жилке, а тут плясал большой, жирный и бледный увалень уже, как говорится, на склоне лет. Вы как хотите, а я скажу, что думаю. Это чудище скакало от радости, может, то была и сатанинская радость, но все равно радость. Я часто думаю, зачем же колдуны и колдуньи продают дьяволу самое дорогое, что у них есть,— свои души, ежели все они либо сморщенные, оборванные старушонки, либо немощные, дряхлые старики? А потом я вспоминаю, как Лис Лэпрайк один-одинехонек плясал немало часов кряду оттого, что темная радость била в его сердце ключом. Спору нет, всем им гореть в адском огне, да зато здесь, прости меня господи, они порой бывают счастливее всех на свете.

Но вот мы наконец увидели, что над пристанью на шесте развернулся флаг. Сэнди только того и ждал. Он вскинул ружье, осторожно прицелился и спустил курок.

Бухнул выстрел, и со скалы донесся жалобный вопль. А мы терли себе глаза и смотрели друг на друга, думая, уж не рехнулись ли мы. Потому что, как только мы услышали выстрел и вопль, чудище точно сквозь землю провалилось. И солнце светило по-прежнему, и ветер дул так же, а на том месте, где секунду назад прыгало и приплясывало чудище, было пусто.

Всю дорогу домой я ревел и дрожал от страха. Взрослым было не намного лучше: в лодке Сэнди все примолкли и только поминали господа бога, а когда мы

подошли к пристани, там на скалах было черным-черно, столько собралось народу, и все ждали нас. Оказывается, Лэпрайка нашли опять в беспамятстве с челноком в руке и с блаженной улыбкой. Какого-то мальчишку послали поднять флаг, остальные столпились в доме ткача. Само собой, никому это не было приятно, но некоторые остались по долгу милосердия, молились про себя — вслух-то молиться никто не смел — и смотрели на страшилище, державшее в руке челнок. Вдруг Лис с ужасным воплем вскочил на ноги и весь в крови замертво рухнул на станок.

Мертвеца осмотрели, и оказалось, что дробь от колдуна отскакивала, как от буйвола, еле нашли одну дробинку, но дедов серебряный шестипенсовик попал в самое сердце.

Едва только Энди кончил, как произошел глупейший случай, не оставшийся, впрочем, без последствий. Нийл, как я уже говорил, сам любил рассказывать страшные истории. Мне потом доводилось слышать, что он знал все легенды горной Шотландии и потому был о себе самого высокого мнения; такого же мнения были о нем и другие. Сейчас, слушая Энди, он вспомнил, что эта история ему знакома.

— Моя знала этот рассказ раньше,— заявил он.— Это было с Уистином Мором Макджилли Фодригом и Гэвером Воуром.

— Вот враки! — возмутился Энди.— Это было с моим отцом, да покоится он с миром, и Лисом Лэпрайком. Что ты врешь, бесстыжие твои глаза! Держи-ка лучше язык за своими горскими клыками!

Нетрудно убедиться, и исторические примеры это подтверждают, что джентльмены низинной Шотландии отлично ладят с горцами, но что касается простого люда, то приятельство с горцами для них попросту немыслимо. Все это время я чувствовал, что Энди вот-вот рассорится с тремя Макгрегорами, и сейчас, очевидно, ссора была неминуема.

— Вы не смеет так говорить с шентльменами,— сказал Нийл.

— С шентльменами! — вскричал Энди.— Какие вы там шентльмены, вы просто горские скоты! Посмотрели бы на себя со стороны, живо бы с вас спесь соскочила!

Нийл выкрикнул по-гэльски какое-то ругательство, и в его руке блеснул нож.

Раздумывать было некогда; я схватил горца за ногу, повалил на землю и прижал его руку с ножом, не успев толком понять, что я делаю. Товарищи бросились ему на помощь. Мы с Энди были безоружны, вдвоем против трех Грегоров. Казалось, спасения уже нет, как вдруг Нийл закричал по-гэльски, приказывая остальным не трогать нас, и с самым униженным видом выразил полную готовность подчиниться мне и даже отдал нож, который я, заставив Нийла повторить обещание, вернул ему на другое утро.

Я отчетливо понял, что, во-первых, я не должен чересчур полагаться на Энди, который, смертельно побледнев, прижимался к стенке, пока не кончилась эта стычка, а во-вторых, что я имею силу над горцами, которым, должно быть, строго-настрого приказали заботиться о моей безопасности. Но если я убедился, что Энди не хватало мужества, зато я мог рассчитывать на его признательность. Он не докучал мне изъявлениями благодарности, но стал обращаться со мной и, очевидно, думать обо мне совсем иначе; а так как с этих пор он стал сильно побаиваться наших сожителей, то мы постоянно бывали вместе.

ГЛАВА XVI

ПРОПАВШИЙ СВИДЕТЕЛЬ

Семнадцатого сентября, в день условленной встречи со стряпчим Стюартом, я взбунтовался против своей судьбы. Меня мучили и угнетали мысли о том, что он ждет меня в «Королевском гербе», и о том, что он обо мне подумает и что скажет, когда мы встретимся. Ему трудно будет поверить правде, этого я не мог не признать, но какая жестокая несправедливость — в его глазах я окажусь трусом и лжецом, в то время как я никогда не упускал случая сделать все, что только мог придумать. Я повторял про себя эти слова, находя в них горькую отраду, и проверял ими все мои прошлые поступки. Мне казалось, что в отношении Джемса Стюарта я вел себя, как брат; за все прошлое я был вправе гордиться собою, теперь оставалось подумать

о настоящем. Я не мог переплыть море и не мог полететь по воздуху, но у меня был Энди. Я оказал ему услугу, и он ко мне очень расположен — вот рычаг, который надобно использовать! Я должен еще раз поговорить с Энди, хотя бы только для очистки совести.

День подходил к концу; море было спокойно, на Бассе царила полная тишина и слышался только негромкий плеск и бульканье воды среди камней. Четверо моих сотоварищей разбрелись кто куда; трое Макгрегоров поднялись выше на скалу, а Энди со своей Библией примостился на солнце среди развалин; я застал его крепко спящим и, едва он открыл глаза, принялся горячо убеждать его, приводя множество доводов.

— Если б я знал, что вам от этого будет лучше, Шос! — сказал он, глядя на меня поверх очков.

— Ведь я смогу спасти человека,— настаивал я,— и сдержать свое слово. Что же может быть для меня лучше этого? Разве вы не помните, что сказано в Священном писании, Энди? А ведь Библия лежит у вас на коленях! Там сказано: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»

— Да,— сказал он,— для вас-то, конечно, так лучше. А для меня? Я тоже должен держаться своего слова. А вы чего от меня требуете? Чтобы я продал его за сребреники.

— Энди! Разве я произнес слово «серебро»? — воскликнул я.

— Ну, не в словах суть,— ответил он,— все и так понятно. Дело вот как обстоит: ежели я услужу вам, как вы того хотите, значит, я потеряю свой кусок хлеба. Понятно, вы должны будете возместить мой заработок и даже из благородства чуток добавите. А это что, разве не подкуп? И кабы я еще знал, что я получу ваши деньги! Так нет, сколько я могу судить, и это еще неизвестно; и если вас повесят, что со мной-то будет? Нет, это никак невозможно. Ступайте-ка вы отсюда, голубчик вы мой, и дайте Энди дочитать главу.

Помнится, в глубине души я был очень благодарен ему за отказ; через минуту я ощутил почти благодарное чувство к Престонгрэнджу за то, что он избавил меня, пусть даже насильственно и незаконно, от всех окружавших меня опасностей, соблазнов и затруднений.

Но чувство это было слишком мелким и трусливым, поэтому оно быстро исчезло, и мысли о Джемсе завладели мною безраздельно. Двадцать первое сентября — день, на который был назначен суд,— я провел в таком отчаянии, какое, пожалуй, испытал только еще на островке Иррейд. Большую часть дня я пролежал на травянистом склоне, находясь в каком-то полузабытьи; я лежал неподвижно, а в голове моей бушевали мучительные мысли. Иногда я все же засыпал, но и во сне меня преследовал зал суда в Инверэри и узник, бросающий взгляды во все стороны в поисках пропавшего свидетеля, и я вздрагивал и просыпался все с тем же мрачным унынием в душе и ломотой во всем теле. Кажется, Энди часто поглядывал на меня, но я не обращал на него внимания. Вот уж поистине горек был мой хлеб и дни мои были тягостны.

На следующий день, в пятницу двадцать второго сентября, рано утром пришла лодка с провизией, и Энди сунул мне в руку пакет. Он был без адреса, но запечатан государственной печатью. В нем лежали две записки: «Мистер Бэлфур теперь сам убедился, что вмешиваться уже слишком поздно. За его поведением будут наблюдать, и его благоразумие будет вознаграждено». Так гласила первая записка, которая, очевидно, была старательно написана левой рукой. Разумеется, в этих словах не было ничего такого, что могло бы бросить тень на того, кто их писал, даже если бы он был обнаружен; печать, внушительно заменявшая подпись, была поставлена на отдельном, совершенно чистом листке; мне оставалось лишь признать, что покамест мои противники знают, что делают, и как можно спокойнее отнестись к угрозе, просвечивающей сквозь обещание награды.

Вторая записка удивила меня куда больше. «Мистеру Дэвиту Бэлфуру сообчаем, что о нем бешпокоица друг, у которого серые глаза» — так было написано женской рукой, и меня так поразило, что эта записка попала ко мне в такую минуту, да еще с государственной печатью, что я просто остолбенел. Передо мной засияли серые глаза Катрионы. Сердце мое радостно вздрогнуло при мысли, что этот друг — она. Но кто же написал записку и вложил ее в послание Престонгрэнджа? И, что самое непостижимое, почему кто-то счел нужным послать мне это приятное, но совершенно бес-

полезное сообщение на скалу Басс? Единственный человек, которого я мог заподозрить, была мисс Грант. Я вспомнил, что три сестры неизменно восхищались глазами Катрионы и по цвету глаз даже дали ей прозвище; а сама мисс Грант, обращаясь ко мне, по-деревенски коверкала слова, очевидно, в насмешку над моей неотесанностью. И, кроме того, она жила в том же доме, откуда была послана первая записка. Оставалось найти объяснение еще одной странности: как мог Престонгрэндж посвятить ее в столь секретное дело и почему позволил приложить это легкомысленное послание к его собственному? Но и тут передо мной забрезжила догадка. Во-первых, недаром эта юная леди умела нагонять робость; быть может, она властвовала над папенькой больше, чем я думал. А во-вторых, не следует забывать о постоянной тактике прокурора: он старался быть ласковым, несмотря ни на что, и даже в раздражении не снимал маски дружеского участия. Вероятно, он понимает, как я разъярен своим пленением. Быть может, послав эту шутливую, дружескую записку, он рассчитывал смягчить мой гнев?

Честно говоря, так и случилось. У меня возникло теплое чувство к этой красивой мисс Грант, которая снизошла до заботы о моих делах. Намек на Катриону сам по себе настроил меня на более мирные и более трусливые мысли. Если Генеральному прокурору известно о ней и о нашем знакомстве .. если я сумею угодить ему тем «благоразумием», о котором говорилось в письме, то к чему это может привести? «В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть» — сказано в Писании. Ну что же, стало быть, птицы умнее людей! А я, полагая, что разгадал тактику прокурора, все же попал в его сети.

Я был взволнован, сердце мое колотилось, глаза Катрионы сияли передо мной, как звезды, но тут мои размышления перебил Энди.

— Приятные новости, как я погляжу,— сказал он.

Я увидел, что он с любопытством смотрит мне в лицо; тотчас же мне, точно видение, представился Джемс Стюарт, судебный зал в Инверэри, и мысли мои сразу повернулись, точно дверь на петлях. Судебные заседания, подумал я, иногда затягиваются дольше назначенного срока. Если даже я появлюсь в Инверэри слишком поздно, все равно своими попытками я смогу поддержать Джемса, а свое доброе имя и тем более. В одно мгновение, почти не задумываясь, я сообразил, как мне действовать.

— Энди,— сказал я,— значит, вы отпустите меня завтра?

Он ответил, что ничего не изменилось.

— А был ли указан час? — спросил я.

Он сказал, что меня велено отпустить в два часа дня.

— А где? — не отставал я.

— Что где?

— Где вы меня должны высадить?

Он признался, что об этом ничего не было сказано.

— Что ж, отлично,— сказал я,— тогда я сам выберу место. Ветер с востока, а мне нужно на запад; задержите лодку, я ее нанимаю. Сегодня весь день будем плыть вверх по Форту, а завтра в два часа дня вы меня высадите на западе, там, куда мы успеем добраться.

— Сумасшедшая голова! — воскликнул он.— Вы все-таки хотите попасть в Инверэри!

— Совершенно верно, Энди,— подтвердил я.

— Вас не переупрямишь! — сказал Энди.— По правде говоря, мне вчера вас даже жалко стало,— прибавил он.— Только, знаете, я до вчерашнего дня не очень понимал, чего вы на самом-то деле хотите.

Нужно было поскорее подлить масла в огонь.

— Скажу вам по секрету, Энди,— начал я.— В том, что я задумал, есть еще одно преимущество. Мы оставим горцев на скале, а завтра их заберет лодка из Каслтона. Этот Нийл косо на вас поглядывает; кто знает, может, как только я уеду, он опять возьмется за нож: эти оборванцы очень злопамятны. А если вас станут допрашивать, у вас есть оправдание. Наша жизнь была в опасности, а вы за меня отвечаете, вот и решили увезти меня от этих дикарей и продержать остальное время в лодке. И знаете что, Энди? — добавил я, улыбаясь.— По-моему, вы очень мудро решили.

— Сказать по правде, Нийла я не больно-то жалую,— сказал Энди,— да и он меня, видно, тоже; с ним опасно связываться. Том Энстер справится с этими скотами куда лучше. Лодочник Энстер был родом из Файфа, где говорят по-гэльски. Да, да,—продолжал

Энди.— Том с ними лучше управится. И ежели пораскинуть умом, так нас вряд ли кто хватится. Скала, да будь я неладен, они и думать забыли про эту скалу. А вы, Шос, бываете смекалистым, когда захотите. Про то, что вы меня спасли, я уж и не говорю,— уже серьезнее добавил он и в знак согласия протянул мне руку.

Без лишних слов мы поспешно сели в лодку, отчалили от берега и подняли парус. Макгрегоры хлопотали у очага, готовя завтрак,— стряпней всегда занимались они, но один из них зачем-то вышел на зубчатую стену, и мы едва успели отойти от скалы на сотню с лишним футов, как наше бегство было обнаружено; все трое, как муравьи у разоренного муравейника, забегали, засуетились у развалин и причала, стали звать нас и требовать, чтобы мы вернулись. Мы еще находились в защищенном от ветра месте и в тени от Басса, огромным пятном лежавшей на воде, но вскоре вышли на солнце, и в ту же минуту ветер надул наш парус, лодка накренилась по самый планшир, и сразу же нас отнесло так далеко, что мы уже не слышали их криков. Каких страхов они натерпелись на этой скале, оставшись без покровительства цивилизованного человека и без защиты Библии — трудно себе представить; они даже не могли утешиться выпивкой, ибо хотя мы сбежали тайком и второпях, Энди все же ухитрился прихватить коньяк с собой.

Первой нашей заботой было высадить лодочника Энстера в бухточке возле Глейнтейтских скал, чтобы наших островитян сняли со скалы на другой же день. Оттуда мы направились вверх по Форту. Разыгравшийся было ветер стал быстро спадать, но не стихал совсем. Весь день мы плыли под парусом, хотя большей частью не слишком быстро, и только с наступлением темноты добрались до Куинсферри. Чтобы Энди не нарушал своих обязательств (если они еще существовали), я не должен был выходить из лодки, но не видел ничего дурного в том, чтобы сообщаться с берегом письменно. На листке Престонгрэнджа с государственной печатью, которая, должно быть, немало удивила моего адресата, я при свете фонаря нацарапал несколько необходимых слов, и Энди доставил записку Ранкилеру. Через час Энди вернулся с полным кошельком денег и заверением, что завтра в два часа дня в Клэкманон-

Пуле меня будет ждать наготове добрый конь. Затем мы бросили с лодки камень на веревке, служивший якорем, и, накрывшись парусом, улеглись спать.

Назавтра мы прибыли в Пул задолго до двух, и мне ничего не оставалось делать, как сидеть и ждать. Я не так уж рвался выполнять задуманное мною дело. Я был бы рад отказаться от него, если бы подвернулся благовидный предлог, но предлога не находилось, и я волновался не меньше, чем если бы спешил навстречу какому-нибудь долгожданному удовольствию. Вскоре после часа на берегу показалась лошадь, и когда я увидел, как человек в ожидании, пока пристанет лодка, проваживает ее взад и вперед, мое нетерпение усилилось еще больше. Энди с большой точностью соблюдал срок моего освобождения, как бы желая доказать, что он верен своему слову, но не более того, и не желает задерживаться сверх положенного времени; поэтому не прошло и пятидесяти секунд после двух, как я уже сидел в седле и сломя голову скакал к Стирлингу. Через час с небольшим я миновал этот городок и помчался по берегу Алан-Уотер, где вдруг поднялась буря. Ливень слепил мне глаза, ветер едва не выбивал из седла, и наступившая ночная темнота застигла меня врасплох где-то в диких местах восточнее Бэлкиддера; я не знал, в каком направлении ехать дальше, а между тем лошадь подо мной начинала выбиваться из сил.

Подгоняемый нетерпением, я, не желая терять времени и связываться с проводником, до сих пор следовал, насколько это возможно для всадника, по пути, пройденному с Аланом. Я сделал это умышленно, хоть и понимал, как это рискованно, что и не замедлила доказать мне буря.

В последний раз я видел знакомые мне места где-то возле Уом Вара, должно быть, часов в шесть вечера. Я и до сих пор считаю великой удачей, что к одиннадцати мне наконец удалось достичь своей цели — дома Дункана Ду. Где я проплутал эти несколько часов — о том, быть может, могла бы сказать только лошадь. Помню, что два раза мы с нею падали, а один раз я вылетел из седла, и меня чуть не унесло бурным потоком. Конь и всадник вымазались в грязи по самые уши.

От Дункана я узнал о суде. Во всей этой горной местности за ним следили с благоговейным вниманием,

новости из Инверэри распространялись с быстротой, на которую способен бегущий человек; и я с радостью узнал, что в субботу вечером суд еще не закончился и все думают, что он будет продолжаться и в понедельник. Узнав это, я так заспешил, что отказался сесть за стол; Дункан вызвался быть моим проводником, и я тут же отправился в путь, взяв с собой немножко еды и жуя на ходу. Дункан захватил с собой бутылку виски и ручной фонарь, который светил нам, пока по пути встречались дома, где можно было зажечь его снова, ибо он сильно протекал и гаснул при каждом порыве ветра. Почти всю ночь мы пробирались ощупью под проливным дождем и на рассвете все еще беспомощно блуждали по горам. Вскоре мы набрели на хижину у ручья, где нам дали поесть и указали дорогу; и незадолго до конца проповеди мы подошли к дверям инверэрской церкви.

Дождь слегка обмыл меня сверху, но я был в грязи до колен; с меня струилась вода; я так обессилел, что еле передвигал ноги и походил на призрак. Разумеется, сухая одежда и постель были мне гораздо нужнее, чем все благодеяния христианства. И все же, убежденный, что самое главное для меня — поскорее показаться на людях, я открыл дверь, вошел в эту церковь вместе с перепачканным грязью Дунканом и, найдя поблизости свободное место, сел на скамью.

— В тринадцатых, братья мои, и в скобках, закон должно рассматривать как некое орудие милосердия,— вещал священник, видимо, упиваясь своими словами.

Проповедь из уважения к суду произносилась по-английски. Судей окружала вооруженная стража, в углу у дверей поблескивали алебарды, а скамьи, против обыкновения, были сплошь заполнены мантиями законников. Священник, человек, как видно, опытный, взял для проповеди тексты из Послания к римлянам; и вся эта искушенная паства — от Аргайла и милордов Элгиза и Килкеррана до алебардщиков из стражи,— сдвинув брови, слушала его с глубоким и ревностным вниманием. Наше появление заметили лишь священник да горстка людей у двери, но и те мгновенно забыли о нас; остальные же либо не слышали наших шагов, либо не обратили на них внимания, и я сидел среди друзей и врагов, не замеченный ими.

Первым, кого я разглядел, был Престонгрэндж. Он сидел, подавшись вперед, как всадник на быстром коне; он шевелил губами от удовольствия и не отрывал глаз от священника; проповедь явно пришлась ему по вкусу. Чарли Стюарт, наоборот, подремывал; лицо у него было бледное и изнуренное. Что касается Саймона Фрэзера, то он выделялся из этой сосредоточенно внемлющей толпы своим почти скандальным поведением: он рылся в карманах, закидывал ногу на ногу, откашливался, вздергивал реденькие брови, поводил глазами направо и налево, то позевывая, то усмехаясь про себя. Иногда он клал перед собою Библию, листал ее, пробегал глазами несколько строк и опять принимался листать, потом отодвигал книгу и зевал во весь рот: он точно старался стряхнуть с себя скуку.

И вдруг взгляд неугомонного Фрэзера случайно упал на меня. На секунду он остолбенел, затем вырвал из Библии половину страницы, набросал на ней карандашом несколько слов и передал ее сидящему рядом человеку, шепнув ему что-то на ухо. Записку передали Престонгрэнджу, который бросил на меня быстрый взгляд, затем она попала в руки мистера Эрскина, а от него герцогу Аргайлскому, сидевшему между двух судей; его светлость повернулся и устремил на меня надменный взгляд. Последним из тех, кому не безразлично было мое присутствие, меня увидел Чарли Стюарт; он также принялся строчить и рассылать записки, но я не мог проследить в толпе, кому они предназначались.

Однако записки привлекли к себе общее внимание; те, кто знал, чем они вызваны (либо полагал, будто ему это известно), шепотом объясняли другим, остальные шепотом осведомлялись; священник, казалось, был немало смущен неожиданным шорохом, движением и перешептыванием в церкви. Он заговорил тише, потом сбился, и голос его окончательно утратил прежнюю звучность и спокойную убедительность. Должно быть, для него до последнего дня жизни так и осталось загадкой, почему проповедь, которая на три четверти прошла так успешно, под самый конец совсем провалилась.

Я же сидел на скамье, промокший, смертельно усталый и, тревожась о том, что будет дальше, все же был в восторге от смятения, которое вызвал мой приход.

ГЛАВА XVII
ПРОШЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ

Едва священник произнес последнее слово, как Стюарт схватил меня за руку. Надо было выйти из церкви, опередив всех, и он увлекал меня за собой так решительно, что прежде чем прихожане толпой наводнили улицу, мы уже очутились в каком-то доме.

— Ну как, поспел я вовремя? — спросил я.

— И да и нет,— ответил он.— Дело закончено. Присяжные уже удалились, они соблаговолят оповестить нас о своем решении только завтра утром, но я мог бы предсказать, что они решат, за три дня до этой комедии. Все было ясно с самого начала. И подсудимый это понимал. «Делайте что хотите,— пробормотал он позавчера едва слышно.— Моя судьба ясна мне из того, что герцог Аргайлский только что сказал мистеру Макинтошу». Ведь это стыд и срам!

Великий Аргайл пред ними предстал,
Громы и молнии он метал,

и сам судебный пристав воскликнул: «Круахан!» Но теперь, когда вы вернулись, я не склонен отчаиваться. Дуб еще победит мирт. Мы побьем Кемпбеллов в их собственных владениях. Слава богу, что я дожил до этого дня!

Суетясь от волнения, он вывернул на пол содержимое своего чемодана, чтобы я мог переодеться, и, стараясь мне помочь, лишь путался под ногами. Он не только не сказал ни слова о том, что предстоит сделать и как именно я должен действовать, но, как видно, даже не думал об этом. «Мы побьем Кемпбеллов в их собственных владениях» — это одно занимало его. И я поневоле понял, что хотя суд мог показаться серьезным и нелицеприятным, по существу, это была лишь стычка между дикими кланами, одержимыми кровной враждой. И мой друг стряпчий, подумалось мне, такой же дикарь, как все остальные. Тот, кто видел его среди законников в присутствии окружного судьи или на поле для гольфа, где он так ловко бил по мячу, не поверил бы своим ушам, услыхав сейчас яростные речи этого неистового приверженца своего клана!

Защита Джемса Стюарта состояла из четырех человек — шерифы Браун из Колстоуна и Миллер, мистер Роберт Макинтош и мистер Стюарт-младший из Стюарт-Холла. Стряпчий пригласил их отобедать у него после проповеди и теперь любезно предложил мне присоединиться к ним. Едва скатерть была убрана и шериф Миллер весьма искусно смешал первую чашу пунша, разговор коснулся интересовавшего нас предмета. Я вкратце рассказал о том, как меня схватили и держали в плену, а потом меня еще и еще раз, до мельчайших подробностей, расспрашивали обо всех обстоятельствах убийства. Не следует забывать, что я первый раз получил возможность высказаться перед законниками и поговорить с ними об этом деле; и в конечном счете они пришли к самым безнадежным выводам, а сам я, должен признаться, был сильно разочарован.

— Короче говоря,— сказал Колстоун,— вы подтверждаете, что Алан был на месте убийства. Вы слышали, как он грозил Гленуру. И хотя вы уверяете, что стрелял не он, из ваших слов создается полное впечатление, что он был в сговоре с убийцей, который действовал с его согласия, а может быть, и при его непосредственной помощи. Далее из ваших слов явствует, что он, рискуя собственной свободой, сделал все, чтобы помочь преступнику бежать. Остальные же ваши свидетельства, имеющие хоть сколько-нибудь веса, основаны лишь на словах Алана или Джемса, а оба они обвиняемые. Одним словом, вы вовсе не разорвали цепь, которая связывает нашего подзащитного с убийцей, а лишь добавили к ней лишнее звено. И мне едва ли нужно говорить, что третий пособник только подкрепляет версию о заговоре, которая с самого начала была для нас камнем преткновения.

— Согласен,— сказал шериф Миллер.— Мне кажется, все мы только обязаны Престонгрэнджу за то, что он устранил самого нежелательного свидетеля. И я полагаю, более всех ему обязан мистер Бэлфур. Вы вот говорите о третьем пособнике, а, на мой взгляд, мистер Бэлфур очень похож на четвертого.

— Позвольте мне сказать, джентльмены! — вмешался стряпчий Стюарт.— Взглянем на дело с другой стороны. Перед нами свидетель по этому делу,— независимо от того, каков вес его показаний,— похищенный

грязной и мерзкой шайкой гленгайлских Макгрегоров, заключенный почти на целый месяц в хижине среди пустынных развалин Басса. Предайте это гласности, и вы увидите, как будет опорочен суд! Джентльмены, да ведь это же скандал на весь мир! Было бы просто странно, если бы, имея такой козырь, мы не вынудили их помиловать моего клиента.

— Ну, допустим, завтра мы дадим ход делу мистера Бэлфура,— сказал Стюарт-Холл.— Смею вас заверить, на нашем пути окажется столько препятствий, что Джемса повесят прежде, чем суд согласится нас выслушать. Шуму, конечно, будет много, но, надеюсь, все помнят еще более громкую историю: я имею в виду дело леди Грэндж. Она была тогда в заточении, и мой друг мистер Хоуп из Ранкилера сделал все, что было в человеческих силах. И чего же он достиг? Он не добился даже разрешения действовать от ее лица. То же самое будет и сейчас, они прибегнут к прежнему оружию. Джентльмены, перед нами битва между кланами. Ненависть к той фамилии, которую я имею честь носить, поднялась высоко. Это не что иное, как неприкрытая злоба Кемпбеллов и грязная интрига тех же Кемпбеллов.

Будьте уверены, после этого у всех развязались языки, и довольно долго я сидел, оглушенный речами ученых законников, хотя извлек из них крайне мало пользы. В конце концов стряпчий начал горячиться; Колстоуну пришлось одернуть его и поставить на место; одни приняли сторону стряпчего, другие — Колстоуна, причем все очень шумели; на герцога Аргайлского посыпались удары, как на одеяло, из которого выколачивают пыль; между прочим, досталось и королю Георгу, хотя кое-кто и защищал его в самых изысканных выражениях; забыли, казалось, только одного человека, а именно Джемса Глена.

Шериф Миллер все это время сидел молча. У этого худощавого немолодого человека было румяное лицо, блестящие глаза и ровный, низкий голос, каждое слово он произносил не без задней мысли, точно актер, стремящийся произвести впечатление на публику, и даже теперь, когда он сидел молча, сняв с головы парик и отложив его в сторону, и держал бокал обеими руками, забавно сморщив губы и выставив вперед подбородок, он являл собой воплощение насмешливого лукавства.

Было ясно: ему есть что сказать и он ждет только подходящего случая.

Случай не замедлил представиться. Шериф Колстоун заключил одну из своих тирад упоминанием о долге перед подзащитным. Его собрат, как мне показалось, обрадовался такому обороту разговора. Он движением руки и взглядом привлек общее внимание.

— Мне кажется, мы упустили из виду одно важное соображение,— сказал он.— Разумеется, интересы нашего клиента прежде всего, но ведь свет не клином сошелся на Джемсе Стюарте.— Тут он многозначительно покосился на нас.— Я склонен подумать, *exempli gratia* [1], также об интересах некоего мистера Джорджа Брауна, мистера Томаса Миллера и мистера Дэвида Бэлфура. Мистер Дэвид Бэлфур имеет все основания жаловаться, и, думается мне, джентльмены, если только преподнести его историю должным образом, многим вигам не поздоровится.

Все сидевшие за столом, как по команде, повернулись к нему.

— Если эту историю как следует обстряпать и подать, она наверняка не останется без последствий,— продолжал он.— Все судебные власти, сверху донизу, будут совершенно опорочены, и, думается мне, многих ждет отставка.— Говоря это, он буквально источал коварство.— И мне незачем вам объяснять, что выступить в деле мистера Бэлфура будет необычайно выгодно,— добавил он.

И тут все они жадно накинулись на новый предмет: как повести дело мистера Бэлфура, какие речи предстоит произнести, каких чиновников сместят и кто будет назначен на их место. Приведу только два примера. Было предложено начать переговоры с Саймоном Фрэзером, чьи показания, если только он согласится их дать, несомненно, окажутся роковыми для Аргайла и Престонгрэнджа. Миллер отнесся к такой попытке с необычайным одобрением.

— Перед нами жирный кусок,— сказал он.— Хватит на всех, надо только не зевать.

И, кажется, все облизнулись. А подзащитного предоставили его судьбе. Стряпчий Стюарт, вне себя от

[1] Например (*лат.*).

восторга, предвкушал, как он отомстит своему главному врагу, герцогу.

— Джентльмены! — вскричал он, наполняя свой бокал.— Выпьем за шерифа Миллера. Все мы знаем, какой он талантливый слуга закона. Что же до приготовления напитков, вот чаша, которая сама говорит за себя. Ну, а когда доходит до политики...— С этими словами он осушил стакан.

— Да, но это политика не совсем в том смысле, в каком вы ее понимаете, друг мой,— отозвался польщенный Миллер.— Это, если угодно, настоящая революция, и смею вас заверить — историки будут считать первой ее вехой дело мистера Бэлфура. Но если действовать должным образом, мистер Стюарт, действовать с осторожностью, это будет мирная революция.

— Ничего не имею против, лишь бы только проклятым Кемпбеллам не поздоровилось! — воскликнул Стюарт и хватил кулаком по столу.

Можете себе представить, что мне все это не очень понравилось, хотя я прятал улыбку, видя странную наивность этих старых каверзников. Но ведь я подвергся стольким мытарствам вовсе не ради преуспевания шерифа Миллера и не ради революции в парламенте; поэтому я вмешался в разговор, стараясь держаться непринужденно.

— Премного благодарен вам, джентльмены, за ваши советы,— сказал я.— А теперь, с вашего позволения, я осмелюсь предложить вам несколько вопросов. Есть одно обстоятельство, которое мы почему-то упускаем из виду: я хотел бы знать, принесет ли это дело какую-нибудь пользу нашему другу Джемсу из клана Гленов?

Все они несколько смутились и отвечали по-разному, но, по сути, сошлись на том, что Джемсу не на что надеяться, кроме королевского помилования.

— Далее,— сказал я,— принесет ли это пользу Шотландии? Есть пословица: плоха та птица, которая гадит в своем гнезде. Помнится, я слышал еще ребенком, что в Эдинбурге был мятеж, который дал повод покойной королеве назвать нашу страну дикой, и я давно понял, что этим мы ничего не достигли, а только потеряли. А потом наступил сорок пятый год, и все заговорили о Шотландии, но я ни от кого не слышал мнения, что в сорок пятом году мы что-нибудь выиграли. И теперь вот мы затеваем дело мистера Бэлфура, как вы это

называете. Шериф Миллер сказал, что историки будут считать его первой вехой,— в этом я не сомневаюсь. Боюсь только, как бы они не сочли его первой вехой на пути к бедствиям и всеобщему позору.

Миллер, отличавшийся сообразительностью, уже почуял, к чему я клоню, и поспешил меня поддержать.

— Сильно сказано, мистер Бэлфур,— заметил он.— Поразительно глубокая мысль.

— Кроме того, следует подумать, принесет ли это пользу королю Георгу,— продолжал я.— Шериф Миллер, видимо, не придает этому большого значения. Но я сомневаюсь, чтобы можно было нанести ущерб его величеству и не навлечь на себя удара, который может оказаться роковым.

Я выждал, не возразит ли мне кто-нибудь, но все промолчали.

— Шериф Миллер назвал имена тех, кому это дело сулит выгоду,— продолжал я,— и среди прочих любезно упомянул меня. Прошу у него прощения, но я не могу с этим согласиться. Смею вас заверить, я не отступал в этом деле ни на шаг, пока речь шла о спасении человеческой жизни, но не скрою, я понимал, что подвергаюсь смертельному риску, как не скрою и того, что, по моему мнению, молодому человеку, которому нет еще и двадцати и который мечтает стать слугой закона, едва ли пойдет на пользу слава мятежника и отщепенца. Что же касается Джемса, то теперь, когда приговор, можно сказать, уже вынесен, у него остается одна надежда — на помилование. Нельзя ли в таком случае обратиться прямо к его величеству, не предавая огласке неблаговидные поступки высокопоставленных людей и не толкая меня на путь, который, по сути, ведет к гибели?

Все сидели молча, уставясь на свои бокалы, и я понимал, что мое предложение им не по душе. Но Миллер, как всегда, не растерялся.

— Да будет мне позволено выразить точку зрения нашего юного друга на деловом языке,— сказал он.— Насколько я понимаю, он предлагает изложить обстоятельства его похищения, а равно и некоторые его свидетельства в прошении на имя короля. У этого плана есть надежда на успех. Он не хуже, а, пожалуй, лучше всякого другого может помочь нашему подзащитному. Как знать, возможно, его величество милостиво отнесется

ко всем, кого касается прошение, которое необходимо составить искусно, в верноподданническом духе. Я полагаю, что, составляя упомянутую бумагу, это следует учесть.

Все кивнули и переглянулись со вздохом, потому что первый путь явно устраивал их куда более.

— В таком случае, мистер Стюарт, прошу вас, дайте нам бумаги, и надеюсь, все пятеро, здесь присутствующие, готовы подписать прошение в качестве поверенных осужденного.

— По крайней мере повредить это никому из нас не может,— сказал Колстоун и снова вздохнул, потому что десять минут назад уже видел себя в кресле Генерального прокурора.

И они принялись составлять бумагу, сначала без особого воодушевления, но вскоре страсти разгорелись; я же сидел без дела, поглядывая на них, и только иногда отвечал на вопросы. Бумага была составлена великолепно; сначала излагались обстоятельства, касавшиеся меня: как за мою поимку была назначена награда, как я добровольно отдал себя в руки властей, как меня принуждали поступить наперекор моей совести, как меня похитили и я с запозданием появился в Инверэри; далее говорилось, что в интересах короны и общества решено отказаться от всяких действий, на которые есть законное право, после чего следовала убедительная просьба к королю помиловать Джемса.

Мне показалось, что меня принесли в жертву, выставив в самом невыгодном свете, как смутьяна, которого этой плеяде служителей закона не без труда удалось удержать от крайностей. Но я махнул на это рукой и предложил только добавить, что я готов сам дать показания и привести свидетельства других перед любой следственной комиссией, а также потребовал, чтобы мне тотчас дали копию прошения.

Колстоун замялся и что-то пробормотал.

— Эта бумага не подлежит огласке,— сказал он.

— Но я в особом положении перед Престонгрэнджем,— возразил я.— Спору нет, при первой нашей встрече он отнесся ко мне доброжелательно и с тех пор неизменно был мне другом. Если бы не он, джентльмены, я был бы уже мертв либо дожидался бы сейчас приговора вместе с беднягой Джемсом. Поэтому я намерен вручить ему копию прошения, как только оно будет переписано. Кроме того, не забудьте, что это нужно и для моей безопасности. У меня тут есть враги, которые умеют расправляться со своими жертвами: герцог Аргайлский здесь в своих собственных владениях и весь Ловэт за него; так что если в наших действиях будет допущен какой-либо промах, боюсь, как бы завтра утром мне не проснуться в тюрьме.

Не найдя возражений на эти доводы, мои советчики наконец должны были согласиться, но с тем лишь условием, что я, передавая бумагу Престонгрэнджу, отзовусь наилучшим образом обо всех присутствующих.

Генеральный прокурор обедал в замке у герцога. Я послал ему через одного из слуг Колстоуна записку с просьбой принять меня, и он назначил мне немедленно явиться к нему в чей-то частный дом. Он был один; лицо его хранило непроницаемое выражение; однако я сразу заметил в прихожей несколько алебард, и у меня хватило ума понять, что он готов арестовать меня на месте, если сочтет нужным.

— Так это вы, мистер Дэвид? — сказал он.

— Боюсь, что я для вас не слишком желанный гость, милорд,— сказал я.— И прежде всего я хочу выразить вашей светлости свою благодарность за милостивое ко мне отношение, даже если впредь оно переменится.

— Я уже слышал о вашей благодарности,— сухо отвечал он,— и думаю, вы вряд ли оторвали меня от бокала с вином только для того, чтобы сказать о ней. Кроме того, на вашем месте я не стал бы забывать, что почва у вас под ногами все еще весьма зыбкая.

— Мне кажется, милорд, это уже позади,— сказал я.— И, быть может, вашей светлости достаточно будет лишь взглянуть вот на эту бумагу, чтобы со мной согласиться.

Он внимательно прочитал бумагу, хмуря брови; потом снова перечитал некоторые места, как бы взвешивая и сравнивая их между собой. Лицо его несколько просветлело.

— Это не так уж плохо, могло быть и хуже,— сказал он.— И все же, кажется, мне еще дорого придется заплатить за знакомство с Дэвидом Бэлфуром.

— Вернее, за вашу снисходительность к этому несчастному молодому человеку, милорд,— заметил я.

Глаза его все еще бегали по бумаге, а настроение, как видно, улучшалось с каждой минутой.

— Кому же я этим обязан? — спросил он первым делом.— Ведь, по всей вероятности, обсуждались и другие пути? Кто же предложил именно этот? Наверное, Миллер?

— Милорд, его предложил я. Эти джентльмены не были ко мне настолько внимательны, чтобы ради них я отказался от той чести, на которую вправе притязать, и избавил их от ответственности. Уверяю вас, все они жаждали начать судебный процесс, который вызвал бы серьезные последствия в парламенте и был бы для них (как выразился один из их числа) жирным куском. Перед моим вмешательством они, думается мне, собирались приступить к распределению злачных мест в правосудии. Предполагалось заключить некое соглашение с нашим другом мистером Саймоном.

Престонгрэндж улыбнулся.

— Вот они, друзья! — сказал он.— Но что же заставило вас так решительно порвать с ними, мистер Дэвид?

Я рассказал все без утайки, однако особенно подробно изложил причины, которые касались самого Престонгрэнджа.

— Что ж, по отношению ко мне это только справедливо,— сказал он.— Ведь я действовал в ваших интересах столько же, сколько вы против моих. Но как вы попали сюда сегодня? — спросил он.— Когда суд затянулся, я начал беспокоиться, что назначил такой короткий срок, и даже ожидал вас завтра. Но сегодня... это мне и в голову прийти не могло.

Я, разумеется, не выдал Энди.

— Боюсь, что я загнал по дороге не одну лошадь.

— Если б я знал, что вы такой отчаянный, вам пришлось бы подольше побыть на Бассе,— сказал он.

— Раз уж об этом зашла речь, милорд, возвращаю вам ваше письмо.— И я отдал ему записку, написанную поддельным почерком.

— Но ведь был еще лист с печатью,— заметил он.

— Его у меня нет,— сказал я.— Но на листе стоял только адрес, а это не могло бы бросить тень и на кошку. Вторая записка при мне, и, с вашего разрешения, я оставлю ее у себя.

Он, как мне показалось, слегка поморщился, но промолчал.

— Завтра,— продолжал он,— все наши дела здесь будут закончены, и я отправлюсь в Глазго. Я буду очень рад, если вы составите мне компанию, мистер Дэвид.

— Милорд...— начал было я.

— Не скрою, этим вы окажете мне услугу,— перебил он меня.— Я даже хочу, чтобы по прибытии в Эдинбург вы жили в моем доме. У вас там есть добрые друзья в лице трех мисс Грант, которые будут счастливы принять вас. Если вы считаете, что я был вам полезен, то таким образом легко мне отплатите и, ничего не потеряв, можете, между прочим, кое-что выиграть. Королевский прокурор далеко не всегда допускает в свое общество безвестных молодых людей.

За короткое время нашего знакомства этот человек уже не впервые приводил меня в замешательство; так было и на этот раз. Мог ли я поверить, будто пользуюсь особым расположением его дочерей, из которых одна соблаговолила надо мной посмеяться, а две другие вообще едва соизволили меня заметить. И теперь я должен был сопровождать милорда в Глазго, жить в его доме в Эдинбурге, появиться в обществе под его покровительством! Удивительно было уже то, что у него хватило доброты простить меня, но его желание взять меня под свою опеку и оказать мне содействие было уму непостижимо, и я начал искать во всем этом скрытый смысл. Одно было ясно. Если я стану его гостем, путь назад отрезан; я уже не смогу переменить теперешний свой план и предпринять какие бы то ни было действия. И, кроме того, не лишится ли прошение о помиловании всякой силы из-за моего присутствия в его доме? Нельзя же рассматривать всерьез жалобу, если сам пострадавший живет в гостях у высокопоставленного лица, против которого выдвигаются наиболее серьезные обвинения. При этой мысли я не мог скрыть улыбку.

— Вы хотите ослабить действие той бумаги? — сказал я.

— Вы проницательны, мистер Дэвид,— отвечал он,— и недалеки от истины: это будет мне полезно, чтобы оправдаться. И все же, думается мне, вы недооцениваете мои дружеские чувства к вам, которые со-

вершенно искренни. Я вас уважаю, мистер Дэвид, даже несколько побаиваюсь,— сказал он с улыбкой.

— Больше всего на свете я хочу пойти навстречу вашим желаниям,— сказал я.— Я намерен служить закону, и в этом деле поддержка вашей светлости неоценима. И, кроме того, я от души благодарен вам и вашему семейству за участие и снисходительность. Но тут есть серьезное затруднение. В одном вопросе мы с вами расходимся. Вы хотите, чтобы Джемса Стюарта повесили, а я хочу его спасти. Поскольку моя поездка с вами поможет вашей светлости оправдаться, я весь в вашем распоряжении. Но, поскольку это будет способствовать казни Джемса Стюарта, я, право, не знаю, как поступить.

Кажется, он выругался про себя.

— Вы непременно должны подвизаться на поприще закона, лучшей области для применения ваших талантов не найти,— сказал он с досадой и замолчал. Потом заговорил снова: — Поверьте, речь идет не о спасении или гибели Джемса Стюарта. Его уже ничто не спасет, жизнь его отдана и взята или, если угодно, куплена и продана. Никакое прошение ему не поможет, и никакое нарушение долга дружбы со стороны верного мистера Дэвида не причинит ему вреда. Что бы ни случилось, помилования ему не будет, так и знайте! Речь теперь идет обо мне: удержусь я или паду? И не стану скрывать от вас, что некоторая опасность мне грозит. Пожелает ли мистер Дэвид Бэлфур знать, почему? Не потому, что я незаконно предал Джемса суду. К этому, я уверен, отнесутся снисходительно. И не потому, что я силой держал мистера Дэвида на скале Басс, хотя предлог будет именно таков, а потому, что не избрал легкий и простой путь, на который меня не раз толкали, и не отправил мистера Дэвида в могилу или на виселицу. Отсюда все неприятности, отсюда это проклятое прошение.— Он хлопнул по бумаге, лежавшей у него на коленях.— В это затруднительное положение я попал из-за того, что во мне жили добрые чувства к вам. Я хотел бы знать, жива ли в вас совесть и поможете ли вы мне выпутаться?

Несомненно, в его словах было много правды: если Джемсу помочь уже нельзя, то кому же, естественней всего, должен я помочь, как не человеку, сидящему передо мной, который столько раз помогал мне и даже

теперь подал пример кротости? Кроме того, я не только измучился, но и начал стыдиться своей вечной подозрительности и упорства.

— Если вы назначите мне время и место, я буду готов сопровождать вашу светлость,— сказал я.

Он пожал мне руку.

— Я полагаю, у моих дочерей найдутся для вас кое-какие новости,— сказал он, отпуская меня.

Я ушел, очень довольный, что помирился с ним, но все же на душе у меня скребли кошки; и, кроме того, оглядываясь назад, я сомневался, не слишком ли я все-таки был покладист. Но, с другой стороны, этот человек годился мне в отцы, был прозорлив, занимал высокий пост и в час нужды протянул мне руку помощи. Настроение у меня поднялось, и я неплохо провел остаток вечера среди служителей закона,— без сомнения, общество было прекрасное, но, пожалуй, мы выпили слишком много пунша, потому что, хотя я и лег спать рано, мне до сих пор непонятно, каким образом я очутился в постели.

ГЛАВА XVIII

МЯЧИК ДЛЯ ГОЛЬФА

На следующее утро, сидя в судейской комнате, где меня никто не мог видеть, я выслушал решение присяжных и приговор по делу Джемса. Я уверен, что запомнил каждое слово герцога Аргайлского; и поскольку это знаменитое место его речи стало предметом спора, я могу предложить свою версию. Вспомнив сорок пятый год, вождь клана Кемпбеллов, председательствовавший на суде, обратился к несчастному Стюарту:

— Если бы ваш мятеж тогда не был подавлен, вы диктовали бы законы здесь, где теперь по закону судят вас. Нам, сегодняшним вашим судьям, возможно, пришлось бы предстать перед вашим судом, на котором разыгрывалась бы комедия правосудия, и тогда вы могли бы вволю напиться крови любой неугодной вам семьи или клана.

«Да, вот уж действительно проболтался»,— подумал я. И такое впечатление создалось у всех. Просто поразительно, как молодые стряпчие обрадовались слу-

чаю и высмеяли его речь, и стоило какой-нибудь компании собраться за столом, как кто-нибудь старался ввернуть: «И тогда вы могли бы вволю напиться...» В те времена сложили по этому поводу не одну веселую песенку, но теперь все они забылись. Помнится, одна начиналась так:

Чьей крови, чьей крови жаждете вы?
Крови семьи, или клана крови,
Или шотландского горца злого
Крови жаждете вы?

Другая, сложенная на мотив моей любимой песни «Дом Эрли», начиналась словами:

Суд и расправу Аргайл чинил,
И Стюарт был подан к обеду...

А в одном из ее куплетов говорилось:

Тут герцог встал, поваров обругал:
«Это очень обидно и странно,
Как мне теперь быть, не могу же я пить
Кровь столь недостойного клана!»

Джемс был убит наповал, как будто герцог подкрался к нему с ружьем и выстрелил в упор. Я, конечно, уже знал это; но другие не знали, и их больше моего поразили скандальные разоблачения, всплывшие в ходе суда, и особенно слова председателя суда. Но его перещеголял один из присяжных, который прервал защитительную речь Колстоуна словами: «Прошу вас, сэр, покороче, мы устали»,— что было бесстыдной и откровенной наглостью. Но некоторые из моих новых друзей были еще более поражены неслыханным поступком, который опозорил и лишил всякой убедительности этот процесс. Одного из свидетелей вообще не вызвали. Его фамилию можно было прочесть на четвертой странице списка: «Джемс Драммонд, он же Макгрегор, он же Джемс Мор, в прошлом арендатор Инверонахиля»; предварительный допрос был снят с него, как полагается, в письменном виде. Он вспомнил или придумал (бог ему судья) нечто такое, что придавило Джемса Стюарта тяжким бременем, в то время как ему самому принесло немало выгод. Весьма желательно было ознакомить с его показаниями присяжных, не подвергая самого свидетеля опасностям перекрестного допроса;

и все ахнули, увидев, как это было проделано. Бумагу пустили по залу суда из рук в руки, как какую-то диковину; она побывала на скамьях присяжных, где сделала свое дело, и снова исчезла (как бы случайно) прежде, чем достигла защитника. Это сочли самой коварной из всех уловок; и то, что тут замешано имя Джемса Мора, наполнило меня стыдом за Катриону и опасениями за собственную судьбу.

На другой день мы с Престонгрэнджем, в сопровождении множества спутников, отправились в Глазго, где (к моему нетерпению) несколько замешкались из-за всяческих развлечений и дел. Милорд приблизил меня к себе, я жил под его кровом, участвовал в увеселениях, бывал представлен самым почетным гостям, словом, мне уделяли больше внимания, чем мои способности или положение того заслуживали, так что в присутствии незнакомых людей я часто краснел за Престонгрэнджа. Признаюсь, то представление, которое я составил себе о светском обществе за эти последние месяцы, поневоле омрачило мою душу. Я встречался со многими людьми, которые по рождению и талантам достойны бы быть израильтянскими патриархами, но у кого из них были чистые руки? Что же касается Браунов и Миллеров, я увидел их своекорыстие и больше уже не мог их уважать. Все-таки Престонгрэндж оказался лучше других; он спас и пощадил меня, когда другие замышляли совершенно меня погубить; но кровь Джемса была на нем, и его теперешнее лицемерие со мной казалось мне непростительным. Меня удивляло и даже сердило то, что он притворяется, будто мое общество доставляет ему удовольствие. Я смотрел на него, и во мне постепенно нарастала досада. «Дорогой друг,— думал я,— а не вышвырнул бы ты меня вон, если б только тебе удалось отделаться от этого прошения?» И тут, как показали дальнейшие события, я был к нему более всего несправедлив; теперь мне кажется, что он с самого начала был гораздо более искренним человеком и более искусным актером, чем я предполагал.

Но у меня были некоторые основания не доверять ему, потому что я видел, как вели себя молодые законники, вертевшиеся вокруг него в надежде снискать его покровительство. Неожиданная благосклонность к молодому человеку, прежде никому не известному, поначалу обеспокоила их сверх всякой меры; но не прошло и

двух дней, как меня окружили лестью и вниманием. Я был тот же самый юнец, которого они отвергли месяц назад, я не стал за это время ни лучше, ни красивее; но какими только любезностями меня не осыпали! Я, кажется, сказал «тот же самый»? Нет, это неверно; и подтверждение тому — прозвище, которым меня называли за глаза. Видя, что я так близок к прокурору, они, уверенные, что я взлечу высоко, назвали меня «Мячиком для гольфа». Мне дали понять, что теперь я «из их круга»; и если они жестко стлали поначалу, то теперь мне было мягко и уютно; один молодой человек, которого мне некогда представили в Хоуп-Парке, был так самоуверен, что даже напомнил мне о той встрече. Я сказал, что не имею удовольствия ее помнить.

— Как же! — сказал он.— Ведь меня представила вам сама мисс Грант! Я такой-то...

— Весьма возможно, сэр,— сказал я.— Но, простите, не припоминаю.

Тогда он перестал настаивать; и сквозь отвращение, которое постоянно наполняло мою душу, блеснула радость.

Но у меня не хватает терпения подробно описывать это время. Когда я оказывался в обществе молодых законников, меня охватывал стыд за себя, за свое простое обхождение, и в то же время я презирал их за двуличие. Из двух зол, думал я, Престонгрэндж наименьшее; и если с молодыми аристократами я бывал холоден как лед, то перед прокурором я, пожалуй, лицемерил, скрывал свою неприязнь и (как говорил старик Кемпбелл) «ластился к господину». Он сам заметил это различие и, пожурив меня, велел держаться как подобает моему возрасту и подружиться с моими молодыми сотоварищами.

Я сказал ему, что не так легко выбираю друзей.

— Хорошо, я готов назвать это иначе,— сказал он.— Но ведь существует же простая учтивость, мистер Дэвид. С этими молодыми людьми вам придется проводить много времени, вся ваша жизнь пройдет в их обществе. Ваша отчужденность выглядит вызывающе, и если вы не усвоите несколько более непринужденные манеры, боюсь, что на пути вашем встретится немало препон.

— Черного кобеля не отмоешь добела,— сказал я.

Утром первого октября меня разбудил стук подков, и, подбежав к окну, я увидел гонца, который прискакал во весь опор и теперь спешивался. Через некоторое время Престонгрэндж позвал меня к себе; он сидел в халате и ночном колпаке, перед ним лежали письма.

— Мистер Дэвид,— сказал он,— у меня есть для вас новость. Она касается кое-кого из ваших друзей, которых, думается мне, вы немного стесняетесь, поскольку никогда не упоминали об их существовании.

Кажется, я покраснел.

— По некоторым признакам я вижу, что вы меня поняли,— сказал он.— И должен вас поздравить, вкус у вас превосходный. Но знаете, мистер Дэвид, эта девица кажется мне слишком уж предприимчивой! Нигде без нее не обходится. Шотландское правительство едва ли в состоянии преследовать судебным порядком мисс Кэтрин Драммонд, как это было не столь давно с неким мистером Дэвидом Бэлфуром. А прекрасная получилась бы пара, не правда ли? Первое вмешательство этой девицы в политику... Впрочем, не стану ничего вам рассказывать, решено и подписано, что вы должны выслушать эту историю при иных обстоятельствах и из более красноречивых уст. Но все же на сей раз дело обстоит серьезнее. Должен сообщить вам печальное известие: она в тюрьме.

Я вскрикнул.

— Да,— сказал он,— эта девица в тюрьме. Но, уверяю вас, отчаиваться нет никаких причин. Если только вы со своими друзьями и прошениями не добьетесь моей отставки, ей ничего не грозит.

— Но что же она сделала? В чем ее преступление? — воскликнул я.

— При желании это можно рассматривать чуть ли не как государственную измену,— ответил он,— потому что она помогла преступнику бежать из королевского замка в Эдинбурге.

— Эта юная леди — мой большой друг,— сказал я.— Я уверен, вы не стали бы шутить со мной, если б дело было серьезным.

— И все же в некотором смысле оно серьезно,— сказал он.— Проказница Кэтрин выпустила на волю этого подозрительного господина, своего папеньку.

Итак, оправдалось одно из моих предчувствий: Джемс Мор снова был на свободе. Он предоставил

своих людей, чтобы держать меня в неволе; он добровольно выступил свидетелем в эпинском деле, и его показания, хоть и с помощью постыдной уловки, были использованы, чтобы повлиять на присяжных. Теперь он вознагражден: его отпустили на свободу. Вполне возможно, что власти предпочли придать этому видимость побега; но я-то знал, что к чему, знал, что это входило в условия сделки. Из тех же соображений я ничуть не тревожился за Катриону. Пускай себе думают, что это она открыла своему отцу ворота тюрьмы; может быть, даже она и сама так думает. Но все это — дело рук Престонгрэнджа, и я был уверен, что он не допустит даже суда над ней, не говоря уже о наказании. И тут у меня вырвался несколько опрометчивый возглас:

— А! Я так и знал!

— Порой вы проявляете редкую скромность,— заметил Престонгрэндж.

— Что угодно милорду этим сказать? — осведомился я.

— Я просто выразил свое удивление,— отвечал он,— поскольку у вас хватило ума додуматься до этого, но не хватило ума промолчать. Но, полагаю, вам будет небезынтересно узнать подробности. Я получил два известия, причем неофициальное полней и гораздо интересней, поскольку написано бойким пером моей старшей дочери. «В городе сейчас только и разговоров, что об этой великолепной проделке,— пишет она,— а сколько было бы шуму, если б стало известно, что преступнице покровительствует милорд, мой папенька. Я уверена, что вы из верности долгу (а может быть, и по другим причинам) не забудете Сероглазку. Знаете, что она сделала? Раздобыла широкополую шляпу с обвислыми полями, длинный, плотный мужской плащ и большой шейный платок, задрала юбки бог знает до каких пор, сунула ноги в штаны, взяла в руки пару заплатанных башмаков и отправилась в замок! Здесь она выдала себя за сапожника, которому Джемс Мор отдавал чинить башмаки, и ее пропустили к нему, причем лейтенант (видимо, большой весельчак) хохотал вместе со своими солдатами над плащом этого сапожника. Вскоре они услышали крики и звуки ударов. Сапожник вылетел вон, плащ его развевался, шляпа была нахлобучена чуть ли не до подбородка, и он пустился наутек, а лейтенант и солдаты проводили его насмешками. Но им стало не до смеха, когда они потом заглянули в дверь и увидели только высокую сероглазую красотку в женском платье! Что же до сапожника, он уже давно был за тридевять земель, и, по-видимому, несчастной Шотландии придется примириться с этой утратой. Сегодня вечером я при всех выпила за здоровье Катрионы. Право, наш город ею восхищен; я думаю, щеголи стали бы носить в петлицах кусочки ее подвязок, если б только могли их раздобыть. Я хотела поехать в тюрьму навестить ее, но вовремя вспомнила, что я дочь своего папеньки, и вместо этого написала ей записку, которую переслала с верным Дойгом, так что, надеюсь, вы признаете, что я умею, когда хочу, быть осмотрительной. Этот же верный дурак доставит вам мое письмо вместе с письмами мудрецов, чтобы вы могли выслушать простачка заодно с Соломоном. Кстати, о дураках: сообщите, пожалуйста, обо всем Дэвиду Бэлфуру. Хотела бы я видеть его лицо, когда он узнает, что длинноногая девица в столь затруднительном положении! Я уж не говорю о легкомыслии вашей любящей дочери, питающей к нему уважение и дружбу». А засим следует подпись моей негодницы! — продолжал Престонгрэндж.— И вы видите, мистер Дэвид, я сказал истинную правду, утверждая, что мои дочери шутят над вами любя.

— Дурак весьма польщен,— сказал я.

— А признайте, разве не великолепно разыграно? Разве эта девица с гор не настоящая героиня?

— Я всегда знал, что у нее благородное сердце,— сказал я.— И уверен, что она даже не подозревала... Но прошу прощения, я коснулся запретного предмета.

— Могу в этом поручиться,— сказал он напрямик.— Могу поручиться, она думала, что бросила вызов самому королю Георгу.

Напоминание о Катрионе и мысль о том, что она в тюрьме, странно меня взволновали. Я видел, что даже Престонгрэндж восхищен и не может сдержать улыбки, думая о ее поступке. Что же до мисс Грант, то, при всей ее неприятной манере шутить, она ясно выразила свое восхищение. Меня вдруг бросило в жар.

— Я не дочь вашей светлости...— начал я.

— Это мне известно! — ввернул он, улыбаясь.

— Я сказал глупость,— поправился я.— Или, верней, я не так начал. Без сомнения, было бы неразумно со стороны мисс Грант посетить тюрьму. А вот я, мне кажется, буду плохим другом, если не поспешу туда сей же час.

— Эге, мистер Дэвид,— сказал он.— Мы ведь, кажется, заключили с вами сделку?

— Милорд,— сказал я,— соглашаясь на эту сделку, я, конечно, испытывал благодарность за вашу доброту, но у меня язык не повернется отрицать, что мной руководили и собственные интересы. В моем сердце было своекорыстие, и теперь я этого стыжусь. В интересах вашей светлости рассказывать всем и каждому, что этот Дэвид, от которого столько беспокойства, ваш друг и живет в вашем доме. Что ж, рассказывайте, отрицать этого я не стану. Но покровительство ваше мне больше не нужно. Я прошу только одного — отпустите меня и дайте мне пропуск, чтобы я мог повидаться с нею в тюрьме.

Он сурово посмотрел на меня.

— Мне кажется, вы подходите к делу не с того конца,— сказал он.— Вы получили от меня знак моего расположения, хотя, ослепленный неблагодарностью, видимо, не заметили этого. Но покровительства своего я вам не дарил и, скажем прямо, даже еще не предлагал.— Он помолчал.— И предупреждаю вас, вы сами себя плохо знаете,— добавил он.— Молодости свойственна поспешность. Не пройдет и года, как вы переменитесь.

— А мне нравится быть таким! — воскликнул я.— Достаточно я насмотрелся на этих молодых адвокатов, которые выслуживаются перед вашей милостью и стараются подольститься даже ко мне. Да и старики тоже не лучше. Все они имеют тайную цель, весь их клан! Именно поэтому вам и кажется, будто я сомневаюсь в расположении вашей светлости. Какие основания у меня считать, что вы ко мне расположены? Но вы же сами сказали, что я вам нужен!

Тут я смущенно замолчал, опасаясь, что зашел слишком далеко; он смотрел на меня с непроницаемым видом.

— Милорд, простите меня,— заговорил я снова.— Я из деревни и не обучен тонкостям обхождения. И все же мне кажется, само приличие требует, чтобы я поехал

повидать своего друга в тюрьме. Но я никогда не забуду, что обязан вам жизнью, и, если это принесет пользу вашей светлости, я остаюсь. К этому обязывает меня простая благодарность.

— Мы могли прийти к такому выводу, потратив гораздо меньше слов,— сказал Престонгрэндж сурово.— Нет ничего легче, а подчас и вежливей, чем просто сказать «да».

— Но, милорд, вы меня не совсем поняли! — воскликнул я.— Ради вас, ради моей собственной жизни, ради расположения, которое, как вы говорите, вы ко мне питаете, ради всего этого я согласен, но не ради какой-либо корысти, которую я могу из этого извлечь. Если я останусь в стороне, когда будут судить эту девушку, то при теперешнем положении это будет для меня только выгодно. А я не хочу на этом ничего выгадать. Я лучше все разрушу, чем строить свое благополучие на такой основе.

С минуту он сохранял серьезность, потом улыбнулся.

— Помните сказочку о человеке с длинным носом? — сказал он.— Если бы вы поглядели на луну в зрительную трубу, то и там увидели бы Дэвида Бэлфура! Но ладно уж, будь по-вашему. Я попрошу вас только об одной услуге, а потом вы свободны. Мои секретари завалены работой. Будьте добры, перепишите вот эти несколько страниц,— сказал он, наугад шаря среди объемистых рукописей,— а когда закончите, с богом! Я не желаю обременять себя совестью мистера Дэвида. А если вы по пути бросите часть этой рукописи в канаву, то вам будет куда легче ехать.

— Но тогда я поеду уже не совсем в ту сторону, милорд! — сказал я.

— Однако последнее слово всегда остается за вами! — воскликнул он со смехом.

И смеялся он не зря, так как теперь он нашел способ достичь цели. Стремясь лишить прошение силы или иметь наготове ответ, он хотел, чтобы я публично появился в роли приближенного к нему человека. Но если я так же публично появлюсь у Катрионы в тюрьме, люди, конечно, все поймут, и правда о побеге Джемса Мора станет очевидной. Таково было затруднительное положение, в которое я его поставил, но он мгновенно нашел выход. Переписка рукописи, от которой я не мог

отказаться из простого приличия, задержала меня в Глазго, а за те часы, что я был занят этим, от Катрионы тайно избавились. Мне стыдно писать это о человеке, который осыпал меня столькими милостями. Он относился ко мне с отеческой добротой, а я всегда считал его фальшивым, как треснутый колокол.

ГЛАВА XIX

МНОЮ ЗАВЛАДЕВАЮТ ДАМЫ

Переписка бумаг была скучным и утомительным занятием, тем более, что речь там, как я сразу же увидел, шла о делах совсем не спешных, и мне было ясно, что это только предлог меня задержать. Едва закончив работу, я вскочил в седло и, не теряя времени, ехал до темноты, а когда меня застигла ночь, остановился в каком-то доме близ Элмонд-Уотер. Еще затемно я снова был в седле, и лавки в Эдинбурге только открывались, когда я с грохотом проскакал по Уэст-Бау и осадил лошадь, от которой валил пар, у дверей дома генерального прокурора. При мне была записка Дойгу, доверенному милорда, от которого, как говорили, у него не было тайн, весьма достойному и простому человеку, толстенькому, самонадеянному и пропахшему табаком. Он уже сидел за конторкой, выпачканной табачной жвачкой, в той самой приемной, где я случайно встретился с Джемсом Мором. Он прочел записку истово, словно главу из Библии.

— Гм,— сказал он.— Вы несколько запоздали, мистер Бэлфур. Птичка улетела — мы ее выпустили на волю.

— Вы освободили мисс Драммонд? — воскликнул я.

— Ну да,— ответил он.— А зачем нам было ее держать, подумайте сами? Кому охота подымать шум из-за ребенка.

— Где же она? — спросил я.

— Бог ее знает! — сказал Дойг, пожимая плечами.

— Наверное, она пошла домой к леди Аллардайс,— сказал я.

— Очень может статься,— согласился он.

— Так я скорей туда,— сказал я.

— Не хотите ли пожевать чего-нибудь перед дорогой? — спросил он.

— Нет, не хочу ни пить, ни есть,— сказал я.— Я напился молока в Рато.

— Так, так,— сказал Дойг.— Ну, по крайности оставьте лошадь и пожитки, квартировать ведь, небось, тут будете.

— Ну нет,— сказал я.— В такой день ни за что не пойду на своих двоих.

Дойг выражался очень простонародно, и я вслед за ним тоже заговорил на деревенский манер, право же, гораздо проще, чем я здесь написал; и я чуть не сгорел со стыда, когда чей-то голос у меня за спиной пропел куплет из баллады:

Седлайте, друзья боевые мои,
Коня вороного скорей,
И я полечу на крыльях любви
К красавице милой моей.

Я обернулся и увидел молодую девушку в утреннем платье, которая спрятала руки в рукава, как бы желая этим удержать меня на расстоянии. Но взгляд ее был приветлив, это я почувствовал сразу.

— Позвольте мне выразить вам мое почтение, мисс Грант,— сказал я, отдавая поклон.

— И мне также, мистер Дэвид,— отозвалась она и низко присела передо мной.— Я хочу напомнить вам старую-престарую поговорку, что месса и мясо никогда не помеха мужчине. Мессу я не могу вам предложить, потому что все мы добрые протестанты. Но съесть кусок мяса я вам настойчиво советую. Я же тем временем, думается, сумею рассказать вам кое-что небезынтересное, ради чего стоит задержаться.

— Мисс Грант,— сказал я,— и без того я у вас в долгу за несколько веселых и, как мне кажется, очень добрых слов на листке бумаги без подписи.

— Без подписи? — переспросила она с очаровательной задумчивостью, словно силилась что-то вспомнить.

— Если это не так, я вдвойне разочарован,— продолжал я.— Но у нас, право, еще будет время поговорить об этом, ведь отец ваш любезно предложил мне пожить некоторое время под одной крышей с вами. Но в данную минуту дурак не просит у вас, ничего, кроме свободы.

— Вы так нелестно отзываетесь о себе,— заметила она.

— Мы с мистером Дойгом рады принять еще более нелестные прозвища, если только их выведет ваше искусное перо,— сказал я.

— Мне снова *приходится восхищаться скромностью* мужчин,— заметила она.— Но если вы отказываетесь от еды, ступайте немедля. Тем скорей вы вернетесь, ведь дело у вас дурацкое. Ступайте, мистер Дэвид.— И она открыла передо мной дверь.—

Вскочив на коня, он воскликнул: «Клянусь,
Меня средь лесов и полей
Ничто не удержит, пока не примчусь
К красавице милой моей».

Я не заставил ее повторять разрешение дважды и оценил строки, приведенные ею, уже по дороге в Дин.

Старая леди Аллардайс гуляла по саду одна, в высоком чепце, опираясь на черную, отделанную серебром трость. Когда я спешился и подошел к ней с почтительным поклоном, она вдруг покраснела и высоко вскинула голову, как мне показалось, с величием настоящей императрицы.

— Что привело вас к моему скромному порогу? — воскликнула она тонким голосом, слегка в нос.— Я бессильна его защитить. Все мужчины из моей семьи умерли и лежат в земле. У меня нет ни сына, ни мужа, который встал бы у моей двери. Всякий бродяга может дернуть меня за бороду, и самое ужасное,— добавила она словно бы про себя,— что у меня и вправду есть борода.

Я был рассержен таким приемом, а от последних ее слов, похожих на бред сумасшедшей, едва не лишился дара речи.

— Видимо, я имел несчастье чем-то навлечь на себя ваше неудовольствие, сударыня,— сказал я.— И все же я беру на себя смелость спросить, где мисс Драммонд.

Она бросила на меня испепеляющий взгляд, плотно сжав губы, так что вокруг них разбежались десятка два морщинок; рука, сжимавшая трость, дрожала.

— Да это верх наглости! — вскричала она.— Ты спрашиваешь о ней у меня? Господи, если б я сама знала!

— Так ее здесь нет? — воскликнул я.

Она вскинула голову и стала наступать на меня с такими криками, что я в растерянности попятился.

— Лгун разнесчастный! — вопила она. — Как? Ты еще меня про нее спрашиваешь? Да она в тюрьме, куда ты сам ее упек! Вот и весь сказ! Как на грех ты подвернулся, ничтожество этакое! Трусливый негодяй, да будь у меня в семье хоть один мужчина, я велела бы ему лупить тебя до тех пор, покуда ты не взвоешь!

Видя, что неистовство ее растет, я счел за лучшее более там не задерживаться. Когда я пошел к коновязи, она даже последовала за мной; и не стыжусь признаться, что я ускакал, едва успев вдеть одну ногу в стремя и ловя на ходу второе.

Я не знал, где еще искать Катриону, и мне не оставалось ничего иного, как вернуться в дом генерального прокурора. Меня радушно приняли четыре женщины, которые теперь собрались все вместе и потребовали, чтобы я рассказал им новости о Престонгрэндже и все сплетни с Запада, что продолжалось довольно долго и было для меня весьма утомительно; тем временем молодая особа, с которой я так жаждал опять остаться наедине, насмешливо поглядывала на меня и словно наслаждалась моим нетерпением. Наконец, после того, как я вынужден был откушать с ними и уже готов был молить ее тетушку о разрешении поговорить с мисс Грант, она подошла к нотной папке и, выбрав какой-то лист, запела в верхнем ключе: «Кто не слушает совета, остается без ответа». Однако после этого она сменила гнев на милость и под каким-то предлогом увела меня в отцовскую библиотеку. Надо сказать, что она была изысканно одета и ослепительно красива.

— Ну, мистер Дэвид, садитесь, и давайте поговорим с глазу на глаз. Мне многое нужно вам сказать, и, кроме того, должна признаться, в свое время я не оценила по достоинству ваш вкус.

— В каком смысле, мисс Грант? — спросил я.— Кажется, я всегда оказывал вам должное уважение.

— Готова поручиться за вас, мистер Дэвид,— сказала она.— Ваше уважение как к самому себе, так и к вашим смиренным ближним, всегда, к счастью, было выше всяких похвал. Но это между прочим. Вы получили мою записку? — спросила она.

— Я взял на себя смелость предположить, что эта записка от вас,— сказал я.— Вы были так добры, что вспомнили обо мне.

— Наверное, вы очень удивились,— сказала она.— Но не станем забегать вперед. Надеюсь, вы не забыли тот день, когда согласились сопровождать трех прескучных девиц в Хоуп-Парк? Тем менее причин для забывчивости у меня самой, потому что вы любезно преподали мне начала латинской грамматики, что оставило неизгладимый след в моей благодарной душе.

— Боюсь, что я показался вам несносным буквоедом,— сказал я, смущенный этим воспоминанием.— Но прошу вас принять во внимание, что я совсем не привык к дамскому обществу.

— А я еще меньше — к латинской грамматике,— заметила она.— Но как же это вы осмелились покинуть своих подопечных? «И он швырнул ее за борт, малютку Энни!» — пропела она.— И малютке Энни с двумя сестрами пришлось тащиться домой одним, как несчастным, покинутым гусыням. Насколько мне известно, вы отправились к моему папеньке, где проявили необычайную воинственность, а потом канули неведомо куда, взяв курс, как выяснилось, на скалу Басс, и на уме у вас были не красотки, а дикие птицы.

Так она подшучивала надо мною, но взгляд у нее был приветливый, и это давало мне надежду на лучшее.

— Вам доставляет удовольствие меня мучить,— сказал я,— а ведь я так беспомощен. Умоляю вас о милосердии. Сейчас я хочу узнать только одно: что сталось с Катрионой?

— Вы так и зовете ее в глаза, мистер Бэлфур? — спросила она.

— Право, я и сам не знаю...— сказал я, запинаясь.

— Пожалуй, я не стала бы так называть ее в разговоре с посторонним человеком,— сказала мисс Грант.— Кстати, почему вы столь заинтересованы делами этой юной особы?

— Я слышал, она была в тюрьме,— сказал я.

— Ну, а теперь вы услышали, что ее выпустили,— отвечала она.— Чего же вам еще? Ей больше не нужен заступник.

— Наверное, сударыня, мне она нужна гораздо больше, чем я ей,— сказал я.

— Вот это уже лучше! — заметила мисс Грант.— Но взгляните на меня хорошенько. Разве я не красивее ее?

— Менее всего я стал бы это отрицать,— сказал я.— Вам нет равной во всей Шотландии.

— Вот видите, вы отдаете пальму первенства той, что сейчас рядом с вами, а разговаривать хотите о другой,— сказала она.— Так вам не угодить женщине, мистер Бэлфур.

— Но, мисс,— возразил я,— кроме красоты, есть ведь и еще кое-что.

— Должна ли я понять из этих слов, что я вам не по вкусу? — спросила она.

— Прошу вас, поймите, что я подобен петуху из басни, который нашел жемчужное зерно,— сказал я.— Передо мной прекрасная драгоценность, и я восхищен ею, но мне куда нужнее одно-единственное настоящее зернышко.

— Браво! — воскликнула она.— Наконец-то я слышу достойные речи и в награду расскажу вам обо всем. В тот самый вечер, когда вы нас покинули, я была в гостях у одной подруги и вернулась домой поздно — там мною восхищаются, а вы можете оставаться при своем мнении,— и что же я слышу? Какая-то девушка, закутанная в плед, просит позволения со мной поговорить. Горничная сказала, что она ждет уже больше часа и все время что-то бормочет. Я сразу же вышла к ней. Она встала мне навстречу, и я узнала ее с первого взгляда. «Да ведь это Сероглазка»,— подумала я, но благоразумно удержалась и не произнесла этого вслух. «Вы мисс Грант? Наконец-то,— сказала она, глядя на меня пристально и жалобно.— Да, он был прав, вы красивы, что там ни говори». «Такой уж меня создал бог, дорогая,— отвечала я,— но я буду вам весьма признательна, если вы объясните, что привело вас сюда в столь поздний час». «Леди,— сказала она,— мы родня, у нас обеих в жилах течет кровь сынов Эпина». «Дорогая,— возразила я,— Эпин и его сыны интересуют меня не более, чем прошлогодний снег. А вот слезы на вашем красивом личике — это куда более сильный довод в вашу пользу». При этом я сделала глупость и поцеловала ее, о чем вы, конечно, мечтаете, но, держу пари, никогда на это не осмелитесь. Я говорю, что сделала глупость, так как совсем не знала ее, но то

было самое умное, что я могла бы придумать. Она очень стойкая и отважная, но, боюсь, она видела мало доброты в своей жизни, и от этой ласки (которая, сказать правду, была лишь мимолетной) сердце ее раскрылось передо мной. Я никогда не выдам тайны своего пола, мистер Дэви, и не расскажу, как она обвела меня вокруг пальца, потому что она тем же способом обведет и вас. Да, это прекрасная девушка! Она чиста, как горный родник.

— Она чудо! — воскликнул я.

— И вот она поведала мне о своих невзгодах,— продолжала мисс Грант,— рассказала, как она тревожится за отца и как боится за вас, без всякой к тому причины, и в каком трудном положении она оказалась, когда вы уехали. «Я долго думала и решила, что мы ведь с вами в родстве,— сказала она,— и мистер Дэвид не зря назвал вас красавицей из красавиц, вот мне и пришло в голову: «Если она такая красавица, значит, она добрая, что там ни говори». И я пошла прямо сюда». Тут я простила вас, мистер Дэви. Ведь в моем присутствии вы были как на иголках, никогда еще не видела молодого человека, который так жаждал бы избавиться от своих дам, то есть от меня и двух моих сестер. Но, оказывается, вы все-таки обратили на меня внимание и соизволили высказаться о моей красоте. С того часа можете считать меня своим другом, я стала даже с нежностью думать о латинской грамматике.

— Вы еще успеете вволю пошутить надо мной,— сказал я.— И, кроме того, мне кажется, вы к себе несправедливы. Мне кажется, это Катриона расположила ко мне ваше сердце. Она слишком простодушна, чтобы понять, как поняли вы, глупую неловкость своего друга.

— Не станем спорить об этом, мистер Дэвид,— сказала она.— У девушек зоркий глаз. И как бы то ни было, она вам верный друг, в этом я могла убедиться. Я отвела ее к своему сиятельному папеньке, и его прокурорство, вдосталь испив кларета, соблаговолил принять нас обеих. «Вот Сероглазка, о которой вам за последние три дня прожужжали уши,— сказала я.— Она пришла подтвердить нашу правоту, и я повергаю к вашим стопам первую красавицу во всей Англии»,— при этом я лицемерно умолчала о себе. Она и впрямь упала перед ним на колени, мне кажется, она двоилась у него в глазах, что, без сомнения, сделало ее просьбу еще более неотразимой, потому что все вы, мужчины, не лучше магометан, рассказала ему о событиях прошлой ночи и о том, как она помешала человеку, посланному ее отцом, следовать за вами, как она тревожится за отца и боится за вас; после этого она стала со слезами молить его, чтобы он спас жизнь вам обоим (хотя ни одному из вас не грозила ни малейшая опасность), и клянусь, я гордилась своим полом, так очаровательно это было сделано, и стыдилась за него, потому что причина была такой пустячной. Уверяю вас, едва услышав ее мольбы, прокурор совершенно протрезвел, так как обнаружил, что юная девушка разгадала его сокровенные помыслы и теперь они стали известны самой своенравной из его дочерей. Но тут мы обе принялись за него и повели дело в открытую. Когда моим папенькой руководят, то есть когда им руковожу я, ему нет равных.

— Он был очень добр ко мне,— сказал я.

— И к Кэтрин тоже, уж об этом я позаботилась,— сказала она.

— И она просила за меня! — воскликнул я.

— Просила, да еще как трогательно,— сказала мисс Грант.— Не стану повторять вам ее слова, вы, мне кажется, и без того слишком зазнаетесь.

— Да вознаградит ее за это бог! — вскричал я.

— Да вознаградит он ее мистером Дэвидом Бэлфуром, не так ли? — присовокупила она.

— Вы ко мне чудовищно несправедливы! — вскричал я.— Меня дрожь охватывает при мысли, в каких она была жестоких руках. Неужели вы думаете, что я мог так о себе возомнить только потому, что она просила сохранить мне жизнь? Да она сделала бы то же самое для новорожденного щенка. Если хотите знать, у меня есть другое, гораздо более веское основание гордиться собой. Она поцеловала вот эту руку. Да, поцеловала. А почему? Потому что думала, будто я отчаянный храбрец и иду на смерть. Конечно, она сделала это не из любви ко мне, и мне незачем говорить это вам, которая не может смотреть на меня без смеха. Это было сделано из преклонения перед храбростью, хотя, конечно, она ошибалась. Думается мне, кроме меня и бедного принца Чарли, Катриона никому не оказывала такой чести. Разве это не сделало меня богом? И думаете, сердце мое не трепещет при воспоминании об этом?

— Да, я часто смеюсь над вами даже вопреки приличию,— согласилась она.— Но вот что я вам скажу: если вы так о ней говорите, у вас есть искра надежды.

— У меня? — воскликнул я.— Да мне никогда не осмелиться! Я могу сказать все это вам, мисс Грант, мне все равно, что вы обо мне думаете. Но ей... Никогда в жизни!

— Мне кажется, у вас самый твердый лоб во всей Шотландии,— сказала она.

— Правда, он довольно твердый,— ответил я, потупившись.

— Бедняжка Катриона! — воскликнула мисс Грант.

Я только пялил на нее глаза; теперь-то я прекрасно понимаю, к чему она клонила (и, быть может, нахожу этому некоторое оправдание), но я никогда не отличался сообразительностью в таких двусмысленных разговорах.

— Мистер Дэвид,— сказала она,— меня мучит совесть, но, видно, мне придется говорить за вас. Она должна знать, что вы поспешили к ней, как только услышали, что она в тюрьме. Она должна знать, что ради нее вы даже отказались от еды. И о нашем разговоре она узнает ровно столько, сколько я сочту возможным для столь юной и неискушенной девицы. Поверьте мне, это сослужит вам гораздо лучшую службу, чем вы могли бы сослужить себе сами, потому что она не заметит, какой у вас твердый лоб.

— Так вы знаете, где она? — воскликнул я.

— Разумеется, мистер Дэвид, только этого я вам никогда не открою,— отвечала она.

— Но почему же? — спросил я.

— А потому,— сказала она,— что я верный друг, в чем вы скоро убедитесь. И прежде всего я друг своему отцу. Смею вас заверить, никакими силами и никакими мольбами вы не заставите меня сделать это, так что нечего смотреть на меня телячьими глазами. А пока желаю Вашему Дэвидбэлфурству всего наилучшего.

— Еще одно слово! — воскликнул я.— Есть одна вещь, которую непременно надо объяснить, иначе мы с ней оба погибли.

— Ну, говорите, только покороче,— сказала она.— Я и так уже потратила на вас полдня.

— Миледи Аллардайс считает...— начал я.— Она думает... она полагает... что это я похитил Катриону.

Мисс Грант покраснела, и я даже удивился, что ее так легко смутить, но потом сообразил, что она просто с трудом удерживается от смеха, в чем окончательно убедился, когда она ответила мне прерывающимся голосом:

— Я беру на себя защиту вашего доброго имени. Положитесь на меня.

С этими словами она вышла из библиотеки.

ГЛАВА XX

Я ПРОДОЛЖАЮ ВРАЩАТЬСЯ В СВЕТЕ

Почти два месяца я прожил в доме Престонгрэнджа и весьма расширил свои знакомства с судьями, адвокатами и цветом эдинбургского общества. Не думайте, что моим образованием пренебрегали; напротив, у меня не оставалось ни минуты свободной. Я изучал французский язык и готовился ехать в Лейден; кроме того, я начал учиться фехтованию и упорно занимался часа по три в день, делая заметные успехи; по предложению моего родича Пилрига, который был способным музыкантом, меня определили в класс пения, а по воле моей наставницы мисс Грант — в класс танца, где, должен признаться, я далеко не блистал. Однако все вокруг любезно твердили, что благодаря этому манеры мои стали изысканней; как бы там ни было, но я в самом деле перестал путаться в полах своей одежды и в шпаге, а в гостях держался непринужденно, словно у себя дома. Весь мой гардероб подвергся решительному пересмотру, и самые пустячные мелочи, например, где мне перевязывать волосы или какого цвета платок носить на шее, обсуждались тремя девицами самым серьезным образом. Одним словом, я стал неузнаваем и приобрел даже модный лоск, который очень удивил бы добрых людей в Эссендине.

Две младшие сестры весьма охотно обсуждали мои наряды, потому что сами только о туалетах и думали. В остальном же они едва замечали мое существование; и хотя обе всегда были очень любезны и относились ко мне с некоей равнодушной сердечностью, они все же не могли скрыть, как им скучно со мной. Что же до тетушки, это была на редкость невозмутимая женщина;

она, пожалуй, уделяла мне ровно столько же внимания, сколько всем членам семейства, то есть почти никакого. Поэтому ближайшими моими друзьями были старшая дочь прокурора и он сам, причем совместные развлечения еще более укрепили эту дружбу. Перед началом судебной сессии мы провели несколько дней в усадьбе Грэндж, где жили роскошно, ничем не стесняясь, и там начали вместе ездить верхом, а потом стали ездить и в Эдинбург, насколько прокурору позволяли его бесконечные дела. Когда от прогулки на свежем воздухе, трудной дороги или непогоды нас охватывало оживление, робость моя совершенно исчезала; мы забывали, что мы чужие друг другу, и, так как никто не заставлял меня говорить, слова лились тем свободнее. Тогда я и рассказал им мало-помалу все, что произошло со мной с того самого времени, когда я покинул Эссендин: как я отправился в плаванье и участвовал в стычке на «Завете», как блуждал среди вереска и что было потом; они заинтересовались моими приключениями, и однажды в неприсутственный день мы совершили прогулку, о которой я расскажу несколько подробней.

Мы сели в седло ранним утром и направились прямо туда, где среди большого, заиндевелого в этот утренний час поля стоял замок Шос, и над трубой его не было дыма. Здесь Престонгрэндж спешился, велел мне подержать лошадь и один отправился к моему дяде. Помню, сердце мое исполнилось горечью, когда я увидел этот пустой замок и подумал, что несчастный скряга сидит в холодной кухне, бормоча что-то себе под нос.

— Вот мой дом,— сказал я.— И вся моя семья.

— Бедный Дэвид Бэлфур! — сказала мисс Грант.

Я так и не узнал, о чем они там говорили; но разговор этот, без сомнения, был не очень приятен для Эбенезера, ибо, когда прокурор вернулся, лицо у него было сердитое.

— Кажется, вы скоро станете богачом, мистер Дэви,— сказал он, вдев одну ногу в стремя и оборачиваясь ко мне.

— Не стану притворяться, будто это меня огорчает,— сказал я. По правде говоря, во время его отсутствия мы с мисс Грант дали волю воображению, украшая поместье зелеными полями, цветниками и террасой; многое из этого я с тех пор осуществил.

Затем мы отправились в Куинсферри, где нас радушно принял Ранкилер, который буквально лез вон из кожи, стараясь угодить столь важному гостю. Здесь прокурор с искренним участием стал подробно вникать в мои дела и часа два просидел со стряпчим у него в кабинете, причем выказал (как я после узнал) большое уважение ко мне и заботу о моей судьбе. Чтобы скоротать время, мы с мисс Грант и молодым Ранкилером взяли лодку и поплыли через залив к Лаймкилнсу. Ранкилер был смешон (и, как мне показалось, дерзок), когда стал громко восхищаться молодой дамой, и, хотя эта слабость столь присуща их полу, я удивился, видя, что она как будто чуточку польщена. Но это оказалось к лучшему: когда мы переправились на другой берег, она велела ему сторожить лодку, а мы с ней пошли дальше, в трактир. Она сама этого пожелала, потому что ее заинтересовал мой рассказ об Элисон Хэсти и она захотела увидеть девушку. Мы снова застали ее одну — отец ее, должно быть, целыми днями трудился в поле,— и она, как полагается, учтиво присела перед джентльменом и красивой молодой дамой в платье для верховой езды.

— Разве вы не хотите поздороваться со мной как следует? — спросил я, протягивая руку.— И разве вы не помните старых друзей?

— Господи! Да что же это! — воскликнула она.— Ей-богу, да ведь вы же тот оборванец...

— Он самый,— подтвердил я.

— Сколько раз я вспоминала вас и вашего друга, и до чего ж мне приятно видеть вас в богатой одежде! — воскликнула она.— Я тогда поняла, что вы нашли своих, потому что вы прислали мне такой дорогой подарок, не знаю уж, как вас за него благодарить.

— Вот что,— сказала мне мисс Грант,— пойдите-ка прогуляйтесь, будьте умником. Я пришла сюда не для того, чтобы тратить время понапрасну. Нам с ней надо поговорить.

Она пробыла в доме минут десять, а когда вышла, я заметил два обстоятельства: глаза у нее покраснели, а с груди исчезла серебряная брошь. Это глубоко меня тронуло.

— Сейчас вы прекрасны, как никогда,— сказал я.

— Ох, Дэви, не будьте таким высокопарным глуп-

цом,— сказала она и до самого вечера была со мной суровее, чем обычно.

Когда мы вернулись, в доме уже зажигали свечи.

Долгое время я ничего больше не слышал о Катрионе — мисс Грант была непроницаема и, когда я заговаривал о ней, заставляла меня умолкнуть своими шутками. Но однажды, вернувшись с прогулки, она застала меня одного в гостиной, где я занимался французским языком, и я заметил в ней какую-то перемену; глаза ее ярко блестели, она раскраснелась и, поглядывая на меня, то и дело прятала улыбку. Словно воплощение шаловливого лукавства, она с живостью вошла в комнату, затеяла со мной ссору из-за какого-то пустяка и, уж во всяком случае, без малейшего повода с моей стороны. Я очутился будто в трясине — чем решительней старался я выбраться на твердое место, тем глубже увязал; наконец она решительно заявила, что никому не позволит так дерзко ей отвечать и я должен на коленях молить о прощении.

Ее беспричинные нападки разозлили меня.

— Я не сказал ничего такого, что могло бы вызвать ваше неудовольствие,— сказал я,— а на колени я становлюсь только перед богом.

— Я богиня и тоже имею на это право! — воскликнула она, тряхнув каштановыми кудрями, и покраснела.— Всякий мужчина, который приближается ко мне настолько, что я могу задеть его юбкой, обязан стоять передо мной на коленях!

— Ну ладно, я так и быть готов просить у вас прощения, хотя клянусь, не знаю за что,— отвечал я.— Но всякие театральные жесты я оставляю другим.

— Ах, Дэви! — сказала она.— А если я вас попрошу?

Я подумал, что напрасно вступил с ней в спор, да еще по такому пустому поводу, ведь женщина все равно что неразумное дитя.

— Мне это кажется ребячеством,— сказал я,— недостойным того, чтобы вы об этом просили, а я исполнял такую просьбу. Но так и быть, я согласен, и если на мне будет пятно, то по вашей вине.

С этими словами я добросовестно стал на колени.

— То-то! — воскликнула она.— Вот подобающая поза, к которой я и старалась вас принудить.— Тут она

крикнула: — Ловите! — бросила мне сложенную записочку и со смехом выбежала из комнаты.

На записке не было ни числа, ни обратного адреса.

«Дорогой мистер Дэвид,— говорилось в ней,— я все время узнаю про ваши дела от моей родственницы мисс Грант и радуюсь за вас. Я чувствую себя прекрасно и живу как нельзя лучше, у добрых людей, но вынуждена скрываться, хотя надеюсь, что мы с вами снова увидимся. Моя милая родственница, которая любит нас обоих, рассказала мне, какой вы верный друг. Она велела мне написать эту записку и прочитала ее. Прошу вас повиноваться ей во всем и остаюсь вашим верным другом, Катрионой Макгрегор Драммонд.

P. S. Не повидаете ли вы мою родственницу Аллардайс?»

Как выражаются военные, это был немалый ратный подвиг, и все же я, повинуясь ее приказу, отправился прямо в Дин. Но странно, старуху словно подменили, из нее теперь можно было веревки вить. Каким образом мисс Грант удалось этого достичь, ума не приложу; но как бы то ни было, я уверен, она не решилась выступить открыто, поскольку ее отец был замешан в этом деле. Ведь это он убедил Катриону скрыться или, вернее, не возвращаться к ее родственнице и устроил ее в семействе Грегори, людей честных и очень ему преданных, которым она тем более могла довериться, что они были из ее же клана и рода. У них она тайно жила до тех пор, пока все не созрело окончательно, после чего они помогли ей вызволить отца из тюрьмы, а когда его выпустили, она снова тайно вернулась к ним. Так Престонгрэндж обрел свое оружие и воспользовался им; при этом ни словечка не просочилось наружу о его знакомстве с дочерью Джемса Мора. Разумеется, шепотом передавались кое-какие слухи о побеге этого человека, пользовавшегося дурной славой; но правительство прибегло к подчеркнутой строгости, одного из надзирателей высекли, лейтенант гвардии (мой бедный друг Дункансби) был разжалован в рядовые, а что до Катрионы, то все мужчины были очень рады, что ее вину обошли молчанием.

Я никак не мог уговорить мисс Грант передать ответную записку. «Нет,— говорила она, когда я начинал настаивать,— не хочу, чтобы Кэтрин узнала, какой у вас твердый лоб». Выносить это было тем труднее, что она, как я знал, виделась с моей маленькой подружкой чуть ли не каждый день и рассказывала ей обо мне всякий раз, как я (по ее выражению) «был умником». Наконец она соблаговолила пожаловать меня, как она сказала, своей милостью, которая мне скорей показалась насмешкой. Право, она была надежным, можно сказать, неукротимым другом всякому, кого любила, а среди них первое место занимала одна дряхлая болезненная аристократка, почти слепая и очень остроумная, которая жила на верхнем этаже дома, стоявшего в узком переулке, держала в клетке целый выводок коноплянок и с утра до ночи принимала гостей. Мисс Грант любила водить меня туда и заставляла развлекать старуху рассказами о моих злоключениях; мисс Тибби Рэмси (так ее звали) была со мной необычайно ласкова и рассказала мне немало полезного о людях старой Шотландии и о делах минувших лет. Надо сказать, что из ее окна — так узок был переулок, всего каких-нибудь три шага в ширину,— можно было заглянуть в решетчатое окошко, через которое освещалась лестница в доме напротив.

Однажды мисс Грант под каким-то предлогом оставила меня там вдвоем с мисс Рэмси. Помню, мне показалось, что эта дама рассеянна и чем-то озабочена. Да и самому мне вдруг стало не по себе, потому что окно, вопреки обыкновению, было открыто, а день выдался холодный. И вдруг до меня долетел голос мисс Грант.

— Эй, Шос! — крикнула она.— Высуньтесь-ка в окно и поглядите, кого я вам привела!

Мне кажется, я в жизни не видал ничего прекраснее. Весь узкий переулок тонул в прозрачной тени, где все было отчетливо видно на фоне черных от копоти стен; и в зарешеченном оконце я увидел два улыбающихся лица — мисс Грант и Катрионы.

— Ну вот! — сказала мисс Грант.— Я хотела, чтобы она увидела вас во всем блеске, как та девушка в Лаймкилнсе. Пускай полюбуется, что я сумела из вас сделать, когда взялась за это всерьез!

Я вспомнил, что в тот день она особенно придирчиво осматривала мое платье; вероятно, не менее строгому осмотру подверглась и Катриона. Мисс Грант, такая

веселая и умная, удивительно много внимания уделяла одежде.

— Катриона! — едва вымолвил я.

Она же не произнесла ни звука, только махнула рукой и улыбнулась мне, после чего ее сразу увели от окна.

Едва она скрылась, я бросился вниз, но дверь была заперта; я побежал назад к мисс Рэмси, крича, чтобы она дала мне ключ, но с таким же успехом я мог бы взывать на скале к развалинам замка. Она сказала, что дала слово, и мне надо быть умником. Взломать дверь было невозможно, даже если пренебречь всеми приличиями; не мог я и выпрыгнуть в окно, так как оно было на высоте седьмого этажа. Мне оставалось лишь, вытянув шею, глядеть из окна и ждать, пока они снова покажутся на лестнице. Я только и увидел две головки, забавно сидевшие на юбках, словно на подушечках для булавок. Катриона даже не взглянула вверх на прощание; сделать это ей не позволила (как я узнал после) мисс Грант, сказав, что люди выглядят особенно непривлекательно, когда на них смотрят сверху вниз.

Вскоре меня выпустили, и по дороге домой я стал укорять мисс Грант в жестокости.

— Мне жаль, что вы так разочарованы,— сказала она с притворной скромностью.— А я вот очень довольна. Вы выглядели лучше, чем я опасалась. Когда вы появились в окне — только смотрите, не зазнавайтесь! — у вас был вид блестящего молодого человека. Но не забывайте, Катриона не могла видеть, какой у вас твердый лоб,— добавила она, как бы стараясь меня ободрить.

— Ах, да оставьте в покое мой лоб! — воскликнул я.— Он ничуть не тверже, чем у других.

— И даже мягче, чем у некоторых,— сказала она.— Но я ведь говорю притчами, как иудейский пророк.

— Неудивительно, что их побивали камнями,— заметил я.— Но как вы, несчастная, могли это сделать? Зачем вам было подвергать меня такой пытке.

— Любовь, как и человек, нуждается в пище,— ответила она.

— О Барбара, дайте мне насмотреться на нее! — взмолился я.— Вам это ничего не стоит... Вы видите ее когда захотите... Дайте мне хоть полчаса.

— Кто руководит вашей любовью, вы или я? — спросила она, и так как я продолжал требовать своего, прибегла к крайнему средству: стала передразнивать мой голос, когда я выкрикнул имя Катрионы, и таким образом несколько дней продержала меня в повиновении.

О судьбе нашего прошения не было ни слуху, ни духу, во всяком случае, я о нем ничего не знал. Насколько мне теперь известно, Престонгрэндж и его светлость верховный судья знали кое-что, но притворялись, будто ничего не слышали; как бы то ни было, они держали дело в тайне, и публика ничего не узнала; а когда настал срок, ненастный день 8 ноября, бедняга Джемс из Глена под вой ветра и шум дождя был законным порядком повешен в Леттерморе, близ Балахулиша.

Вот чем кончились все мои попытки повлиять на политику! Невинные гибли до Джемса и, вероятно, будут гибнуть впредь (несмотря на всю нашу мудрость) до скончания времен. И до скончания времен молодые люди, еще не привыкшие к коварству жизни и людей, будут бороться, как боролся я, и решаться на героические поступки, и подвергать себя опасности; а ход событий будет отбрасывать их прочь, неотвратимый, как армия на марше. Джемса повесили; а я жил в доме Престонгрэнджа и испытывал к нему благодарность за отеческое внимание. Его повесили. И подумать только — встретив на улице мистера Саймона, я поспешил снять перед ним шляпу, как примерный мальчик перед учителем. Его повесили, добившись этого хитростью и жестокостью, а мир продолжал жить и ничуть не изменился; и негодяи, составившие этот ужасный заговор, считались благопристойными, добрыми, почтенными отцами семейства, ходили в церковь и причащались святых даров!

Но я по-своему смотрел на это грязное дело, которое называется политикой: я увидел ее с изнанки, где она черна, как могила, и на всю жизнь излечился от желания вновь принять в ней участие. Я мечтал пойти по простому, тихому, мирному пути, держась подальше от опасностей и соблазнов, грозящих запятнать мою совесть. Ведь оглядываясь назад, я видел, что в конце концов ничего не достиг; столько было громких слов и благих намерений, но все попусту.

25 числа того же месяца из Лита отплывал корабль, и неожиданно мне предложили собрать вещи и ехать в Лейден. Престонгрэнджу я, разумеется, не сказал ни слова: и так уж я слишком долго злоупотреблял его гостеприимством и ел за его столом. Но с его дочерью я был более откровенен и сетовал на судьбу, жалуясь, что меня посылают за границу, и твердя, что, если она не позволит попрощаться с Катрионой, я в последнюю минуту откажусь ехать.

— Я ведь дала вам совет, не так ли? — спросила она.

— Конечно,— ответил я.— И, кроме того, я не забыл, что многим обязан вам и что мне велено вам повиноваться. Но признайтесь сами, ведь вы слишком любите шутить, чтобы вам можно было до конца довериться.

— Вот что я вам скажу,— заявила она.— Будьте на борту в девять часов утра. Корабль отплывает только в час. Не отпускайте шлюпку. И если вас не удовлетворит мой прощальный привет, можете сойти на берег и сами искать Кэтрин.

Больше я ничего не мог из нее вытянуть, и мне пришлось удовольствоваться этим.

Наконец настал день, когда нам с ней предстояло расстаться. Мы очень подружились за это время, и она столько для меня сделала; я не спал всю ночь, думая о том, как мы расстанемся, а также о чаевых, которые мне предстояло раздать слугам. Я знал, что она считает меня слишком застенчивым, и хотел доказать ей, что это не так. Да и вообще теперь, когда я испытывал к ней такую горячую и, надеюсь, взаимную привязанность, всякая отчужденность могла бы показаться просто невежливой. Поэтому я собрался с духом, заранее выбрал слова и, когда мы остались одни в последний раз, смело попросил разрешения поцеловать ее на прощанье.

— Удивляюсь, как вы могли до такой степени забыться, мистер Бэлфур,— сказала она.— Я что-то не припоминаю, чтобы давала вам повод так истолковать наше знакомство.

Я стоял перед ней столбом, не зная, что подумать, а тем более сказать, как вдруг она обхватила меня за шею и подарила мне самый нежный поцелуй на свете.

— Ах, вы совершенный ребенок! — воскликнула она.— Да разве я допущу, чтобы мы расстались, как чужие? И если я не могу в вашем присутствии и на пять минут сохранить серьезность, это не мешает мне любить вас всем сердцем. Только взгляну на вас, и вся я уже полна любовью и смехом! А теперь, дабы завершить ваше образование, вот вам совет, который очень скоро вам пригодится. Никогда не просите женщин. Они все равно ответят «нет». Бог еще не создал девушки, которая устояла бы перед этим искушением. Богословы говорят, что над женщиной тяготеет Евино проклятие: она не сказала «нет», когда дьявол предложил ей яблоко, и теперь ее дочери не могут сказать ничего другого.

— Поскольку я скоро потеряю свою милую учительницу...— начал я.

— Вот истая любезность!

И она присела.

— Я задам вам один вопрос. Можно ли попросить девушку выйти за меня замуж?

— А по-вашему, можно жениться и без этого? — спросила она.— Или, может быть, вы станете дожидаться, пока она сама сделает вам предложение?

— Вот видите, вы не умеете быть серьезной,— сказал я.

— Я буду очень серьезна в одном, Дэвид,— сказала она.— Я всегда останусь вам другом.

Наутро, когда я сел в седло, все четыре дамы стояли у того самого окна, из которого мы недавно смотрели на Катриону, выкрикивали слова прощания и махали платками мне вслед. Я знал, что одна из четырех искренне опечалена; и при этой мысли, когда я вспомнил, как впервые подошел к этой двери три месяца назад, грусть и благодарность смешались в моей душе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОТЕЦ И ДОЧЬ

ГЛАВА XXI

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОЛЛАНДИЮ

Корабль стоял на одном якоре далеко от литского причала, и пассажиры должны были добираться к нему на шлюпках. Это было нетрудно, так как стоял мертвый штиль, день выдался морозный и облачный и туман клубился над самой водой. Корпус корабля, когда я подплывал к нему, был скрыт в тумане, но высокие мачты искрились на солнце, словно отлитые из огня. Этот торговый корабль, большой и удобный, с несколько тупым носом, был тяжело нагружен солью, соленой семгой и тонкими белыми бумажными чулками, предназначенными на продажу в Голландии. На борту меня встретил капитан — некий Сэнг (кажется, из Лесмахаго), очень приветливый, добродушный старый моряк, хотя в тот миг он, пожалуй, слишком много суетился. Кроме меня, никто из пассажиров еще не прибыл, и меня оставили на палубе, где я расхаживал взад и вперед, всматриваясь в даль и раздумывая, каким же будет обещанное мне прощание.

Эдинбург и Пентлендские холмы рисовались надо мной как бы в туманном сиянии, время от времени затмеваемые облаками; на месте Лита виднелись лишь макушки труб, а на поверхности воды, где стлался туман, вообще ничего не было видно. Вдруг послышался плеск весел, и вскоре, словно вынырнув из дыма, клубящегося над костром, показалась лодка. На корме сидел мрачный человек, закутанный от холода в кусок парусины, а рядом с ним виднелась стройная, нежная, изящная фигурка девушки, и у меня дрогнуло сердце. Я едва успел перевести дух и приготовиться к встрече с нею, как она уже с улыбкой ступила на палубу, и я отвесил ей самый изысканный поклон, который и сравнить нельзя было с тем поклоном, что я несколько месяцев

назад отдал этой особе. Без сомнения, оба мы сильно изменились: она стала выше ростом, заметно вытянулась, как чудесное молодое деревце. У нее появилась милая застенчивость, которая так к ней шла, и она была исполнена достоинства и женственности; рука одной и той же волшебницы поработала над нами, и мисс Грант обоим нам придала блеск, хотя красота была присуща лишь одной.

У обоих вырвались почти одинаковые восклицания, каждый был уверен, что другой приехал проститься, но тотчас же выяснилось, что мы едем вместе.

— Так вот почему Барби ничего мне не сказала! — воскликнула она и сразу вспомнила, что при ней письмо, которое дано ей с условием, чтобы она вскрыла его не ранее, чем ступит на борт. В конверт была вложена записка и для меня, где говорилось:

«Дорогой Дэви! Ну, как вам понравился мой прощальный привет? И что вы скажете о своей попутчице? Поцеловали вы ее *или только попросили разрешения*? Я чуть было не кончила на этом свое письмо, но тогда цель моего вопроса едва ли была бы достигнута; а самой мне ответ известен на собственном опыте. Итак, мысленно впишите сюда мой добрый совет. Не будьте слишком робким, но ради бога не пытайтесь напускать на себя развязность, это вам совсем не идет.

Остаюсь вашим любящим другом и наставницей

Барбарой Грант».

Вырвав листок из записной книжки, я написал ответ, исполненный благодарности, сложил его вместе с письмецом от Катрионы и запечатал своей новой печатью с гербом Бэлфуров и отдал слуге Престонгрэнджа, ждавшему в моей лодке.

Теперь, наконец, мы могли наглядеться друг на друга, так как до сих пор, повинуясь какому-то взаимному побуждению, мы избегали обмениваться взглядами, пока снова не пожали друг другу руки.

— Катриона! — сказал я. Но на этом все мое красноречие иссякло.

— Вы рады меня видеть? — спросила она.

— Об этом незачем и спрашивать,— ответил я.— Мы слишком большие друзья, чтобы попусту тратить слова.

— Правда, лучше этой девушки нет никого на свете? — воскликнула она.— В жизни не встречала такой красавицы, такой чистой души.

— И все же Эпин интересует ее не больше, чем прошлогодний снег,— заметил я.

— Ах, она и в самом деле так сказала! — воскликнула Катриона.— А все-таки она взяла меня к себе и обласкала ради моего честного имени и благородной крови, которая течет в моих жилах.

— Сейчас я вам все объясню,— сказал я.— Каких только лиц не бывает на свете. Вот у Барбары такое лицо, что стоит только взглянуть на него, и всякий придет в восхищение и поймет, что она чудесная, смелая, веселая девушка. А ваше лицо совсем другое, я и сам до сегодняшнего дня не знал по-настоящему, какое оно. Вы не можете себя видеть и оттого меня не понимаете, но именно ради вашего лица она взяла вас к себе и обласкала. И всякий на ее месте сделал бы то же самое.

— Всякий? — переспросила она.

— Всякий на всем божьем свете! — отвечал я.

— Так вот почему меня взяли солдаты из замка! — воскликнула она.

— Это Барбара научила вас расставлять мне ловушки,— заметил я.

— Ну уж, что ни говорите, а она научила меня еще кое-чему. Она мне многое объяснила насчет мистера Дэвида, рассказала обо всех его дурных чертах и о том, что есть в нем кое-что и хорошее,— сказала Катриона с улыбкой.— Она рассказала мне про мистера Дэвида все, умолчала только, что он поплывет со мной на одном корабле. Кстати, куда вы плывете?

Я рассказал.

— Что ж,— проговорила она,— несколько дней мы проведем вместе, а потом, наверное, простимся навек! Я еду к своему отцу в город, который называется Гелвоэт, а оттуда во Францию, мы будем там жить в изгнании вместе с вождями нашего клана.

В ответ я лишь что-то промычал, потому что при упоминании о Джемсе Море у меня всегда пресекался голос.

Она сразу это заметила и угадала мои мысли.

— Скажу вам одно, мистер Дэвид,— заявила она.— Конечно, двое из моих родичей обошлись с вами не со-

всем хорошо. Один из них — мой отец Джемс Мор, а второй — лорд Престонгрэндж. Престонгрэндж оправдался сам или с помощью своей дочери. А мой отец Джемс Мор... Вот что я вам скажу: он сидел в тюрьме, закованный в кандалы. Он честный, простой солдат и простой, благородный шотландец. Ему вовек не понять, чего они добиваются. Но если б он понял, что это грозит несправедливостью молодому человеку вроде вас, он бы лучше умер. И ради ваших дружеских чувств ко мне я прошу вас: простите моего отца и мой клан за ошибку.

— Катриона,— сказал я,— мне незачем знать, что это была за ошибка. Я знаю только одно: вы пошли к Престонгрэнджу и на коленях умоляли его сохранить мне жизнь. Конечно, я понимаю, вы пошли к нему ради своего отца, но ведь вы просили и за меня. Я просто не могу об этом говорить. О двух вещах я не могу даже думать: о том, как вы меня осчастливили, когда назвали себя моим другом, и как просили сохранить мне жизнь. Не будем же больше никогда говорить о прощении и обидах.

После этого мы постояли немного молча — Катриона потупила глаза, а я смотрел на нее,— и прежде чем мы заговорили снова, с северо-запада потянул ветерок, и матросы принялись ставить паруса и поднимать якорь.

Кроме нас с Катрионой, на борту было еще шесть пассажиров, так что места в каютах едва хватало. Трое были степенные торговцы из Лита, Кёрколди и Данди, плывшие по какому-то делу в Верхнюю Германию. Четвертый — голландец, возвращавшийся домой, остальные — почтенные жены торговцев; попечению одной из них была вверена Катриона. Миссис Джебби (так ее звали), на наше счастье, плохо переносила морское путешествие и целыми сутками лежала пластом. К тому же все пассажиры на борту «Розы» были люди пожилые, кроме нас да еще бледного мальчугана, который, как сам я некогда, прислуживал за едой; и получилось так, что мы с Катрионой были всецело предоставлены самим себе. Мы сидели рядом за столом, и я с наслаждением подавал ей блюда. На палубе я подстилал для нее свой плащ; и поскольку для этого времени года погода стояла на редкость хорошая, с ясными, морозными днями и ночами, с ровным легким ветерком, так что, пока судно

шло через все Северное море, команде не пришлось даже прикасаться к парусам, мы сидели на палубе (лишь изредка прохаживаясь, чтобы согреться) от утренней зари до восьми или девяти вечера, когда на небе загорались яркие звезды. Торговцы или капитан Сэнг иногда с улыбкой поглядывали на нас, перебрасывались шуткою и снова предоставляли нас самим себе; большую же часть времени они были поглощены рыбой, ситцем и холстом или подсчитывали, скоро ли доедут, нимало не интересуясь заботами, которыми были поглощены мы.

Поначалу нам было о чем поговорить и мы казались себе необычайно остроумными; я немножко строил из себя светского франта, а она (мне кажется) играла роль молодой дамы, кое-что повидавшей на своем веку. Но вскоре мы стали держаться проще. Я отбросил высокопарный, отрывистый английский язык (которым владел не слишком хорошо) и забывал о поклонах и расшаркиваниях, которым меня обучили в Эдинбурге; она, со своей стороны, усвоила со мной дружеский тон; и мы жили бок о бок, как близкие родичи, только я испытывал к ней чувства более глубокие, чем она ко мне. К этому времени мы чаще стали молчать, чему оба были очень рады. Иногда она рассказывала мне сказки, которых знала великое множество, наслушавшись их от моего рыжего знакомца Нийла. Рассказывала она очень мило, и сами сказки были милые, детские; но мне всего приятней было слышать ее голос и думать, что вот она рассказывает мне, а я слушаю. Иногда же мы сидели молча, не обмениваясь даже взглядами, и наслаждались одной лишь близостью друг к другу. Конечно, я могу говорить только о себе. Не уверен даже, что я спрашивал себя, о чем думает девушка, а в собственных мыслях боялся признаться даже самому себе. Теперь уже незачем это скрывать ни от себя, ни от читателя: я был влюблен без памяти. Она затмила в моих глазах солнце. Я уже говорил, что в последнее время она стала выше ростом, тянулась вверх, как всякое юное, здоровое существо, была полна сил, легкости и бодрости; мне казалось, что она двигалась, как юная лань, и стояла, как молодая березка в горах. Только бы сидеть с ней рядом на палубе, большего я не желал; право, я ни на минуту не задумывался о будущем и был до того счастлив настоящим, что не хотел ломать

голову над тем, как быть дальше; лишь изредка я, не устояв перед искушением, задерживал ее руку в своей. Но при этом я, как скряга, оберегал свое счастье и не хотел рискнуть ничем.

Обычно мы говорили каждый о себе или друг о друге, так что если бы кто-нибудь вздумал нас подслушивать, он счел бы нас самыми большими себялюбцами на свете. Однажды во время такого разговора речь зашла о друзьях и дружбе, и мы, как вскоре оказалось, вступили на опасный путь. Мы говорили о том, какое чудесное это чувство — дружба и как мало мы о ней знали раньше, о том, как благодаря ей жизнь словно обновляется, и делали тысячи подобных же открытий, которые с сотворения мира делают молодые люди в нашем положении. Затем речь зашла о том, что, как это ни странно, когда друзья встречаются впервые, им кажется, будто жизнь только начинается, а ведь до этого каждый прожил на свете столько лет, попусту теряя время среди других людей.

— Я сделала совсем немного,— говорила она,— и могла бы рассказать всю свою жизнь в нескольких словах. Я ведь всего только девушка, а, что ни говорите, много ли событий может произойти в жизни девушки? Но в сорок пятом я отправилась в поход вместе со своим кланом. Люди шли с саблями и кремневыми ружьями, некоторые большими отрядами, в одинаковых пледах, и они не теряли времени зря, скажу я вам. Среди них были и шотландцы с равнины, рядом скакали их арендаторы и трубачи верхом на конях, и торжественно звучали боевые волынки. Я ехала на горской лошадке по правую руку от своего отца Джемса Мора и от самого Гленгайла. Никогда не забуду, как Гленгайл поцеловал меня в щеку и сказал: «Моя родственница, вы единственная женщина из всего клана, которая отправилась с нами»,— а мне всего-то было двенадцать лет. Видела я и принца Чарли, ах, до чего ж он был красив, глаза голубые-голубые! Он пожаловал меня к руке перед всей армией. Да, это были прекрасные дни, но все походило на сон, а потом я вдруг проснулась. И вы сами знаете, что было дальше; пришли ужасные времена, нагрянули красные мундиры, и мой отец с дядьями засел в горах, а я носила им еду поздней ночью или на рассвете, с первыми петухами. Да, я много раз ходила ночью, и в темноте сердце у меня

так сильно стучало от страха. Просто чудо, как это я ни разу не встретилась с привидением; но, говорят, девушке их нечего бояться. Потом мой дядя женился, и это было совсем ужасно. Ту женщину звали Джин Кэй, и я все время была с ней в ту ночь в Инверснейде, когда мы похитили ее у подруг по старинному обычаю. Она сама не знала, чего хотела: то она была готова выйти за Роба, то через минуту и слышать о нем не желала. В жизни не видала такой полоумной, не может же человек говорить то да, то нет. Что ж, она была вдова, а вдовы все плохие.

— Катриона! — сказал я.— С чего вы это взяли?

— Сама не знаю,— ответила она.— Так мне подсказывает сердце. Выйти замуж во второй раз! Фу! Но такая уж она была — вышла вторым браком за моего дядю Робина, некоторое время ходила с ним в церковь и на рынок, а потом ей это надоело или подруги отговорили ее, а может, ей стало стыдно. Ну и она сбежала обратно к своим, сказала, будто мы держали ее силой, и еще много всего, я вам и повторить не решусь. С тех пор я стала плохо думать о женщинах. Ну, а потом моего отца Джемса Мора посадили в тюрьму, и остальное вы знаете не хуже меня.

— И у вас никогда не было друзей? — спросил я.

— Нет,— ответила она.— В горах я водила компанию с несколькими девушками, но дружбой это не назовешь.

— Ну, а мне и вовсе рассказывать не о чем,— сказал я.— У меня никогда не было друга, пока я не встретил вас.

— А как же храбрый мистер Стюарт? — спросила она.

— Ах да, я о нем позабыл,— сказал я.— Но ведь он мужчина, а это — совсем другое дело.

— Да, пожалуй,— согласилась она.— Ну конечно же, это — совсем другое дело.

— И был еще один человек,— сказал я.— Сперва я считал его своим другом, но потом разочаровался.

Катриона спросила, кто же она такая.

— Это он, а не она,— ответил я.— Мы с ним были лучшими учениками в школе у моего отца и думали, что горячо любим друг друга. А потом он уехал в Глазго, поступил служить в торговый дом, который принадлежал сыну его троюродного брата, и прислал мне отту-

да с оказией несколько писем, но скоро нашел себе новых друзей, и, сколько я ему ни писал, он и не думал отвечать. Ох, Катриона, я долго сердился на весь род людской. Нет ничего горше, чем потерять мнимого друга.

Она принялась подробно расспрашивать меня о его наружности и характере, потому что каждого из нас очень интересовало все, что касалось другого; наконец в недобрый час я вспомнил, что у меня хранятся его письма, и принес всю пачку из каюты.

— Вот его письма,— сказал я,— и вообще все письма, какие я получал в жизни. Это — последнее, что я могу открыть вам о себе. Остальное вы знаете не хуже меня.

— Значит, мне можно их прочесть? — спросила она.

Я ответил, что, конечно, можно, если только ей не лень; тогда она отослала меня и сказала, что прочтет их от первого до последнего. А в пачке, которую я ей дал, были не только письма от моего неверного друга, но и несколько писем от мистера Кемпбелла, когда он ездил в город по делам, и, поскольку я держал всю свою корреспонденцию в одном месте, коротенькая записка Катрионы, а также две записки от мисс Грант: одна, присланная на скалу Басс, а другая — сюда, на борт судна. Но об этих двух записках я в ту минуту и не вспомнил.

Я мог думать только о Катрионе и сам не знал, что делаю; мне было даже все равно, рядом она или нет; я заболел ею, и какой-то чудесный жар пылал в моей груди днем и ночью, во сне и наяву. Поэтому я ушел на тупой нос корабля, пенивший волны, и не так уж спешил вернуться к ней, как могло бы показаться,— я словно бы растягивал удовольствие. По натуре своей я, пожалуй, не эпикуреец, но до тех пор на мою долю выпало так мало радостей в жизни, что, надеюсь, вы мне простите, если я рассказываю об этом слишком подробно.

Когда я снова подошел к ней, она вернула мне письма с такой холодностью, что сердце у меня сжалось,— мне почудилось, что внезапно порвалась связующая нас нить.

— Ну как, прочли? — спросил я, и мне показалось, что голос мой прозвучал неестественно, потому что я пытался понять, что ее огорчило.

— Вы хотели, чтобы я прочла все? — спросила Катриона.

— Да,— ответил я упавшим голосом.

— И последнее письмо тоже? — допытывалась она.

Теперь я понял, в чем дело; но все равно я не мог ей лгать.

— Я дал их вам все, не раздумывая, для того, чтобы вы их прочли,— сказал я.— Мне кажется, там нигде нет ничего плохого.

— А я иного мнения,— сказала она.— Слава богу, я не такая, как вы. Это письмо незачем было мне показывать. Его не следовало и писать.

— Кажется, вы говорите о вашем же друге Барбаре Грант? — спросил я.

— Нет ничего горше, чем потерять мнимого друга,— сказала она, повторяя мои слова.

— По-моему, иногда и сама дружба бывает мнимой! — воскликнул я.— Разве это справедливо, что вы вините меня в словах, которые капризная и взбалмошная девушка написала на клочке бумаги? Вы сами знаете, с каким уважением я к вам относился и буду относиться всегда.

— И все же вы показали мне это письмо! — сказала Катриона.— Мне не нужны такие друзья. Я вполне могу, мистер Бэлфур, обойтись без нее... и без вас!

— Так вот она, ваша благодарность! — воскликнул я.

— Я вам очень обязана,— сказала она.— Но прошу вас, возьмите ваши... письма.

Она чуть не задохнулась, произнося последнее слово, и оно прозвучало, как бранное.

— Что ж, вам не придется меня упрашивать,— сказал я, взял пачку, отошел на несколько шагов и швырнул ее далеко в море. Я готов был и сам броситься следом.

До самого вечера я вне себя расхаживал взад-вперед по палубе. Какими только обидными прозвищами не наградил я ее в своих мыслях, прежде чем село солнце. Все, что я слышал о высокомерии жителей гор, бледнело перед ее поведением: чтобы молодую девушку, почти еще ребенка, рассердил такой пустячный намек, да еще сделанный ее ближайшей подругой, которую она так расхваливала передо мной! Меня одолевали горькие, злые, жестокие мысли, какие могут прийти в голову раз-

досадованному мальчишке. Если бы я действительно поцеловал ее, думал я, она, пожалуй, приняла бы это вполне благосклонно; и лишь потому, что это написано на бумаге, да еще шутливо, она так нелепо вспылила. Мне казалось, что прекрасному полу не хватает проницательности, а достается из-за этого бедным мужчинам.

За ужином мы, как всегда, сидели рядом, но как все сразу переменилось! Она стала холодна, даже не смотрела в мою сторону, лицо у нее было каменное; я готов был избить ее и в то же время ползать у ее ног, но она не подала мне ни малейшего повода ни для того, ни для другого. Встав из-за стола, она тотчас окружила самыми нежными заботами миссис Джебби, о которой до сего дня почти не вспоминала. Теперь она, видно, решила наверстать упущенное и до конца плавания необычайно заботилась об этой старухе, а выходя на палубу, уделяла капитану Сэнгу гораздо больше внимания, чем мне казалось приличным. Конечно, капитан был вполне достойный человек и относился к ней, как к дочери, но я не мог вытерпеть, когда она бывала ласкова с кем-нибудь, кроме меня.

В общем, она ловко избегала меня и всегда была окружена людьми, так что мне долго пришлось ждать случая поговорить с ней; а когда случай наконец представился, я немногого достиг, в чем вы сейчас убедитесь сами.

— Не могу понять, чем я вас обидел,— сказал я.— Неужто это так серьезно, что вы не можете меня простить? Простите, умоляю вас!

— Мне не за что вас прощать,— сказала Катриона, роняя слова, как холодные мраморные шарики.— Я вам очень признательна за вашу дружбу.

И она чуть заметно присела.

Но я высказал не все, что приготовил, и не хотел отказываться от своего намерения.

— В таком случае вот что,— продолжал я.— Если я оскорбил вашу скромность тем, что показал вам письмо, это не может касаться мисс Грант. Ведь она написала его не вам, а бедному, простому, скромному юноше, у которого могло бы хватить ума его не показывать. И если вы вините меня...

— Прошу вас больше не упоминать при мне об этой девушке,— сказала Катриона.— Я никогда не протяну

ей руку, пускай хоть умрет.— Она отвернулась, потом снова посмотрела на меня.— Клянетесь вы навсегда порвать с ней? — воскликнула она.

— Уверяю вас, я никогда не смогу быть так несправедлив,— сказал я.— И так неблагодарен.

Теперь уже я сам отвернулся от нее.

ГЛАВА XXII

ГЕЛВОЭТ

К концу плавания погода испортилась; ветер свистел в снастях, волны вздымались все выше, и корабль, борясь с ними, жалобно скрипел. Протяжные крики матроса, измерявшего лотом глубину, теперь почти не смолкали, потому что мы все время лавировали среди мелей. Часов в девять утра, когда в промежутке между двумя шквалами с градом проглянуло зимнее солнце, я впервые увидел Голландию — крылья мельниц, цепочкой вытянувшихся вдоль берега, быстро вертелись под ветром. Я впервые видел эти нелепые махины и вдруг почувствовал, что я в чужом краю, где совсем иной мир и иная жизнь. Около половины двенадцатого мы бросили якорь на рейде Гелвоэтской гавани, куда порой прорывались волны, высоко вздымая корабль. Разумеется, все мы, кроме миссис Джебби, вышли на палубу, некоторые в плащах, другие — закутавшись в корабельную парусину, и держались за канаты, отпуская шуточки в подражание морским волкам.

Вскоре к борту, пятясь, как краб, осторожно причалила лодка, и ее хозяин что-то прокричал нашему капитану по-голландски. Капитан Сэнг с встревоженным видом повернулся к Катрионе; пассажиры столпились вокруг, и он объяснил нам, в чем дело. «Розе» предстояло идти в Роттердамский порт, куда остальные пассажиры очень торопились попасть, поскольку оттуда в тот же вечер отходила почтовая карета в Верхнюю Германию. Капитан сказал, что шторм пока еще не разыгрался вовсю и, если не терять времени, до порта можно добраться. Но Джемс Мор должен был встретиться с дочерью в Гелвоэте, и капитану пришлось зайти сюда, чтобы высадить девушку, как это принято, в лодку. Лодка подошла, и Катриона была готова, но наш капитан и хозяин

лодки оба боялись риска, и в то же время капитан не желал мешкать.

— Ваш отец едва ли будет доволен, если по нашей вине вы сломаете ногу, мисс Драммонд,— сказал он,— а тем более, если утонете. Послушайтесь меня и плывите вместе с нами в Роттердам. Вы сможете спуститься на паруснике по реке Маас до самого Брилле, а оттуда почтовой каретой вернетесь в Гелвоэт.

Но Катриона об этом и слышать не хотела. Она бледнела, стоило ей взглянуть на разлетавшиеся во все стороны брызги, на зеленые волны, которые то и дело перехлестывали через полубак и на подпрыгивающую лодчонку; но она твердо решила исполнить то, что велел ей отец. «Так сказал мой отец, Джемс Мор» — вот было ее первое и последнее слово. Мне показалось пустой прихотью, что девушка хочет так буквально исполнить его приказ и не слушает добрых советов; однако в действительности у нее была на это очень веская причина, о которой она умолчала. Путешествовать на парусниках и в почтовых каретах очень удобно; но за это надо платить, а у нее только и было два шиллинга и три полпенни. Получилось так, что капитан и пассажиры не знали о скудости ее средств, а она была слишком горда, чтобы сказать об этом, и ее уговаривали понапрасну.

— Но вы же не говорите ни по-французски, ни по-голландски,— сказал кто-то.

— Это правда,— ответила она,— но с сорок шестого года за границей живет так много честных шотландцев, что я не пропаду, благодарю вас.

Во всем этом была такая милая деревенская простота, что некоторые засмеялись, другие же посмотрели на нее с еще большим сожалением, а мистер Джебби открыто возмутился. Видимо, он понимал, что, поскольку его жена согласилась опекать девушку, его долг — поехать с ней на берег и устроить ее там; однако он ни за что не согласился бы пропустить почтовую карету; и, по-моему, он пытался заглушить громкими криками голос совести. Во всяком случае, он обрушился на капитана Сэнга и заявил, что это позор, что пытаться покинуть сейчас корабль смерти подобно, да и нельзя бросить простодушную девушку в лодку, полную этих негодяев, голландских рыбаков, и покинуть ее на произвол судьбы. В этом я был с ним согласен; отведя в сторону помощника капитана, я попросил его отправить мои вещи на барже в Лейден, по адресу, который у меня был, после чего встал у борта и подал знак рыбакам.

— Я еду на берег вместе с молодой леди, капитан Сэнг,— сказал я.— Мне все равно, каким путем добираться до Лейдена.

С этими словами я спрыгнул в лодку, но так неловко, что упал на дно, увлекая за собой двоих рыбаков.

Из лодки прыжок казался еще опаснее, чем с корабля, который то вздымался над нами, то вдруг стремительно падал вниз, натягивая якорные цепи, и каждое мгновение угрожал нас потопить. Я уже начал жалеть о своей дурацкой выходке, совершенно уверенный, что Катриона не сможет спрыгнуть ко мне и меня высадят на берег в Гелвооэте одного, причем единственной моей наградой будет сомнительное удовольствие обнять Джемса Мора. Но я не принял в расчет храбрость этой девушки. Она видела, как я прыгнул, и, что бы ни творилось в ее душе, на лице ее не было колебаний; да, она не желала уступать в храбрости своему отвергнутому другу. Она вскочила на фальшборт, держась за штаг, и ветер раздувал ее юбки, отчего прыжок стал еще опасней, а нам открылись ее чулки гораздо выше, чем позволяло светское приличие. Она не мешкала ни минуты, и никто не успел бы вмешаться, даже если б захотел. Я тоже вскочил и расставил руки; корабль устремился вниз, хозяин лодки подвел ее ближе, чем позволяло благоразумие, и Катриона прыгнула. К счастью, мне удалось ее поймать и, так как рыбаки меня поддержали, я устоял на ногах. Она крепко ухватилась за меня, часто и глубоко дыша. Потом нас усадили на корме возле рулевого, и она все еще держалась за меня обеими руками; лодка повернула к берегу, а капитан Сэнг и пассажиры в восторге кричали прощальные слова.

Катриона, едва придя в себя, сразу же молча разняла руки. Я тоже молчал; свист ветра и плеск волн все равно заглушили бы наши голоса; и хотя гребцы изо всех сил налегали на весла, лодка едва продвигалась вперед, так что «Роза» успела сняться с якоря и отплыть, прежде чем мы достигли устья гавани.

Едва мы очутились в спокойной воде, хозяин лодки, по скверной привычке всех голландцев, остановил гребцов и потребовал плату вперед. Он хотел получить с каждого пассажира два гульдена — что-то около трех

или четырех шиллингов на английские деньги. Услышав это, Катриона пришла в волнение и подняла крик. Капитан Сэнг сказал, что надо уплатить всего один шиллинг, она нарочно спросила.

— Неужели вы думаете, я села в лодку, не справившись о цене? — кричала она.

Хозяин огрызался на жаргоне, в котором ругательства были английские, а все остальные слова голландские; в конце концов я, видя, что она вот-вот расплачется, незаметно сунул в руку негодяя шесть шиллингов, после чего он соблаговолил взять у нее еще шиллинг без особых пререканий. Я, конечно, был уязвлен и пристыжен. Мне нравятся бережливые люди, но нельзя же так горячиться; и, когда лодка тронулась снова, я довольно сухо осведомился у Катрионы, где ей назначена встреча с отцом.

— Я должна справиться о нем в доме у некоего Спротта, честного шотландского купца,— ответила она и выпалила, не переводя дыхания: — Благодарю вас от всей души, вы верный друг.

— Вы еще успеете поблагодарить меня, когда я доставлю вас к отцу,— сказал я, даже не подозревая, сколько в моих словах правды.— А я расскажу ему, какая у него послушная дочь.

— Не такая уж я послушная! — воскликнула она с горечью.— Кажется, у меня неверное сердце!

— И все же не многие совершили бы такой прыжок, только чтобы выполнить отцовский приказ,— заметил я.

— Нет, я не хочу вас так обманывать! — вскричала она.— Разве могла я остаться после того, как вы прыгнули? И кроме того, была еще одна причина.

И тут она, густо покраснев, призналась мне, как мало у нее денег.

— Всемогущий боже! — воскликнул я.— Что за нелепость, как же вас отпустили на континент с пустым кошельком? По-моему, это неблагородно, да, неблагородно!

— Вы забываете, что мой отец Джемс Мор беден,— сказала она.— Он изгнанник, его преследует закон.

— Но ведь не все же ваши друзья — изгнанники! — возразил я.— Разве это честно по отношению к людям, которым вы дороги? Разве это честно по отношению ко мне? И к мисс Грант, которая посоветовала вам ехать,

а если бы услышала это, схватилась бы за голову? И к этим Грегори, у которых вы жили и которые так любили вас? Какое счастье, что я с вами! А вдруг ваш отец почему-либо задержался, что стало бы с вами здесь, одной-одинешенькой в чужой стране? Подумать и то страшно.

— Я их всех обманула,— отвечала она.— Я им сказала, что у меня много денег. И ей тоже. Я не могла унизить перед ними Джемса Мора.

Позже я узнал, что она не только унизила бы, но и совершенно осрамила его, потому что эту ложь распустила не она, а ее отец, и ей поневоле пришлось лгать, чтобы не запятнать его честь. Но тогда я этого не знал, и мысль, что она брошена в нужде и могла подвергнуться страшным опасностям, приводила меня в ужас.

— Ну и ну,— сказал я.— Вам следовало быть разумнее.

Я оставил ее вещи в прибрежной гостинице и, впервые заговорив по-французски, справился, как найти дом Спротта, который оказался совсем недалеко, и мы отправились туда, по пути с любопытством осматривая город. В городе этом было немало такого, что могло привести в восхищение шотландцев: повсюду каналы и зеленые деревья; дома стояли особняком и были из красивого розового кирпича, а у каждой двери — ступени и скамьи голубого мрамора, и весь город был такой чистенький, что хоть ешь прямо на мостовой. Спротта мы застали в гостиной с низким потолком, очень чисто убранной, украшенной фарфоровыми статуэтками, картинами и глобусом на бронзовой подставке; он сидел над своими счетными книгами. Он был румяный, от него так и веяло здоровьем, но я сразу угадал в нем мошенника; он встретил нас весьма нелюбезно и даже не пригласил сесть.

— Скажите, сэр, Джемс Мор Макгрегор сейчас в Гелвоэте? — спросил я.

— Впервые слышу это имя,— ответил он с досадой.

— Если вы так придирчивы,— сказал я,— позвольте спросить по-другому: где нам найти в Гелвоэте Джемса Драммонда, он же Макгрегор, он же Джемс Мор, в прошлом арендатор Инверонахиля?

— Сэр,— ответил он,— по мне место ему в аду, и я от души этого желаю.

— Вот эта молодая леди — его дочь, сэр,— сказал я,— и вы, вероятно, согласитесь, что в ее присутствии не подобает говорить о нем неуважительно.

— Мне нет дела ни до него, ни до нее, ни до вас! — грубо перебил меня Спротт.

— Позвольте, мистер Спротт,— сказал я,— эта молодая леди приехала из Шотландии, чтобы разыскать его, и ей, очевидно, по ошибке, дали ваш адрес. Видимо, произошло недоразумение, но мне кажется, все это серьезно обязывает вас и меня, хотя я лишь случайный ее спутник, помочь нашей соотечественнице.

— Вы что, за дурака меня считаете? — воскликнул он.— Говорю вам, я ничего не знаю, и плевать мне на него и на его дочку. Да будет вам известно, этот человек должен мне деньги.

— Весьма возможно, сэр,— сказал я, разъярясь теперь еще больше, чем он.— Зато я ничего вам не должен. Эта молодая леди под моим покровительством, а я не привык к такому обхождению и вовсе не намерен его терпеть.

С этими словами, сам не зная для чего, я шагнул к его столу; по счастливой случайности, это был единственный довод, который мог на него подействовать. Его румяное лицо побледнело.

— Ради бога, сэр, не надо горячиться! — воскликнул он.— Право слово, я вовсе не хотел вас обидеть. Поверьте, сэр, я добрый, честный и веселый малый, ведь бояться нужно совсем не той собаки, которая лает. Послушать меня, так подумаешь, что я бог весть какой злой, а на деле — ничуть не бывало! В душе Сэнди Спротт добрый малый! Вы и не поверите, сколько я натерпелся неприятностей из-за вашего Мора.

— Все это прекрасно, сэр,— сказал я.— В таком случае я воспользуюсь вашей добротой и попрошу сообщить мне, когда вы в последний раз видели мистера Драммонда.

— Сделайте одолжение, сэр! — сказал он.— Только про эту молодую леди (мое ей нижайшее почтение!) он и думать забыл. Уж я-то его знаю, из-за него я не раз терял кучу денег. Он думает только о себе. Клан, король или дочь — плевать он на них хотел, ему лишь бы набить себе брюхо! Да и на своего доверенного ему тоже плевать. Потому что в известном смысле я считаюсь его доверенным. Мы с ним тут вместе обделываем одно дельце, и, кажется, оно дорого обойдется Сэнди Спротту. Этот человек, так сказать, мой компаньон, и право слово, понятия не имею, где он сейчас. Может быть, он приехал сюда, в Гелвоэт, сегодня утром, а может, он здесь уже целый год. Меня больше ничто не удивит, разве только одно: если он вдруг вернет мне мои деньги. Теперь вы видите, каково мое положение, и, сами понимаете, неохота мне соваться в дела этой молодой леди, как вы ее называете. Одно ясно: здесь ей оставаться нельзя. Подумайте, сэр, ведь я человек холостой! И если я пущу ее в дом, вполне может статься, что этот дьявол заставит меня жениться на ней, когда объявится.

— Хватит болтать! — оборвал я его.— Я отвезу эту леди к более достойным друзьям. Дайте мне перо, чернила и бумагу, я оставлю для Джемса Мора адрес моего доверенного в Лейдене. Через меня он сможет узнать, где ему искать дочь.

Я написал и запечатал письмо; пока я занимался этим, Спротт сам любезно предложил позаботиться о багаже мисс Драммонд и даже послал за ним в гостиницу. Я дал ему два доллара в возмещение расходов, а он выдал мне расписку.

Затем я подал Катрионе руку, и мы покинули дом этого негодяя. Она за все время не вымолвила ни слова, предоставив мне решать и говорить за нее; я же, со своей стороны, старался не смотреть на нее, чтобы не смущать; и даже теперь, хотя сердце мое еще пылало от стыда и негодования, я усилием воли сохранял полнейшую непринужденность.

— А теперь,— сказал я,— пойдемте обратно в ту гостиницу, где говорят по-французски, пообедаем и узнаем, когда отправляется карета в Роттердам. Я не успокоюсь, пока снова не передам вас с рук на руки миссис Джебби.

— Пожалуй, так и придется сделать,— сказала Катриона.— Хотя уж кто-кто, а она этому не обрадуется. И не забудьте, что у меня всего шиллинг и три полпенни.

— А вы,— сказал я,— не забудьте, что, слава богу, я с вами.

— Я только об этом все время и думаю,— сказала она и, как мне показалось, крепче оперлась на мою руку.— Вы мой единственный настоящий друг.

ГЛАВА XXIII

СТРАНСТВИЯ ПО ГОЛЛАНДИИ

Длинный фургон со скамьями внутри за четыре часа довез нас до славного города Роттердама. Уже давно стемнело, но ярко освещенные улицы кишели невиданными, диковинными людьми — бородатыми евреями, чернокожими и толпами крикливо разряженных девиц, которые хватали моряков за рукав; от разноголосого шума кружилась голова, и, что было всего неожиданней, сами эти люди еще более удивлялись нам, чем мы — им. Я постарался придать своему лицу самое солидное выражение, чтобы не уронить достоинства Катрионы и своего собственного; но, сказать по правде, я чувствовал себя потерянным, и сердце тревожно билось у меня в груди. Несколько раз я спрашивал, где гавань и где стоит корабль «Роза»; но либо мне попадались люди, говорившие лишь по-голландски, либо сам я слишком плохо объяснялся по-французски. Свернув наугад в какую-то улицу, я увидел ярко освещенные дома, в дверях и окнах которых мелькали толстые раскрашенные женщины; они толкали нас со всех сторон и издевались над нами, когда мы проходили мимо, и я был рад, что мы не понимаем их языка. Вскоре мы вышли на площадь перед гаванью.

— Теперь все будет хорошо! — воскликнул я, увидев мачты.— Давайте походим здесь, у гавани. Нам уж, наверно, встретится кто-нибудь, кто знает по-английски, а если повезет, увидим и сам корабль.

И нам повезло, хотя не так, как я предполагал: около девяти часов вечера мы столкнулись, как вы думаете, с кем? С капитаном Сэнгом. Он сказал, что его судно совершило рейс в необычайно короткое время, и ветер не стихал, пока они не вошли в порт; а теперь все пассажиры уже отправились дальше. Догонять супругов Джебби, уехавших в Верхнюю Германию, нечего было и думать, а больше мы не знали тут никого, кроме самого капитана Сэнга. Тем приятней нам было его дружелюбие и готовность помочь. Он вызвался найти среди торговцев какую-нибудь хорошую, скромную семью, где Катриону приютили бы, пока «Роза» стоит под погрузкой, а потом он охотно отвезет ее назад в Лит бесплатно и сам доставит к мистеру Грегори; пока же он по-

вел нас в трактир, открытый допоздна, и предложил поужинать, что было отнюдь не лишним. Держался он, как я уже сказал, весьма дружелюбно, но, что меня очень удивило, все время шумел, и причина этого вскоре стала ясна. В трактире он потребовал рейнвейна и, выпив довольно много, вскоре совершенно захмелел. Как это бывает со всеми, и особенно с его собратьями по грубому ремеслу, во хмелю остатки здравого смысла и благопристойности его покинули; он начал так неприлично шутить над Катрионой и насмехаться над тем, какой вид у нее был, когда она прыгала в лодку, что мне оставалось только поскорей увести ее.

Она вышла из трактира, крепко прижимаясь ко мне.

— Уведите меня отсюда, Дэвид,— сказала она.— Будьте вы моим опекуном. С вами я ничего не боюсь.

— И правильно делаете, моя маленькая подружка! — воскликнул я, тронутый до слез.

— Куда же вы меня поведете? — спросила она.— Только не покидайте меня... никогда не покидайте.

— А в самом деле, куда я вас веду? — сказал я, останавливаясь, потому что шел, как слепой.— Надо подумать. Но я не покину вас, Катриона. Пусть бог покинет меня самого, пусть он ниспошлет мне самую страшную кару, если я обману вас или поступлю с вами дурно.

Вместо ответа она еще крепче прижалась ко мне.

— Вот,— сказал я,— самое тихое местечко, какое можно найти в этом суетливом, словно улей, городе. Давайте сядем под тем деревом и подумаем, что делать дальше.

Дерево это (мне кажется, я никогда его не забуду) стояло у самой гавани. Была уже ночь, но окна домов и иллюминаторы недвижных, совсем близких от нас кораблей светились; позади нас сверкал город, и над ним висел гул тысяч шагов и голосов; а у берегов было темно, и оттуда слышался лишь плеск воды под корабельными бортами. Я расстелил на большом камне плащ и усадил Катриону; она не хотела отпускать меня, потому что все еще дрожала после недавних оскорблений, но мне нужно было поразмыслить спокойно, поэтому я высвободился и стал расхаживать перед ней взад-вперед, бесшумно, как контрабандист, мучительно пытаясь найти какой-нибудь выход из положения. Мысли мои разбегались, и вдруг я вспомнил, что в спешке за-

был уплатить по счету в трактире и расплачиваться пришлось Сэнгу. Тут я громко рассмеялся, решив, что поделом ему, и в то же время безотчетным движением ощупал карман, где у меня лежали деньги. Скорее всего, это случилось на той улице, где женщины толкали нас и осыпали насмешками — так или иначе кошелек исчез.

— Мне кажется, вы сейчас думаете о чем-то очень приятном,— сказала Катриона, видя, что я остановился.

Теперь, когда мы очутились в нелегком положении, мысли мои вдруг прояснились, и я, видя все, как через увеличительное стекло, понял, что разбираться в средствах не приходится. У меня не осталось ни одной монетки, но в кармане лежало письмо к лейденскому торговцу; добраться же до Лейдена мы теперь могли только одним способом: пешком.

— Катриона,— сказал я.— Я знаю, вы храбрая и, надеюсь, сильная девушка,— можете ли вы пройти тридцать миль по ровной дороге?

Как потом выяснилось, нам надо было пройти едва две трети этого пути, но в ту минуту мне казалось, что именно таково было расстояние до Лейдена.

— Дэвид,— сказала она,— если вы будете рядом, я пойду куда угодно и сделаю что угодно. Но мне страшно. Не бросайте меня в этой ужасной стране одну, и я на все готова.

— Тогда в путь, и будем идти всю ночь,— предложил я.

— Я сделаю все, что вы скажете,— отвечала она,— и не стану ни о чем спрашивать. Я поступила дурно, заплатила вам за добро черной неблагодарностью, но теперь я буду вам во всем повиноваться! И я согласна, что мисс Барбара Грант лучше всех на свете,— добавила она.— Разве могла она вас отвергнуть!

Я ровным счетом ничего не понял; но мне и без того хватало забот, и всего важней было выбраться из города на лейденскую дорогу. Это оказалось нелегким делом; только в час или в два ночи нам удалось ее найти. Когда мы оставили дома позади, на небе не было ни луны, ни звезд, по которым мы могли бы определять направление,— только белая полоса дороги да темные деревья по обе стороны. Идти было очень трудно еще и потому, что перед рассветом вдруг ударил сильный мороз и дорога обледенела.

— Ну, Катриона,— сказал я,— теперь мы с вами как принц и принцесса из тех шотландских сказок, которые вы мне рассказывали. Скоро мы увидим «семь долин, семь равнин и семь горных озер». (Эта неизменная присказка мне хорошо запомнилась.)

— Да, но ведь здесь же нет ни долин, ни гор! — сказала она.— Хотя эти равнины и деревья, правда, очень красивы. Но все-таки наш горный край лучше.

— Если бы мы могли сказать то же самое о наших людях,— отозвался я, вспоминая Спротта, Сэнга да и самого Джемса Мора.

— Я никогда не стала бы плохо говорить о родине моего друга,— сказала она так многозначительно, что мне показалось, будто я вижу в темноте выражение ее лица.

Я чуть не задохнулся от стыда и едва не упал на смутно чернеющий лед.

— Не знаю, как по-вашему, Катриона,— сказал я, несколько придя в себя,— но все-таки сегодня счастливый день! Мне совестно так говорить, потому что вас постигло столько несчастий и невзгод, но для меня это все равно был самый счастливый день в жизни.

— Да, хороший день, ведь вы были ко мне так добры,— сказала она.

— И все-таки мне совестно быть счастливым,— продолжал я,— сейчас, когда вы бредете здесь, в темную ночь по пустынной дороге.

— А где же мне еще быть? — воскликнула она.— Я ничего на свете не боюсь, когда вы рядом.

— Значит, вы простили меня? — спросил я.

— Я сама должна просить у вас прощения, и если вы меня прощаете, не вспоминайте больше об этом! — воскликнула она.— В моем сердце нет к вам иных чувств, кроме благодарности. Но, скажу честно,— добавила она вдруг,— ее я никогда не прощу.

— Это вы опять про мисс Грант? — спросил я.— Да ведь вы же сами сказали, что лучше ее нет никого на свете.

— Так оно и есть! — сказала Катриона.— И все равно я никогда ее не прощу. Никогда, никогда не прощу и не хочу больше о ней слышать.

— Ну,— сказал я,— ничего подобного я еще не видывал. Просто удивительно, откуда у вас такие детские капризы. Эта молодая леди была нам обоим луч-

шим другом на свете, она научила нас одеваться и вести себя, ведь это заметно всякому, кто знал нас с вами раньше.

Но Катриона упрямо остановилась посреди дороги.

— Вот что,— сказала она.— Если вы будете говорить о ней, я сейчас же возвращусь в город, и пускай будет надо мной воля божия! Или, уж сделайте одолжение, поговорим о чем-нибудь другом.

Я совершенно растерялся и не знал, как быть; но тут я вспомнил, что она пропадет без моей помощи, что она принадлежит к слабому полу и совсем еще ребенок, а мне следует быть разумнее.

— Дорогая моя,— сказал я.— Вы меня совсем сбили с толку, но боже избави, чтобы я как-либо совлек вас с прямого пути. Я вовсе не намерен продолжать разговор о мисс Грант, ведь вы же сами его и начали. Я хотел только, раз уж вы теперь под моей опекой, воспользоваться этим вам в назидание, потому что не выношу несправедливости. Я не против вашей гордости и милой девичьей чувствительности, это вам очень к лицу. Но надо же знать меру.

— Вы кончили? — спросила она.

— Кончил,— ответил я.

— Вот и прекрасно,— сказала она, и мы пошли дальше, но теперь уже молча.

Жутко и неприятно было идти темной ночью, видя только тени и слыша лишь звук собственных шагов. Сначала, мне кажется, мы в душе сердились друг на друга; но темнота, холод и тишина, которую лишь иногда нарушало петушиное пение или лай дворовых псов, вскоре сломили нашу гордость; я, во всяком случае, готов был ухватиться за всякий повод, который позволил бы мне заговорить, не уронив своего достоинства.

Перед самым рассветом пошел теплый дождь и смыл ледяную корку у нас под ногами. Я хотел закутать Катриону в свой плащ, но она с досадой велела мне забрать его.

— И не подумаю,— сказал я.— Сам я здоров, как бык, и видел всякое ненастье, а вы нежная, прекрасная девушка! Дорогая, не хотите же вы, чтобы я сгорел со стыда!

Без дальнейших возражений она позволила мне накинуть на себя плащ; и так как было темно, я на миг задержал руку на ее плече, почти обнял ее.

— Постарайтесь быть снисходительней к своему другу,— сказал я.

Мне показалось, что она едва уловимо склонила голову к моей груди, но, должно быть, это мне лишь почудилось.

— Вы такой добрый,— сказала она.

И мы молча пошли дальше; но как все вдруг переменилось. Счастье, которое лишь теплилось в моей душе, вспыхнуло, подобно огню в камине.

Дождь перестал еще до рассвета; и, когда мы добрались до Делфта, занималось сырое утро. По обоим берегам канала стояли живописные красные домики с островерхими кровлями; служанки, выйдя на улицу, терли и скребли каменные плиты тротуара; из сотен кухонных труб шел дым; и я почувствовал, что нам невозможно долее поститься.

— Катриона,— сказал я,— надеюсь, у вас остались шиллинг и три полпенни?

— Они нужны вам? — спросила она и отдала мне свой кошелек.— Жаль, что там не пять фунтов! Но зачем вам деньги?

— А зачем мы шли пешком всю ночь, как бездомные бродяги? — сказал я.— Просто в этом злосчастном Роттердаме у меня украли кошелек, где были все мои деньги. Теперь я могу в этом признаться, потому что худшее позади, но предстоит еще долгий путь, прежде чем я смогу получить деньги, и если вы не купите мне кусок хлеба, я вынужден буду поститься дальше.

Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. В ярком утреннем свете я увидел, как она побледнела, осунулась от усталости, и сердце мое дрогнуло. Но она только рассмеялась.

— Вот наказание! Значит, теперь мы оба нищие? — воскликнула она.— Не одна я, но и вы? Да я только об этом и мечтала! Я буду счастлива накормить вас завтраком. Но еще охотнее я стала бы плясать, чтобы заработать вам на хлеб! Ведь здесь, я думаю, люди не видели наших плясок и, пожалуй, охотно заплатят за такое любопытное зрелище.

Я готов был расцеловать ее за эти слова, движимый даже не любовью, а горячим восхищением. Когда мужчина видит мужество в женщине, это всегда согревает его душу.

Мы купили молока у какой-то крестьянки, только что приехавшей в город, а у пекаря взяли кусок превосходного горячего, душистого хлеба и стали уплетать его на ходу. От Делфта до Гааги всего пять миль по хорошей дороге, под сенью деревьев, и по одну ее сторону лежит канал, а по другую — живописные пастбища. Да, идти было очень приятно.

— Ну, Дэви,— сказала она,— что там ни говорите, а надо вам как-то меня пристроить.

— Давайте решать,— сказал я,— и чем скорей, тем лучше. В Лейдене я получу деньги, об этом можно не беспокоиться. Только вот где устроить вас до приезда отца? Вчера вечером мне показалось, что вы не хотите расставаться со мной?

— Это вам не показалось,— сказала она.

— Вы еще так молоды,— сказал я,— и сам я совсем мальчишка. В этом самая большая помеха. Как же нам устроиться? Может быть, выдать вас за мою сестру?

— А почему бы и нет? — сказала она.— Конечно, если вы согласны!

— Если бы это была правда! — воскликнул я.— Я был бы счастлив иметь такую сестру. Но беда в том, что вы Катриона Драммонд.

— Ну и что ж, а теперь я буду Кэтрин Бэлфур,— сказала она.— Никто и не узнает. Ведь мы здесь совсем чужие.

— Ну, раз вы согласны, пускай так и будет,— сказал я.— Но, признаться, у меня сердце не на месте. Я буду очень раскаиваться, если нечаянно дал вам дурной совет.

— Дэвид, у меня нет здесь друга, кроме вас,— сказала она.

— Честно говоря, я слишком молод, чтобы быть вам другом,— сказал я.— Я слишком молод, чтобы давать вам советы, а вы — чтобы этих советов слушаться. Правда, я не вижу иного выхода, но все равно мой долг — вас предостеречь.

— У меня нет выбора,— сказала она.— Мой отец Джемс Мор дурно поступил со мной, и это уже не в первый раз. Я поневоле свалилась вам в руки, точно куль муки, и должна вам во всем повиноваться. Если вы берете меня к себе, прекрасно. Если же нет...— Она повернулась ко мне и коснулась моей руки.— Дэвид, я боюсь,— сказала она.

— Да ведь я только хотел вас предупредить...— начал я. И тут же вспомнил, что у меня есть деньги, а у нее нет, и не очень-то красиво быть скупым.— Катриона,— сказал я.— Поймите меня правильно: я только хочу выполнить свой долг перед вами, дорогая моя! Я приехал сюда, в чужой город, учиться и жить в одиночестве, а тут такой счастливый случай, вы хоть ненадолго можете поселиться вместе со мной как сестра. Понимаете ли вы, дорогая, какая это для меня радость, если вы будете со мною?

— И вот я с вами,— сказала она.— Так что все уладилось.

Я знаю, что должен был говорить с ней яснее. Знаю, что это легло на мое доброе имя пятном, за которое, к счастью, мне не пришлось расплачиваться еще дороже. Но я помнил, как задел ее намек на поцелуй в письме Барбары, и теперь, когда она зависела от меня, у меня не хватило смелости. Кроме того, право, я не видел, как иначе ее устроить, и, признаюсь, искушение было слишком велико.

Когда мы прошли Гаагу, Катриона начала хромать, и теперь каждый шаг, видимо, стоил ей огромного труда. Дважды ей приходилось садиться отдыхать на обочине, и она мило оправдывалась, называя себя позором горного края и своего клана и тяжким бременем для меня. Правда, сказала она, у нее есть оправдание: она не привыкла ходить обутая. Я уговаривал ее снять башмаки и чулки. Но она возразила, что в этой стране даже на проселочных дорогах ни одна женщина не ходит босиком.

— Я не должна позорить своего брата,— сказала она с веселым смехом, но по лицу было видно, как ей больно и трудно.

Придя в город, мы увидели парк, где дорожки были усыпаны чистым песком, а кроны, иногда подстриженные, порой сплетались ветвями, и всюду было множество красивых аллей и беседок. Там я оставил Катриону и один отправился разыскивать моего доверенного. Я взял у него денег в кредит и попросил указать мне какой-нибудь приличный тихий домик. Мой багаж еще не прибыл, сказал я ему и попросил предупредить об этом хозяев дома, а потом объяснил, что со мной ненадолго приехала моя сестра, которая будет вести у меня хозяйство, так что мне понадобятся две комнаты. Все

это звучало очень убедительно, но вот беда, мой родич мистер Бэлфур в своем рекомендательном письме обо всем сказал весьма подробно, однако ни словом не упомянул о сестре. Я видел, что это вызвало у голландца подозрения; и, уставясь на меня поверх огромных очков, этот тщедушный человечек, похожий на больного кролика, принялся с пристрастием меня допрашивать.

Тут меня охватил ужас. Допустим, он мне поверит (думал я), допустим, он согласится принять мою сестру в свой дом и я приведу ее. Ну и запутанный получится клубок, и все это может кончиться позором для девушки и для меня самого. Тогда я поспешно начал описывать ему нрав моей сестры. Оказалось, что она очень застенчивая и дичится чужих людей, поэтому я оставил ее в парке. Водоворот лжи захлестнул меня и, как это всегда бывает в подобных случаях, я погрузился в него гораздо глубже, чем было необходимо, присовокупив еще некоторые совсем уж излишние подробности о слабом здоровье мисс Бэлфур и о ее детстве, проведенном в одиночестве, но тут же устыдился и покраснел.

Обмануть старика мне не удалось, и он не прочь был от меня отделаться. Но как человек деловой, он помнил, что денег у меня немало, и, несмотря на мое сомнительное поведение, любезно дал мне в провожатые своего сына и велел ему помочь мне устроиться. Пришлось представить этому юноше Катриону. Бедняжка отдохнула, чувствовала себя лучше и держалась безукоризненно,— она взяла меня за руку и назвала братом, держась непринужденней меня самого. Одно было неприятно: стараясь помочь мне, она выказала голландцу слишком много любезности. И я поневоле подумал, что мисс Бэлфур вдруг преодолела свою застенчивость. А тут еще разница в нашей речи. У меня был протяжный говор жителя равнин; она же говорила, как все горцы, хоть и с некоторым английским акцентом, правда, гораздо более приятным, чем у самих англичан, и ее едва ли можно было назвать знатоком английской грамматики; таким образом, мы были слишком несхожи, чтобы счесть нас братом и сестрой. Но молодой голландец оказался тупым и настолько бесчувственным, что даже не заметил ее красоты и вызвал этим мое презрение. Он помог нам найти жилье и тотчас ушел, чем оказал нам еще бóльшую услугу.

ГЛАВА XXIV

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КНИГИ ГЕЙНЕКЦИУСА

Мы сняли верхний этаж дома, который выходил задами к каналу. Нам отвели две смежные комнаты, и в каждой, по голландскому обычаю, был высокий, чуть не до потолка, камин; из окон открывался один и тот же вид: макушка дерева, росшего на маленьком дворике, кусочек канала, домики в голландском стиле и церковный шпиль на другом берегу. Многочисленные колокола этой церкви звучали приятной музыкой; а в редкие ясные дни солнце светило прямо в окна обеих комнат. Из соседнего трактира нам приносили недурную еду.

В первый вечер оба мы были очень усталые, особенно Катриона. Мы почти не разговаривали, и, как только она поела, я велел ей лечь спать. Наутро я первым делом написал письмо Спротту, прося прислать ее вещи, а также несколько строк Алану на адрес вождя его клана; я отправил письма и, когда подали завтрак, разбудил Катриону. Она вышла в своем единственном платье, и я смутился, увидев на ее чулках дорожную грязь. Как выяснилось, ее вещи могли прибыть в Лейден лишь через несколько дней, а ей было необходимо переодеться. Сначала она ни за что не хотела согласиться на такие расходы; но я напомнил ей, что теперь она сестра богатого человека и должна достойно играть эту роль, а в первой же лавке она вошла во вкус, и глаза у нее разгорелись. Мне приятно было видеть, как наивно и горячо она радуется покупкам. Меня удивляло, что я и сам увлекся: мне все было мало, все казалось недостаточно красивым для нее, и я не уставал восхищаться ею в различных нарядах. Право же, я начал понимать мисс Грант, которая столько внимания уделяла туалетам; в самом деле, одевать красивую девушку — одно удовольствие! Кстати говоря, голландские ситцы необычайно дешевы и хороши; но мне стыдно признаться, сколько я уплатил за чулки. А всего я потратил на все эти прихоти — иначе их не назовешь — столько, что долго потом мне было совестно тратиться, и как бы в возмещение я почти ничего не купил из обстановки. Кровати у нас были, Катриона приоделась, в комнатах хватало света, я мог ее видеть, и наше жилье казалось мне просто роскошным.

Когда мы обошли все лавки, я проводил ее домой и оставил там вместе с покупками, а сам долго бродил в одиночестве и читал себе нравоучения. Вот я приютил, можно сказать, пригрел на своей груди юную красавицу, такую неискушенную, что ее всюду подстерегают опасности. После разговора со старым голландцем, когда мне пришлось прибегнуть ко лжи, я почувствовал, каким должно казаться со стороны мое поведение; а теперь, вспоминая свой недавний восторг и безрассудство, с которым я накупил столько ненужных вещей, я и сам понял, что поведение мое далеко не безупречно. Если бы у меня действительно была сестра, думал я, разве я решился бы так выставлять ее напоказ? Но такой вопрос показался мне слишком туманным, и я поставил его поиному: доверил бы я Катриону кому бы то ни было на свете? И, ответив себе на него, я весь вспыхнул. Ведь если сам я поневоле попал в сомнительное положение и вовлек в него девушку, тем безупречней я должен теперь себя вести. Без меня у нее не было бы ни крова, ни пропитания; и если я как-либо оскорблю ее чувства, уйти ей некуда. Я хозяин дома и ее покровитель; а поскольку у меня нет на это прав, тем менее будет мне простительно, если я воспользуюсь этим, пусть даже с самыми чистыми намерениями; ведь этот удобный для меня случай, которого ни один разумный отец не допустил бы даже на миг, самые чистые намерения делал бесчестными. Я понимал, что должен быть с Катрионой весьма сдержанным, и, однако же, не сверх меры: ведь если мне нельзя добиваться ее благосклонности, то я обязан всегда быть радушным хозяином. И, разумеется, тут необходимы такт и деликатность, едва ли свойственные моему возрасту. Но я безрассудно взялся за опасное дело, и теперь у меня был только один выход — держать себя достойно, пока весь этот клубок не распутается. Я составил себе свод правил поведения и молил бога дать мне силы соблюсти эти правила, а кроме того, приобрел вполне земное средство — учебник юриспруденции. Больше я ничего не мог придумать и отбросил прочь все мрачные размышления; сразу же в голове у меня начали бродить приятные мысли, и я поспешил домой, не чуя под собою ног. Когда я мысленно назвал это место домом и представил себе милую девушку, ждущую меня там, в четырех стенах, сердце сильней забилось у меня в груди.

Едва я вошел, начались мои мытарства. Она бросилась мне навстречу с нескрываемой радостью. К тому же она с головы до ног переоделась и была ослепительно хороша в купленных мною обновках; она ходила вокруг меня и низко приседала, а я должен был смотреть и восхищаться. Кажется, я был очень неучтив и едва выдавил из себя несколько слов.

— Что ж,— сказала она,— если вам не нравится мое красивое платье, поглядите, как я убрала наши комнаты.

В самом деле, комнаты были чисто подметены, и в обоих каминах пылал огонь.

Я воспользовался предлогом и напустил на себя суровость.

— Катриона,— сказал я,— знайте, я вами очень недоволен. Никогда больше ничего не трогайте в моей комнате. Пока мы здесь живем, один из нас должен быть хозяином. Эта роль подобает мне, потому что я мужчина и старший по возрасту. Вот вам мой приказ.

Она присела передо мной, и это, как всегда, получилось у нее удивительно мило.

— Если вы будете на меня сердиться, Дэви,— сказала она,— я призову на помощь свои хорошие манеры. Я буду вам покорна, как велит мне долг, потому что здесь все до последней мелочи принадлежит вам. Только уж не слишком сердитесь, потому что теперь у меня никого, кроме вас, нет.

Я не выдержал удара и в порыве раскаяния поспешил испортить все впечатление, которое должна была произвести моя нравоучительная речь. Это было куда легче: я словно катился вниз с горы, а она с улыбкой мне помогала; сидя у пылающего камина, она бросала на меня нежные взгляды, ободряюще кивала мне, и сердце мое совсем растаяло. За ужином мы оба веселились и были заботливы друг к другу; мы как бы слились воедино, и наш смех звучал ласково.

А потом я вдруг вспомнил о своем благом решении и, оставив ее под каким-то неуклюжим предлогом, хмуро уселся читать. Я купил весьма содержательную и поучительную книгу покойного доктора Гейнекциуса, решив усердно проштудировать ее в ближайшие дни, и теперь часто радовался, что никто не допытывается у меня, о чем я читаю. Катриона, видно, очень обиделась, и это меня огорчило. В самом деле, я оставил ее совсем одну,

а ведь она едва умела читать, и у нее никогда не было книг. Но что мне было делать?

Весь остаток вечера мы едва перемолвились словом. Я проклинал себя. От злости и раскаяния я не мог улежать в постели и всю ночь ходил взад-вперед по комнате, шлепая по полу босыми ногами, пока не окоченел совершенно, потому что огонь в камине погас, а мороз был сильный. Я думал о том, что она в соседней комнате и, может быть, даже слышит мои шаги, вспоминал, что я плохо с ней обошелся и что впредь мне придется вести себя столь же сухо и неприветливо, иначе меня ждет позор, и едва не сошел с ума. Я словно очутился между Сциллой и Харибдой. «Что она обо мне думает?» — эта мысль смягчала мою душу и наполняла ее слабостью. «Что с нами станется?» — при этой мысли я вновь преисполнялся решимости. Это была моя первая бессонная ночь, во время которой меня не покидало чувство раздвоенности, а впереди было еще много таких ночей, когда я, словно обезумев, метался по комнате и то плакал, как ребенок, то молился, надеюсь, как христианин.

Но молиться легко, куда труднее что-либо сделать. Когда она была рядом и, особенно, если я допускал малейшую непринужденность в наших отношениях, оказывалось, что я почти не властен над последствиями. Но сидеть весь день в одной комнате с ней и притворяться, будто я поглощен Гейнекциусом, было свыше моих сил. Поэтому я прибег к другому средству и старался как можно меньше бывать дома; я занимался на стороне и исправно посещал лекции, часто почти не слушая,— в одной тетрадке я на днях нашел запись, прерванную на том месте, где я перестал слушать поучительную лекцию и принялся кропать какие-то скверные стишки, хотя латинский язык, на котором они написаны, гораздо лучше, чем я мог ожидать. Но, увы, при этом я терял не меньше, чем выигрывал. Правда, я реже подвергался искушению, но, как мне кажется, искушение это с каждым днем становилось все сильней. Ведь Катриона, так часто остававшаяся в одиночестве, все больше радовалась моему приходу, и вскоре я уже едва мог сопротивляться. Я вынужден был грубо отвергать ее дружеские чувства, и порой это ранило ее так жестоко, что мне приходилось отбрасывать суровость и стараться загладить ее лаской. Так проходила наша жизнь, среди радостей и огорчений,

размолвок и разочарований, которые были для меня, да простится мне такое кощунство, едва ли не страшнее распятия.

Всему виной была полнейшая неискушенность Катрионы, которая не столько удивляла меня, сколько вызывала жалость и восторг. Она, по-видимому, совсем не задумывалась о нашем положении, не замечала моей внутренней борьбы; она радовалась всякой моей слабости, а когда я вновь бывал вынужден отступить, не всегда скрывала огорчение. Порой я думал про себя: «Если б она была влюблена по уши и хотела женить меня на себе, она едва ли стала бы вести себя иначе». И я не уставал удивляться женской простоте, чувствуя в такие минуты, что я, рожденный женщиной, недостоин этого.

В этой войне между нами особенное, необычайно важное значение приобрели платья Катрионы. Мои вещи вскоре прибыли из Роттердама, а ее — из Гелвоэта. Теперь у нее были, можно сказать, два гардероба, и как-то само собой разумелось (до сих пор не знаю, откуда это пошло), что, когда Катриона была ко мне расположена, она надевала платья, купленные мной, а в противном случае — свои старые. Таким образом, она как бы наказывала меня, лишая своей благодарности; и я очень огорчался, но все же у меня хватало ума делать вид, будто я ничего не замечаю.

Правда, однажды я позволил себе ребяческую выходку, которая была еще нелепей ее причуд; вот как это случилось. Я шел с занятий, полный мыслей о ней, в которых любовь смешивалась с досадой, но мало-помалу досада улеглась; увидев в витрине редкостный цветок из тех, что голландцы выращивают с таким искусством, я не устоял перед соблазном и купил его в подарок Катрионе. Не знаю, как называется этот цветок, но он был розового цвета, и я, надеясь, что он ей понравится, принес его, исполненный самых нежных чувств. Когда я уходил, она была в платье, купленном мной, но к моему возвращению переоделась, лицо ее стало замкнутым, и тогда я окинул ее взглядом с головы до ног, стиснул зубы, распахнул окно и выбросил цветок во двор, а потом, сдерживая ярость, выбежал вон из комнаты и хлопнул дверью.

Сбегая с лестницы, я чуть не упал, и это заставило меня опомниться, так что я сам понял всю глупость сво-

его поведения. Я хотел было выйти на улицу, но вместо этого пошел во двор, пустынный, как всегда, и там на голых ветвях дерева увидел свой цветок, который обошелся мне гораздо дороже, чем я уплатил за него лавочнику. Я остановился на берегу канала и стал смотреть на лед. Мимо меня катили на коньках крестьяне, и я им позавидовал. Я не находил выхода из положения: мне нельзя было даже вернуться в комнату, которую я только что покинул. Теперь уж не оставалось сомнений в том, что я выдал свои чувства, и, что еще хуже, позволил себе неприличную и притом мальчишески грубую выходку по отношению к беспомощной девушке, которую приютил у себя.

Должно быть, она следила за мной через открытое окно. Мне казалось, что я простоял во дворе совсем недолго, как вдруг послышался скрип шагов по мерзлому снегу, и я, недовольный, что мне помешали, резко обернулся и увидел Катриону, которая шла ко мне. Она снова переоделась вся, вплоть до чулок со стрелками.

— Разве мы сегодня не пойдем на прогулку? — спросила она.

Я видел ее как в тумане.

— Где ваша брошь? — спросил я.

Она поднесла руку к груди и густо покраснела.

— Ах, я совсем забыла! — сказала она.— Сейчас сбегаю наверх и возьму ее, а потом мы пойдем погуляем, хорошо?

В ее словах слышалась мольба, и это поколебало мою решимость; я не знал, что сказать, и совершенно лишился дара речи; поэтому я лишь кивнул в ответ; а как только она ушла, я залез на дерево, достал цветок и преподнес ей, когда она вернулась.

— Это вам, Катриона,— сказал я.

Она приколола цветок к груди брошью, как мне показалось, с нежностью.

— Он немного пострадал от моего обращения,— сказал я и покраснел.

— Мне он от этого не менее дорог, уверяю вас,— отозвалась она.

В тот день мы почти не разговаривали; она была сдержанна, хотя говорила со мной ласково. Мы долго гуляли, а когда вернулись домой, она поставила мой цветок в вазочку с водой, и все это время я думал о том, как непостижимы женщины. То мне казалось чудовищной глупостью, что она не замечает моей любви, то я решал, что она, конечно, давным-давно все поняла, но природный ум и свойственное женщине чувство приличия заставляют ее скрывать это.

Мы с ней гуляли каждый день. На улице я чувствовал себя уверенней; моя настороженность ослабевала и, главное, под рукой у меня не было Гейнекциуса. Благодаря этому наши прогулки приносили мне облегчение и радовали бедную девочку. Когда я в назначенный час приходил домой, она уже бывала одета и заранее сияла. Она старалась растянуть эти прогулки как можно дольше и словно бы боялась (как и я сам) возвращаться домой; едва ли найдется хоть одно поле или берег в окрестностях Лейдена, хоть одна улица или переулок в городе, где мы с ней не побывали бы. В остальное время я велел ей не выходить из дома, боясь, как бы она не встретила кого-нибудь из знакомых, что сделало бы наше положение крайне затруднительным. Из тех же опасений я ни разу не позволил ей пойти в церковь и не ходил туда сам; вместо этого мы молились дома, как мне кажется, вполне искренне, хотя и с различными чувствами. Право, ничто так не трогало меня, как эта возможность встать рядом с ней на колени, наедине с богом, словно мы были мужем и женой.

Однажды пошел сильный снег. Я решил, что нам незачем идти на прогулку в такую погоду, но, придя домой, с удивлением обнаружил, что она уже одета и ждет меня.

— Все равно я непременно хочу погулять! — воскликнула она.— Дэви, дома вы никогда не бываете хорошим. А когда мы гуляем, вы лучше всех на свете. Давайте будем всегда бродить по дорогам, как цыгане.

То была лучшая из всех наших прогулок; валил снег, и она тесно прижималась ко мне: снег оседал на нас и таял, капли блестели на ее румяных щеках, как слезы, и скатывались прямо в смеющийся рот. Глядя на нее, я чувствовал себя могучим великаном, мне казалось, что я мог бы подхватить ее на руки и бегом понести хоть на край света, и мы болтали без умолку так непринужденно и нежно, что я сам не мог этому поверить.

Когда мы вернулись домой, было уже темно. Она прижала мою руку к своей груди.

— Благодарю вас за эти чудесные часы! — сказала она с чувством.

Эти слова меня встревожили, и я тотчас насторожился; так что, когда мы вошли и зажгли свет, она снова увидела суровое и упрямое лицо человека, прилежно штудировавшего Гейнекциуса. Вполне естественно, что это ее уязвило более обычного, и мне самому труднее обычного было держать ее на расстоянии. Даже за ужином я не решился дать себе волю и почти не смотрел на нее, а, встав из-за стола, сразу уселся читать своего законника, но был даже рассеянней прежнего и понимал еще меньше, чем всегда. Сидя над книгой, я, казалось, слышал, как бьется мое сердце, словно часы с недельным заводом. И хотя я притворялся, будто усердно читаю, все же, прикрываясь книгой, я поглядывал на Катриону. Она сидела на полу возле моего сундука, огонь камина озарял ее, дрожа и мерцая, и вся она порой темнела, а порой как бы вспыхивала дивными красками. Она то смотрела на огонь, то переводила взгляд на меня; в эти мгновения я сам казался себе чудовищем и лихорадочно листал книгу Гейнекциуса, как богомолец, который ищет в церкви текст из Библии.

Вдруг она громко сказала:

— Ах, почему мой отец все не едет?

И разразилась слезами.

Я вскочил, швырнул Гейнекциуса в огонь, бросился к Катрионе и обнял ее плечи, дрожавшие от рыданий.

Она резко оттолкнула меня.

— Вы не любите свою подружку,— сказала она.— Если бы вы хоть мне позволили вас любить, я была бы так счастлива! — И прибавила: — Ах, за что вы меня так ненавидите!

— Ненавижу вас! — повторил я.— Да разве вы слепы, что не можете ничего прочесть в моем несчастном сердце? Неужели вы думаете, что, сидя над этой дурацкой книжкой, которую я только что сжег, будь она трижды проклята, я думал хоть о чем-нибудь, кроме вас? Сколько вечеров я чуть не плакал, видя, как вы сидите в одиночестве! Но что мне было делать? Вы здесь под охраной моей чести. Неужели в этом моя вина перед вами? Неужели вы оттолкнете своего любящего и преданного слугу?

При этих словах она быстрым, едва уловимым движением прильнула ко мне. Я заставил ее поднять лицо

и поцеловал, а она, крепко обнимая меня, склонила голову ко мне на грудь. Все закружилось у меня перед глазами, как у пьяного. И тут я услышал ее голос, очень тихий, приглушенный моей одеждой.

— А вы правда поцеловали ее? — спросила она.

Я до того изумился, что даже вздрогнул.

— Кого? Мисс Грант? — воскликнул я в сильнейшем замешательстве.— Да, я попросил ее поцеловать меня на прощание, и она согласилась.

— Ну и пусть! — сказала она.— Что ни говорите, вы и меня поцеловали тоже.

Услышав это непривычное, нежное слово, я понял, как глубоко мы пали; я поднялся и заставил встать Катриону.

— Нет, это невозможно,— сказал я.— Это никак невозможно! Ах, Кэтрин, Кэтрин! — Я замолчал, не в силах произнести ни слова.— Идите спать,— вымолвил я наконец.— Оставьте меня одного.

Она повиновалась мне, как ребенок, но вдруг остановилась в дверях.

— Спокойной ночи, Дэви! — сказала она.

— Да, да, спокойной ночи, любовь моя! — воскликнул я и в бурном порыве снова схватил ее, едва не задушив в объятиях. Но уже через мгновение я втолкнул Катриону в ее комнату, резко захлопнул дверь и остался один.

Теперь поздно было жалеть о сделанном; я сказал заветное слово, и она знала все. Как последний негодяй, я бесчестным путем привязал к себе эту бедняжку; она была совершенно в моих руках, такая хрупкая, беспомощная, и от меня зависело сберечь ее или погубить; но какое оружие оставалось у меня для самообороны; Гейнекциус, испытанный мой защитник, сгорел в камине, и это было знаменательно. Меня мучило раскаяние, но все же, положа руку на сердце, я не мог обвинить себя ни в чем. Просто немыслимо было воспротивиться ее наивной смелости или устоять перед ее слезами. Все, что я мог бы привести в свое оправдание, только отягчало мою вину,— так беззащитна она была и столько преимуществ давало мне мое положение.

Что же с нами теперь будет? По-видимому, нам нельзя больше жить под одной крышей. Но куда же мне деваться? А ей? Коварная судьба привела нас в эту квар-

тирку, не оставив нам выбора, хотя мы ни в чем не были повинны. Мне вдруг пришла в голову безумная мысль жениться на ней теперь же, но в следующий же миг я с отвращением ее отбросил. Ведь Катриона — еще ребенок, она сама не понимает своих чувств; я захватил ее врасплох, в минуту слабости, но не вправе этим воспользоваться; я обязан не только сберечь ее доброе имя, но и оставить ей прежнюю свободу.

Я в задумчивости сидел у камина, терзаемый раскаянием, и напрасно ломал себе голову в поисках хоть какого-нибудь выхода. К исходу второго часа ночи в камине осталось всего три тлеющих угля, наш дом спал, как и весь город, и вдруг я услышал в соседней комнате тихий плач. Бедняжка, она думала, что я сплю; она сожалела о своей слабости, быть может, упрекала себя в нескромности (о господи!) и пыталась глухой ночью утешиться слезами. Нежность, ожесточение, любовь, раскаяние и жалость боролись в моей душе; я решил, что обязан ее утешить.

— Ах, постарайтесь простить меня! — воскликнул я.— Молю вас, постарайтесь! Забудем это, постараемся все, все забыть!

Ответа не было, но рыдания смолкли. Я долго еще стоял, стиснув руки; наконец от ночного холода меня пробрала дрожь, и я словно бы опомнился.

«Ты не можешь этим воспользоваться, Дэви,— сказал я себе.— Ложись-ка спать, будь разумен и постарайся уснуть. Завтра ты что-нибудь придумаешь».

ГЛАВА XXV

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕМСА МОРА

Поздно утром меня пробудил от беспокойного сна стук в дверь; я вскочил и, открыв ее, чуть не упал в обморок от нахлынувших на меня противоречивых и мучительных чувств: на пороге в грубом дорожном плаще и невообразимо большой шляпе с позументом стоял Джемс Мор.

Казалось, мне бы только радоваться, потому что этот человек явился как бы в ответ на мою молитву. Ведь я до изнеможения твердил себе, что нам с Катрионой необходимо расстаться, ломал себе голову, изыскивая к

этому средство. И вот оно явилось само, но я ничуть не обрадовался. Нельзя не принять во внимание, что, хотя приход этого человека снимал с меня бремя заботы о будущем, настоящее показалось мне тем более мрачным и зловещим; и в первый миг я, очутившись перед ним в одном белье, отскочил, словно в меня выстрелили.

— Ну вот,— сказал он.— Я нашел вас, мистер Бэлфур.— И он протянул мне большую, красивую руку, а я снова подошел к двери, словно решился преградить ему путь, и не без колебания ответил на его рукопожатие.— Просто удивительно, как наши пути сходятся,— продолжал он.— Я должен извиниться перед вами за бесцеремонное вторжение, так уж все получилось, потому что я положился на этого лицемера Престонгрэнджа. Мне стыдно признаться вам, что я поверил крючкотвору.— Он легкомысленно пожал плечами, будто заправский француз.— Но право же, этот человек умеет к себе расположить,— сказал он.— Итак, оказывается, вы благородно помогли моей дочери. Меня послали к вам, когда я стал ее разыскивать.

— Мне кажется, сэр,— с трудом выдавил я из себя,— нам необходимо объясниться.

— Что-нибудь неладно? — спросил он.— Мой доверенный мистер Спротт...

— Ради бога, говорите потише! — перебил я.— Она не должна ничего слышать, пока мы с вами не объяснимся.

— Разве она здесь? — вскричал Джемс.

— Вот за этой дверью, в соседней комнате,— ответил я.

— И вы живете с ней вдвоем? — спросил он.

— А кто еще стал бы жить с нами? — воскликнул я.

Справедливость требует признать, что он все-таки побледнел.

— Это довольно странно...— пробормотал Джемс,— довольно странное обстоятельство. Вы правы, нам надо объясниться.

С этими словами он прошел мимо меня, и надо сказать, в этот миг старый бродяга был исполнен достоинства. Только теперь он окинул взглядом мою комнату, и сам я увидел ее, так сказать, его глазами. Утреннее солнце освещало ее сквозь оконное стекло; здесь были только кровать, сундук, тазик для умывания, разбросанная в беспорядке одежда и холодный камин; без сомнения,

комната выглядела неприютной и пустой, это было нищенское жилье, меньше всего подходившее для молодой леди. В тот же миг я вспомнил о нарядах, которые накупил для Катрионы, и подумал, что это соседство бедности и расточительства должно выглядеть прескверно.

Он поискал глазами, где бы сесть, и, не найдя ничего более подходящего, присел на край моей кровати, я закрыл дверь и поневоле вынужден был сесть рядом с ним. Чем бы ни кончился этот необычайный разговор, мы должны были постараться не разбудить Катриону; а для этого приходилось сидеть рядом и говорить вполголоса. Невозможно описать, какое зрелище мы с ним представляли: он был в плаще, далеко не лишнем в моей холодной комнате, я же дрожал в одном белье; он держался как судья, а я (не знаю уж, какой у меня был при этом вид) чувствовал себя словно перед Страшным судом.

— Ну? — сказал он.

— Ну...— начал я и запнулся, не зная, что еще сказать.

— Так вы говорите, она здесь? — спросил он с заметным нетерпением, и это меня ободрило.

— Да, она в этом доме,— сказал я,— и я знал, что это всякому покажется необычным. Но не забудьте, как необычна вся эта история с самого начала. Молодая леди очутилась на побережье Европы с двумя шиллингами и тремя полпенни. У нее был адрес этого Спротта в Гелвоэте. Вот вы назвали его своим доверенным. А я могу сказать только одно: он ничем ей не помог, а едва я упомянул ваше имя, начал браниться, и мне пришлось уплатить ему из своего кармана, чтобы он хотя бы взял на хранение ее вещи. Вы говорите о странных обстоятельствах, мистер Драммонд, если вам угодно, чтобы вас называли именно так. Вот обстоятельства, в которых очутилась ваша дочь, и я считаю, что подвергнуть ее такому испытанию было жестоко.

— Этого-то я как раз и не пойму,— сказал Джемс.— Моя дочь была вверена попечению почтенных людей, только я позабыл их фамилию.

— Джебби,— подсказал я.— Без сомнения, мистер Джебби должен был высадиться вместе с ней в Гелвоэте Но он не сделал этого, мистер Драммонд, и мне кажется, вы должны благодарить бога, что я оказался там и мог его заменить.

— С мистером Джебби я вскоре потолкую самым серьезным образом,— сказал он.— Что же касается вас, то, сдается мне, вы слишком молоды, чтобы занять его место.

— Но ведь никого другого не было, приходилось выбирать: или я, или никто! — воскликнул я.— Никто, кроме меня, не предложил свои услуги, и, кстати сказать, вы не слишком мне за это благодарны.

— Я воздержусь от благодарности, пока не узнаю несколько подробнее, чем именно я вам обязан,— сказал он.

— Ну, это, мне кажется, понятно с первого взгляда,— сказал я.— Вашу дочь покинули, попросту бросили в Европе на произвол судьбы всего с двумя шиллингами, причем она не знала ни слова на тех языках, на которых здесь можно объясниться. Забавно, нечего сказать! Я привез ее сюда. Я назвал ее своей сестрой и относился к ней с братской любовью. Все это стоило мне недешево, но не будем говорить о деньгах. Я глубоко уважаю эту молодую леди и старался охранить ее доброе имя, однако, право же, было бы смешно, если бы мне пришлось расхваливать ее перед ее же отцом.

— Вы еще молоды...— начал Джемс.

— Это я уже слышал,— с досадой перебил я.

— Вы еще очень молоды,— повторил он,— иначе вы поняли бы, насколько серьезным был такой шаг.

— Вам легко это говорить! — воскликнул я.— А что̀ мне было делать? Конечно, я мог бы нанять какую-нибудь почтенную бедную женщину, чтобы она поселилась с нами, но, поверьте, эта мысль только сейчас пришла мне в голову. Да и где мне было найти такую женщину, если сам я здесь чужой? Кроме того, позвольте вам заметить, мистер Драммонд, что это стоило бы денег. А мне и без того пришлось дорого заплатить за ваше пренебрежение к дочери, и объяснить его можно только одним — вы не любите ее, вы равнодушны к ней, иначе вы не потеряли бы ее.

— Тот, кто сам не безгрешен, не должен осуждать других,— сказал он.— Прежде всего мы разберем поведение мисс Драммонд, а потом уж будем судить ее отца.

— В эту ловушку вам меня не заманить,— сказал я.— Честь мисс Драммонд безупречна, и ее отцу следовало бы это знать. И моя честь, смею вас заверить, тоже. У вас есть только два пути. Либо вы поблагодари-

те меня, как принято между порядочными людьми, и мы прекратим этот разговор. Либо, если вы все еще не удовлетворены, возместите мне все мои расходы — и делу конец.

Он успокоительно помахал рукой.

— Ну, ну! — сказал он.— Вы слишком торопитесь, мистер Бэлфур. Хорошо, что я давно уже научился терпению. И, кроме того, вы, кажется, забываете, что мне еще нужно повидаться с дочерью.

Услышав эти слова и видя, как он весь переменился, едва я упомянул о деньгах, я почувствовал облегчение.

— Если вы позволите мне одеться в вашем присутствии, я думаю, мне уместнее всего будет уйти и тогда вы сможете поговорить с ней наедине,— сказал я.

— Буду вам весьма признателен,— сказал он. Сомнений быть не могло: он сказал это вежливо.

«Что ж, тем лучше»,— подумал я, надевая штаны, и, вспомнив, как бесстыдно попрошайничал этот человек у Престонгрэнджа, решил довершить свою победу.

— Если вы намерены какое-то время пробыть в Лейдене,— сказал я,— эта комната в полном вашем распоряжении, для себя же я без труда найду другую. Так будет меньше всего хлопот: переехать придется одному мне.

— Право, сэр,— сказал он, выпятив грудь,— я не стыжусь своей бедности, до которой дошел на королевской службе. Не скрою, дела мои крайне запутаны, и сейчас я просто не могу никуда уехать.

— В таком случае,— сказал я,— надеюсь, вы окажете мне честь и согласитесь быть мои гостем до тех пор, пока не сможете связаться со своими друзьями!

— Сэр,— сказал он,— когда мне делают такое предложение от чистого сердца, я считаю за честь ответить с таким же чистосердечием. Вашу руку, мистер Дэвид. Я глубоко уважаю таких людей, как вы: вы из тех, от кого благородный человек может принять одолжение, и довольно об этом. Я старый солдат,— продолжал он, с явным отвращением оглядывая мою комнату,— и вам нечего бояться, что я буду для вас в тягость. Я слишком часто ел, сидя на краю придорожной канавы, пил из лужи и не имел иного крова над головой, кроме ненастного неба.

— Кстати, обычно в этот час нам приносят завтрак,— заметил я.— Пожалуй, я зайду в трактир, велю

приготовить завтрак на троих и подать его на час позже обычного, а вы тем временем поговорите с дочерью.

Мне показалось, что при этом ноздри его дрогнули.

— Целый час? — сказал он.— Это, пожалуй, слишком много. Вполне достаточно и получаса, мистер Дэвид, или, скажем, двадцати минут. Кстати,— добавил он, удерживая меня за рукав,— что вы пьете по утрам: эль или вино?

— Откровенно говоря, сэр, я не пью ничего, кроме простой холодной воды,— ответил я.

— Ай-ай,— сказал он,— да ведь этак вы совсем испортите себе желудок, поверьте старому вояке. Конечно, простое деревенское вино, какое пьют у вас на родине, полезнее всего, да только здесь его не достанешь, так что рейнское или белое бургундское будет, пожалуй, лучше всего.

— Я позабочусь о том, чтобы вам принесли вина,— сказал я.

— Превосходно! — воскликнул Джемс.— Мы еще сделаем из вас мужчину, мистер Дэвид.

К этому времени я уже больше не питал к нему неприязни, и у меня лишь мелькнула странная мысль о том, какой тесть из него получится. Главная моя забота была о его дочери, которую нужно было как-то предупредить о его приходе. Я подошел к двери, постучал и крикнул:

— Мисс Драммонд, вот наконец-то приехал ваш отец!

Затем я отправился в трактир, сильно повредив себе этими словами.

ГЛАВА XXVI
ВТРОЕМ

Предоставляю другим судить, так ли уж я виноват или скорее заслуживаю жалости. Но когда я имею дело с женщинами, моя проницательность, вообще-то довольно острая, мне изменяет. Конечно, в тот миг, когда я разбудил Катриону, я думал главным образом о том, какое впечатление это произведет на Джемса Мора; и когда я вернулся и мы все трое сели завтракать, я тоже держался с девушкой почтительно и отчужденно, и мне до сих пор кажется, что это было самое разумное. Ее отец усомнился в чистоте моих дружеских чувств к ней,

и я должен был прежде всего рассеять его сомнения. Но и у Катрионы есть оправдание. Только накануне нас обоих охватил порыв любви и нежности, мы держали друг друга в объятиях; потом я грубо оттолкнул ее от себя; я взывал к ней среди ночи из другой комнаты; долгие часы она провела без сна, в слезах и, уж наверно, думала обо мне. И вот в довершение всего я разбудил ее, назвав мисс Драммонд, от чего она успела отвыкнуть, а теперь держался с нею отчужденно и почтительно и ввел ее в совершеннейшее заблуждение относительно моих истинных чувств; она поняла все это превратно и вообразила, будто я раскаиваюсь и намерен отступить!

Вся беда вот в чем: я с той самой минуты, как завидел огромную шляпу Джемса Мора, думал только о нем, о его приезде и его подозрениях, Катриона же была безразлична ко всему этому, можно сказать, едва это замечала — все ее мысли и поступки связывались с тем, что произошло между нами накануне. Отчасти это объяснялось ее наивностью и смелостью; отчасти же тем, что Джемс Мор, то ли потому, что он ничего не добился в разговоре со мной, то ли предпочитая помалкивать после моего приглашения, не сказал ей об этом ни слова. И за завтраком оказалось, что мы совершенно не поняли друг друга. Я ждал, что она наденет старое свое платье; она же, словно забыв о присутствии отца, нарядилась во все лучшее, что я купил для нее и что, как она знала (или предполагала), мне особенно нравилось. Я ждал, что она вслед за мной притворится отчужденной и будет держаться как можно осторожней и суше; она же была исполнена самых бурных чувств, глаза ее сияли, она произносила мое имя с проникновенной нежностью, то и дело вспоминала мои слова или желания, предупредительно, как жена, у которой нечиста совесть.

Но это длилось недолго. Увидев, что она так пренебрегает собственными интересами, которые я сам подверг опасности, но теперь пытался оградить, я подал ей пример и удвоил свою холодность. Чем дальше она заходила, тем упорней я отступал; чем непринужденней она держалась, тем учтивей и почтительней становился я, так что даже ее отец, не будь он так поглощен едой, мог бы заметить эту разницу. А потом вдруг она совершенно переменилась, и я с немалым облегчением решил, что она наконец поняла мои намеки.

Весь день я был на лекциях, а потом искал себе новое жилье; с раскаянием думая, что приближается час нашей обычной прогулки, я все-таки радовался, что руки у меня развязаны, потому что девушка снова под надежной опекой, отец ее доволен или по крайней мере смирился, а сам я могу честно и открыто добиваться ее любви. За ужином, как всегда, больше всех говорил Джемс Мор. Надо признать, говорить он умел, хотя ни одному его слову нельзя было верить. Но вскоре я расскажу о нем подробнее. После ужина он встал, надел плащ и, глядя (как мне казалось) на меня, сказал, что ему надо идти по делам. Я принял это как намек, что мне тоже пора уходить, и встал; но Катриона, которая едва поздоровалась со мной, когда я пришел, смотрела на меня широко открытыми глазами, словно просила, чтобы я остался. Я стоял между ними, чувствуя себя как рыба, выброшенная из воды, и переводил взгляд с одного на другую; оба словно не замечали меня: она опустила глаза в пол, а он застегивал плащ, и от этого мое замешательство возросло еще больше. Притворное спокойствие Катрионы означало, что в ней кипит негодование, которое вот-вот вырвется наружу. Безразличие Джемса встревожило меня еще больше: я был уверен, что надвигается гроза, и, полагая, что главная опасность таится в Джемсе Море, я повернулся к нему и, так сказать, отдался на его милость.

— Не могу ли я быть вам полезным, мистер Драммонд? — спросил я.

Он подавил зевок, который я опять-таки счел притворным.

— Что ж, мистер Дэвид,— сказал он,— раз уж вы так любезны, что сами предлагаете, покажите мне дорогу в трактир (он сказал название), я надеюсь там найти одного боевого товарища.

Больше говорить было не о чем, и я, взяв шляпу и плащ, приготовился проводить его.

— А ты,— сказал он дочери,— ложись-ка спать. Я вернусь поздно. Кто рано ложится и рано встает, тому бог красоту и здоровье дает.

Он нежно поцеловал ее и пропустил меня в дверь первым. Мне показалось, что он это сделал нарочно, чтобы мы с Катрионой не могли ничего сказать друг другу на прощание; но я заметил, что она не смотрела

на меня, и приписал это ее страху перед Джемсом Мором.

До того трактира было довольно далеко. По пути Джемс без умолку болтал о вещах, которые меня вовсе не интересовали, а у двери рассеянно простился со мной. Я пошел на свою новую квартиру, где не было даже камина, чтобы согреться, и остался там наедине со своими мыслями. Они еще были спокойны — мне в голову не приходило, что Катриона ожесточилась против меня. Мне казалось, что мы с ней как бы связаны обетом; слишком близки мы стали друг другу, слишком пылкими словами обменялись, чтобы нам теперь разлучиться, а тем более из-за простой уловки, к которой поневоле пришлось прибегнуть. Больше всего меня печалило, что у меня будет тесть, который мне совсем не по вкусу, и я думал о том, скоро ли мне придется поговорить с ним о некоторых щекотливых делах. Во-первых, я краснел до корней волос, вспоминая о своей крайней молодости, и чуть ли не готов был отступить; но я знал, что, если дать отцу с дочерью уехать из Лейдена, не высказав моих чувств к ней, я могу потерять ее навсегда. И, во-вторых, нельзя было пренебречь нашим весьма необычным положением, а также тем, что мои утренние объяснения навряд ли удовлетворили Джемса Мора. В конце концов я решил, что лучше всего повременить, но не слишком долго, и лег в свою холодную постель со спокойной душой.

На другой день, видя, что Джемс Мор не слишком доволен моей комнатой, я предложил купить кое-какую мебель; а днем, когда я пришел с носильщиками, которые несли стулья и столы, я снова застал девушку одну. Она учтиво поздоровалась со мной, но сразу же ушла к себе и закрыла дверь. Я сделал распоряжения, уплатил носильщикам и громким голосом отпустил их, надеясь, что она сразу же выйдет поговорить со мной. Я подождал немного, потом постучал в дверь.

— Катриона! — позвал я.

Дверь отворилась мгновенно, прежде чем я успел произнести ее имя: должно быть, она стояла у порога и прислушивалась. Некоторое время она молчала, но лицо у нее было такое, что я и описать не берусь; казалось, ее постигло страшное несчастье.

— Разве мы и сегодня не пойдем гулять? — спросил я, запинаясь.

— Премного вам благодарна,— сказала она.— Теперь, когда приехал мой отец, эти прогулки мне ни к чему.

— Но, кажется, он ушел и оставил вас одну,—сказал я.

— А мне кажется, это дурно — так говорить со мной,— отвечала она.

— У меня не было дурных намерений,— отвечал я.— Но что вас огорчает, Катриона? Чем я вас обидел, почему вы отворачиваетесь от меня?

— Я вовсе от вас не отворачиваюсь,— сказала она, тщательно подбирая слова.— Я всегда буду благодарна другу, который делал мне добро. И всегда останусь ему другом во всем. Но теперь, когда вернулся мой отец Джемс Мор, многое переменилось, и мне кажется, некоторые слова и поступки лучше забыть. Но я всегда останусь вам другом, и если бы не все это... если бы... Но вам ведь это безразлично! И все равно я не хочу, чтобы вы слишком строго судили меня. Вы правду сказали, я слишком молода, мне бесполезно давать советы, и, надеюсь, вы не забудете, что я еще ребенок. Только все равно я не хочу потерять вашу дружбу.

Начав говорить, она была бледна как смерть, но, прежде чем она кончила, лицо ее раскраснелось, и не только ее слова, но и лицо и дрожащие руки как бы молили о снисходительности. И я впервые понял, как ужасно я поступил: ведь я поставил бедную девочку в столь тяжкое положение, воспользовавшись ее минутной слабостью, которой она теперь стыдилась.

— Мисс Драммонд,— начал я, но запнулся и снова повторил это обращение.— Ах, если б вы могли читать в моем сердце! — воскликнул я.— Вы прочли бы там, что уважение мое к вам ничуть не меньше прежнего. Я бы даже сказал, что оно стало больше, но это попросту невозможно. Просто мы совершили ошибку, и вот ее неизбежные плоды, и чем меньше мы станем говорить об этом, тем лучше. Клянусь, я больше никогда ни единым словом не обмолвлюсь о том, как мы тут жили. Я поклялся бы, что даже не вспомню об этом, но это воспоминание всегда будет мне дорого. И я вам такой верный друг, что готов за вас умереть.

— Благодарю вас,— сказала она.

Мы постояли немного молча, и я почувствовал острую жалость к себе, которую не мог побороть: все мои

мечты так безнадежно рухнули, любовь моя осталась безответной, и опять, как прежде, я один на свете.

— Что ж,— сказал я,— без сомнения, мы всегда будем друзьями. Но в то же время мы с вами прощаемся... Да, все же мы прощаемся... Я сохраню дружбу с мисс Драммонд, но навеки прощаюсь с моей Катрионой.

Я взглянул на нее; глаза мои застилал туман, но мне показалось, что она вдруг стала словно выше ростом и вся засветилась; и тут я, видно, совсем потерял голову, потому что выкрикнул ее имя и шагнул к ней, простирая руки.

Она отшатнулась, словно от удара, и вся вспыхнула, а я весь похолодел, терзаемый раскаянием и жалостью. Я не нашел слов, чтобы оправдаться, а лишь низко поклонился ей и вышел из дома; душа моя разрывалась на части.

Дней пять прошло без каких-либо перемен. Я видел ее лишь мельком, за столом, и то, разумеется, в присутствии Джемса Мора. Если же мы хоть на миг оставались одни, я считал своим долгом держаться холодно, окружая ее почтительным вниманием, потому что не мог забыть, как она отшатнулась и покраснела; эта сцена неотступно стояла у меня перед глазами, и мне было так жалко девушку, что никакими словами не выразить. И себя мне тоже было жалко, это само собой разумеется,— ведь я в несколько секунд, можно сказать, потерял все, что имел; но, право же, я жалел девушку не меньше, чем себя, и даже нисколько на нее не сердился, разве только иногда, под влиянием случайного порыва. Она правду сказала — ведь она еще совсем ребенок, с ней обошлись несправедливо, и если она обманула себя и меня, то иного нельзя было и ожидать.

К тому же она была теперь очень одинока. Ее отец, когда оставался дома, бывал с ней очень нежен; но его часто занимали всякие дела и развлечения, он покидал ее без зазрения совести, не сказав ни слова, и целые дни проводил в трактирах, едва у него заводились деньги, что бывало довольно часто, хотя я не мог понять, откуда он их берет; в эти несколько дней он однажды даже не пришел к ужину, и нам с Катрионой пришлось сесть за стол без него. После ужина я сразу же ушел, сказав, что ей, вероятно, хочется побыть одной; она подтвердила это, и я, как ни странно, ей поверил. Я совершенно серьезно считал, что ей тягостно меня видеть, так

как я напоминаю о минутной слабости, которая ей теперь неприятна. И вот она сидела одна в комнате, где нам бывало так весело вдвоем, у камина, свет которого так часто озарял нас в минуты размолвок и нежных порывов. Она сидела там одна и уж наверняка укоряла себя за то, что обнаружила свои чувства, забыв о девичьей скромности, и была отвергнута. А я в это время тоже был один и, когда чувствовал, что меня разбирает досада, внушал себе, что человек слаб, а женщина непостоянна. Одним словом, свет еще не видел двух таких дураков, которые по нелепости, не поняв друг друга, были бы так несчастны.

А Джемс почти не замечал нас и вообще был занят только своим карманом, своим брюхом и своей хвастливой болтовней. В первый же день он попросил у меня взаймы небольшую сумму; назавтра попросил еще, и тут уж я ему отказал. Он принял и деньги и отказ с одинаковым добродушием. Право же, он умел изображать благородство, и это производило впечатление на его дочь; он все время выставлял себя героем в своих россказнях, чему вполне соответствовала его внушительная осанка и исполненные достоинства манеры. Поэтому всякий, кто не имел с ним дела прежде, или же был не слишком проницателен, или ослеплен, вполне мог обмануться. Но я, который столкнулся с ним уже в третий раз, видел его насквозь; я понимал, что он до крайности себялюбив и в то же время необычайно простодушен, и я обращал на напыщенные россказни, в которых то и дело упоминались «родовой герб», «старый воин», «бедный благородный горец» и «опора своей родины и своих друзей», не больше внимания, чем на болтовню попугая.

Как ни странно, он, кажется, и сам верил своим словам, по крайней мере иногда: видно, он был весь настолько фальшив, что не замечал, когда лжет, а в минуты уныния он, пожалуй, бывал вполне искренним. Порой он вдруг становился необыкновенно тих, нежен и ласков, цеплялся за руку Катрионы, как большой ребенок, и просил меня не уходить, если я хоть немного его люблю; я, разумеется, не питал к нему ни малейшей любви, но тем сильнее любил его дочь. Он заставлял нас развлекать его разговорами, что было нелегко при наших с нею отношениях, а потом вновь предавался жалобным воспоминаниям о родине и друзьях или пел гэльские песни.

— Вот одна из печальных песен моей родной земли,— говорил он.— Вам может показаться странным, что старый солдат плачет, но это лишь потому, что вы его лучший друг. Ведь мелодия этой песни у меня в крови, а слова идут из самого сердца. И когда я вспоминаю красные горы, и бурные потоки, бегущие по склонам, и крики диких птиц, я не стыжусь плакать даже перед врагами.

Тут он снова принимался петь и переводил мне куплеты со множеством лицемерных причитаний и с нескрываемым презрением к английскому языку.

— В этой песне говорится,— объяснял он,— что солнце зашло, и битва кончилась, и храбрые вожди побеждены. Звезды смотрят на них, а они бегут на чужбину или лежат мертвые на красных склонах гор. Никогда больше не издать им боевой клич и не омыть ног в быстрой реке. Но если б вы хоть немного знали наш язык, вы тоже плакали бы, потому что слова этой песни непередаваемы, и это просто насмешка — пересказывать ее по-английски.

Что ж, на мой взгляд, все это так или иначе было насмешкой; но вместе с тем сюда примешивалось и некое чувство, за что я, кажется, особенно его ненавидел. Мне было нестерпимо видеть, как Катриона заботится о старом негодяе и плачет сама при виде его слез, тогда как я был уверен, что добрая половина его отчаяния объяснялась вчерашней попойкой в каком-нибудь кабачке. Иногда мне хотелось предложить ему взаймы круглую сумму и распроститься с ним навсегда; но это значило бы никогда не видеть и Катриону, а на такое я не мог решиться; и, кроме того, совесть не позволяла мне попусту тратить мои кровные деньги на такого никчемного человека.

ГЛАВА XXVII

ВДВОЕМ

Кажется, на пятый день после приезда Джемса — во всяком случае, помню, что он тогда снова впал в меланхолию,— я получил три письма. Первое было от Алана, который сообщал, что хочет приехать ко мне в Лейден; два других были из Шотландии и касались смерти моего дяди и окончательного введения меня в права наследства. Письмо Ранкилера, конечно, было с начала до конца деловое, письмо мисс Грант, как и она сама, блистало скорее остроумием, чем здравым смыслом, и было полно упреков за то, что я не пишу (хотя как я мог написать ей о своих обстоятельствах?), и шуток по адресу Катрионы, так что мне было неловко читать его при ней.

Письма, разумеется, прибыли на старый адрес, мне отдали их, когда я пришел к обеду, и от неожиданности я выболтал все новости в тот же миг, как прочел их. Эти новости были приятным развлечением для всех троих, и никто не мог предвидеть дурных последствий. По воле случая все три письма прибыли в один день и попали мне в руки в присутствии Джемса Мора, и, видит бог, все события, вызванные этим, которых, вовсе не случилось бы, если б я придержал язык, были предопределены еще до того, как Агрикола пришел в Шотландию или Авраам отправился в свои странствия.

Прежде всего я, конечно, вскрыл письмо Алана и, вполне естественно, сразу рассказал, что он собирается меня навестить, но при этом от меня не укрылось, что Джемс подался вперед и насторожился.

— Это случайно не Алан Брек, которого подозревают в эпинском убийстве? — спросил он.

Я подтвердил, что это тот самый Алан, и Джемс оторвал меня от других писем, расспрашивая, как мы познакомились, как Алан живет во Франции, о чем я почти ничего не знал, и скоро ли он собирается приехать.

— Мы, изгнанники, стараемся держаться друг друга,— объяснил он.— Кроме того, я его знаю, и хотя этот человек низкого происхождения и, по сути дела, у него нет права называться Стюартом, все восхищались им в день битвы при Драммосси. Он вел себя, как настоящий солдат. И если бы некоторые, кого я не стану называть, дрались не хуже, конец ее не был бы так печален. В тот день отличились двое, и это нас связывает.

Я едва удержался, чтобы не обругать его, и даже пожелал, чтобы Алан был рядом и поинтересовался, чем плоха его родословная. Хотя, как говорили, там и в самом деле не все было гладко.

Тем временем я вскрыл письмо мисс Грант и не удержался от радостного восклицания.

— Катриона! — воскликнул я, впервые со дня приезда ее отца забыв, что должен называть ее «мисс Драммонд».— Мое королевство теперь принадлежит мне, я лорд Шос — мой дядя наконец умер.

Она вскочила и захлопала в ладоши. Но в тот же миг нас обоих отрезвила мысль, что радоваться нечему, и мы замерли, печально глядя друг на друга.

Джемс, однако же, предстал во всем своем лицемерии.

— Дочь моя,— сказал он,— неужели мой родич не научил тебя приличию? Мистер Дэвид потерял близкого человека, и мы должны утешить его в горе.

— Поверьте, сэр,— сказал я, поворачиваясь к нему и едва сдерживая гнев,— я не хочу притворяться. Весть о его смерти — самая счастливая в моей жизни.

— Вот речь настоящего солдата,— заявил Джемс.— Ведь все мы там будем, все. И если этот джентльмен не пользовался вашей благосклонностью, что ж, тем лучше! Мы можем по крайней мере поздравить вас с вводом во владение.

— И поздравлять тоже не с чем,— возразил я с горячностью.— Имение, конечно, прекрасное, только на что оно одинокому человеку, который и так ни в чем не нуждается? Я бережлив, получаю хороший доход, и, кроме смерти прежнего владельца, которая, как ни стыдно мне в этом признаться, меня радует, я не вижу ничего хорошего в этой перемене.

— Ну, ну,— сказал он,— вы взволнованы гораздо больше, чем хотите показать, поэтому и говорите об одиночестве. Вот три письма — значит, есть на свете три человека, которые хорошо к вам относятся, и я мог бы назвать еще двоих, они здесь, в этой самой комнате. Сам я знаю вас не так уже давно, но Катриона, когда мы остаемся с ней вдвоем, всегда превозносит вас до небес.

Она бросила на него сердитый взгляд, а он сразу переменил разговор, стал расспрашивать о размерах моих владений и не переставал толковать об этом до самого конца обеда. Но лицемерие его было очевидно — он действовал слишком грубо, и я знал, чего мне ожидать. Как только мы пообедали, он раскрыл карты. Напомнив Катрионе, что у нее есть какое-то дело, он отослал ее.

— Тебе ведь надо отлучиться всего на час,— сказал он.— Наш друг Дэвид, надеюсь, любезно составит мне компанию, пока ты не вернешься.

Она сразу же повиновалась, не сказав ни слова. Не знаю, поняла ли она, что к чему, скорей всего нет; но я

был очень доволен и сидел, собираясь с духом для предстоящего разговора.

Едва за Катрионой закрылась дверь, как Джемс откинулся на спинку стула и обратился ко мне с хорошо разыгранной непринужденностью. Только лицо выдало его: оно вдруг все заблестело капельками пота.

— Я рад случаю поговорить с вами наедине,— сказал он,— потому что во время первого нашего разговора вы превратно истолковали некоторые мои слова, и я давно хотел вам все объяснить. Моя дочь выше подозрений. Вы тоже, и я готов со шпагой в руках доказать это всякому, кто посмеет оспаривать мои слова. Но, дорогой мой Дэвид, мир беспощаден — кому это лучше знать, как не мне, которого со дня смерти моего бедного отца, да упокоит бог его душу, обливают грязной клеветой. Что делать, нам с вами нельзя об этом забывать.

Он сокрушенно покачал головой, как проповедник на кафедре.

— В каком смысле, мистер Драммонд? — спросил я.— Я буду вам весьма признателен, если вы выскажетесь прямо.

— Да, да,— воскликнул он со смехом,— это на вас похоже! И я восхищаюсь вами. Но высказаться прямо, мой достойный друг, иногда всего труднее.— Он налил себе вина.— Правда, мы с вами добрые друзья, и нам незачем долго рассусоливать. Вы, конечно, понимаете, что вся суть в моей дочери. Скажу сразу, у меня и в мыслях нет винить вас. Как еще могли вы поступить при столь несчастливом стечении обстоятельств? Право, вы сделали все возможное.

— Благодарю вас,— сказал я, настороживаясь еще больше.

— Кроме того, я изучил ваш нрав,— продолжал он.— У вас недюжинные таланты. Вы, видимо, еще очень неопытны, но это не беда. Взвесив все, я рад вам сообщить, что выбрал второй из двух возможных путей.

— Боюсь, что я не слишком сообразителен,— сказал я.— Какие же это пути?

Он поглядел на меня, грозно насупив брови, и закинул ногу на ногу.

— Право, сэр,— сказал он,— мне кажется, незачем объяснять это джентльмену в вашем положении: либо я должен перерезать вам глотку, либо придется вам жениться на моей дочери.

— Наконец-то вы соизволили высказаться ясно,— сказал я.

— А я полагаю, все было ясно с самого начала! — воскликнул он громким голосом.— Я любящий отец, мистер Бэлфур, но, благодарение богу, человек терпеливый и осмотрительный. Многие отцы, сэр, немедленно отправили бы вас либо к алтарю, либо на тот свет. Только мое уважение к вам...

— Мистер Драммонд,— перебил я его,— если вы хоть сколько-нибудь меня уважаете, я попрошу вас говорить потише. Совершенно незачем орать на собеседника, который сидит рядом и внимательно вас слушает.

— Что ж, вы совершенно правы,— сказал он, сразу переменив тон.— Простите, я взволнован, виной этому мои родительские чувства.

— Стало быть,— продолжал я,— поскольку первый путь я оставляю в стороне, хотя, быть может, и жалею, что вы его не избрали, вы обнадеживаете меня на тот случай, если я стану просить руки вашей дочери?

— Невозможно удачней выразить мою мысль,— сказал он.—Я уверен, мы с вами поладим.

— Это будет видно,— сказал я.— Но мне незачем скрывать, что я питаю самые нежные чувства к молодой особе, о которой вы говорите, и даже во сне не мечтал о большем счастье, чем жениться на ней.

— Я был в этом уверен, я не сомневался в вас, Дэвид! — воскликнул он и простер ко мне руки.

Я отстранился.

— Вы слишком торопитесь, мистер Драммонд,— сказал я.— Необходимо поставить некоторые условия. И, кроме того, нас ждет затруднение, которое будет не так-то просто преодолеть. Я уже сказал вам, что, со своей стороны, был бы счастлив жениться на вашей дочери, но у меня есть веские основания полагать, что мисс Драммонд имеет причины не желать этого.

— Стоит ли думать о таких пустяках! — заявил он.— Об этом я сам позабочусь.

— Позволю себе напомнить вам, мистер Драммонд,— сказал я,— что даже в разговоре со мной вы употребили несколько неучтивых выражений. Я не допущу, чтобы ваша грубость коснулась юной леди. Я сам буду говорить и решать за нас обоих. И прошу вас понять, что я не только не позволю навязать себе жену, но и ей — мужа.

Он глядел на меня с яростью, видимо, не знал, что делать.

— Таково мое решение,— заключил я.— Я буду счастлив обвенчаться с мисс Драммонд, если она того пожелает. Но если это хоть в малой мере противоречит ее воле, чего у меня есть причины опасаться, я никогда на ней не женюсь.

— Ну, ну,— сказал он,— все это пустяки. Как только она вернется, я ее порасспрошу и надеюсь успокоить вас...

Но я снова прервал его:

— Никакого вмешательства с вашей стороны, мистер Драммонд, иначе я отказываюсь, и вам придется искать другого супруга для своей дочери,— сказал я.— Все сделаю я сам, и я же буду единственным судьей. Мне необходимо знать все доподлинно, причем никто не должен в это вмешиваться, и вы меньше всех.

— Клянусь честью, сэр! — воскликнул он.— Да кто вы такой, чтобы быть судьей?

— Жених, если не ошибаюсь,— сказал я.

— Бросьте свои увертки! — воскликнул он.— Вы не хотите считаться с обстоятельствами. У моей дочери не осталось выбора. Ее честь погублена.

— Прошу прощения,— сказал я,— этого не случится, если мы трое будем держать дело в тайне.

— Но кто мне за это поручится? — воскликнул он.— Неужели я допущу, чтобы доброе имя моей дочери зависело от случая?

— Вам следовало подумать об этом гораздо раньше,— сказал я,— прежде чем вы по своему небрежению потеряли ее, а не теперь, когда уже поздно. Я отказываюсь нести какую-либо ответственность за ваше равнодушие к ней, и никто на свете меня не запугает. Я решился твердо и, что бы ни было, не отступлю от своего решения ни на волос. Мы вместе дождемся ее возвращения, а потом я поговорю с ней наедине, и не пытайтесь повлиять на нее словом или взглядом. Если я уверюсь, что она согласна выйти за меня, прекрасно. Если же нет, я ни за что на это не пойду.

Он вскочил как ужаленный.

— Вам меня не провести! — воскликнул он.— Вы хотите заставить ее отказаться!

— Может быть, да, а может быть, и нет,— отвечал я.— Во всяком случае, так я решил.

— А если я не соглашусь? — вскричал он.

— Тогда, мистер Драммонд, один из нас должен будет перерезать другому глотку,— сказал я.

Джемс был рослый, с длинными руками (даже длиннее, чем у его отца), славился своим искусством владеть оружием, и я сказал это не без трепета; притом ведь он был отцом Катрионы. Но я напрасно тревожился. После того, как он увидел мое убогое жилье и я отказал ему в деньгах — новые платья своей дочери он, по-видимому, не заметил,— он был совершенно убежден, что я беден. Неожиданная весть о моем наследстве убедила его в ошибке, и теперь у него была только одна заветная цель, к которой он так стремился, что, думается мне, предпочел бы что угодно, лишь бы не быть вынужденным встать на другой путь — драться.

Он еще немного поспорил со мной, пока я наконец не нашел довод, который заставил его прикусить язык.

— Если вы так не хотите, чтобы я поговорил с мисс Драммонд наедине,— сказал я,— у вас, видно, есть веские причины считать, что я прав, ожидая от нее отказа.

Он забормотал что-то в оправдание.

— Но мы оба горячимся,— добавил я,— так что, пожалуй, нам благоразумнее всего помолчать.

После этого мы сидели молча, пока не вернулась Катриона, и, если бы кто-нибудь мог нас видеть, эта картина, вероятно, показалась бы ему очень смешной.

ГЛАВА XXVIII, В КОТОРОЙ Я ОСТАЮСЬ ОДИН

Я открыл Катрионе дверь и остановил ее на пороге.

— Ваш отец велит нам с вами пойти погулять,— сказал я.

Она взглянула на Джемса Мора, он кивнул, и она, как хорошо обученный солдат, повернулась и последовала за мной.

Мы пошли обычной дорогой, которой часто ходили вместе, когда были так счастливы, что невозможно передать словами. Я держался на полшага позади, чтобы незаметно следить за ней. Стук ее башмачков по мостовой звучал так мило и печально; и я подумал: как странно, что я иду меж двух судеб, одинаково близко от обеих, не зная, слышу ли я эти шаги в последний раз или

же мы с Катрионой будем вместе до тех пор, пока смерть нас не разлучит. Она избегала смотреть на меня и шла все прямо, словно догадывалась о том, что произойдет. Я чувствовал, что надо заговорить, пока мужество не покинуло меня окончательно, но не знал, с чего начать. В этом невыносимом положении, когда Катриону, можно сказать, навязали мне и она уже однажды молила меня о снисходительности, всякая попытка повлиять на ее решение была бы нечестной; но совсем избежать этого тоже было нельзя, это походило бы на бездушие. Я колебался между этими двумя крайностями и готов был кусать себе пальцы; а когда я наконец решился заговорить, то начал едва ли не наобум.

— Катриона,— сказал я,— сейчас я в очень трудном положении. Или, вернее, мы оба в трудном положении. И я буду вам очень признателен, если вы пообещаете, что дадите мне высказать все до конца и не станете меня перебивать, пока я не кончу.

Она обещала без лишних слов.

— Так вот,— сказал я,— мне нелегко говорить, и я прекрасно знаю, что не имею права заводить речь об этом. После того, что произошло между нами в пятницу, у меня нет такого права. По моей вине мы оба запутались, и я прекрасно понимаю, что мне по меньшей мере следовало бы молчать, и, поверьте, у меня даже в мыслях не было снова вас беспокоить. Но, моя дорогая, теперь я вынужден это сделать, у меня нет другого выхода. Понимаете, я унаследовал поместье и стал вам гораздо более подходящей парой. И вот... все это дело уже не выглядит таким смешным, как раньше. Хотя, конечно, наши отношения запутались, как я уже сказал, и лучше бы все оставить как есть. Мне кажется, наследству моему придают слишком большое значение, и на вашем месте я даже думать о нем не стал бы. Но я вынужден о нем упомянуть, потому что, без сомнения, это повлияло на Джемса Мора. И потом, мне кажется, мы были не так уж несчастливы, когда жили здесь вдвоем. По-моему, мы прекрасно ладили. Моя дорогая, вспомните только...

— Не хочу ничего ни вспоминать, ни загадывать,— перебила она меня.— Скажите мне только одно: это все подстроил мой отец?

— Он одобрил...— сказал я.— Одобрил мое намерение просить вашей руки.

И я продолжал говорить, взывая к ее чувствам, но она, не слушая, перебила меня.

— Он вас заставил!,— вскричала она.— Не пытайтесь отрицать, вы сами сказали, что у вас этого и в мыслях не было. Он вас заставил.

— Он заговорил первый, если только вы это имеете в виду...— начал я.

Она все время прибавляла шагу, глядя прямо перед собой, но тут она издала какой-то странный звук, и мне показалось, что она сейчас побежит.

— Иначе, после того, что вы сказали в пятницу, я никогда не осмелился бы докучать вам,— продолжал я.— Но теперь, когда он, можно сказать, попросил меня об этом, что мне было делать?

Она остановилась и повернулась ко мне.

— Ну, что ни говорите, я вам отказываю! — воскликнула она.— И хватит об этом.

И она снова пошла вперед.

— Что ж, иного я и не ожидал,— сказал я.— Но, мне кажется, вы могли бы быть со мной поласковей на прощание. Не понимаю, почему вы так суровы. Я очень любил вас, Катриона,— позвольте мне назвать вас этим именем в последний раз. Я сделал все, что в моих силах, и сейчас пытаюсь сделать все; мне жаль только, что я не могу сделать большего. И мне странно, что вам доставляет удовольствие так жестоко обходиться со мной.

— Я думаю не о вас,— сказала она.— Я думаю об этом человеке, о моем отце.

— И здесь тоже,— сказал я,—здесь тоже я могу вам быть полезен, как же иначе. Нам с вами очень нужно, моя дорогая, посоветоваться насчет вашего отца. Ведь Джемс Мор придет в ярость, когда узнает, чем кончился наш разговор.

Она снова остановилась.

— Потому, что я опозорена? — спросила она.

— Так он думает,— ответил я.—Но я уже сказал вам, чтобы вы не обращали на это внимания.

— Ну и пусть! — воскликнула она.— Я предпочитаю позор!

Я не знал, что ответить, и стоял молча.

В душе ее, видимо, шла какая-то борьба; потом у нее вырвалось:

— Да что ж это такое? За что этот срам обрушился на мою голову? Как вы осмелились, Дэвид Бэлфур?

— Моя дорогая,—сказал я.— Что же мне было делать?

— Я вам не дорогая,— отрезала она.— И не смейте называть меня этим противным словом.

— Мне сейчас не до слов,— сказал я.— Сердце мое обливается кровью за вас, мисс Драммонд. Что бы я ни сказал, поверьте, я жалею вас и понимаю ваше трудное положение. Прошу вас, помните об этом, пока у нас еще есть время спокойно все обсудить: ведь когда мы вернемся домой, не миновать скандала. Поверьте мне, мы должны вдвоем мирно решить это дело.

— Да,— сказала она. На ее щеках проступили красные пятна. Она спросила: — Он хотел с вами драться?

— Хотел,— подтвердил я.

Она засмеялась каким-то зловещим смехом.

— Что ни говорите, а с меня довольно! — воскликнула она. Потом добавила, повернувшись ко мне: — Я и мой отец друг друга стоим. Но, слава богу, есть человек похуже нас. Слава богу, мне удалось вас раскусить. Всю жизнь вы не увидите ни от одной девушки ничего, кроме презрения.

До сих пор я все терпеливо сносил, но тут не выдержал.

— Вы не имеете права так со мной разговаривать,— сказал я.— Что я вам сделал плохого? Я хорошо относился к вам, я старался как мог. И вот благодарность! Нет, это уж слишком.

Она смотрела на меня с улыбкой, полной ненависти.

— Трус! — сказала она.

— Я швырну это слово вам и вашему отцу! — воскликнул я.— Сегодня я бросил ему вызов, защищая вас. И я снова вызову этого мерзкого хорька. Мне все равно, кто из нас погибнет! Пойдемте,— сказал я,— вернемся в дом. С меня довольно, я хочу покончить счеты со всем вашим племенем. Вы еще пожалеете обо мне, когда меня не станет.

Она покачала головой все с той же улыбкой, за которую я готов был ее ударить.

— Да перестаньте вы улыбаться! — воскликнул я.— Сегодня я видел, как вашему распрекрасному папаше стало не до смеха. Конечно, я не хочу сказать, что он струсил,— добавил я поспешно.— Но он предпочел иной путь.

— Какой же? — спросила она.

— Когда я предложил ему драться...
— Вы предложили драться Джемсу Мору? — воскликнула она.
— Вот именно,— сказал я.— Но он не очень был к этому расположен, иначе мы бы с вами сейчас не разговаривали.
— Тут что-то не так,— сказала она.— Говорите прямо, что произошло?
— Он хотел заставить вас выйти за меня,— ответил я,— а я воспротивился. Я сказал, что ваш выбор должен быть свободным и мне необходимо поговорить с вами наедине. Не думал я, что это будет такой разговор! «А если я не соглашусь?» — спросил он.— «Тогда один из нас должен будет перерезать другому глотку,— ответил я,— потому что я не позволю навязать юной леди мужа, а себе — жену». Так я и сказал, потому что считал себя вашим другом. Хорошо же вы заплатили мне за это! Вы отказались выйти за меня замуж, и теперь ни один отец в горах Шотландии и во всем мире не принудит меня к этому браку. Я позабочусь, чтобы вашу волю уважали, уверяю вас, как заботился об этом всегда. Но ради простого приличия вы могли бы хоть притвориться благодарной. А я-то думал, вы меня понимаете! Конечно, я не очень хорошо поступил с вами, но то была лишь невольная слабость. А считать меня трусом, да еще таким трусом — нет, моя милая, это такая клевета, что дальше некуда!
— Дэви, но откуда же мне было знать? — воскликнула она.— Ах, как это ужасно! Такие, как я и мой отец...— Эти слова прозвучали жалобным стоном.— Такие люди недостойны даже говорить с вами. Ах, я готова встать перед вами на колени прямо здесь, на улице, готова целовать вам руки, только бы вы меня простили!
— Я сохраню воспоминание о поцелуях, которые уже получил от вас! — воскликнул я.— О тех поцелуях, которых я жаждал и которые чего-то стоили. Не хочу, чтобы меня целовали из раскаяния.
— Неужели вы так презираете несчастную девушку? — сказала она.
— Вот уже сколько времени я пытаюсь вам втолковать,— сказал я,— чтобы вы оставили меня в покое, потому что мое сердце разбито, и как ни старайтесь, хуже мне уже не будет. Обратите лучше внимание на сво-

его отца Джемса Мора, с которым вам еще придется хлебнуть горя.
— Ах, неужели мне суждено прожить свою жизнь с таким человеком! — воскликнула она, потом с видимым усилием овладела собой.— Но вы больше обо мне не беспокойтесь,— добавила она.— Он еще не знает, на что я способна. Он мне дорого заплатит за этот день... Очень, очень дорого.
Она повернула к дому, и я последовал за ней. Тут она остановилась.
— Я пойду одна,— сказала она.— Мне надо поговорить с ним без свидетелей.
Некоторое время я метался по улицам и твердил себе, что я стал жертвой такой несправедливости, какой еще свет не видал. Негодование душило меня; я часто и глубоко дышал; мне казалось, что в Лейдене не хватает воздуха и грудь моя сейчас разорвется, как на дне моря. Я остановился на углу и с минуту громко смеялся над собой, пока какой-то прохожий не оглянулся и не заставил меня опомниться.
«Ладно,— подумал я,— хватит мне быть глупцом, простофилей и разиней. Пора с этим покончить. Я получил хороший урок и не желаю больше знаться с женщинами, будь они прокляты: женщины были погибелью для мужчины от начала времен и пребудут ему погибелью до скончания века. Бог свидетель, я был счастлив, прежде чем встретил ее. Бог свидетель, я опять буду счастлив, если больше никогда ее не увижу».
Это казалось мне главным: я хотел, чтобы они уехали. Я был одержим желанием от них избавиться; и в голову мне заползали злорадные мысли о том, какой тяжкой сделается их жизнь, когда Дэви Бэлфур перестанет быть для них дойной коровой; и тут, к собственному моему глубочайшему удивлению, мои чувства совершенно переменились. Я все еще негодовал, все еще ненавидел Катриону и, однако, решил, что ради самого себя должен позаботиться, чтобы она ни в чем не нуждалась.
С этой мыслью я поспешил к дому и увидел, что их вещи уже собраны и лежат у двери, а лица отца и дочери хранят следы недавней ссоры. Катриона была словно каменная; Джемс Мор тяжело дышал, лицо его покрылось белыми пятнами, и ясно было, что ему крепко досталось. Когда я вошел, Катриона поглядела на него в упор, гневно и выразительно, и мне показалось, что

она его сейчас ударит. Этот предостерегающий взгляд был презрительней всякого окрика, и я с удивлением увидел, что Джемс Мор повиновался. Он, несомненно, получил изрядный нагоняй, и я понял, что в этой девушке сидит такой дьявол, о каком я и не подозревал, а в ее отце больше кротости, чем можно было подумать.

По крайней мере он назвал меня мистером Бэлфуром и произнес несколько явно затверженных фраз, но успел сказать немного, потому что едва он напыщенно возвысил голос, Катриона оборвала его.

— Я объясню, что хочет сказать Джемс Мор,— заявила она.— Он хочет сказать, что мы, нищие, навязались вам и вели себя недостойно, а теперь нам стыдно за свою неблагодарность и дурное поведение. Мы уезжаем и просим забыть о нас, но дела моего отца, по его собственной вине, до того запутаны, что мы даже уехать не можем, если вы еще раз не подадите нам милостыню. Что ни говорите, мы нищие и нахлебники.

— С вашего разрешения, мисс Драммонд,— сказал я,— мне необходимо переговорить с вашим отцом наедине.

Она ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь, не сказав ни слова и не взглянув на меня.

— Простите ее, мистер Бэлфур,— сказал Джемс Мор.— У нее нет понятия о деликатности.

— Я не намерен обсуждать это с вами,— сказал я,— и хочу лишь от вас отделаться. Для этого нам придется потолковать о ваших делах. Итак, мистер Драммонд, я следил за вами пристальнее, чем вы могли ожидать. Я знаю, у вас были деньги, когда вы просили у меня взаймы. Я знаю, с тех пор, как вы приехали сюда, в Лейден, вам удалось раздобыть еще денег, хотя вы скрывали это даже от своей дочери.

— Берегитесь! Я не стану больше терпеть издевательства! — взорвался он.— Вы оба мне надоели. Что за проклятие быть отцом! Я тут такого наслушался...— Он умолк на полуслове.— Сэр, вы оскорбили мое сердце отца и честного воина,— продолжал он, приложив руку к груди,— так что предупреждаю вас, берегитесь.

— Если б вы потрудились дослушать до конца,— сказал я,— то поняли бы, что я забочусь о вашем благе.

— Дорогой друг! — вскричал он.— Я знал, что могу положиться на щедрость вашей души.

— Дадите вы мне говорить или нет? — сказал я.— Я лишен возможности узнать, богаты вы или бедны. Но я полагаю, что ваши средства столь же недостаточны, сколь сомнительны их источники. А я не хочу, чтобы ваша дочь нуждалась. Если бы я осмелился заговорить об этом с ней, можете не сомневаться, вам я ни за что не доверился бы. Ведь я знаю вас, как свои пять пальцев, и все ваши россказни для меня не более чем пустые слова. Однако я верю, что вы по-своему все-таки любите дочь, и я вынужден удовольствоваться этой почвой для доверия, сколь бы зыбкой она ни была.

Я условился с ним, что он сообщит мне свой адрес и будет писать мне о здоровье Катрионы, а я за это стану посылать ему небольшое пособие.

Он слушал меня с жадным интересом и, когда я кончил, воскликнул:

— Мой мальчик, мой милый сын, вот теперь я наконец тебя узнаю! Я буду служить тебе верно, как солдат...

— Не хочу больше этого слышать! — сказал я.— Вы довели меня до того, что от одного слова «солдат» меня тошнит. Итак, мы заключили сделку. Я ухожу и вернусь через полчаса: надеюсь, к тому времени вы очистите мои комнаты.

Я дал им вдоволь времени; больше всего я боялся снова увидеть Катриону, потому что уже готов был малодушно расплакаться и разжигал в себе ожесточение, чтобы не потерять остатки достоинства. Прошло, наверное, около часа; солнце село, узкий серп молодого месяца следовал за ним на западе по залитому багрянцем небосклону; на востоке уже загорелись звезды, и, когда я наконец вернулся к себе, мою квартиру заливали синие сумерки. Я зажег свечу и оглядел комнаты; в первой не осталось ничего, что могло бы пробудить воспоминание об уехавших, но во второй, в углу, я увидел брошенные на полу вещи, и сердце мое чуть не выскочило из груди. Она оставила все наряды, которые я ей подарил. Этот удар показался мне особенно чувствительным, быть может, потому, что он был последний; я упал на сваленное в кучу платье и вел себя так глупо, что об этом лучше умолчать.

Поздно ночью, стуча зубами от холода, я кое-как собрался с духом и должен был позаботиться о себе. Я не мог выносить вида этих злополучных платьев,

лент, сорочек и чулок со стрелками; и мне было ясно, что, если я хочу вновь обрести душевное равновесие, надо избавиться от них, прежде чем наступит утро. Первой моей мыслью было затопить камин и сжечь их; но, во-первых, я всегда терпеть не мог бессмысленного расточительства; а во-вторых, сжечь вещи, которые она носила, казалось мне кощунством. В углу комнаты стоял шкаф, и я решил положить их туда. Это заняло у меня много времени, потому что я очень неловко, но тщательно складывал каждую вещицу, а порой со слезами ронял их на пол. Я совершенно измучился, устал так, словно пробежал без отдыха много миль, и все мое тело ныло, словно избитое; складывая платочек, который она часто носила на шее, я заметил, что уголок его аккуратно отрезан. Платочек был очень красивого цвета, и я часто говорил ей об этом; я вспомнил, что однажды, когда этот платочек был на ней, я сказал в шутку, что она носит мой флаг. Теперь в душе моей забрезжила надежда и поднялась волна нежности; но в следующий же миг я снова впал в отчаяние: отрезанный уголок был скомкан и валялся в другом углу.

Но я стал спорить сам с собой, и это вновь вернуло мне надежду. Она отрезала уголок под влиянием детского каприза и все же сделала это с нежностью. И нечего удивляться тому, что она отбросила лоскут; первое занимало меня больше, чем второе, и я радовался, что ей пришла в голову мысль взять что-нибудь на память обо мне, и не так уж горевал, что она выбросила эту памятку в порыве вполне понятной досады.

ГЛАВА XXIX

МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ В ДЮНКЕРКЕ

Итак, после их отъезда я чувствовал себя не слишком несчастным, и у меня было много приятных и светлых минут; я усердно принялся за учение и коротал время, дожидаясь приезда Алана или известия от Джемса Мора о Катрионе. С тех пор, как мы расстались, я получил от него с Катрионой три письма. В одном сообщалось, что они прибыли во Францию, в город Дюнкерк, откуда Джемс в скором времени уехал один по какому-то своему делу. Он отправился в Англию, где виделся

с лордом Холдернессом; и мне всегда обидно было вспоминать, что мои кровные деньги пошли на эту поездку. Но уж если связался с чертом или с Джемсом Мором,— пеняй на себя. В его отсутствие подошел срок второго письма; и так как пособие высылалось ему при условии, что он будет писать аккуратно, он заранее заготовил письмо и поручил Катрионе его отправить. Ей показалась подозрительной наша переписка, и как только он уехал, она вскрыла письмо. Я получил, как и полагается, листок, исписанный рукой Джемса Мора:

«Дорогой сэр! Ко мне прибыл столь ценимый мною знак вашей щедрости и должен признать, что сумма соответствует уговору. Смею вас заверить, что вся она будет потрачена на мою дочь, которая здорова и надеется, что дорогой друг не забыл ее. Она немного грустна, но я уповаю на милость божию и уверен, что это пройдет. Мы живем очень уединенно, утешая себя печальными песнями наших родных гор и прогулками по берегу моря, которое омывает и берега Шотландии. Да, то были самые счастливые для меня дни, когда я лежал с пятью ранами в теле на поле у Глэдсмюира. Я нашел здесь службу на конном заводе у одного французского аристократа, который ценит мой опыт. Но, дорогой сэр, плата столь ничтожна, что мне просто стыдно назвать сумму, и тем необходимее присылаемые вами деньги для блага моей дочери, хотя, осмелюсь сказать, встреча со старым другом была бы еще бóльшим благом.

Остаюсь, дорогой сэр, вашим преданным и покорным слугой *Джемсом Макгрегором Драммондом*».

Ниже была приписка, сделанная рукой Катрионы:

«Не верьте ему, все это ложь. *К. М. Д.*».

Она не только сделала эту приписку, но, кажется, не хотела вообще отправлять письмо, потому что оно пришло гораздо позже срока и сразу же вслед за ним я получил третье. Тем временем приехал Алан, и его веселые рассказы скрасили мою жизнь; он представил меня своему родичу, который служил здесь в Шотландском полку, мог выпить больше того, что я считал пределом человеческих возможностей, и ничем другим не выделялся; меня приглашали на множество веселых обедов, и сам я дал их несколько, но это не рассеяло мою тоску,

и мы оба (я имею в виду себя и Алана, а вовсе не его родича) много говорили о моих отношениях с Джемсом Мором и его дочерью. Конечно, я стеснялся рассказывать подробности; и замечания, которые отпускал Алан, слушая меня, отнюдь к этому не располагали.

— Хоть убей, ничего не пойму,— говорил он,— но сдается мне, все же ты свалял дурака. Алан Брек — человек бывалый, но что-то не припомню, чтоб я хоть краем уха слышал о такой девушке, как эта. Всего, что ты рассказываешь, просто никак быть не могло. Видно, Дэвид, ты тут здорово напутал.

— Иногда мне и самому так кажется,— сказал я.

— И, что удивительно, ты, вижу я, ее любишь! — сказал Алан.

— Больше всего на свете,— отвечал я,— и боюсь, что буду любить до гроба.

— Чудеса, да и только! — заключил он.

Я показал ему письмо с припиской Катрионы.

— Вот видишь! — воскликнул он.— Эта Катриона, безусловно, не лишена порядочности и, кажется, неглупа. Ну, а Джемс Мор просто враль. Он думает только о своем брюхе да бахвалится. Однако, спору нет, он неплохо дрался при Глэдсмюире, и то, что тут написано насчет пяти ран, сущая правда. Но вся беда в том, что он враль.

— Понимаешь, Алан,— сказал я,— совесть не позволяет мне оставить девушку в таких дурных руках.

— Да, хуже не сыщешь,— согласился он.— Но что будешь делать? Так уж всегда у мужчины с женщиной, Дэви: у женщины ведь нет рассудка. Или она любит мужчину, и тогда все идет как по маслу, или же она его терпеть не может, и тогда хоть умри, все равно ничего не выйдет. Есть два сорта женщин: одни готовы ради тебя продать последнюю рубашку, другие даже не взглянут в твою сторону, такими уж их бог создал. А ты, видно, совсем дурень и не можешь понять, что к чему.

— Да, боюсь, что ты прав,— сказал я.

— А между тем нет ничего проще! — воскликнул Алан.— Я мигом обучил бы тебя этой науке. Беда только, что ты, кажется, родился слепым!

— Но неужели ты не можешь мне помочь? — спросил я.— Ведь ты так искушен в этих делах.

— Понимаешь, Дэвид, меня же здесь не было,— сказал он.— Я как офицер на поле боя, у которого все

разведчики и дозорные слепые. Что он может знать? Но мне все время сдается, что ты свалял дурака, и на твоем месте я бы попытался начать снова.

— Ты и правда так думаешь, друг Алан? — спросил я.

— Можешь мне поверить,— ответил он.

Третье письмо прибыло, когда мы были увлечены одним из таких разговоров, и вы сами увидите, что оно пришло в самую подходящую минуту. Джемс лицемерно писал, что его тревожит здоровье дочери, хотя Катриона, я уверен, была совершенно здорова; он рассыпался в любезностях по моему адресу и под конец приглашал меня в Дюнкерк.

«Сейчас у вас, вероятно, гостит мой старый друг мистер Стюарт,— писал он.— Почему бы вам не поехать вместе с ним, когда он будет возвращаться во Францию? Я должен сообщить мистеру Стюарту нечто весьма интересное; и, помимо этого, я буду рад встретиться со своим соратником и прославленным храбрецом. Что же до вас, мой дорогой сэр, моя дочь и я будем счастливы принять у себя нашего благодетеля, которого она считает своим братом, а я — сыном. Французский аристократ оказался презренным скрягой, и я был вынужден покинуть его конный завод. Поэтому вы найдете нас в весьма убогом жилище — в гостинице некоего Базена, стоящей среди дюн; но здесь прохладно, и я не сомневаюсь, что мы проведем несколько приятных дней: мы с мистером Стюартом вспомним прошлое, а вы с моей дочерью будете предаваться развлечениям, подходящим вашему возрасту. Мистера Стюарта я, во всяком случае, умоляю приехать сюда: я должен ему сообщить нечто такое, что сулит большие выгоды».

— Что нужно от меня этому господину? — воскликнул Алан, дочитав письмо.— Что ему нужно от тебя, совершенно ясно,— денег. Но зачем ему понадобился Алан Брек?

— Ну, это просто предлог для приглашения,— сказал я.— Он все еще старается устроить брак, которого я сам желаю от всей души. Вот он и приглашает тебя, полагая, что вместе с тобой я скорее соглашусь приехать.

— Хотел бы я знать, так ли это,— сказал Алан.— Мы с ним никогда не дружили, вечно грызлись, как псы. Он мне, видите ли, «должен сообщить». А я, пожалуй, должен буду ему всыпать по тому месту, откуда

ноги растут. Черт дери! Но потехи ради можно поехать и узнать, что он там затеял! К тому же я увижу твою красотку. Что скажешь, Дэви? Возьмешь с собой Алана?

Можете не сомневаться, что я охотно согласился, и, поскольку отпуск Алана кончался, мы сразу же отправились в путь.

Январский день уже клонился к вечеру, когда мы въехали наконец в город Дюнкерк. Мы оставили лошадей у коновязи и отыскали человека, который согласился проводить нас на постоялый двор Базена, расположенный вне городской стены. Было уже совсем темно, и мы последние вышли из города, а когда проходили по мосту, услышали, как захлопнулись крепостные ворота. За мостом лежало освещенное предместье, мы прошли через него, свернули на темную дорогу и вскоре уже брели во тьме по глубокому песку, под плеск морских волн. Так мы шли некоторое время за проводником, большей частью на звук его голоса; и я уже начал думать, что, быть может, он ведет нас совсем не туда, куда надо, но тут мы поднялись на невысокий холм и увидели в темноте тускло освещенное окно.

— Voilà l'auberge à Bazin [1],— сказал проводник.

Алан прищелкнул языком.

— М-да, глухое местечко,— сказал он, и по его тону я понял, что ему здесь не очень-то нравится.

Вскоре мы очутились в нижнем этаже дома, состоявшем из одной большой комнаты; наверх вела лестница, у стены стояли скамьи и столы, в одном конце был очаг, в другом — полки, уставленные бутылками, и крышка погреба. Базен, рослый человек довольно зловещего вида, сказал нам, что шотландца нет дома, он пропадает неизвестно где, а девушка наверху, сейчас он ее позовет.

Я вынул платочек с оторванным углом, который хранил на груди, и повязал его на шею. Сердце мое билось так громко, что я слышал его стук; Алан похлопал меня по плечу и отпустил несколько шуточек, причем я едва удержался, чтобы не ответить ему резкостью. Но ждать пришлось недолго. Я услышал у себя над головой шаги, и она появилась на лестнице. Она спускалась очень медленно, вся бледная, и поздоровалась со мной как-то на-

[1] Вот постоялый двор Базена *(франц.)*.

рочито серьезно, даже чопорно,— эта ее манера всегда приводила меня в замешательство.

— Мой отец Джемс Мор скоро вернется. Он будет рад вас видеть...— сказала она. И вдруг ее лицо вспыхнуло, глаза заблестели, слова замерли на губах: я понял, что она заметила свой платок. Она сразу же овладела собой, повернулась к Алану и как будто снова оживилась.— Так это вы Алан Брек, друг мистера Бэлфура? — воскликнула она.— Он столько мне о вас рассказывал, я уже давно вас полюбила за храбрость и доброту.

— Ну вот,— сказал Алан, беря ее за руку и глядя ей в лицо.— Наконец-то я вижу эту юную леди! Дэвид, в своих рассказах ты не отдал ей должное.

Никогда еще слова Алана так не проникали в душу; голос его звучал, как музыка.

— Неужели он рассказывал вам про меня? — вскричала она.

— Да он ни о чем другом не мог говорить с тех самых пор, как я приехал к нему из Франции! — сказал Алан.— Разве только мы еще вспомнили одну встречу в Шотландии, в лесу возле Силвермилза, поздней ночью. Но не огорчайтесь, дорогая! Вы гораздо красивее, чем можно было вообразить по его словам. И я совершенно уверен, что мы с вами будем друзьями. Я предан Дэви и следую за ним, как верный пес. Тех, кого любит он, люблю и я, и, богом клянусь, они тоже должны меня любить! Теперь вам ясно, какие узы соединяют вас с Аланом Бреком, и сами увидите, вы на этом не прогадаете. Он не очень красив, дорогая, но верен тем, кого любит.

— От всей души благодарю вас за добрые слова,— сказала она.— Я так преклоняюсь перед вами за вашу честность и мужество, что и выразить невозможно.

После дальней дороги мы отбросили условности и сели за ужин втроем, не дожидаясь Джемса Мора. Алан усадил Катриону рядом с собой, и она была к нему очень внимательна; он заставил ее пригубить вина из его стакана, осыпал ее любезностями и все же не дал мне ни малейшего повода ревновать; он так уверенно и весело задавал тон разговору, что и она и я совсем позабыли свое смущение. Если бы кто-нибудь увидел нас, то подумал бы, что Алан — старый ее друг, а со мной она едва знакома. Право, я любил этого человека

и не раз восхищался им, но никогда еще не испытывал к нему такой любви и восхищения, как в тот вечер, и я вспоминал то, о чем часто готов был забыть,— что у него не только большой жизненный опыт, но и удивительные своеобразные таланты. Катриону же он совершенно покорил; она заливалась серебристым смехом и улыбалась, как майское утро; должен признаться, что хотя я был в восторге, вместе с тем мне стало немного грустно: рядом с моим другом я казался себе скучным, как вяленая треска, и считал себя не вправе омрачить жизнь юной девушки.

Но если такова была моя участь, то оказалось по крайней мере, что в этом я не одинок: когда неожиданно пришел Джемс Мор, Катриона вдруг словно окаменела. Я не спускал с нее глаз весь остаток вечера, до тех пор, пока она, извинившись, не ушла спать, и, могу поклясться, что она ни разу не улыбнулась, почти все время молчала и смотрела в стену. Я с изумлением увидел, что ее былая горячая привязанность к отцу превратилась в жгучую ненависть.

О Джемсе Море незачем много распространяться, вы уже довольно знаете о том, что он за человек, а пересказывать его лживые россказни мне надоело. Скажу только, что он много пил и очень редко говорил что-нибудь осмысленное. Разговор с Аланом о деле он отложил на другой день, чтобы побеседовать с глазу на глаз. Отложить его было тем легче, что мы с Аланом оба очень устали, так как целый день ехали верхом, и недолго сидели за столом после ухода Катрионы.

Вскоре нас проводили в комнату, где была одна кровать на двоих. Алан посмотрел на меня со странной улыбкой.

— Ты просто осел! — сказал он.

— Как это понимать? — воскликнул я.

— Понимать? Да что тут понимать? Просто поразительно, друг Дэвид,— сказал он,— как ты непроходимо глуп.

Я снова попросил его высказаться яснее.

— Ну так вот,— сказал он.— Я уже говорил тебе, что есть два сорта женщин: одни готовы ради тебя продать последнюю рубашку, другие — совсем напротив. Словом, разбирайся сам, мой милый! Но что это за тряпка у тебя на шее?

Я объяснил.

— Так и я подумал, что это неспроста! — сказал он.

И больше он не проронил ни слова, хотя я долго осаждал его назойливыми расспросами.

ГЛАВА XXX

ПИСЬМО С КОРАБЛЯ

Утром мы увидели, как уединенно была расположена гостиница. Она стояла на берегу, но моря совершенно не было видно, так как со всех сторон ее окружали причудливые песчаные холмы. Только с одной стороны однообразие было нарушено: там, на взгорье, виднелись крылья ветряной мельницы, словно ослиные уши, хотя самого осла видно не было. Сначала стоял полный штиль, но когда поднялся ветер, странно было видеть, как эти огромные крылья одно за другим взмахивают над холмом. Проезжей дороги вблизи не было, но множество тропинок, пересекая склоны, сходилось со всех сторон к двери мсье Базена. Ведь он занимался всякими темными делами, и местоположение гостиницы как нельзя лучше подходило для этого. Сюда нередко наведывались контрабандисты, а шпионы и люди, объявленные вне закона, дожидались здесь корабля, чтобы переплыть пролив; но, надо сказать, это было еще не самое худшее, потому что в гостинице ничего не стоило вырезать целую семью, и никто даже не узнал бы.

Я спал мало и плохо. Задолго до рассвета я тихонько встал с постели, не разбудив Алана, и то грелся у очага, то расхаживал перед дверью взад-вперед. Утро выдалось хмурое; но вскоре ветер, подувший с запада, разогнал облака, выглянуло солнце, крылья мельницы завертелись. Солнце светило по-весеннему, а может быть, весна расцвела в моем сердце, и мелькание огромных крыльев за холмом показалось мне чрезвычайно забавным. Иногда от мельницы доносился скрип; а в половине девятого в доме послышалось пение Катрионы. Я пришел в неописуемый восторг; унылые, пустынные окрестности показались мне раем.

Но время шло, а вокруг никто не показывался, и я, сам не зная отчего, ощутил смутную тревогу. Это было словно предчувствие беды; крылья мельницы, мелькавшие за холмом, казались мне соглядатаями, следящими

за мной; но если даже отбросить пустые страхи, все равно молодой девушке не место было в этом странном доме.

Завтракать мы сели довольно поздно, и за столом нетрудно было заметить, что Джемс Мор не то боится чего-то, не то в каком-то затруднении; Алан, от которого это, конечно, не укрылось, пристально следил за ним; видя, что один хитрит, а другой весь насторожился, я сидел как на угольях. Сразу после завтрака Джемс, видно, принял решение и стал извиняться перед нами. Он объяснил, что должен встретиться в городе по личному делу с тем самым французским аристократом, у которого он прежде служил, и ему, к сожалению, придется покинуть нас до полудня. Затем он отвел дочь в сторону и что-то очень серьезно и долго ей внушал, а она слушала с явной неохотой.

— Мне все меньше и меньше нравится этот Джемс,— сказал Алан.— Дело тут нечисто, и сдается мне, Алан Брек сегодня малость последит за ним. Очень уж мне любопытно взглянуть на этого французского аристократа, Дэви, а ты, я думаю, не будешь скучать, ведь тебе надо разузнать у девушки, есть ли для тебя еще надежда. Будь откровенен, скажи ей напрямик, что ты с самого начала вел себя как жалкий осел. А потом я бы на твоем месте, если, конечно, у тебя это получится, естественно, сказал бы, что тебе грозит какая-то опасность. Женщины это любят.

— Я не умею лгать, Алан, у меня это не получается естественно,— сказал я, передразнивая его.

— Вот ты и опять выходишь дурак! — сказал он.— Тогда скажи, что я тебе это посоветовал.— Она посмеется, и я не удивлюсь, если получится лишь немногим хуже. Но ты только погляди на них! Не будь я так уверен в девушке и в ее сердечном расположении к Алану, я решил бы, что тут затевается какая-то каверза.

— А она правда к тебе расположена, Алан? — спросил я.

— Она передо мной преклоняется,— сказал он.— Я ведь не тебе чета, я в этом разбираюсь. Да, да, она преклоняется перед Аланом. И сам я тоже о нем весьма лестного мнения. А теперь, Шос, с вашего позволения я спрячусь вон за тем холмом и прослежу, куда пойдет Джемс.

Все разошлись, оставив меня за столом одного; Джемс отправился в Дюнкерк, Алан — по его следу, а Катриона — наверх, в свою комнату. Я вполне понимал, почему она избегает оставаться со мной наедине; но это меня вовсе не радовало, и я ломал себе голову, как бы выманить ее оттуда и поговорить с ней, прежде чем вернутся мужчины. Я решил, что лучше всего последовать примеру Алана. Если я спрячусь среди дюн, Катриона не усидит дома в такое славное утро; а уж когда она выйдет, мне нетрудно будет добиться своего.

Так я и сделал; мне недолго пришлось прятаться за холмом: вскоре она показалась в дверях, огляделась и, не видя никого, пошла по тропинке прямо к морю, а я последовал за ней. Я не спешил выдать свое присутствие; чем дальше она уйдет, тем больше я успею ей высказать; я легко и бесшумно шел за ней по мягкому песку. Тропинка поднималась вверх и вывела нас на песчаный холм. Оттуда я в первый раз увидел, в каком пустынном и диком месте стоял постоялый двор; вокруг не было ни души, ни признаков жилья, кроме дома Базена да ветряной мельницы. Впереди открывалось море, и там я увидел несколько кораблей, красивых, как на картинке. Один из них стоял совсем близко — я никогда не видел, чтобы такие большие суда подходили чуть ли не к самому берегу. Приглядевшись, я узнал «Морского коня», и в моей душе встрепенулись новые подозрения. Откуда взялся английский военный корабль у самых берегов Франции? Отчего Алана заманили сюда, так близко к нему, в такое место, где нечего и надеяться на помощь? И случайно или намеренно дочь Джемса Мора пошла в этот день к морю?

Следуя за ней, я вскоре дошел до края дюн и очутился над самым берегом. Он был длинный и пустой; в отдалении я увидел причаленную шлюпку и офицера, который расхаживал по песку, явно дожидаясь кого-то. Я сразу присел, высокая трава скрыла меня, и я стал ждать, что будет дальше. Катриона направилась прямо к лодке; офицер встретил ее поклоном; они обменялись несколькими словами; я видел, как он передал ей письмо; затем Катриона повернула назад. И в ту же минуту шлюпка, словно ей больше нечего было здесь делать, отчалила и направилась к «Морскому коню». Но я заметил, что офицер остался на берегу и исчез среди холмов.

Все это мне очень не понравилось, и чем больше я раздумывал, тем меньше мне это нравилось. Не Алана ли искал тот офицер? Или, может быть, Катриону? Она шла прямо ко мне, опустив голову, потупив глаза, такая

чистая и нежная, что я не мог усомниться в ее невиновности. Но вот она подняла голову и заметила меня; мгновение она колебалась, потом продолжала путь, но уже медленней, и, как мне показалось, слегка покраснев. Когда я увидел это, страхи, подозрения, тревога за жизнь друга — все это исчезло из моей души; я встал и ждал Катриону, опьянев от надежды.

Когда она подошла, я пожелал ей доброго утра, и она ответила мне совершенно спокойно.

— Вы не сердитесь, что я последовал за вами? — спросил я.

— Я знаю, что у вас не может быть плохих намерений,— ответила она; и тут самообладание изменило ей.— Но зачем вы посылали деньги этому человеку? Не надо было этого делать.

— Я посылал деньги не ему,— ответил я.— Они для вас, и вы это прекрасно знаете.

— Но вы не имели права посылать их ни для меня, ни для него,— сказала она.— Дэвид, это нехорошо.

— Конечно, это плохо,— сказал я.— И я молю бога, чтобы он помог мне, несчастному тупице, исправить мою глупость, если только это возможно. Катриона, вы не должны так жить. Простите меня за резкое слово, но этот человек недостоин быть вашим отцом и заботиться о вас.

— Прошу вас, не говорите о нем! — вскричала она.

— Мне незачем больше о нем говорить. И не о нем я думаю, поверьте! — сказал я.— Все мои мысли только об одном. Я долгое время жил в Лейдене один. И хотя я был занят учением, но все равно думал об этом. Потом приехал Алан, и я стал бывать среди офицеров, на парадных обедах. Но эта мысль по-прежнему одолевала меня. И то же самое было раньше, когда вы были рядом со мной. Катриона, вы видите этот платок у меня на шее? Вы тогда отрезали от него уголок, а потом бросили. Теперь я ношу ваш флаг. Он у меня в сердце. Дорогая, я не могу жить без вас. Ради бога, не отталкивайте меня.

Я встал перед ней и преградил ей путь.

— Не отталкивайте меня,— твердил я,— окажите мне хоть немного снисхождения!

Она не отвечала ни слова, и я помертвел.

— Катриона! — воскликнул я, пристально глядя на нее.— Неужели я снова ошибся? Неужели для меня все потеряно?

Она, затаив дыхание, подняла на меня глаза.

— Дэви, так это правда, вы меня любите? — спросила она тихо, едва слышно.

— Люблю,— ответил я.— Ты же знаешь... Люблю.

— Я давно уже не принадлежу себе,— сказала она.— С самого первого дня я ваша, если вы согласны принять меня!

Мы были на холме; дул ветер, и мы стояли на виду, нас могли видеть даже с английского корабля, но я упал перед ней на колени, обнял ее ноги и разразился рыданиями, которые разрывали мне грудь. Буря чувств заглушила все мои мысли. Я не знал, где я, забыл, отчего я счастлив; я чувствовал только, что она склонилась ко мне, ощущал, что она прижимает мою голову к своей груди, слышал, как сквозь вихрь, ее голос.

— Дэви,— говорила она,— ах, Дэви, значит, ты не презираешь меня? Значит, ты любишь меня, бедную? Ах, Дэви, Дэви!

Тут она тоже заплакала, и наши счастливые слезы смешались.

Было уже, наверное, около десяти утра, когда я наконец осознал всю полноту своего счастья; я сидел с нею рядом, держал ее за руки, глядел ей в лицо, громко смеялся от радости, как ребенок, и называл ее глупыми, ласковыми именами. В жизни не видел я места прекраснее, чем эти дюны близ Дюнкерка; и крылья мельницы, взмывавшие над холмом, были прекрасны, как песня.

Не знаю, сколько мы сидели бы так, поглощенные друг другом, забыв обо всем на свете, но я случайно упомянул об ее отце, и это вернуло нас к действительности.

— Моя маленькая подружка,— твердил я, и радовался, что эти слова воскрешают прошлое, и не мог на нее наглядеться, и мне было милым даже недавнее наше отчуждение...— Моя маленькая подружка, теперь ты принадлежишь мне навеки. Ты принадлежишь мне навсегда, моя маленькая подружка. Что нам теперь этот человек!

Она вдруг побледнела и отняла у меня руки.

— Дэви, увези меня от него! — воскликнула она.— Готовится что-то недоброе. Ему нельзя верить. Да, готовится недоброе. Сердце мое полно страха. Что нужно здесь английскому военному кораблю? И что тут написано? — Она протянула мне письмо.— Я чувствую, оно

принесет Алану несчастье. Вскрой письмо, Дэви, вскрой и прочти.

Я взял письмо, взглянул на него и покачал головой.

— Нет,— сказал я.— Мне это противно, не могу я вскрыть чужое письмо.

— Не можешь даже ради спасения друга? — воскликнула она.

— Не знаю,— ответил я.— Кажется, не могу. Если б только я был уверен!

— Нужно просто сломать печать! — настаивала она.

— Знаю,— сказал я.— Но мне это противно.

— Дай сюда,— сказала она.— Я вскрою его сама.

— Нет, не вскроешь,— возразил я.— Это немыслимо. Ведь дело касается твоего отца и его чести, дорогая, а мы оба его подозреваем. Да, место опасное, у берега английский корабль, твоему отцу прислали оттуда письмо, и офицер со шлюпки остался на берегу! Он, конечно, не один, с ним должны быть еще люди. Я уверен, что сейчас за нами следят. Конечно, письмо надо вскрыть. А все-таки ни ты, ни я этого не сделаем.

Все это я сказал, обуреваемый чувством опасности, подозревая, что где-то рядом прячутся враги, и вдруг увидел Алана, который бросил следить за Джемсом и шел один среди дюн. Он, как всегда, был в своем военном мундире и имел бравый вид; но я невольно вздрогнул при мысли о том, как мало пользы принесет ему этот мундир, если его схватят, бросят в шлюпку и отвезут на борт «Морского коня» — дезертира, бунтаря, да еще приговоренного к казни за убийство.

— Вот человек,— сказал я,— который больше всех имеет право вскрыть или не вскрыть письмо, как сочтет нужным.

Я окликнул Алана, и мы с Катрионой встали на ноги, чтобы он мог нас видеть.

— Если это правда... если нас снова ждет позор.. сможешь ты его перенести? — спросила она, глядя на меня горящим взглядом.

— Мне задали почти такой же вопрос после того, как я увидел тебя впервые,— сказал я.— И знаешь, что я ответил? Что если я люблю тебя так, как мне кажется,— а ведь я люблю тебя гораздо больше! — я женюсь на тебе даже у подножия виселицы, на которой его повесят.

Покраснев, она подошла ко мне совсем близко, крепко прижалась ко мне, взяла меня за руку; так мы стояли и дожидались Алана.

Он подошел со своей всегдашней загадочной улыбкой.

— Ну что я тебе говорил, Дэви? — сказал он.

— Всему свое время, Алан,— ответил я.— А сейчас серьезная минута. Что тебе удалось узнать? Можешь говорить прямо, Катриона наш друг.

— Я ходил понапрасну,— сказал он.

— В таком случае мы, пожалуй, преуспели больше,— сказал я.— По крайней мере тебе во многом надо разобраться. Видишь? — продолжал я, указывая на корабль.— Это «Морской конь», и командует им капитан Пэллисер.

— Я и сам его узнал,— сказал Алан.— Этот корабль причинил мне довольно хлопот, когда стоял в Форте. Но чего ради он подошел так близко?

— Сперва послушай, для чего он здесь,— начал я.— Он доставил вот это письмо Джемсу Мору. А почему он не уходит, когда письмо передано, что в этом письме, отчего за дюнами прячется офицер и один он там или нет — в этом уж ты разбирайся сам.

— Письмо Джемсу Мору? — переспросил Алан.

— Вот именно,— подтвердил я.

— Ну, я могу добавить к этому еще кое-что,— сказал Алан.— Ночью, когда ты крепко спал, я слышал, как он разговаривал с кем-то по-французски, а потом хлопнула дверь.

— Алан! — воскликнул я.— Да ведь ты же всю ночь проспал как убитый, я этому свидетель.

— Никогда нельзя знать, спит Алан или не спит! — объявил он.— Однако дело, кажется, прескверное. Поглядим-ка, что тут написано.

Я отдал ему письмо.

— Катриона,—сказал он,— простите меня, дорогая. Но на кон поставлена моя шкура, и мне придется сломать печать.

— Я сама этого хочу,— сказала Катриона.

Он вскрыл письмо, пробежал его глазами и взмахнул рукой.

— Вонючий хорек! — воскликнул он, скомкал бумагу и сунул ее в карман.— Ну, надо собирать пожитки. Здесь меня ждет верная смерть.

И он повернул к постоялому двору.

Первой заговорила Катриона.
— Он вас продал? — спросила она.
— Да, дорогая, продал,— ответил Алан.— Но благодаря вам и Дэви я еще могу от него ускользнуть. Мне бы только сесть в седло! — добавил он.
— Катриона поедет с нами,— сказал я.— Она больше не может оставаться с этим человеком. Мы обвенчаемся.
Она крепко прижала к себе мою руку.
— Вот, значит, как! — сказал Алан, оглядываясь.— Ну, что ж, сегодня вы оба славно поработали! И должен тебе сказать, дочка, из вас получится прекрасная пара.
Он привел нас к мельнице, и я увидел моряка, который затаился и следил за берегом. Мы, конечно, подошли к нему с тыла.
— Смотри, Алан! — сказал я.
— Тсс! — остановил он меня.— Это уж моя забота.
Моряк, вероятно, был оглушен шумом мельницы и не замечал нас, пока мы не подошли к нему почти вплотную. Но вот он повернулся, и мы увидели, что это здоровенный красномордый детина.
— Я полагаю, сэр,— сказал Алан,— вы говорите по-английски?
— Non, monsieur! [1] — ответил он с ужасным акцентом.
— Non, monsieur! — передразнил его Алан.— Так вот как вас учат французскому на «Морском коне»? Ах ты мошенник, болван, дубина, вот я сейчас попотчую шотландским сапогом твою английскую задницу!
И прежде чем тот успел пуститься наутек, Алан бросился на него и дал ему такого пинка, что он ткнулся носом в землю. Потом он, шатаясь, встал на ноги и кинулся в дюны. Алан следил за ним со зловещей улыбкой.
— Пора и мне уносить ноги из этих краев! — сказал Алан. И он бегом бросился к задней двери гостиницы, а мы не отставали от него.
Войдя в одну дверь, мы по воле случая столкнулись нос к носу с Джемсом Мором, который вошел в другую.
— Ну-ка! — сказал я Катрионе.— Быстрей! Беги наверх и собирай вещи. Это зрелище не для твоих глаз.
Джемс и Алан стояли теперь лицом к лицу посреди длинной комнаты. Чтобы добраться до лестницы, Кат-

[1] Нет, мсье *(франц.)*.

рионе пришлось пройти мимо них, а поднявшись на несколько ступеней, она обернулась и еще раз взглянула на Джемса и Алана, но не остановилась. На них и в самом деле стоило посмотреть. Алан был бесподобен, его лицо сияло любезностью и дружелюбием, за которыми сквозила угроза, и Джемс, почуяв опасность, как чуют пожар в доме, приготовился к неожиданностям.
Нельзя было терять времени. На месте Алана в этой глуши, окруженный врагами, сам Цезарь мог бы испугаться. Но Алан остался верен себе: он начал разговор в своем обычном насмешливом и простодушном тоне.
— Нынче у вас, кажется, опять выпал удачный денек, мистер Драммонд,— заметил он.— А не скажете ли вы нам, что у вас было за дело?
— Дело это личное, его не объяснить в двух словах,— ответил Джемс.— Время терпит, и я все расскажу вам после обеда.
— А вот я в этом не уверен,— сказал Алан.— Я так полагаю, что это будет сейчас или никогда. Видите ли, мы с мистером Бэлфуром получили важные известия и собираемся в путь.
В глазах Джемса мелькнуло удивление, но он сохранил твердость.
— Мне довольно сказать одно слово, чтобы вы отказались от своего намерения,— сказал он.— Стоит лишь объяснить мое дело.
—Так говорите же,— сказал Алан.— Смелей! Или вы стесняетесь Дэвида?
— Мы оба можем разбогатеть,— сказал Джемс.
— Да неужто? — воскликнул Алан.
— Уверяю вас, сэр,— сказал Джемс.— Речь идет о сокровище Клуни.
— Не может быть! — воскликнул Алан.— Вы что-нибудь узнали про сокровище?
— Я знаю место, где оно спрятано, мистер Стюарт, и могу показать вам,— сказал Джемс.
— Вот это удача! — сказал Алан.— Не напрасно я приехал в Дюнкерк. Стало быть, в этом заключалось ваше дело, да? Надеюсь, мы все поделим поровну?
— Да, сэр, в этом и заключалось дело,— подтвердил Джемс.
— Так, так,— сказал Алан и продолжал все с тем же детским любопытством: — Стало быть, оно не имеет отношения к «Морскому коню»?

— К чему? — переспросил Джемс.

— И к тому малому, которого я только что угостил пинком возле мельницы? — продолжал Алан.— Ну нет, приятель! Я вывел тебя на чистую воду. Письмо Пэллисера у меня в кармане. Ты пойман с поличным, Джемс Мор. Ты никогда больше не сможешь смотреть в глаза честным людям!

Джемс был ошеломлен. Секунду он постоял неподвижно, весь бледный, потом затрясся от ярости.

— Это ты мне говоришь, выродок? — заорал он.

— Грязная свинья! — воскликнул Алан и нанес ему такой сильный удар в лицо, что хрустнула челюсть, и еще через мгновение их клинки скрестились.

Когда лязгнула сталь, я невольно попятился прочь от дерущихся. Но тут я увидел, что Джемс едва отразил выпад, который грозил ему верной смертью; в голове у меня застучала мысль, что он ведь отец Катрионы и, можно сказать, почти мой отец, и я со шпагой в руке бросился их разнимать.

— Прочь, Дэви! Ты что, рехнулся? Прочь, черт бы тебя побрал! — взревел Алан.— Иначе кровь твоя падет на твою же голову!

Дважды я отводил их клинки. Меня отшвырнули к стене, но я снова бросился между ними. Они не обращали на меня внимания и кидались друг на друга, как звери. Уж не знаю, как меня не проткнули насквозь или сам я не проткнул одного из этих рыцарей,— все это было будто во сне; но вдруг я услышал отчаянный крик на лестнице, и Катриона заслонила собой отца. В тот же миг острие моей шпаги погрузилось во что-то мягкое. Я выдернул шпагу — кончик у нее был красный. Я увидел, что по платку девушки течет кровь, и мне стало дурно.

— Неужели вы хотите убить его у меня на глазах? Ведь он все-таки мне отец! — кричала она.

— Ладно, моя дорогая, с него хватит,— сказал Алан, отошел и сел на стол, скрестив руки, но не выпуская обнаженной шпаги.

Некоторое время она стояла, заслоняя отца, глядя на нас широко раскрытыми глазами и часто дыша; потом резко обернулась к отцу.

— Уходи! — сказала она.— Я не хочу видеть твой позор! Оставь меня с честными людьми. Я дочь Эпина! Ты опозорил сынов Эпина. Уходи!

Это было сказано с такой страстью, что я очнулся от ужаса, в который поверг меня вид окровавленной шпаги. Они стояли лицом к лицу; по платку Катрионы расползлось красное пятно, Джемс Мор был бледен, как смерть. Я хорошо знал его и понимал, какой это для него удар; однако же он сделал вид, будто ему на все наплевать.

—Что ж,— сказал он, вкладывая шпагу в ножны, но со злобой косясь на Алана,— если драка кончена, я только захвачу свой сундучок...

— Никто отсюда ничего не вынесет,— заявил Алан.

— Но позвольте, сэр! — воскликнул Джемс.

— Джемс Мор,— сказал Алан,— лишь по случаю того, что ваша дочь выходит замуж за моего друга Дэви, я позволяю вам убраться отсюда подобру-поздорову. Но послушайте моего совета, поскорей уносите ноги от греха, не то будет поздно. Предупреждаю вас, терпение мое может лопнуть.

— Черт возьми, сэр, ведь там мои деньги! — сказал Джемс.

— Сочувствую вам от души,— сказал Алан, скорчив забавную гримасу.— Но теперь, видите ли, эти деньги мои.— И он продолжал уже серьезно: — Мой вам совет, Джемс Мор, скорее покиньте этот дом.

Мгновение Джемс как будто колебался; но, видимо, он довольно испытал на себе, как великолепно Алан владеет шпагой, потому что неожиданно снял шляпу (при этом лицо у него было как у приговоренного к смертной казни) и распрощался с каждым по очереди. Затем он ушел.

В тот же миг я словно очнулся.

— Катриона! — воскликнул я.— Это я... это моя шпага... ах, я тебя сильно ранил?

— Ничего, Дэви, я люблю тебя и за эту боль. Ведь ты защищал моего отца, хоть он и дурной человек. Смотри! — И она показала мне кровоточащую царапину.— Смотри, благодаря тебе я стала мужчиной. У меня теперь рана, как у старого солдата.

Я был вне себя от радости, увидев, что она ранена так легко, и восхищался ее храбрым сердцем. Я обнял Катриону и поцеловал ранку.

— А меня неужто никто не поцелует? Я ведь еще отродясь не упустил случая,— сказал Алан. И, отстранив меня, он взял Катриону за плечи.— Дорогая,— ска-

зал он,— ты настоящая дочь Эпина. Все знают, что он был достойный человек, и он мог бы гордиться тобой. Если бы я когда-нибудь надумал жениться, то искал бы себе вот такую подругу, достойную стать матерью моих сыновей. А я, говоря без ложной скромности, принадлежу к королевскому роду.

Он сказал это с глубоким и пылким восхищением, лестным для девушки да и для меня тоже. Теперь позор, которым покрыл нас Джемс Мор, был смыт. Но тотчас Алан снова стал самим собой.

— Все это прекрасно, дети мои,— сказал он.— Но Алан Брек чуточку ближе к виселице, чем ему хотелось бы. Черт дери! Надо убраться подальше от этого гостеприимного места.

Его слова нас образумили. Алан мигом принес сверху наши седельные сумки и сундучок Джемса Мора; я подхватил узелок Катрионы, который она бросила на лестнице во время стычки, и мы готовы были покинуть этот опасный дом, но тут Базен, крича и размахивая руками, преградил нам путь. Когда мы обнажили шпаги, он залез под стол, зато теперь сделался отважен, как лев. Мы не уплатили по счету и поломали стул. Алан, усевшись на стол, перебил посуду, Джемс Мор сбежал.

— Вот! — крикнул я.— Сочтите сами! — И швырнул ему несколько луидоров, ведь рассчитываться было некогда.

Он бросился на деньги, а мы, оставив его, выбежали за дверь. Дом с трех сторон поспешно окружали матросы; Джемс Мор неподалеку от нас махал шляпой, очевидно, стараясь их поторопить, а за спиной у него, словно какой-то дурак, нелепо размахивающий руками, вертелась мельница.

Алан понял все с одного взгляда и пустился бежать. Сундучок Джемса был тяжелый; но, я думаю, он скорей готов был расстаться с жизнью, чем бросить эту добычу и отказаться от своей мести; он бежал так быстро, что я едва поспевал за ним, радостно удивляясь тому, что Катриона не отстает от меня.

Завидев нас, матросы совсем перестали скрываться и погнались за нами с криками и улюлюканьем. Мы опередили их на добрых двести шагов, и к тому же эти кривоногие моряки никак не могли состязаться с нами в беге. Вероятно, они были вооружены, но на французской земле боялись пустить в ход пистолеты. И, видя, что они не только не настигают нас, но все больше отстают, я понял, что опасность миновала. Однако до последней минуты дело было жарким, и нам потребовалось все наше проворство. Дюнкерк был еще далеко, но, когда мы перевалили через холм и увидели солдат гарнизона, которые строем шли на учение, я вполне понял Алана.

Он сразу остановился и вытер лоб.

— Славный все-таки народ эти французы,— сказал он.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очутившись под прикрытием стен Дюнкерка, мы стали держать военный совет, решая, как быть дальше. Ведь мы силой оружия отняли дочь у отца, и всякий судья немедленно вернет ее ему, а меня и Алана скорее всего засадит в тюрьму; и хотя у нас было письмо капитана Пэллисера, которое могло служить свидетельством в нашу пользу, ни Катриона, ни я не хотели предавать его гласности. Так что всего разумней было отвезти Катриону в Париж и вверить попечению вождя ее клана, Макгрегора из Бохалди, который охотно поможет своей родственнице и в то же время не пожелает опозорить Джемса.

Мы ехали медленно, потому что Катриона бегать умела куда лучше, чем ездить верхом, и после сорок пятого года ни разу не садилась в седло. Но ранним утром в субботу мы наконец добрались до Парижа и с помощью Алана нашли там Бохалди. Он жил на широкую ногу, в прекрасном доме, получая пособия из Шотландского фонда и из частных средств; Катриону он встретил как родную и вообще был очень любезен и скромен, но не особенно откровенен. Мы спросили, не знает ли он, что сталось с Джемсом Мором.

— Бедняга Джемс! — сказал он, с улыбкой качая головой, и у меня мелькнула мысль, что ему известно больше, чем он хочет показать. Мы дали ему прочитать письмо Пэллисера, и физиономия его вытянулась.

— Бедняга Джемс! — повторил он.— Конечно, есть люди и похуже Джемса Мора. Но это просто ужасно. Ай-ай, должно быть, он совсем потерял голову. Это — пренеприятное письмо. Но при всем том, джентльмены,

я не вижу, для чего нам предавать его огласке. Плоха та птица, которая гадит в своем гнезде, а мы все дети шотландских гор.

С этим согласились все, кроме, пожалуй, Алана; тут же было единодушно решено, что мы с Катрионой поженимся, и Бохалди сам взялся устроить наш брак, словно не было на свете никакого Джемса Мора; он обвенчал нас с Катрионой, сопровождая обряд любезностями на изысканном французском языке. Только после этого, когда все выпили за наше здоровье, Бохалди сказал нам, что Джемс в городе: он приехал сюда за несколько дней до нас и слег от тяжелой, по-видимому, смертельной болезни. По лицу своей жены я понял, куда влечет ее сердце.

— Что ж, пойдем проведаем его,— сказал я.

— Если ты не против,— сказала Катриона. То было самое начало нашего супружества.

Джемс жил в том же квартале, что и вождь его клана, в большом доме на углу; нас провели в мансарду, где он, лежа в постели, играл на шотландских волынках. Видимо, он взял целый набор этих волынок у Бохалди и развлекался ими во время болезни; хотя он был не так искусен, как его брат Роб, но играл посвоему неплохо; и странно было видеть на лестнице толпу французов, среди которых кое-кто смеялся. Джемс лежал на соломенном тюфяке, опираясь спиной о подушки. Едва взглянув на него, я понял, что дни его сочтены; и, надо сказать, умирал он в весьма неподходящем месте. Но даже теперь я не могу без досады вспоминать о его смерти. Несомненно, Бохалди его подготовил; он знал, что мы поженились, поздравил и благословил нас, точно патриарх.

— Я жил и умру непонятым,— сказал он.— Но вас обоих я прощаю от всей души.

И он продолжал в том же духе, совсем как прежде, а потом любезно сыграл нам несколько песенок на волынке и, прежде чем мы ушли, взял у меня взаймы немного денег. В его поведении я не заметил ни малейшего признака стыда; но прощать он не уставал; похоже, что это ему никогда не надоедало. По-моему, он прощал меня при каждой встрече; и через четыре дня, когда он скончался в ореоле смиренной святости, я от досады готов был рвать на себе волосы. Я позаботился о том, чтобы его похоронили, но совершенно не представлял себе, что написать на его могиле, и в конце концов решил поставить только дату.

Я счел за лучшее не возвращаться в Лейден, где мы выдавали себя за брата и сестру и теперь выглядели бы весьма странно в новой роли. Больше всего нам подходила Шотландия; и после того как я получил все свое имущество, мы тотчас отплыли туда.

Ну вот, мисс Барбара Бэлфур (даме первое место) и мистер Алан Бэлфур, наследник Шоса, моя повесть окончена. Если вы вспомните хорошенько, то окажется, что многие из тех, о ком я рассказывал, вам знакомы, и вы даже разговаривали с ними. Элисон Хэсти из Лаймкилнса качала вашу колыбель, когда вы были еще слишком малы и не понимали этого, а когда вы немного подросли, гуляла с вами в парке. А та прекрасная и достойная леди, в честь которой названа Барбара, не кто иная, как сама мисс Грант, частенько смеявшаяся над Дэвидом Бэлфуром в доме генерального прокурора. А помните ли вы невысокого, худощавого, подвижного человека в парике и длинном плаще, который приехал в Шос поздней ночью, в темноте, и вас разбудили, привели в столовую и представили ему, а он назвался мистером Джеймисоном? Или Алан забыл, как он по просьбе мистера Джеймисона совершил отнюдь не верноподданнический поступок, за который по букве закона его могли бы повесить: ведь он не более и не менее как выпил за здоровье «короля, который сейчас за морем». Странные дела творились в доме доброго вига! Но мистеру Джеймисону я готов все простить, пускай он хоть подожжет мои амбары; во Франции он известен как «шевалье Стюарт».

А за вами, Дэви и Катриона, я в ближайшие дни намерен хорошенько присматривать, и мы увидим, посмеете ли вы смеяться над своими папой и мамой. Правда, порой мы были не слишком разумны и понапрасну причинили себе много горя; но когда вы подрастете, то сами убедитесь, что даже хитроумная мисс Барбара и доблестный мистер Алан будут немногим разумнее своих родителей. Потому что жизнь человеческая — забавная штука. Говорят, будто ангелы плачут, а мне кажется, что чаще всего они, глядя на нас, держатся за бока; но, как бы там ни было, я с самого начала твердо решился рассказать в этой длинной повести истинную правду.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОХИЩЕННЫЙ. *Перевод М. Кан* 5
КАТРИОНА. *Перевод Н. Треневой и В. Хинкиса* 215

Роберт Луис СТИВЕНСОН

Собрание сочинений
в пяти томах

Том IV

Редактор тома
Л. Г. Краснюк

Оформление художника
Г. А. Раковского

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 17.11.80. Подписано к печати 13.03.81.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 24,78 Уч. изд. л 26,31 Тираж 600 000 экз.
Изд № 794. Заказ № 3362. Цена 2 р 50 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И Ленина.
125865. ГСП, Москва, А 137. ул «Правды», 24.

Индекс 70681